

РАФАЭЛЬ САБАТИНИ

КАПРИЗЫ
КЛИО

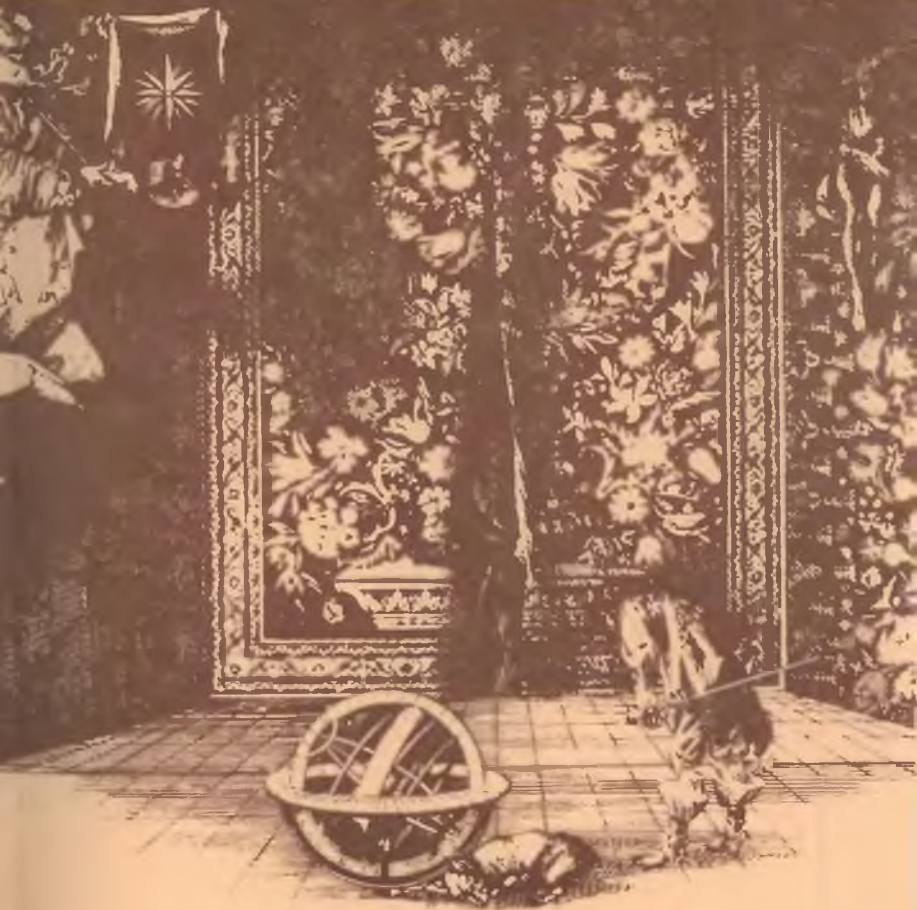




РАФАЭЛЬ
САБАТИНИ

РАФАЭЛЬ САБАТИНИ







РАФАЭЛЬ САБАТИНИ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ



RAFAEL SABATINI

THE HISTORICAL
NIGHTS'
ENTERTAINMENT



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ДЕСЯТИ ТОМАХ

ТОМ ДЕВЯТЫЙ

РАФАЭЛЬ САБАТИНИ

КАПРИЗЫ КЛИО

*(Занимательное историческое чтение
на сон грядущий)*

В двух частях



Санкт-Петербург — Москва
Акционерное общество «Прибой»
Журнал «Вокруг света»
1994

ББК
84.4 Вл
С 12

РАФАЭЛЬ САБАТИНИ

КАПРИЗЫ КЛИО

Перевод с английского

Редакционный совет:

Полещук А. А.
(председатель)
Костюкова Л. В.
Лебедев В. А.
Москвин А. Г.
Непомнящий Н. Н.
Семенов Ю. Л.

С $\frac{4703010100 - 27}{В 38 (03) - 94}$ Без объявл.

ISBN 5-87260-009-7

© Редакция журнала
«Вокруг света»
АО «Прибой» — состав.,
1994 г.
© Наталья Маникало —
художественное оформление
серии

НОЧИ ИСТОРИИ

Часть первая



ПРЕДИСЛОВИЕ

Готовясь к написанию «Ночей истории», или «Занимательного исторического чтения», я поставил себе целью восстановить возможно более подробно и правдиво, насколько позволяют сохранившиеся источники, ряд более или менее известных событий. Для этого я отобрал случаи, в которых крылась некая тайна и которые были замешаны на игре человеческих страстей. Предоставляя каждый такой случай в форме рассказа, я пытался добиться, чтобы сюжет соответствовал тому, что происходило на самом деле, просто излагал факты, ничего не придумывая от себя. Если же я все-таки давал волю своему воображению, то лишь для того, чтобы расцветить красками тот рисунок, который история оставила нам серым, и заботился прежде всего о том, чтобы мои краски, насколько возможно, соответствовали природным. Для диалогов в каждом случае я использовал реальный язык хроник, переводя в живую речь словесные обороты их авторов.

Такова была задача, которую я себе поставил. Я понимаю, что такие попытки уже делались неоднократно, начиная, возможно, со «Знаменитых преступлений» Александра Дюма. Я не уверен, что эти попытки можно назвать успешными. Этим я вовсе не хочу сказать, что мои эссе окажутся лучше. Окончательное суждение вынесет читатель. Я сознательно, однако, отказался от соблазна следовать легкому пути и старался не жертвовать ради большей занимательности сюжета реальными событиями. Правда, в одном случае я отошел от этого правила, а в некоторых других позволил себе кое-что домыслить для разрешения загадок, которым до сих пор не находилось объяснений.

Мой преднамеренной неудачей (в указанном выше смысле) является рассказ «Ночь новобрачных». Я обнаружил неявную ссылку на историю Карла Смелого и Сапфиры Данвельт в «Истории Англии» Маколея, когда работал над рассказом о леди Алисе Лайл. Там похожий эпизод упоминался в связи с полковником Кэрком, однако достоверность его вызывала сомнение. Какие-то парафразы на эту тему перекочевывали из одного сюжета в другой всякий раз, когда речь шла о беспринципных капитанах. Я решил проследить происхождение этого эпизода. Обнаружив, что он впервые упоминается в связи с немецким капитаном Ринсольтон, служившим у Карла Смелого, я попытался восстановить этот эпизод, каким он мог бы быть, введя его в канву происходивших на самом деле событий.

Моя наиболее «скандальная» гипотеза связана с сюжетом «Ночи ненависти». В ее защиту я могу честно сказать, что она, по крайней мере, не более скандальна, чем те домыслы, которые, войдя в историю, считаются несомненными фактами. Иными словами, я утверждаю, что моя реконструкция обстоятельств, сопровождавших таинственную смерть Джованни Борджа, герцога Гандийского, не менее исторически достоверна, чем любая из принятых сейчас историками, которые обвиняют в смерти герцога его брата Чезаре Борджа.

В кембриджской «Современной истории» наиболее авторитетные историки этой эпохи определенно утверждают: не существует достоверных доказательств того, что убийцей был Чезаре Борджа (то есть той версии, которая уже на протяжении четырех столетий считается исторической правдой).

Я уже говорил об этом более подробно в другом месте. Здесь отмечу

лишь, что имя Чезаре Борджа только через девять месяцев после убийства стало с ним связываться; что в течение этого промежутка времени убийство приписывалось по очереди чуть ли не десятку людей; не было обнаружено достаточно убедительных мотивов поведения Чезаре; что выдвинутые мотивы при внимательном изучении оказываются надуманными. Создается впечатление, что они были выдвинуты поспешно и в подоплеке содержат политическое обвинение; первыми, кого общественное мнение обвинило в убийстве, были кардинал вице-канцлер Асканио Сфорца и его племянник Джованни Сфорца, властитель Пезаро; наконец в «Хрониках Перуджи» Матаразо существует довольно детальное описание того, как Джованни Сфорца совершил это преступление.

Я хорошо понимаю, что Матаразо, возможно, заслуживает не больше доверия, чем любой другой современный хроникер, записавший ходившие в народе слухи. Но, по крайней мере, и не меньшего. И нельзя отрицать, что Сфорца имели серьезный мотив для убийства.

Изложение событий в «Ночи ненависти» представляет собой, по общему признанию, чисто теоретическое описание преступления. Однако оно основывается на всем том, что нам известно об имевших место событиях и характерах участвовавших в них людей. И если в сохранившихся документах нет неопровержимых подтверждений моей версии, то нет в них также и бесспорных ее опровержений.

В «Карнавальной ночи» я повинен в довольно произвольном объяснении странного и внезапного превращения барона Бьелке из преданного друга и слуги короля Швеции Густава III в его злейшего врага. Моя гипотеза недоказуема, хотя дает возможное объяснение этой тайны.

Не думаю, что мне нужно оправдываться относительно рассказа «Ночь в Кёрк-о'-Филде». Обстоятельства смерти милорда Дарнли очень долго считались одним из самых темных мест в истории. Их таинственность заключалась в том, что, когда дом Кёрка был разрушен взрывом, тело Дарнли вместе с телом его слуги было найдено на некотором удалении от дома, причем оба они были задушены. Выдвинутое мною объяснение, как мне кажется, не требует большой фантазии и прямо-таки лежит на поверхности.

В рассказе об Антонио Пересе («Ночь предательства») я позволил себе не так много вольностей, как может показаться. Я близко следовал его собственному сочинению «Relacion», которое, само по себе заслуживающее особого разбора, должно считаться одним из самых надежных документов. Я лишь изменил соотношение ценностей, придав в отличие от Переса большее значение личным мотивам за счет политических. При этом я выделил особую роль отношений Переса с принцессой Эболи. «Ночь предательства» представлена в форме рассказа внутри рассказа. Эта история вымышлена лишь частично. Большая часть описанного там основана на изложенном в «Relacion».

За упомянутыми исключениями, я твердо придерживался правила ничего лишнего не придумывать в попытке облечь в плоть и одежды эти выбранные мною из истории несколько «скелетов».

Я должен добавить, однако, что в тех случаях, когда ученые не пришли к согласию относительно мотивов поступков моих персонажей, там, где факты противоречат друг другу или допускают несколько толкований, я сохранял за собой свободу выбора и уже не отходил потом от предпочтенного мною с самого начала варианта.

Р. С.

Лондон, август 1917 года.





I

НОЧЬ В ХОЛИРУДЕ

Убийство Давида Риччо



Малая толика королевской крови в жизни милорда Дарнли давала ему право в случае отсутствия других наследников претендовать и на шотландский, и на английский престолы¹. Недостатка в претендентах никогда не ощущалось, однако по прихоти судьбы королевский сан ему все-таки достался — Дарнли завладел шотландской короной, женившись на Марии Стюарт.

Ему не пришлось долго и упорно добиваться ее руки. Статный и миловидный (Мелвил² однажды назвал его «женоликим») девятнадцатилетний юноша сумел тронуть сердце молодой королевы Шотландии, и она сама проявила немалую настойчивость в сопротивлении противникам этого мезальянса. Бракосочетание состоялось. Но Марию ожидало скорое разочарование. Она вышла замуж в июле 1565 года, а уже к октябрю у нее не осталось никаких иллюзий: супруг оказался развращенным, тщеславным и трусливым юнцом. За обманчиво-обольстительной внешностью Аполлона не было ничего, кроме пустого сердца и недалекого ума.

Сводный брат Марии, граф Меррей³, с самого начала противился ее браку, хотя основанием для возражений ему служили, разумеется, не личные качества Дарнли, а его католическое вероисповедание. Собрав своих сторон-

ников Аргайла, Шателлеро, Гленкэрна и других протестантов, Меррей восстал с оружием в руках против своего зятя и сюзерена. Мария оттеснила отряды мятежного брата за английскую границу, но в результате этих действий, предпринятых в защиту достоинства своего никчемного мужа, лишь посеяла первые семена супружеских разногласий. Дело в том, что во время подавления восстания отличился один высокородный головорез, граф Босуэл⁴. Желая вознаградить его за преданную службу, а отчасти просто в знак доверия и благорасположения, королева пожаловала графу должность генерал-лейтенанта Восточной, Средней и Западной Марки⁵ — должность, которой Дарнли добивался для своего отца — Леннокса.

Королева все же выполнила свое предсвадебное обещание и короновала Дарнли, однако изгнание мятежных лордов стало первым и последним общим предприятием венценосной четы. С этих пор между ними непрерывно росло отчуждение, и звезда Дарнли, едва успев взойти, пошла на закат.

Поначалу их величали «королем и королевой» или «его и ее величествами», но к Рождеству, спустя всего пять месяцев после свадьбы, Дарнли начали именовать просто «мужем королевы»; во всех документах его имени теперь предшествовало имя Марии, а потом и монеты с двойным профилем и надписью «Ген. и Мария» были изъяты из обращения и заменены монетами новой чеканки, на которых его имя перекочевало на второе место.

Глубоко оскорбленный, Дарнли искал причину явной неприязни королевы где угодно, только не в самом себе и не в своих недостатках. Вскоре он решил, что обнаружил эту причину. Около четырех лет назад в свите савойского посла месье де Моретта к шотландскому двору прибыл странствующий менестрель Давид Риччо. В дурном влиянии этого пьемонтца, синьора Дейви, и узрел Дарнли корень всех своих бед.

Сначала внимание Марии привлекла искусная игра Риччо на скрипке. Позже он стал ее доверенным секретарем по французским делам, и юная королева, воспитанная при утонченном французском дворе, привязалась к нему, словно к товарищу по изгнанию. Она не раз жаловалась на выпавший ей тяжкий жребий — царствовать в суровой и беспокойной стране — и всегда встречала его сочувствие. Благодаря своим способностям и изворотливому уму, Риччо выдвинулся столь стремительно, что вскоре ни один шотландец не мог похвастаться такой

близостью к королеве, как он. Когда по подозрению в сочувствии и пособничестве изгнанным лордам-протестантам был отправлен в отставку Мэйтленд Летингтонский, синьор Дейви стал его преемником на посту королевского секретаря, а когда аналогичное подозрение пало на Мортонна, было открыто объявлено, что канцлером вместо него будет назначен Риччо.

Так синьор Дейви сделался самым могущественным человеком в Шотландии, но наивно было бы рассчитывать на то, что упрямое и своевольное дворянство примет высочку как равного. Придворные начали плести против него интриги и распускать сплетни — например, о том, что этот итальяшка — агент папы римского, замышляющий козни против шотландской протестантской церкви. Однако в начавшейся затем борьбе за власть грубая шотландская прямолинейность не смогла тягаться с итальянской изощренностью. Какие бы шаги ни предпринимали бароны и лорды, они не пошатнули положение Риччо. Тогда, наконец, пополз слухок о том, что расположение прекрасной королевы пьемонтец снискал отнюдь не своими деловыми и музыкальными талантами. В частности, Бедфорд писал Сесилу⁶: «Я не стану распространяться о том, какую именно благосклонность проявляет Мэри по отношению к Дейви, ибо королевской особе должно иметь доброе имя...»

Коль скоро начались перешептывания, нашлись и люди, которые с готовностью поверили слухам и выдавали их уже за несомненный факт. Вскоре сплетни достигли ушей Дарнли. В какой-то степени объяснив холодность королевы, они больно задели его мужское самолюбие, подлив тем самым масла в огонь. Король затаил злобу и с этого момента стал самым непримиримым из всех, кто добивался удаления Риччо.

Дарнли встретился с Рутвенем, другом Меррея и прочих лордов-протестантов (изгнанных, как мы помним, за их выступление против самого Дарнли), и предложил ему восстановить беглецов в их правах, если те отомстят за поруганную честь сюзерена и сделают его настоящим королем Шотландии.

Измученный смертельной болезнью, Рутвен специально для этой аудиенции поднялся с постели и теперь с мрачным видом внимал вздорным речам бестолкового смазливового мальчишки.

— Во всем, что касается этого мерзавца, вы, без сомнения, правы, — хмуро согласился он и умышленно

дополнил сказанное некоторыми подробностями о Риччо, еще сильнее оскорбившими чувства короля и мужа.

Рутвен решил не упускать случая и выдвинул условия, выполнение которых позволит Дарнли рассчитывать на его помощь. В начале следующего месяца собирается парламент, который должен обсудить вопрос о государственной измене и принять билль о лишении Меррея и его сторонников всех владений, имущества и жизни за участие в мятеже.

— Судите сами, — говорил Рутвен, — сколь велико влияние этого чужеземца на королеву, если она намеревается поступить так с собственным братом. Меррей всегда ненавидел Дейви, он слишком хорошо понимал, что возвышение скрипача грозит королеве бесчестьем — вот мастер Дейви и надеется с помощью парламента устранить графа и заткнуть ему рот.

Рутвен расчетливо сыпал соль на рану. Дарнли стиснул зубы и сжал кулаки.

— Что вы предлагаете? Что я должен делать? — срывающимся голосом спросил он.

Рутвен не стал ходить вокруг да около.

— Этот билль не должен пройти. Более того, парламент вообще не должен собираться. Вы муж ее величества и король шотландцев.

— Это только титул! — горько усмехнулся Дарнли.

— Титула достаточно, — ответил Рутвен. — Вы подписываете указ об официальном помиловании и отказе от преследования Меррея и его друзей за любые предпринятые ими действия. Вы должны разрешить им беспрепятственно вернуться в Шотландию под охраной отряда вассалов, который обеспечит их безопасность. Сделайте это, а остальное предоставьте нам.

Нерешительность была врожденным свойством Дарнли. Он сознавал иронию ситуации: перейдя в тайную оппозицию к королеве, он вынужден будет собственной рукой подписать помилование повстанцам, взбунтовавшимся лишь потому, что Мария взяла его в мужья.

— А что потом? — спросил он после долгих колебаний.

Серое лицо больного Рутвена блесло от пота; воспаленно-красные глаза обдали короля-консорта холодом.

— Потом, с нею или без нее, вы будете править Шотландией. Обещаю вам это от себя и от имени всех, кого коснется ваша грамота.

Дарнли взял перо и подписал синьору Дейви смертный приговор.

В ночь на субботу 9 марта 1566 года над заснеженным миром завывал ледяной восточный ветер, а в маленьком кабинете, примыкавшем к опочивальне королевы, было тепло и уютно. В камине потрескивали душистые сосновые поленья, в изящных подсвечниках горели свечи.

За ужином собрался тесный кружок приближенных королевы; кроме прекрасной золотоволосой хозяйки здесь были ее сводная сестра графиня Аргайл, комендант Холируда Битон, капитан гвардии Артур Эрскин и, наконец, опасно вознесшийся странствующий музыкант Давид Риччо. Риччо не исполнилось и тридцати лет, но перенесенные лишения не прошли для него бесследно — выглядел он на все пятьдесят, здоровья был неважного и к тому же хлипкого телосложения. Внешняя непривлекательность искупалась, однако, живостью ума, светившегося в глазах итальянца. Одет Риччо был со строгим великолепием — в черный бархат; средний палец его левой руки украшал перстень с камнем огромной ценности.

Ужин подходил к концу. Королева прилегла на кушетку возле стены, завешенной гобеленом. Графиня Аргайл, сидя на стуле с высокой спинкой по левую руку от Марии, следила, подперев щеку ладонью, за тонкими пальцами синьора Дейви, изящно пощипывающими струны лютни. Приятный и непринужденный разговор о ребенке, которым месяца через три должна была разрешиться королева, начал иссякать, и Риччо по знаку своей госпожи взял лютню.

Смуглое лицо итальянца преобразилось, и он полностью отдался вдохновенной импровизации. Сначала негромко, словно прислушиваясь к теме, рождающейся в его душе, а потом все полновочнее, Риччо заиграл одну из тех печальных мелодий, которые звучат в Шотландии по сей день.

Смолкла последняя нота, и наступившую на миг тишину внезапно нарушило звяканье колец, к которым крепились портьеры. Скрывавший дверь занавес отлетел в сторону, и на пороге возникла долговязая фигура короля.

Неожиданное появление Дарнли разрушило все очарование вечера. Итальянец резко положил лютню, и случайно задетая струна издала долгий, жалобный стон. Этот звук и наступившее молчание почему-то действовали на всех угнетающе; в сердце каждого родилось

ощущение, будто необратимо утрачено что-то светлое и возвышенное.

Дарнли, шатаясь, шагнул вперед. Он был изрядно пьян, на скулах его горели пятна румянца, глаза лихорадочно блестели. Короля и трезвого не особенно жаловали — многие разделяли неприязнь, которую питала к нему королева, — но сейчас он своим видом вызвал настоящее возмущение. Никто даже не встал, как того требовал этикет. Мария с молчаливым презрением следила за супругом⁷.

— В чем дело, милорд? — холодно спросила она наконец, когда он плюхнулся рядом с ней на кушетку.

Дарнли злобно взглянул на жену, привлек ее к себе и неуклюже поцеловал. Все настороженно ждали продолжения этой сцены, на лицах гостей читалось смущение. В конце концов он был ее супругом и именовался королем.

И тут в наступившей тишине из-за двери послышались шаги, сопровождаемые лязгом металла. Тяжкая поступь рока. Занавес отлетел в сторону, и на пороге возник мрачный призрак рыцаря. Графиня Аргайл вскрикнула. Вошедший был с головы до ног закован в железные латы, на широком поясе висел меч; правая рука рыцаря покоилась на рукоятке заткнутого за пояс тяжелого кинжала. Забрало шлема открывало бледное лицо Рутвена, казавшееся столь жутким, что, если бы не горящий взор, его можно было принять за лицо мертвеца. Глаза Рутвена обвели всю компанию за столом, остановились на Риччо и хищно прищурились.

Пораженная и разгневанная зловещим вторжением, королева попыталась встать, но Дарнли все еще придерживал ее за талию.

— В чем дело, я вас спрашиваю? — резко воскликнула она и, тут же догадавшись, что все это может означать, произнесла отчетливо, словно вlepила Дарнли пощечину: — Иуда!

Она вырвалась из его объятий и встала перед человеком в доспехах.

— Что вам здесь нужно, милорд? Как вы посмели прийти сюда в таком виде? — гневно спросила Мария.

Горящий взор Рутвена померк под ее взглядом. Он с лязгом доспехов шагнул вперед и вытянул руку в перчатке, указывая на синьора Дейви.

— Мне нужен вот этот человек, — хрипло объявил милорд. — Пусть он выйдет из комнаты.

— Он здесь у меня в гостях в отличие от вас, — с

трудом сдерживая гнев, ответила королева. — И никуда не пойдет без моей воли. — Мария повернулась к ссутулившемуся Дарнли. — Это ваших рук дело, сэр?

— Э... Нет. Я тут ни при чем. От... откуда м... мне знать? — заплетающимся языком произнес милорд Дарнли.

— Дай Бог, чтобы это была правда, — сказала она и продолжала, обращаясь к Рутвену: — Подите вон, милорд, и ждите, пока я вас не вызову, а это, обещаю, произойдет довольно скоро. — И королева величественным жестом указала ему на дверь.

Если Мария и догадывалась об их намерениях, то ничем не выдала своего страха. Но Рутвен тоже выдержал характер и стоял на своем.

— Пусть этот человек выйдет отсюда, — повторил лорд. — Он слишком долго здесь находился.

— Что значит «слишком долго»? Как вы смеете? — негодуя переспросила королева.

— Слишком долго для старой доброй Шотландии и для вашего молодого супруга, — последовал наглый ответ.

— Уберетесь вы, наконец, или нет?! — закричал, вскочив на ноги, гвардейский капитан Эрскин. За ним поднялся и встал рядом Битон, комендант Холируда.

Свинцовые губы Рутвена сложились в недобрую улыбку; он потянул из-за пояса кинжал.

— Я пришел не за вами, джентльмены, но если вы ко мне сунетесь, то пеняйте на себя...

Мария поспешила вмешаться и встала между ними, лицом к Рутвену. Риччо дрожал крупной дрожью и не мог сдвинуться с места. Не успела королева дать отпор наглецу, как занавес был окончательно сорван, и в комнату ввалилась группа вооруженных людей, приближения которых из-за перепалки никто не услышал. Первым появился бывший канцлер Мортон, лишенный большой печати в пользу Риччо, за ним хмурый Линдсей, потом чернявый Бранстон и рыжий Дуглас, за которыми в дверях толпилось еще несколько человек.

В замешательстве друзья королевы не сразу оказали сопротивление. Последовала короткая схватка, дубовый стол, накрытый к ужину, был опрокинут, и если бы графиня Аргайл не подхватила канделябр с горящими свечами, все погрузилось бы во тьму. Заговорщики быстро окружили гостей и заставили их опустить оружие.

Хилый музыкант, лишившись последнего мужества, бросился перед королевой на колени:

— Спасите меня, мадам! Sauvez ma vie!*

Мария шагнула вперед и бесстрашно преградила убийцам путь. В глазах ее пылал гнев.

— Назад, трусы! Или вы поплатитесь за это!⁸

Но заговорщиков уже нельзя было остановить угрозами. Они медленно наступали, распаленные яростью к чужеземному выскочке. Оскорбленная шотландская спесь требовала расплаты, и Джордж Дуглас приставил пистолет к груди беременной Марии, приказав ей убираться с дороги. Риччо в ужасе ползал на коленях где-то сзади, прячась за ее юбку. Мария не шелохнулась, ее сверкающие, как два сапфира, глаза, казалось, сейчас испепелят негодяя. Дуглас невольно замер, обескураженный ее бесстрашием. Но тут Дарнли, отпихнув Риччо ногой, внезапно обхватил Марию сзади и оттащил в сторону.

Свора накинулась на добычу. Линдсей захлестнул тело Риччо петлей и вдвоем с Муртоном поволок его к выходу. Риччо, отчаянно визжа и моля о спасении, судорожно цеплялся то за ножку стула, то за край перевернутого стола, но все было напрасно.

— Берегитесь, собаки! Я напьюсь вашей крови, если убьете его! — хрипло рычала Мария, безуспешно пытаясь вырваться из объятий Дарнли.

Но спущенные с привязи псы, рвущиеся разорвать жертву на куски, уже не слышали королеву. Шайка заговорщиков вывалилась вслед за Риччо из комнаты в коридор и там набросилась на несчастного с кинжалами. Их нетерпение было столь неистово, что убийцы в ослеплении нанесли несколько ран друг другу.

Все было кончено. В прихожей на полу валялся сброшенный с лестницы труп итальянца, и кровь из пятидесяти шести ран на его теле разлилась огромной лужей. В груди Риччо торчал кинжал с золотой рукояткой — знак участия милорда Дарнли в этом преступлении.

Рутвен отделился от сгрудившихся возле лестницы заговорщиков и с дымящимся кинжалом в руке и застывшей на лице кривой усмешкой поднялся наверх. Еле волоча ноги, он отправился обратно, в королевские покои. За три минуты там мало что изменилось, только стол был уже поднят, а Мария вновь опустилась на кушетку. Рядом возвышался Дарнли; несколько человек кольцом окружали приближенных королевы. Не спрашивая

* Спасите мне жизнь! (фр.)

разрешения, Рутвен в изнеможении бросился в кресло и потребовал вина.

Королева гневно следила за его действиями.

— Вы напьетесь, милорд, всему свое время, да только не вином. Попомните мои слова, когда вам отольется сегодняшнее оскорбление! Кто вам позволил сидеть в моем присутствии?

Убийца лишь досадливо отмахнулся.

— Стоит ли сейчас о такой безделице, ваше величество? — проворчал он. — Право, мадам, это не от недостатка уважения к вам, просто я болен. Мне бы следовало лежать в постели, но дело требовало моего присутствия.

— Ах, вот как! — с холодным отвращением промолвила Мария. — Что вы сделали с Риччо?

Рутвен пожал плечами, однако отвел глаза.

— Он там, внизу, — уклончиво ответил лорд и потянулся за вином, поднесенным его слугой.

— Ступайте посмотрите, — велела королева графине Аргайл.

Поставив канделябр, графиня вышла. Никто ее не задержал. Королева продолжала презрительно наблюдать за Рутвеном, пока тот осушал свой кубок, потом медленно сказала:

— Я уверена, милорд, что вы действуете в интересах Меррея. Сам-то братец, конечно, далеко, но пусть он знает: даже это не избавит его от наказания. Так вот, ответьте мне, чем таким вы ему обязаны, что решили подставить свою голову вместо его?

— Я сделал это не только ради Меррея, но и ради многих своих друзей, — нехотя отвечал Рутвен. — Что же касается моей головы, то я заручился гарантией ее неприкосновенности.

— Гарантией? — переспросила Мария и перевела взгляд на своего мужа, по-прежнему стоящего подле нее. — Уж не вы ли дали ему такую гарантию, милорд?

— Я? — отшатнулся Дарнли. — Мне об этом ничего не известно.

Но тут королева обратила внимание на его пустые ножны.

— А где ваш кинжал, милорд? — сухо осведомилась она.

— Кинжал? Ха! Откуда мне знать?

— Ну, так я это узнаю! — зловеще и отчетливо проговорила королева. — Непременно узнаю, берегитесь. — Она вела себя вовсе не как пленница, попавшая

в руки заговорщиков, которые всего несколько минут назад могли, судя по всему, убить не только Риччо, но заодно и саму Марию.

Задыхаясь, вбежала графиня. На ней не было лица.

— Что? — севшим голосом прошептала Мария.

— Мадам, он мертв! Убит! — объявила графиня.

Королева очень долго смотрела на нее; наконец она разжала мраморные губы:

— Вы уверены?

— Я видела его, мадам.

Мария сдавленно застонала, глаза ее наполнились слезами. Все притихли. Тянулись минуты... Королева вытерла слезы, сбегавшие по щекам. Дарли дрожал, стараясь не встречаться с ней взглядом.

— Ну, что ж, — произнесла королева, — довольно слез. Я должна подумать, как отомстить за это злодеяние. — Она встала, опираясь о край стола, долгим взглядом посмотрела на Рутвена, по-прежнему сидевшего с окровавленным кинжалом в одной руке и пустым кубком в другой, потом перевела глаза на мужа.

— Милорд, вы добились своего, а теперь выслушайте меня. Слушайте и зарубите себе на носу: я не успокоюсь, пока вам не будет так же больно и тяжело, как сейчас мне.

Мария пошатнулась. Графиня поспешила ей на помощь, и королева, опираясь на ее руку, удалилась через маленькую боковую дверь в свою опочивальню.

Босуэл, Хантли, Атолл и другие верные королеве дворяне — те, кто находился в ту ночь в Холируде, кишашем вооруженными до зубов убийцами, — опасаясь разделить участь секретаря, бежали через окна и колокольным звоном подняли на ноги весь Эдинбург. Сбравшиеся по тревоге горожане, ведомые мэром, с оружием и факелами в руках двинулись ко дворцу. Они потребовали, чтобы королева вышла к ним, и отказывались разойтись, пока из окна королевской опочивальни не высунулся сам Дарли, заверивший возбужденных людей, что с ним и королевой все в порядке. А тем временем сама Мария стояла в окружении головорезов, ворвавшихся в ее спальню, как только снаружи поднялся весь этот шум, и один из них, рыжий Дуглас, поигрывая кинжалом, божился, что не моргнув глазом изрежет ее на кусочки, посмей она хоть пикнуть.

Когда они все-таки убрались, Мария осознала свое новое положение. Она больше не королева — она узница в собственном доме. Двор и коридоры заполнены солдатами

Мортону и Рутвена, дворец полностью окружен, и никто не имеет права войти в него или выйти без их согласия.

Наконец-то Дарнли добился вожаемой власти. Наутро на рыночной площади Эдинбурга был оглашен его первый указ, согласно которому дворяне, собравшиеся в столицу на заседание парламента для принятия билля о лишении прав и имущества беглых лордов-протестантов, должны были под страхом обвинения в государственной измене в течение трех часов покинуть город.

Мария, запершись в опочивальне, строила планы мести. В ее ушах все еще звучали вопли несчастного Риччо. Мария дала себе клятву: если она выйдет живой из этой передраги, то убийц настигнет возмездие — не только за варварское злодеяние, но и за оскорбление ее королевского достоинства, чудовищное надругательство над ее чувствами, за опасность, которой они подвергли ее жизнь и жизнь будущего наследника, не говоря уже о домашнем аресте и издевательском обращении.

Впрочем, нет, подумала Мария. Все они — и наглец Рутвен, и дерзкий Дуглас, угрожавший расправой, и Мортон, держащий ее в заточении, — не более, чем исполнители воли Дарнли. Она решила пока повременить с другими обидчиками и сосредоточила всю свою ненависть на муже. Неизвестно, как все сложится дальше, но наступит срок, и она припомнит Дарнли все унижения, которые вынесла по его милости. Она во что бы то ни стало покарает его, и кара будет страшной.

Узурпатор оказался легок на помине. Показав, кто теперь хозяин положения, он был уверен, что Мария смирится с тем, что сделанного не воротишь, волей-неволей покорится неизбежному и безропотно — ведь теперь его поддерживают мятежные лорды! — восстановит его в супружеских правах. А безраздельную королевскую власть он и так уже получил. С этими мыслями Дарнли с утра пораньше заявился к супруге, однако оказанный ему прием основательно пошатнул его радужные надежды. Лишь только Мария завидела его на пороге опочивальни, она неприязненно вздрогнула, потом, взяв себя в руки, не спеша подошла к нему и тихо, но отчетливо проговорила:

— Негодяй! Забудьте мою прежнюю привязанность и мои планы на будущее... Я же ничего не забуду. *Jamais! Jamais pe n'oublierai!** — добавила она и посмотрела на

* Никогда! Никогда не забуду! (фр.)

Дарнли с такой ненавистью, что он немедленно стушевался и выбежал вон.

А Мария продолжала в одиночестве обдумывать способ мести, но ей пока не пришло в голову ничего подходящего, тем более, что собственное положение оставалось неясным — она не знала и половину того, что происходит во дворце и в столице.

И тут ей помог случай. Одна из немногих оставленных ей в услужении фрейлин, Мэри Битон, обронила, что видела во дворце графа Меррея, Роутса и нескольких других лордов-изгнанников. Это известие расставило все по своим местам. Королеве стало окончательно ясно, кто был виновником ночной трагедии и каким образом Дарнли нашел себе сторонников.

Впрочем, хороши сторонники! До сих пор Дарнли и Меррей были что кошка с собакой. Они никогда не то что не доверяли друг другу, а почти не скрывали своей вражды. Маловероятно, чтобы они вдруг, ни с того ни с сего, вспыхнули взаимной любовью, и на этом, пожалуй, можно будет сыграть.

Королева, не откладывая, написала Меррею записку, в которой выразила радость по поводу его возвращения и пригласила к себе.

Сводный брат, не поверивший ни единому слову записки, разумеется, тотчас явился — просто из любопытства, чтобы потом позабавиться в душе над тем, как его встретит Мария. Каково же было удивление графа, когда ему действительно был оказан самый горячий прием.

Королева поднялась Меррею навстречу, подбежала к нему, прижалась щекой к его бороде, обняла и расцеловала. На глаза ее навернулись слезы, и Мария разрыдалась на его плече.

— Бог наказал меня, Джеймс! О, как я наказана! Если бы я не отправила тебя в ссылку, ты никому не позволил бы так со мной обращаться. Какие шотландцы все-таки скоты!

Ошеломленному и растроганному Меррею оставалось только прижимать ее к себе, поглаживать по плечу и утешать. До сих пор он и не подозревал, что его сестричка способна на такие проявления нежности и раскаяния.

— О Господи, Джимми, как мне тебя не хватало! — продолжала она. — Ты был в изгнании не по своей вине. А на меня обрушилось столько бед. Мне ничего от тебя

не нужно, только будь моим добрым подданным, и ты увидишь — я умею ценить дружбу.

Ее слезы и жалобы растопили многолетние льды; суровое, недоверчивое сердце Меррея растаяло. Давно уже он не испытывал желания, забыв о себе, стать на защиту близкого существа. В носу у него защекотало, глаза увлажнились, и он поклялся, что отныне во всей Шотландии не будет другого столь же верного и преданного Марии человека, каким станет он.

— А что до этого убийства, — со всей убежденностью закончил граф, — то клянусь спасением души, я не принимал в заговоре никакого участия и узнал о нем, лишь когда вернулся.

— Я знаю, знаю! — простонала Мария. — Иначе разве бы я тебе обрадовалась? Будем снова друзьями, Джимми!

И Меррей опять охотно поклялся ей в верности, тем более, что это отвечало его тайным помыслам и надеждам на возвращение к власти. Граф снова мысленно подивился, как неожиданно ветер переменялся в благоприятную для него сторону. Потом он заговорил о короле и стал упрашивать Марию принять и выслушать Дарнли, ибо тот уверяет, что не желал смерти Риччо, и переваливает всю вину на лордов. Те, мол, вышли из повиновения, нарушили договор и зашли гораздо дальше, чем было условлено, а король-де собирался просто поставить на место зарвавшегося скрипача.

Сделав вид, что граф ее убедил, Мария согласилась — это как раз входило в ее намерения. Ведь прежде чем расправиться с Дарнли и изменниками-лордами, ей нужно было сначала выбраться из Холируда, где они держали ее взаперти.

Дарнли пришел и был на сей раз угрюм и не столь самоуверен. Несмотря на заверения Меррея, он, памятуя о недавней отповеди королевы, опасался ее нового резкого выпада. Она, опираясь на резной подлокотник кресла, казалось, внимательно его слушала. Когда же он закончил оправдываться, Мария долго в задумчивости глядела на хмурое мартовское небо за окном и ничего не отвечала. Наконец она оторвала взгляд от окна и перевела глаза на мужа.

— Следует ли понимать, милорд, что вы сожалеете о случившемся?

— Не искушайте меня, мадам, я не хочу лицемерить, — ответил Дарнли. — Я буду правдив, как на пасхальной

исповеди. Нет, я не испытываю жалости к Риччо. С тех пор, как он снискал доверие и благосклонность вашего величества, вы перестали относиться ко мне, как раньше. Вы избегали моего общества и терпели меня только в присутствии посторонних — того же Дейви, например. Это было невыносимо — как же мне после этого жалеть того, кто лишил меня вашей бесценной дружбы и был причиной моего унижения? Но я сожалею о том, что вам пришлось пережить, и заявляю о своей невинности и непричастности к этому ужасному событию.

Королева на мгновение опустила глаза, потом снова подняла их на мужа.

— А кто сторговался с предателями, кто своим указом вернул их из ссылки? — напомнила она ему. — С какой целью вы это сделали?

— Чтобы вернуть то, что принадлежит мне по праву; то, что этот негодяй у меня отобрал — королевскую власть и права супруга, в которых вы мне отказывали. Только для этого, и ни для чего больше. Убийство Риччо не входило в мои планы. Но я ошибся, я недооценил глубину ненависти, которую наши подданные испытывали к этому мошеннику и папистскому шпиону. Судите сами, насколько я с вами откровенен.

— Я верю вам; — глядя ему в глаза, солгала Мария. У Дарнли вырвался вздох облегчения, но он поспешил, ибо она коварно продолжила свою фразу: — И знаете, почему я вам верю? Потому что вы — болван.

— Мадам! — протестующе вскричал Дарнли.

Королева встала, исполненная презрения.

— Вам требуются доказательства моих слов? Что ж, извольте. Вы надеялись, что эти преступники восстановят вас в ваших супружеских правах? И поэтому подписали им помилование и вернули из ссылки? Да теперь вы просто марионетка. Вы натаскаете им каштанов из огня, а потом они выкинут вас, как ненужный хлам, или, того хуже, поступят так же, как с несчастным Дейви. Но вы слепы, раз ничего этого не видите. Вы глупец, если понадобился женский ум, чтобы раскрыть вам на это глаза.

Мария столь блестяще разыгрывала роль обличительницы, что бедняга совсем растерялся.

— Вы... вы заблуждаетесь! — выкрикнул Дарнли.

— Заблуждаюсь? Ха-ха! — зло рассмеялась она. — Ладно, допустим, я и впрямь заблуждаюсь. Только почему-то мне на память приходят недавние события,

когда ваши новые дружки со своим главарем Мерреем выступали против нашего брака. Вы как будто забыли, с чего они вдруг взбеленились? Так я вам напомним. Они были недовольны тем, что я короновала вас, не спрося их совета. Быть над ними королем вы не могли ни по праву наследования престола, ни по своим достоинствам и характеру, ни по согласию сословного собора. Теперь вспоминаете? Они твердили и кричали на всех перекрестках, что почитают своим долгом подчиняться мне, но не собираются терпеть над собою вас.

Мария раскраснелась, глаза ее горели синим огнем. Она схватила Дарнли за рукав и прямо-таки впилась взглядом в его зрачки.

— Ну, как, вспомнили? Чтобы свергнуть вас с той высоты, на которую я подняла вас из ничтожества, они устроили против меня заговор и подняли бунт. Но вы забыли об этом и в слепом безрассудстве своем обратились к тем же заговорщикам, чтобы они помогли вернуть ваши якобы утраченные права. Мятежники, разумеется, ухватились за такой шанс — еще бы, они беспрепятственно возвращаются в страну, да еще становятся хозяевами. Но только заглохло ли их недовольство? Устранены ли причины, заставившие их взяться за оружие? Вы полагаете, что милорды-предатели будут вашими верными подданными? Что это самые надежные друзья, на которых можно опереться в борьбе за утверждение своего права на корону? Думаю, вы сами знаете ответ.

Свинцовая бледность разлилась по лицу Дарнли. Неопровержимость логики Марии заронила страх в его душу. Он шагнул к креслу, бессильно рухнул в него и оттуда смотрел на жену глазами побитой собаки.

— Но тогда... Тогда почему они предложили мне свою помощь? — спросил он, окончательно сбитый с толку. — Как они достигнут своих целей?

— Как? И вы еще спрашиваете, каким образом эти коварные лисы используют вас? Да ведь вы как-никак король, и ваша подпись пока что-нибудь да значит для моих подданных. Не вы ли одним росчерком пера вернули мятежников из-за границы, не вы ли распустили парламент, который собирался осудить измену? — Мария приблизилась к его креслу вплотную; Дарнли, сраженный справедливостью ее слов, сидел, обхватив голову руками. Королева чуть мягче, но все же строго сказала: «Благодарите Бога, милорд, что они еще не получили всего,

что собирались получить, не то я не дала бы и гроша за вашу жизнь. Вас ожидает участь несчастного Дейви».

Милорд закрыл ладонями свое красивое лицо, и, пока он, съежившись, сидел так и, постанывая, раскачивался из стороны в сторону, она смотрела на него с нескрываемым торжеством. Наконец он собрался с духом, поднял голову и откинул со своего чистого лба мягкие пряди каштановых волос. Он все еще пытался найти слабое звено в рассуждениях Марии, противопоставить им свой контрдовод, но это у него никак не получалось.

— Нет, это невозможно! — воскликнул он. — Они не смогут! Не посмеют!

Мария сардонически рассмеялась.

— Ну-ну, надейтесь. Они ведь такие нерешительные... Только лучше бы вы прикинули, чего они уже успели добиться. Главное — я теперь пленница, и меня не выпустят, пока не добьются всего, чего пожелают. А может быть, и тогда не выпустят, — добавила она грустно.

— О, этого не может быть!

— Может, — твердо сказала она, а потом продолжила с новым жаром: — Вы ошибаетесь, если думаете, что сами в лучшем положении. Разве вы не такой же узник, как я? Неужели вам позволяют делать что угодно? — И, видя его возрастающий страх, нанесла рискованный удар наугад. — Меня будут стеречь, пока не вынудят добавить мою подпись к вашей и помиловать всех участников последнего заговора.

Бегающие глазки Дарнли свидетельствовали, что Мария попала в цель. Она убежденно продолжала:

— Для этого вы им и нужны. А когда ваша миссия завершится, вы станете помехой. Как только с вашей помощью предатели добьются от меня гарантий своей безопасности, они разделаются с вами. Да я просто уверена, они с самого начала собирались это сделать — избавиться от вас навсегда... Кажется, до вас доходит, наконец!

Дарнли вскочил с кресла и, сцепив руки, нервно забегал по комнате; его лоб покрылся капельками пота.

— Боже мой! — лепетал, задыхаясь, жалкий интриган.

— Да-да, милорд, вы сами себе вырыли яму.

Мария искусно нагнала на него страху. Сломленный, милорд пал перед нею на колени и схватил ее за руки, моля о прощении. Он посыпал голову пеплом и обзывал себя последним глупцом. Черт попутал его искать поддержки у ее врагов.

Мария скрыла отвращение к его трусости под маской снисходительной доброты.

— Моих врагов, — грустно повторила она. — Скажите лучше, ваших собственных. Не из любви же к вам они отправились в изгнание. Вы бездумно призвали их назад и в то же время связали мне руки. Теперь я, даже если бы хотела, ничем не смогу вам помочь.

— Вы сможете, Мари! — закричал Дарнли. — Если вы откажетесь подписать им прощение, то сможете!

— А они заставят подписать его вас и уничтожат нас обоих, — возразила Мария.

Дарнли принялся заклинять ее во имя всех святых найти выход из тупика — она такая мудрая, такая храбрая, что сможет что-нибудь придумать.

— Какой тут придумаешь выход? — спросила она безнадёжным голосом. — Все выходы охраняются. Мы оба пленники и могли бы разве что улететь на крыльях. Увы, Дарнли, боюсь, за вашу глупость мы расплатимся жизнью.

Королева играла со своим незадачливым супругом, как кошка с мышью. Под конец она позволила ему уговорить себя и обещала подумать, как им спастись, предупредив, чтобы он был осторожен и не выдал своих мыслей и намерений врагам.

Дарнли провел кошмарную бессонную ночь. Ранним утром в понедельник королева прислала за ним слугу. Когда муж явился — скромный и почтительный, Мария велела ему отправиться к лордам и передать, что, сознавая свое положение, она согласна заключить с ними сделку. Она дарует им полное прощение за все прегрешения против нее, если те, в свою очередь, присягнут ей на верность и вернут свободу.

Дарнли перепугался, но королева успокаивающе улыбнулась.

— Это еще не все, — продолжала она. — Если джен-тльмены соблаговолят начать с нами переговоры, то вы должны будете... — Остальное она прошептала ему на ухо.

Отчаявшийся было Дарнли приободрился, поцеловал ей руку и отправился выполнять поручение.

Выслушав предложение королевы, Мортон и Рутвен не выказали готовности немедленно ухватиться за него.

— Все это только обещания, — проворчал больной Рутвен, лежа на диване.

— Наверняка французские штучки, — добавил Мортон. — Научилась интриговать, а теперь, как змея,

только и высматривает, куда бы вонзить свое жало. Вас-то она еще может ввести в заблуждение и подчинить своей воле, но нас не проведешь. Она в наших руках, и без надежных гарантий мы ее не отпустим.

— Какие же гарантии вы считаете надежными? — поинтересовался Дарнли.

В эту минуту на пороге появились Меррей и Линдсей. Мортон изложил им суть дела. Меррей равнодушно прошел к окну и сел на скамью. Он протер заиндевшее стекло и принялся рассматривать зимний пейзаж. Линдсей проявил интерес к предмету дискуссии, однако высказался в духе Рутвена:

— Нас не устраивают пустые обещания, которые она нарушит с той же легкостью, с которой их раздаст.

Дарнли переводил взгляд с одного на другого, расценивая их неуступчивость как подтверждение слов своей жены. Кроме того, он обратил внимание на то, чего раньше не замечал — абсолютное отсутствие почтения к нему как к своему сюзерену со стороны этих спесивых лордов.

— Джентльмены, — сказал он, — клянусь, вы несправедливы к ее величеству. Я готов вверить свою жизнь ее честному слову.

— Ну-ну, веряйте, если вам так угодно, — усмехнулся Рутвен, — но нашими мы уж как-нибудь сами распорядимся.

— В таком случае скажите, каких вы желаете гарантий, и я дам вам любые.

— А королева? — живо поинтересовался Мортон.

— И королева тоже — по крайней мере, так она уверяла.

— Ладно, мы подумаем до вечера, — поставил точку Мортон.

Целый день лорды-протестанты думали и к вечеру изготовили документ, в котором были перечислены все их требования. Дарнли проводил Мортон с Рутвеном в сопровождении Меррея в королевскую опочивальню, где королева содержалась фактически под домашним арестом.

Мария была печальна, в слезах и оттого, как ни странно, еще более прекрасна, чем всегда. Полагаясь на известную истину, что сила женщины в ее слабости, королева рассчитывала, что слезы пролитых слез убедят заговорщиков в ее смирении и готовности покориться их воле.

Лорды преклонили колена и лицемерно склонили

повинные головы, словно испрашивая отпущения грехов. Каждый, будто за дверью не расхаживал вооруженный караул, произнес заранее заготовленную покаянную речь, после чего Мария вытерла глаза и с явным усилием взяла себя в руки.

— Милорды, — начала она дрожащим голосом, — я, по вашему мнению, кровожадна, претендую на ваши владения, и вам не оставалось ничего, кроме как идти на меня войной. Вы, не считаясь с моей королевской властью, будоражите страну заговорами и мятежами. Но я вас прощаю — в надежде на то, что моя снисходительность вызовет в ответ хоть немножко любви и преданности своей королеве. Пусть все, что произошло, будет предано забвению, но я хочу, чтобы вы поклялись, что отныне станете моими друзьями и будете верно служить на благо Шотландии. Ибо я всего лишь слабая женщина, и мне необходимы настоящие друзья.

Тут Мария несколько раз всхлипнула, но снова справилась с собой — правда, с таким трудом, что даже твердокаменный Рутвен почувствовал некоторое смущение.

— Простите мне мою слабость, — продолжала королева прерывающимся голосом. — Вы знаете, в каком я положении, и мне трудно себя сдерживать. Мне больше нечего добавить, джентльмены. Если вы со своей стороны даете слово, что все заговоры в прошлом, то я обещаю прощение и помилование всем, кто был выслан из страны за участие в мятеже, а равно и тем, кто замешан в убийстве синьора Давида. Будем жить так, будто ничего этого просто не было. Прошу вас, джентльмены, дать мне перечень необходимых гарантий, и я подпишу его в том виде, который вас устраивает.

Мортон вручил ей захваченный с собой документ, и Мария медленно прочла его, то и дело прерываясь, чтобы смахнуть набежавшую слезу. Наконец она кивнула своей золотистой головкой.

— Все верно, на мой взгляд, — заключила королева. — Здесь все так, как должно быть. — Она повернулась к Дарнли. — Будьте любезны, милорд, подайте перо и чернила.

Милорд обмакнул перо и протянул его супруге. Королева положила пергамент на небольшой пюпитр и склонилась над ним, как вдруг перо выскользнуло из ее пальцев, и она с глубоким судорожным вздохом упала на спинку кресла. Глаза королевы закатились, в лице не осталось ни кровинки.

— Ее величество в обмороке! — воскликнул Меррей, подбежав к креслу, но Мария через несколько секунд пришла в себя и смотрела на всех со слабой извиняющейся улыбкой.

— Пустяки, это пройдет, — прошептала она, приложив руку ко лбу. — Голова что-то закружилась. Мне в последние дни нездоровится... — Ее жалобная интонация и томный вид вызвали сострадание. Суровые джентльмены поневоле испытывали неловкость и раскаяние. — Может быть, вы оставите это здесь? Я немного отдохну и подпишу, а утром передам вам.

Милорды поднялись с колен, и Мортон от имени всех выразил сожаление о тех страданиях, которым они ее подвергли, и обещал искупить свою вину.

— Благодарю вас, — бесхитростно ответила Мария и шевельнула рукой. — Пожалуйста, не беспокойтесь обо мне, ступайте.

Милорды удалились, весьма довольные тем, что добились своего, покинули дворец и разъехались по домам; Меррей отправился вместе с Мртоном.

Вскоре к оставшемуся в Холируде Мэйтленду Летингтону подошла горничная королевы с просьбой явиться к ее величеству. Летингтон прошел в опочивальню. Королева лежала в постели и встретила его слезами и упреками.

— Сэр! — воскликнула она. — Я подчинилась воле милордов и удовлетворила все их требования, но одним из моих условий было немедленное изменение того унижительного положения узницы, в котором я сейчас нахожусь. А между тем двери моих покоев до сих пор охраняют солдаты с оружием и не дают моим слугам свободно входить и выходить. Так-то вы держите свое слово? Разве я не исполнила все пожелания лордов?

Пристыженный Летингтон, сознавая справедливость ее упреков, удалился в смущении и тотчас исправил положение, сняв караулы в коридоре, на лестницах и повсюду внутри дворца, оставив только стражу у ворот снаружи.

Наутро он горько пожалел о своем легковерии: ночью Мария Стюарт не только бежала сама, но и прихватила с собой милорда Дарнли. С помощью своего трусливого мужа она осуществила план, еще два дня назад задуманный ею. В полночь они под охраной нескольких слуг, пройдя не охраняемыми теперь коридорами, спустились в подвал и ушли потайным ходом, ведущим в часовню, и дальше через кладбище, мимо свежей могилы Давида Риччо. За оградой кладбища их ждали приготовленные

по распоряжению Дарнли лошади. Вскочив на них, беглецы поскакали во весь опор — напомним опять, что Мария-то была почти на сносях⁹ — и уже к пяти часам утра прибыли в королевский замок Данбар.

Тщетно надеялись одураченные лорды на гонца, отправленного к ним с требованием подписать обещанную грамоту. Слишком поздно они смекнули, что королева провела их, сыграв на трусости и глупости Дарнли.

Меньше чем через неделю пленница, выскользнувшая из лап вероломных заговорщиков, вернулась во главе армии и обратила их в бегство.

II

НОЧЬ В КЁРК-О'ФИЛДЕ

Убийство милорда Дарнли

Жизнь королевы шотландской, вообще говоря, изобиловала оплошностями. Однако нерешительность в осуществлении возмездия милорду Дарнли — возмездия, в котором Мария Стюарт поклялась в ночь убийства Давида Риччо, — была, возможно, роковой для нее ошибкой.

Итак, Риччо был убит, сама Мария, беременная будущим королем Шотландии и Англии Иаковом, находилась в плену у заговорщиков в королевском замке Холируд, а ее муж начал править как король. Королева сделала вид, что верит в невиновность Дарнли, и столь тонко сыграла на его тупости и трусости, что убедила милорда изменить своим союзникам Мортону и Рутвену, которые вместе с остальными изменниками-лордами осуществили заговор. Мария, как мы помним, убедила своего незадачливого мужа, что его новые друзья на самом деле как были, так и остались его непримиримыми врагами и, как только исчерпают все возможности использовать его титул в своих целях, уничтожат короля-консорта безо всякой жалости. Дарнли, спасая свою шкуру, предал недавних союзников, приняв участие в спектакле с подписанием королевской грамоты о полном помиловании заговорщиков. Вместе с Марией им удалось обманом отложить подписание документа до утра и в то же время ослабить бдительность лордов и избавиться от стражи, охранявшей дворцовые коридоры. В ту же ночь венценос-

ные узники, не простившись с мятежными лордами, потайным ходом покинули дворец и после пятичасовой скачки оказались в безопасности в королевском замке Данбар. Легко представить себе досаду и ярость одуряченных лордов, когда наутро они не обнаружили во дворце ни королевы, ни грамоты. Гонца, отправленного ими в Данбар за обещанной бумагой, попросту осмеяли, и он вернулся ни с чем, а Мария между тем спешно собрала войско, двинулась в поход на мятежников и обратила их в бегство.

В победе над врагами королеве вновь помогла хитрость. Действуя по принципу «Разделяй и властвуй», она теперь уже сама предложила полное прощение и восстановление в правах изгнанникам, принимавшим участие в бунте против ее замужества, но не запятнавшим себя убийством синьора Риччо. Многие лорды-протестанты, хотя последний заговор был затеян отчасти в их интересах, о нем ничего не знали и, высланные из страны, не могли повлиять на ход событий. Сводный брат Марии граф Меррей, граф Аргайл и часть их сторонников немедленно откололись от заговорщиков и с благодарностью приняли милость королевы. Дарнли покинул предателей-лордов еще раньше, и, увидев, что им больше не на кого рассчитывать, те стали искать спасения, где могли.

В конце марта Мортон, Рутвен, Джордж Дуглас, Линдсей и около шестидесяти их соратников были объявлены вне закона и заочно приговорены к смерти и конфискации владений, а некто Томас Скотт, командир стражи Холируда в дни заточения ее величества, повешен, а затем колесован и четвертован на рыночной площади в Эдинбурге.

Известие об этой казни привело беглецов в бешенство, терзавшее их тем сильнее, что главному зачинщику убийства Риччо — Дарнли, заключившему позорную сделку с главным его исполнителем, Рутвеном, — все как будто сошло с рук после того, как он торжественно и прилюдно заявил о своей непричастности к расправе над итальянцем и неосведомленности о намерениях заговорщиков. И хотя вся Шотландия презрительно хохотала над столь беспардонной ложью и трусливой наглостью, ярости Рутвена это отнюдь не погасило.

Смертельно больной Рутвен в это время лежал, всеми брошенный, в Ньюкасле на смертном одре. Там он шесть недель спустя и испустил дух, но перед этим успел нанести последний ответный удар, послав королеве ранее

подписанную Дарнли бумагу, бережно хранимую на случай его предательства.

Документ полностью изобличал короля. То было не просто свидетельство участия в заговоре, но доказательство того, что Дарнли являлся его вдохновителем и на нем лежит главная ответственность. Фактически это был приказ учинить расправу над Риччо, в награду за которую король обязался вернуть мятежникам все их права и оградить от преследований. Внизу красовалась отчетливая подпись Дарнли, скрепленная королевской печатью.

Однако удар был нанесен зря. Чуть раньше королева и мечтать не могла о таком подарке, а сейчас ей было уже не до супруга-негодяя. У Марии появилось новое увлечение — мужественный и надменный граф Босуэл.

Королева пока ограничилась тем, что, вызвав к себе Дарнли, продемонстрировала собственноручно им подписанный приговор итальянцу и, обвинив в двуличии и подлости, окончательно расторгла притворный союз, который давно ее тяготил. Мария разыграла приступ необузданной ярости и выгнала мерзавца вон. Ошеломленный неожиданным разоблачением, Дарнли пулей вылетел из ее покоев.

С тех пор королева при каждом удобном случае подчеркивала свою неприязнь к супругу, которая распространялась и на всех тех, кто пользовался расположением Дарнли. Жизнь при дворе стала для него невыносимой, и он, почуяв, что тучи сгущаются, ударился в бег:

Некоторое время Дарнли скитался по стране, но его никто не преследовал, и только двери всех знатных домов — противников или верноподданных королевы — захлопывались перед его носом. Всеми одинаково презираемый, в конце концов он оказался в Глазго у своего отца, графа Леннокса. Там король стал искать забвения в эле и бестолковых развлечениях, то гоняясь по окрестностям с собаками и соколами за дичью, то заводя случайные любовные интрижки с вульгарными особами.

Так Мария, не доведя до логического конца свои планы мести, упустила время. Не повесив мужа за измену и подстрекательство к убийству, не отправив его, на худой конец, в изгнание, она совершила роковую ошибку.

Самоуверенный, мужественный Босуэл, циничный властолюбец и грубый вояка, но в то же время образованный человек, оказался тем другом, на которого Мария могла положиться в трудную минуту. Он не бросил ее на произвол судьбы в Холируде, предводительствовал собран-

ным войском и быстро приобрел громадное влияние на королеву. Пользуясь почти безграничной властью — несравнимо большей, чем его предшественник Риччо, — Босуэл повсюду сопровождал Марию и участвовал во всех ее делах. Марии он казался олицетворением достоинства, которых были лишены оба ее законных супруга¹, и случилось то, что должно было случиться, — в ее душе проснулось чувство. Противиться ему или скрывать его было бесполезно. Это была не просто любовь, а настоящий пожар, шквал, ураган.

Дело дошло до того, что в июне, составляя завещание перед родами, Мария назначила Босуэла опекуном ребенка и регентом королевства в случае своей смерти. Единственное, что она отказала Дарнли, было бриллиантовое кольцо, которое тот надел ей на палец во время венчания. «Это кольцо в день свадьбы подарил мне король — пусть ему и остается», — пренебрежительно писала она.

Разумеется, о каком-либо возмездии королю теперь не могло быть и речи — во-первых, это выглядело бы устранением помехи с пути любовников, а во-вторых, будущему ребенку, во избежание осложнений, связанных с кривотолками о нежной дружбе королевы с Давидом Риччо, необходимо было официальное признание законного отца.

Босуэл вознесся на недостижимую высоту и, конечно, стал костью поперек горла завистливым баронам и лордам. Вся Шотландия ненавидела его за цинизм, беспринципность и жестокость.

Родился наследник; король, приехавший в Холируд на крестины, был весьма прохладно встречен Мерреем и Аргайлом; Босуэл старался вовсе не замечать его. Выздоравливающая королева при каждом удобном случае демонстрировала свое презрение к мужу и намеренно ласково обращалась в его присутствии с фаворитом. Униженный пуще прежнего, Дарнли снова удалился в Глазго.

В конце июля внезапно разразился грандиозный скандал: забыв об осторожности, королева уединилась с Босуэлом в Аллоэ. Прослышав об этом, Дарнли примчался снова, тщетно пытаясь отстоять свои права короля и супруга, но был безо всяких объяснений выгнан вон. Тут он впервые почувствовал, что его жизнь подвергается опасности, и понял, что лучше бы ему совсем покинуть Шотландию, однако, на свою беду, он не внял голосу разума. Глупая мальчишеская самонадеянность заставила

его вернуться к соколам и гончим и сделать вид, будто он ждет своего часа.

При дворе Дарнли теперь почти не появлялся. Даже когда в октябре Мария заболела и лежала при смерти в Джедборо², он показался на один день и снова исчез, хотя положение королевы оставалось опасным. Правда, на сей раз ее хворь не вызвала бы сочувствия, окажись на его месте любой другой: Мария занемогла после того, как проскакала на коне тридцать миль туда и обратно в один день, помчавшись в замок Эрмитаж в безумном страхе за своего Босуэла, получившего три тяжелые раны в пограничной стычке с контрабандистами. В Джедборо Дарнли повстречал и самого раненого Босуэла, в свою очередь поспешившего проведать Марию после известия о ее болезни. Босуэл держался более чем надменно, и, хотя пренебрежение к королю выказывали все, кому не лень, презрение со стороны любовника Марии глубоко уязвило Дарнли.

Отношения супругов достигли критической точки. Все вокруг понимали, что долго так продолжаться не может.

В конце ноября Мария набиралась сил в Крэгмиллере. Сидя перед пламенем жарко растопленного камина, похудевшая королева пыталась согреться и унять озноб. Из горностаевой оторочки ее темно-пурпурной накидки выглядывало одно только осунувшееся, прозрачное личико. Под печальными синими глазами залегли тени, отчего они казались еще больше и печальнее. Держась рукой за спинку кресла, подле нее стоял чернобородый Босуэл. Его грубое лицо с ястребиным носом нельзя было назвать красивым, но женщин оно притягивало неодолимо.

— Лучше бы я умерла! — вздохнув, сказала королева.

Граф поморщился, отбросил упавшие на лоб кудри и тоже вздохнул.

— Никогда не стал бы желать собственной смерти только потому, что кто-то стоит на пути к заветной цели, — вполголоса отозвался он. В другом конце комнаты над столом склонились восстановленный в должности секретаря Мэйтленд Летингтонский и граф Аргайл.

Мария резко вскинула голову и пристально посмотрела на Босуэла.

— Что вы такое нашептываете? — спросила она и, когда тот открыл рот, собираясь ответить, нетерпеливо подняла руку. — Нет-нет, я не поддамся дьявольскому искушению. Нужно действовать другим способом.

— Есть и другой, — невозмутимо сказал Босуэл. Он

расправил широкие плечи, обошел кресло и встал перед королевой спиной к огню. Он больше не понижал голос. — Мы все уже обсудили.

— Что именно и кто обсудил? — нервно спросила она.

— Не волнуйтесь, мы думали всего лишь о том, как разорвать связывающие вас супружеские узы. Наш добродетельный Меррей имел честь лично начать об этом беседу с Аргайлом и Летингтоном. Он полагает, что это будет благом для вас и для Шотландии. Впрочем, пусть они сами расскажут. — Босуэл усмехнулся и позвал лордов.

Аргайл и Летингтон поспешили на зов. Босуэл обратился к худощавому Летингтону, одетому в странное платье с меховой оторочкой ниже колен.

— Ее величество интересуется, как развязать гордиев узел ее замужества.

Летингтон пошевелил бровями, провел языком по губам и потер костлявые руки.

— Развязать... — удивленно повторил он. — Хм, развязать! — Глаза на лисьей физиономии хитро блеснули. — Такой вопрос предполагает ответ: не лучше ли по примеру Александра этот узел разрубить? Так было бы вернее... И навсегда.

— Нет, нет! — воскликнула королева. — Я не желаю крови.

— Однако сам Дарнли не миндальничал, когда дело касалось другого, — напомнил Босуэл.

— Это на его совести. Я же не могу взять на себя такой груз, — был ее ответ.

— Его можно обвинить в государственной измене, — вступил в разговор дородный, спокойный Аргайл, — ведь он после убийства Риччо вместе с бунтовщиками держал ваше величество под стражей.

Мария немного подумала и покачала головой.

— Слишком поздно. Это следовало сделать куда раньше. А теперь все решат, что я ищущу предлог, чтобы избавиться от мужа. — И она подняла глаза на стоящего перед нею Босуэла. — Вы упомянули, будто обсуждали это дело с графом Мерреем. Неужели его точка зрения совпадает с вашей?

Босуэл рассмеялся, представив себе, как крайне осторожный Меррей вдруг невероятным образом решился бы на подобный отчаянный шаг.

— Милорд Меррей за развод, — ответил вместо Босуэла Летингтон. — Он сказал, что вашему величеству можно вернуть свободу, просто порвав папскую буллу с

разрешением на брак. Граф Меррей, конечно, никогда не пошел бы дальше этого. И все же, мадам, если бы мы остановились на ином способе, нет причин сомневаться в том, что граф посмотрел бы на это сквозь пальцы.

Мария, казалось, не слышала окончания его речи, напряженно задумавшись сразу после слов о разводе. Ее щеки чуть порозовели.

— Ах, я тоже об этом думала! — воскликнула она. — Видит Бог, для развода у меня достаточно оснований. Как, вы говорите, его можно получить? Порвать папскую буллу?

— И после этого объявить брак недействительным, — добавил Аргайл.

Королева смотрела мимо Босуэла на огонь в камине.

— Да, — медленно промолвила она. Потом, страхнув задумчивость, повторила: — Да, пожалуй, это выход. — Но тут же новая мысль отразилась на ее лице сомнения: — Однако как же мой сын?

— Вот-вот, — хмуро подтвердил Летингтон и развел руками. — Нам кажется, в этом-то и заключается главное препятствие. Если брак объявить недействительным, это создаст угрозу праву наследования короны вашим сыном.

— То есть он станет бастардом? — вскричала королева. — Отвечайте же!

— По меньшей мере, — подтвердил секретарь.

— Таким образом, — негромко вставил Босуэл, — мы возвращаемся к методу Александра. Узел, который невозможно развязать, разрубает мечом.

Мария вздрогнула и плотнее закуталась в накидку. Летингтон поклонился ей и заговорил с мягкой, успокаивающей интонацией:

— Мадам, позвольте нам самим решить эту проблему. Мы еще подумаем и найдем такой способ избавить ваше величество от этого молокососа, который не заденет ни вашу честь, ни права вашего сына. Да и граф Меррей, видимо, нам поможет, если вы помилуете Мортон и прочих — они ведь пошли на убийство по наущению Дарнли.

Королева по очереди вопрошающе смотрела то на одного, то на другого, потом снова отвернулась к камину. Сухие поленья пылали, почти не потрескивая. Глядя на огонь, Мария чуть слышно сказала:

— Хорошо, попробуйте... Надеюсь, ваши действия не запятнают мою честь и не заставят меня терзаться угрызениями совести, — добавила она, но таким странным

тоном, что казалось, ее следует понимать буквально — дескать, она надеется, а там уж как Господь распорядится.

Все три джентльмена переглянулись. Летингтон потер ладонью подбородок и ответил:

— Положитесь на нас, мадам; мы справимся с этим делом, не вызвав неудовольствия вашего величества и неодобрения парламента.

Королева промолчала; милорды приняли ее молчание за согласие и с поклоном удалились. Разыскав Хантли и Джеймса Балфура, они впятером сошлись на том, что «набитого дурака, метящего в тираны» следует все же уничтожить физически. Но для этого необходимо, чтобы непримиримая королева помиловала Мортонa и остальных заговорщиков.

Накануне Рождества помилование семидесяти объявленным вне закона изгнанникам было подписано. Мир увидел в этом всего лишь амнистию по случаю большого праздника, однако крэгмиллерские заговорщики рассудили по-другому и втайне торжествовали. Пожалуй, они были ближе к истине — поступок Марии служил подтверждением состоявшейся сделки и согласия на любые их действия. Амнистия была попросту авансом за устранение Дарнли.

В тот же день ее величество и Босуэл уехали в замок лорда Драммонда, где провели остаток недели, а оттуда отправились в Таллибардин. Их вызывающе откровенная близость перестала быть для кого-либо тайной.

Тогда же Дарнли покинул замок Стирлинг, где, бойкотируемый дворянством и урезанный в необходимых расходах (дело дошло до того, что ему заменили серебряную посуду на оловянную), король влачил жалкое существование отверженного. В пути бедняга заболел и добрался до Глазго едва ли не при смерти. Поползли неизбежные слухи об отравлении, однако вскоре стало известно, что лицо красавчика покрылось язвами — тут, рассудили сплетники, не обошлось без заразы, подцепленной в любовных приключениях, которыми он в последнее время увлекался сверх всякой меры.

Решив, что он вот-вот испустит дух, Дарнли засыпал королеву слезливыми посланиями, которые та игнорировала, пока не узнала, что ему стало лучше. Тогда Мария наконец приехала в Глазго навестить супруга. По-видимому, до этого она надеялась, что природа позаботится об участии Дарнли и надобность в решении проблемы отпадет сама собой. Однако теперь приходилось действо-

вать. Прежде всего необходимо было перевести короля в удобное для осуществления ее замыслов место. Для этого требовалось изобразить примирение с мужем и даже более нежные чувства, дабы впоследствии снять с себя возможные обвинения.

Вообще говоря, достоверные сведения о преступных намерениях Марии Стюарт отсутствуют, однако можно с достаточной справедливостью судить о них по результату.

Дарнли лежал в постели; его обезображенное лицо прикрывал лоскут тафты. Мария выглядела растроганной. Она покаянно упала перед кроватью на колени и в присутствии приближенных — своих и короля — расплакалась. Королева говорила ласково, очень тревожилась о его здоровье и озабоченно интересовалась, чем она может облегчить его страдания. За этим последовало формальное примирение. Потом Мария объявила, что, как только Дарнли пойдет на поправку, она немедленно заберет его в более подходящее место — поближе к себе, — где ему будет обеспечен надлежащий и достойный короля уход.

— О, конечно, в Холируде мне будет гораздо лучше, — обрадовался Дарнли.

— Нет, нет, не в Холируде, — возразила королева, — во всяком случае, не сразу. Нужно подождать, пока вы не выздоровеете окончательно, чтобы не занести в Холируд болезнь, опасную для вашего маленького сына.

— Но тогда куда же?

Королева назвала Крэгмиллер; Дарнли так и подскочил в постели, лоскут слетел с его лица, и Марии с трудом удалось подавить в себе отвращение при виде усеявших его гнойников и язв.

— Крэгмиллер! — воскликнул Дарнли. — Так, значит, все, о чем мне говорили, — правда?

— О чем это вам говорили? — недоуменно спросила она, пристально глядя на мужа из-под насупленных бровей.

Дарнли простодушно выложил ей, что до него дошли сведения о готовящемся заговоре. Ему сообщили, будто его враги пытались склонить королеву к подписанию некоего документа, но она им отказала. Дарнли добавил, что не верит в способность Марии причинить ему вред, но удивлен, зачем ей понадобилось везти его в Крэгмиллер.

— Вам солгали, — отвечала королева. — Я не только не подписывала в Крэгмиллере никакого документа, меня даже никто ни о чем не просил. Клянусь вам. — (И это

была истинная правда: Рождество королева встречала в Холируде.) — А относительно переезда — вам самому решать, где вы предпочитаете поселиться.

Дарнли, откинувшись на подушки, успокоился и перестал дрожать.

— Я верю вам, Мэри, — повторил он, — верю в ваши добрые намерения. Если же кто-нибудь другой попытается на меня напасть, — заявил он хвастливо, — то дорого за это заплатит. Если только не застанет меня спящим... Но в Крэгмиллер я не поеду.

— Я же говорю — вы отправитесь куда пожелаете, — снова успокоила его королева.

Король задумался.

— Кажется, у нас есть поместье Кёрк-о'Филд. Оно считается самым здоровым местом в окрестностях Эдинбурга. Дом окружен садом, а мне как раз необходим свежий воздух. И еще мне предписаны ванны для очищения кожи от этой скверны. По-моему, Кёрк-о'Филд как раз то место, которое мне нужно.

Королева с готовностью согласилась и распорядилась выслать вперед слуг, которые должны подготовить дом и перевезти в новое жилище короля часть обстановки и убранства из Холируда.

По прошествии нескольких дней Мария Стюарт и Дарнли тронулись в путь. Короля снова охватили дурные предчувствия, но нежность и забота королевы — особенно на людях — вскоре их полностью рассеяли.

Короля поместили в верхнем этаже, уютно обставленном дворцовой мебелью. Стены его спальни украшало шесть дорогих гобеленов, а пол почти целиком был устлан восточным ковром. Кроме того, в комнату внесли великолепную, огромных размеров кровать с балдахином, принадежавшую еще матери королевы, мягкие, обитые бархатом стулья, маленький стол под зеленым сукном и несколько красных пуфов. Возле кровати для короля по предписанию врачей установили ванну, закрытую вместо крышки снятой с петель дверью.

Непосредственно под спальней Дарнли находилась комнатка, предназначенная для королевы. Здесь интерьер был поскромнее — практически он состоял из одной небольшой кровати, обитой узорчатым желто-зеленым дамаском. Окна обеих комнат выходили в огороженный сад, а дверь из опочивальни Марии вела в коридор, оканчивающийся застекленным выходом на заднюю сторону дома.

В этой комнате королева иногда оставалась ночевать — она теперь чаще бывала в Кёрк-о'Филде, чем в Холируде. Днем, если Мария не составляла компанию Дарнли, помогая ему коротать время и разгонять скуку, ее обычно видели в саду на прогулке с леди Рирз, и король, лежа в постели, часто слышал, как она что-то тихо напевала.

Так миновало двенадцать дней. Дарнли выздоравливал. Мария была с ним весела и кокетлива, словно влюбленная невеста. При дворе только и было разговоров, что об их примирении — оно обнадеживало наступлением долгожданного мира и всеобщего благоденствия в королевстве. Правда, много было и тех, кто не переставал изумляться столь молниеносной смене настроения своенравной и капризной королевы.

Со времени своей быстротечной помолвки Мария никогда не проявляла к Дарнли такой нежности и ласки. Постепенно рассеялся его страх перед враждебными замыслами баронов и лордов из ее ближайшего окружения, и он впал в блаженно-умиротворенное состояние. Однако иллюзии райской жизни длились, увы, недолго. Их неожиданно разрушил лорд Роберт Холируд, который специально приехал к Дарнли, чтобы сообщить, что по Эдинбургу ходят слухи об угрожающей королю опасности. Заговорщики якобы и не думали отказываться от вынашиваемых планов. Они не дремлют и уже наняли исполнителей. Откуда просочились такие сведения — неизвестно, но лорд Роберт прямо заявил, что Дарнли, если ему дорога жизнь, должен немедленно бежать.

Однако, когда Дарнли передал его слова королеве и та, вызвав лорда Роберта, негодуя, потребовала от него объяснений, Холируд начал все отрицать и настаивать, что его неверно истолковали — он-де говорил исключительно об опасности для здоровья короля, который, по его мнению, нуждается в другом лечении и более благоприятном климате.

Дарнли не знал, чему верить. Проснулась прежняя тревога, и только присутствие Марии давало ему ощущение некоторой безопасности. Он стал капризен и раздражителен, требовал ее неотлучного пребывания в Кёрк-о'Филде, и королева обещала ночевать в поместье как можно чаще. Она провела там ночь со вторника на среду, потом с четверга на пятницу и собиралась остаться в ночь на субботу, но вспомнила, что в этот день, 9 февраля, должен был жениться ее верный Себастьян, который служил Марии еще во Франции. Ее величество обещала

почтить своим присутствием бал-маскарад, устроенный по этому поводу в Холируде. Однако королева не бросила мужа на произвол судьбы. Вечером она прибыла в Кёрк-о'Филд и, оставив свою свиту в зале первого этажа играть в карты, поднялась наверх. Сев у постели дрожащего в нервном ознобе Дарнли, принялась его успокаивать и уговаривать.

— Не оставляйте меня, — скулил молодой король.

— Увы, — отвечала Мария, — я вынуждена. Сегодня свадьба Себастьяна, и я давно приняла приглашение на нее.

Дарнли тяжело вздохнул и зябко натянул одеяло.

— Скоро я поправлюсь, и меня перестанут угнетать эти глупые страхи. Но сейчас я без вас не могу. Когда вы со мной, я спокоен, но стоит вам уехать, как мне начинает казаться, что я совершенно беспомощен.

— Но чего же вам бояться?

— Ненависти! Ненависти, которая — я чувствую — окружает меня со всех сторон.

— Вы внушили это себе, а на самом деле...

— Что это?! — вскричал Дарнли, внезапно приподнявшись с подушек. — Вы слышите?

Снизу донеслись слабые звуки шагов, сопровождаемые каким-то непонятным гулом, будто там что-то катили или волокли по полу.

— Должно быть, слуги приводят в порядок мою комнату.

— Но ведь вы не собирались сегодня ночевать? — удивился король и крикнул пажа.

— Зачем он вам понадобился? — недовольно поинтересовалась королева.

Дарнли, не отвечая, велел вошедшему юноше сходить вниз и взглянуть, что там творится. Паж ушел исполнять поручение, но в коридоре первого этажа столкнулся с Босуэлом, который, не уступая дороги, спросил, куда идет молодой человек.

— Пустяки, — заметил граф, когда тот пролепетал ответ, — передвигают кровать ее величества, согласно ее желанию.

Если бы паж все-таки честно выполнил приказание (а ему бы позволили его выполнить), то он обнаружил бы в спальне королевы совсем иную картину: там были вовсе не слуги, а друзья Босуэла, Хэй и Хэпберн, которые вместе с преданным лакеем королевы Николя Юбером, больше известным под именем Френч Парис, возились

отнюдь не с мебелью, а с каким-то бочонком. Однако паж, подавленный величием и мощью, исходившими от неподвижного Босуэла, не посмел настаивать, повернул назад и передал королю его слова — так, будто видел все собственными глазами. Дарнли успокоился и отпустил пажа.

— Я же вам говорила! — воскликнула Мария. — Или моих слов вам недостаточно?

— О, простите, я в них не усомнился ни на минуту. Разве я могу сомневаться в той, которая проявила ко мне столько милосердия и сострадания! Но ведь вы давно здесь у меня находитесь, а кроме вас я никому не доверяю. — И он грустно вздохнул. — Как бы мне хотелось повернуть время вспять и изменить прошлое. Наверное, я слушал плохих советчиков, потому что был чересчур молод. Я делал поспешные выводы, ревновал и совершал глупости. Потом, когда вы меня прогнали, я скитался по всей стране — без друзей, без цели, без мира в душе. Меня искушал дьявол, и я ему поддался. Если бы вы только согласились предать прошлое забвению, я не пожалел бы сил, чтобы загладить свою вину.

Мария побледнела, встала и, тяжело дыша, отошла к окну. Она стояла, вглядываясь во мрак ночи, и колени ее дрожали.

— Почему вы ничего не отвечаете? — окликнул ее Дарнли.

— Ах, какого ответа вы ждете от меня? — хрипловатым голосом отозвалась королева. — Вы сами себе уже ответили. — И торопливо добавила: — Кажется, мне пора.

Послышались тяжелые шаги по ступеням лестницы и бряцание оружия. Дверь распахнулась, и на пороге появился граф Босуэл, закутанный в алый плащ. Он прислонился к дверному косяку и обвел комнату насмешливым взглядом. Лицо его при этом оставалось странно неподвижным. Граф задержал взгляд на Дарнли, отчего тот внутренне затрепетал и одновременно ощутил прилив ярости.

— Ваше величество, — обратился Босуэл к королеве, — скоро полночь.

Он пришел вовремя. Она все вспомнила и вновь укрепилась в своем решении, чуть было не поколебленном последними, тронувшими ее сердце словами мужа.

— Хорошо, иду, — сказала она.

Босуэл посторонился, пропуская ее в коридор, но тут Дарнли снова подал голос:

— Одну минуту, мадам. — И бросил Босуэлу: — Оставьте нас на два слова, сэр.

Однако Босуэл никак не отреагировал на его приказание и стоял, вопросительно глядя на Марию, пока она знаком не велела ему удалиться. Но даже и тогда он остался за дверью, чтобы быть под рукой на случай, если королева вдруг проявит признаки малодушия.

Дарнли привстал в постели, схватил жену за руку и притянул к себе.

— Не оставляй меня, Мэри, не оставляй меня! — взмолился он.

— Что такое? Почему? — вскричала она раздраженно, но голосу ее недоставало твердости. — Вы хотите, чтобы я разочаровала своего верного Себастьяна, который меня так любит и всегда готов за меня голову сложить?

— Понимаю... Себастьян значит для вас больше, чем я...

— Что за глупости! Он просто преданный слуга.

— А я — нет? Вы не верите, что отныне единственной целью моей жизни будет верная служба моей королеве? О, простите мне мою слабость. Меня сегодня гнетут недобрые мысли. Идите, если вы должны идти. Но дайте мне хоть какое-нибудь заверение вашей любви, какую-нибудь безделицу в знак того, что придете завтра снова и больше меня не покинете.

Мария внимательно посмотрела ему в лицо — еще недавно такое молодое и привлекательное, а сейчас изрытое подживающими язвами, — и сердце ее дрогнуло. Но она помнила, что за дверями ее дожидается Босуэл и может подслушать их разговор, поэтому она сдержалась, сняла с руки один из перстней и надела его на палец Дарнли.

— Пусть вас утешит этот залог, — сдавленно проговорила королева и с этими словами вырвалась из его рук и поспешно направилась к выходу.

Позже Марии Стюарт более всего остального вменяли в вину именно этот жест с подаренным перстнем. Граф Меррей осудил его как самый подлый поступок во всей этой трагедии, но, возможно, королева в ту минуту стремилась как можно скорее покончить с непереносимой сценой, лишившей ее присутствия духа, и сделала первое, что пришло в голову.

Уже держась за резную ручку двери, она вдруг замешкалась и обернулась лицом к мужу. Дарнли улыбался, и сердце Марии затопил ужас от сознания

совершаемого ею предательства. Потрясенная, она, видимо, хотела как-то предупредить Дарнли, но тут же поняла, что любое неосторожное слово только ускорит развязку и обернется трагедией уже для нее самой и стоящего снаружи Босуэла.

Борясь со своим малодушием, она вызвала в памяти образ Давида Риччо, которого Дарнли на ее глазах отдал на растерзание головорезам; она повторяла про себя слова проклятий и клятву возмездия, вспоминала иудин поцелуй и силилась найти себе оправдание. Но не находила его. Мария была истинной женщиной: никакие доводы разума не способны были подавить переполнявшее ее душу чувство. Нет, не оправдание она увидела в мысли о Риччо, а, напротив, возможность предупредить Дарнли.

Рука Марии, вцепившаяся в ручку двери, побелела от напряжения. Пристально глядя в глаза короля, пытаясь внушить ему этим взглядом скрытый смысл своих слов, она медленно произнесла:

— Год назад, приблизительно в такую же ночь, был убит Риччо, — и исчезла за порогом.

Перед лестницей королева остановилась и, повернувшись, положила руки на плечи Босуэла, шедшего следом.

— Неужели это должно случиться? Неужели это необходимо? — прошептала она со страхом.

Глаза Босуэла блеснули в полумраке; он наклонился к ней и, притянув к себе за талию, ответил вопросом на вопрос:

— А разве это не будет справедливо? Разве он этого не заслужил?

— Справедливо, — со вздохом сказала Мария. — Но мне не дает покоя мысль, что совесть наша будет нечиста, мы ведь извлечем из этого выгоду.

— И на этом основании мы должны его пожалеть? — Босуэл жестко взглянул на нее, но тут же коротко рассмеялся и настойчиво увлек королеву вниз по ступенькам. — Пойдемте! Вас ждут на балу.

Мария подчинилась его воле и шагнула в колею своей судьбы. На улице их ждали оседланные лошади, свита вооруженных дворян и полдюжины слуг с горящими факелами в руках. Какой-то человек выступил вперед, чтобы помочь королеве сесть в седло. В первое мгновение Мария этого человека не узнала — лицо и руки человека были покрыты сажей, — но, когда он назвал себя, нервно рассмеялась:

— Боже мой, Парис, вы тоже на маскарад? — И в окружении своих факельщиков и стражей поскакала в Холируд.

Дарнли лежал в своей опочивальне и размышлял над последними словами королевы. Он вспоминал интонацию Марии, ее пристальный взгляд и все более убеждался, что сказаны они были неспроста, что за ними скрывается какая-то подоплека.

Год назад... Дейви... Приблизительно в такую же ночь...

Между тем до годовщины гибели Риччо оставался еще целый месяц. И почему, прощаясь, она напомнила ему о том, что обещала забыть? Ответ напрашивался сам собой. Мария хотела предупредить его об опасности. Дарнли вновь задумался о достигших его ушей слухах, о крэгмиллерском заговоре и о предупреждении лорда Роберта. И еще он вспомнил слова королевы в день смерти Риччо:

«Негодяй! Забудьте мою привязанность... Я же ничего не забуду». — А потом ее яростный крик: — «Jamais! Jamais je n'oublierai!»

Но тут Дарнли взглянул на перстень — талисман возвращенной ему любви, и накативший было на него ужас так же быстро унялся. Конечно же, прошлое мертво и похоронено. Опасность, может быть, ему и угрожает, но Мария оградит его своей любовью, защитит не хуже стальных доспехов. Завтра, когда она придет, он прямо спросит ее, и она искренне ему все расскажет. А пока следует принять меры предосторожности на сегодняшнюю ночь.

Дарнли послал пажа запереть все двери в доме. Юноша сделал, как он велел, но одна дверь, ведущая в сад, осталась лишь прикрытой: на ней не было засова, а ключ куда-то запропастился. Однако, видя, как беспокоен господин, паж решил не сообщать ему об этом обстоятельстве.

Король приказал пажу подать ему псалтырь, чтобы почитать перед сном. Паж задремал в кресле. Минут час, и короля тоже стало клонить в сон. Около двух часов пополуночи он внезапно пробудился и резко сел в постели, тревожно прислушиваясь. Сквозь стук колотящегося в груди сердца он слышал какие-то звуки, напомнившие Дарнли о гуле, привлечшем его внимание во время визита королевы. Звуки доносились снизу, из ее комнаты; затем все снова погрузилось в тишину.

Дарнли задул свечу, выскользнул из-под одеяла и,

подойдя к окну, стал наблюдать за садом. В неверном свете молодого месяца мелькнула чья-то тень. Скованный страхом, король продолжал наблюдение и вскоре убедился, что тень ему не почудилась. Среди деревьев двигалась даже не одна, а несколько теней. Он заметил, как кто-то выскочил из дома, пересек лужайку и слился с неясной группой людей.

Что им здесь нужно? Королю будто снова кто-то шепнул на ухо: «В этот же час год назад был убит Риччо».

Дарли сорвался с места, метнулся к креслу и стал неистово трясти спящего пажу за плечо.

— Мальчик, да проснись же наконец! — сиплым шепотом бормотал король. Он хотел крикнуть, но голос ему изменил; дыхание с хрипом вырывалось из груди. — Проснись, нас окружили враги!

Юноша очнулся, и они вместе выбежали из спальни. В темноте они ощупью добрались до окна, выходящего на противоположную сторону дома. Дарли осторожно открыл его и послал пажу назад в комнату за простыней. В страшной спешке привязав простыню, они спустились по ней в сад и побежали к стене ограды.

Мальчик бежал впереди, король, так и оставшийся в ночной рубашке, за ним. Зубы его стучали от холода и страха. И в этот миг почва у них под ногами вздыбилась, и их с неимоверной силой швырнуло ничком наземь. Яркая вспышка и ужасающий грохот взрыва прорезали ночь; казалось, раскололся весь мир.

Несколько секунд король и его паж лежали оглушенные и неподвижные, и лучше бы им еще какое-то время не двигаться. Но Дарли первым пришел в себя и, пошатываясь, поднялся на ноги. Юноша тоже зашевелился. Король помог ему подняться, и, освещенные всполохами пожара, поддерживая друг друга, они снова двинулись к ограде.

Сзади послышался негромкий свист. Король оглянулся и увидел горящие руины дома, за которыми можно было различить силуэты людей. Дарли понял, что его заметили. Его выдавала белая ночная рубашка.

Крик застрял в его горле; он кинулся к стене. Паж, спотыкаясь, побегал следом. Сзади их нагонял лязг железа и топот двух десятков сапог. Через мгновение беглецы были окружены.

Король отчаянно заметался в поисках выхода из западни, но убийцы наступали со всех сторон.

— Что вам нужно от меня? Что вам нужно? — хотел он спросить властным тоном, но получилось лишь жалкое верещание.

Высокий человек в плаще до земли подошел и грубо схватил его за плечо.

— Нам нужен ты, болван! — голосом Босуэла ответил он.

Королевское достоинство, которого в Дарнли и прежде-то было едва-едва, улетучилось в один миг.

— Смилуйтесь! Пощадите! — запричитал он.

— Сейчас пошадим! — был грозный ответ. — Так же, как ты пошадил Давида Риччо.

Дарнли пал на колени и попытался обнять ноги своего убийцы. Босуэл наклонился над ним и, схватив за ворот рубашки, с треском сорвал ее с трясущегося тела. Потом набросил рукава рубашки на шею жертвы, резко натянул их и не отпускал, пока не прекратились конвульсии.

Четыре дня спустя Мария Стюарт прощалась в часовне замка Холируд с телом злодейски убитого мужа. Она долго смотрела в его посиневшее лицо — как писал современник, «взглядом не только не скорбным, но упиваясь». После этого Дарнли ночью, без лишнего шума, похоронили, выкопав ему могилу рядом с могилой Риччо. Убийца и его жертва мирно упокоились рядом.

III

НОЧЬ ПРЕДАТЕЛЬСТВА

Антонио Перес и Филипп II Испанский

— **И**это истинный испанец! — насмешливо-презрительно бросила маркиза. — Не верю! — с вызовом добавила она и, прищипорив коня, поскакала по каменистой дороге, взбирающейся вверх по склону холма.

— Я испанец, мадам! И вам придется в это поверить, — воскликнул вслед всаднице человек с изможденным, но гордым лицом. Его слова сопровождались сухим и горьким смехом, в котором не было и следа веселости. Он следил за фигурой удаляющейся всадницы до тех пор, пока ее красное платье и черная грива коня не скрылись за высокими пихтами на вершине холма. Потом, усмехнув-

шись, человек пожал плечами и, отойдя в тень деревьев, сел на большой, поросший мхом камень.

Задумавшись, он смотрел на горные вершины, на их покрытые снегом склоны, на фоне которых темнел старинный замок де Фуа. Замок был построен более двухсот лет назад, и его стены хранили следы многочисленных нападений воинственных бискайцев¹. Отдельным бастионом возвышалась неприступная башня Монтосе; под мощными укреплениями с рокотом неся речной поток. Еще ниже зеленели пастбища и пашни. Но взгляд человека был устремлен выше, на острые пики Пиренейского хребта, отделяющего Францию от Испании. Стена Пиренеев с ее неприступными вершинами, среди которых выделялся величественный двуглавый пик, вселяла в этого человека ощущение безопасности и покоя. Здесь, в Беарне, где он пользовался покровительством короля Франции и Наварры Генриха IV и гостеприимством королевского замка По, Антонио Перес мог не опасаться преследований со стороны жестокого правителя Испании Филиппа II. После стольких лет страданий, жестоких душевных и телесных мук, долгого тюремного заточения Антонио обрел наконец покой.

И лишь мысли о женщине, только что унизившей и оскорбившей его, будоражили усталую душу Антонио Переса. Лет десять назад он воспринял бы внимание знатной, молодой и красивой дамы, как должное, и охотно начал бы ухаживать за нею. В те времена Антонио был молод, богат и влиятелен. Пост государственного секретаря его католического величества Филиппа II, короля Испании, давал ему огромную власть и могущество. Фортуна баловала Антонио, и у него не было желания отказываться от тех радостей и удовольствий, которыми так щедро одаривала его жизнь. Но с тех времен миновали годы тяжелых испытаний и лишений, и сейчас Антонио Перес был лишь бледной тенью прежнего счастливого баловня судьбы. Теперь очень немного могло его взволновать или растрогать. Но интерес, который недвусмысленно проявляла к нему маркиза де Шантенак, заинтриговал его. Что, спрашивал он себя, привлекло ее в пятидесятилетнем седом человеке с усталыми глазами? Быть может, несчастья и страдания, выпавшие на его долю, вызвали в маркизе жалость; или молва, идущая о нем по всей Европе, придала ему романтический ореол?

Так гадал Антонио Перес, отдыхая в тени вековых деревьев. Уже одно то, что у него были сомнения

относительно намерений маркизы, говорило о происшедших с ним переменах. Сегодняшняя встреча и злая ирония маркизы де Шантенак убедили Антонио в его предположениях. Она усомнилась в его испанском происхождении! Можно ли выразить свои намерения яснее? Разве не вошло в поговорку, что испанец скор на любовь так же, как и на ревность? О Испания, благословенная земля жгучего солнца и ослепительных красок, страна, где вождение и благочестие идут рука об руку, где страсть и покаяние неразлучны, где сам воздух напоен любовью! Действительно, разве сын такой страны может остаться равнодушным к заигрываниям прекрасной дамы? Антонио был испанцем, и он докажет это маркизе де Шантенак! Сегодняшняя встреча разбудила его сердце, погруженное в дремотный покой. Глядя на горные вершины, Антонио принялся вспоминать давешний разговор.

Как и во время предыдущих встреч, маркиза упрекала его в том, что он никогда не бывает у нее в гостях в замке Шантенак и не отвечает на ее частые визиты в По.

— Вы молоды, красивы и одиноки, мадам! Люди же злы. Мои визиты в Шантенак могут вызвать сплетни и пересуды, — оправдывался Антонио.

— Неужели вашу испанскую гордость способно задеть злословие пустых и никчемных глупцов?

— Я думаю о вас, мадам.

— Обо мне? — Маркиза горько усмехнулась. — За моей спиной злословят уже давно. Я стараюсь не замечать косых взглядов, не слышать оскорбительного шепота. Даже слуги в этом замке дерзят мне.

— Тогда почему же вы здесь бываете? — без обиняков спросил Антонио. Но, заметив внезапно изменившееся выражение лица маркизы, поспешно добавил: — Простите меня, я знаю, что вами руководят милосердие и доброта, я ценю ваше отношение, но...

— Милосердие? — резко оборвала его маркиза и с невеселым смехом еще раз повторила: — Вы сказали, милосердие?

— Но если не милосердие, не сострадание к моим бедам — то что же?

— Об этом вам лучше спросить самого себя. — Маркиза залилась румянцем и отвела взгляд от его темных вопрошающих глаз.

— Маркиза... — Он запнулся. — Я не смею.

— Не смеете?

— Как я могу?! Я уже не молод, тело мое разбито, а душа онемела от несчастий, постигших меня. Вы же в расцвете молодости и красоты.

Маркиза посмотрела в усталое лицо, на котором страдания и беды оставили неизгладимые морщины, и мягко ответила:

— Завтра вы приедете ко мне в Шантенак, друг мой.

— Я испанец, а для испанца «завтра» не существует.

— На этот раз оно наступит. Я жду вас завтра.

Антонио поднял голову и встретил требовательный и нежный взгляд маркизы.

— Мне не следует приезжать в Шантенак. Так будет лучше.

Ее синие глаза потемнели от гнева, и в голосе прозвучала злая насмешка:

— И это истинный испанец! Не верю!

Антонио, сам того не желая, своей робостью, боязнью лишиться обретенного было покоя оскорбил молодую женщину. Он должен загладить свою вину, и сделать это единственно возможным образом — к такому решению пришел он, глядя на суровые и прекрасные вершины Пиренейского хребта.

Час спустя в одном из королевских покоев замка По Антонио Перес объявил своему верному конюшему Хуану де Месе о намерении посетить на следующий день замок Шантенак.

— Но благоразумно ли это, дон Антонио? — озабоченно спросил своего господина верный Хуан.

— Конечно, нет, — с легкой улыбкой ответил дон Антонио, — поэтому я и еду.

Утром следующего дня Антонио Перес отправился в путь в сопровождении единственного слуги. Преданный Хуан рвался поехать вместе со своим господином, но Антонио дал конюшему другое поручение. Дорога в замок Шантенак была недолгой; расстояние в три мили Антонио преодолел верхом на неторопливом муле, привыкшем возить высокопоставленных сановников святой церкви.

Хозяева Шантенака отличались знатностью, гордостью и бедностью. Родословная их была длинна, а доходы невелики. Последний маркиз де Шантенак особенно сильно страдал от этой несправедливости, но все его попытки поправить дела терпели неудачу из-за приобретенного в юности пристрастия к карточной игре. Повсюду в замке были видны признаки упадка и запустения. Он располагался на небольшом холме, у подножия которого пенился

узкий, но очень бурный поток. Высокие стены укреплений, некогда мощные угловые башни, по-видимому, раньше производили внушительное впечатление, но сейчас обветшали и начали кое-где разрушаться.

Внутри замок выглядел несколько лучше. Но и здесь остатки бывшего богатства соседствовали с легко читаемыми признаками нужды. Изысканные старинные гобелены, потемневшие от времени портреты прежних владельцев Шантенака и остатки прекрасной мебели не скрывали, а лишь подчеркивали всеобщие ветхость и упадок. Пол в центральной зале устилал свежесрезанный камыш — древний обычай, сохранившийся с незапамятных времен. Но в замке ему следовали, скорее, из желания сэкономить на коврах и одновременно придать зале бывшее баронское достоинство, чем из уважения к старине. В замке пытались поддерживать хоть какой-то порядок, но слуг осталось мало, да и те были стары и немощны. Тем не менее гостей у входа торжественно встретил престарелый, но полный достоинства сенешаль. Антонио, поручив заботу о лошадях своему слуге, вошел вслед за учтивым старцем в главную залу — пустынное и мрачное помещение. Не задерживаясь здесь, дворецкий провел Антонио в следующую комнату, которая выглядела более уютной и обжитой. Предложив подождать прихода владелицы замка, сенешаль величественно удалился.

Ждать пришлось недолго. Стремительными шагами в комнату вошла маркиза де Шантенак. Ее красота и молодость резко контрастировали с запустением, царящим вокруг. Прекрасное платье переливчатого шелка, стянутое в тонкой талии широким поясом из чеканного золота, подчеркивало глубокую синеву ее глаз; бледные щеки покрывал чуть заметный румянец, а на алых губах играла приветливая улыбка.

— Я рада видеть вас у себя, дон Антонио. — Маркиза протянула узкую руку. Антонио склонился над рукой маркизы, почти неохотно отметив безукоризненное совершенство ее формы и нежную бархатистость кожи.

— Ваша воля оказалась сильнее моего благоразумия.

— Благоразумия?! — воскликнула маркиза с улыбкой. — С каких это пор Антонио Перес снисходит до благоразумия?

— С тех пор, как я плачу слишком высокую цену за безрассудство. Вам известна моя история?

— Немного. Я знаю то, что известно всем. Вы убили королевского секретаря Эсковеда. В этом и заключается

безрассудство, о котором вы говорите? Я слышала, что причиной ссоры явилась любовь к женщине.

— Вы слышали немало. — Антонио едва заметно побледнел. — Хотите узнать еще больше? Я мог бы рассказать вам свою историю. Историю, о которой по всей Европе гуляют самые невероятные домыслы. — Антонио не сводил с маркизы внимательного взгляда. Она посмотрела на него с тревожным любопытством:

— Почему вы решили поведать вашу историю именно мне? — В ее тоне угадывалось волнение.

— Это позволит объяснить... — задумчиво произнес Перес.

— Объяснить? Но что?

— Мою сдержанность, мою бесчувственность перед вашим очарованием и вашей красотой, которые в более счастливые времена свели бы меня с ума, лишили бы покоя и поставили на колени!

— *Vive Dieu!** — тихо произнесла маркиза. — Это действительно требует объяснения.

— Я хочу вам рассказать, как стало возможным, что Антонио Перес оказался не способным ни на какое иное чувство, кроме ненависти. Хотите ли вы узнать об этом? — Антонио наклонился вперед, пристально и настойчиво глядя на маркизу. Казалось, его темные глаза состоят из одних зрачков. Несколько мгновений она смотрела в эти бездонные глаза, потом отвернулась. Бледность, внезапно разлившаяся по лицу, и вздрагивающие губы выдавали ее сильное волнение.

— Прошу вас, выслушайте меня. — Голос Антонио был мягок, но в нем чувствовались скрытые страсть и сила.

Маркиза снова посмотрела ему в лицо и заметила, что он все еще не сводит с нее пристального взгляда.

— Хорошо, — сказала она, — я готова вас выслушать. — Маркиза прошла к двум креслам, стоящим в нише у окна, и опустилась в одно из них. Ее лицо и выражение глаз скрыла глубокая тень. Откинувшись в глубоком кресле, маркиза замерла. Дон Антонио сел напротив. После долгого молчания он приступил к рассказу.

Я привожу его почти дословно, поскольку вскоре после того, как Антонио Перес поведал ей свою историю,

* Слава Богу! (фр.)

маркиза полностью ее записала. Рассказ этот хорошо согласуется со знаменитым «Relacion»*, хотя в нем больше личного и пристрастного отношения к событиям.

История Антонио Переса

— Я думаю, что эта история, — начал дон Антонио, — одна из самых печальных историй человеческой любви. Насколько это справедливо, вы поймете, если я признаюсь в том, что каждый свой день начинаю с благодарственной молитвы Господу за то, что та, которая вдохнула в меня эту любовь, обрела наконец вечный покой. Она умерла год назад, находясь в ссылке в далеком и глухом имении Пастрана. Ее звали Анна де Мендоса. Она происходила из одного из самых знатных и богатых семейств Испании и была, как вы, французы, это называете, выгодной партией. Глупцы завидуют знатности и богатству. Но, поверьте, ни то, ни другое не может защитить юную девушку, если у нее нет сильного покровителя. Анна воспитывалась в закрытом монастыре, и к тринадцати годам ее знание жизни мало чем отличалось от младенческого. В тринадцать лет юная Анна вынуждена была покинуть монастырь, чтобы по настоянию родных выйти замуж за человека, годившегося ей в отцы. Звали его Рой де Гомес, герцог Эболи. Он был первым министром Филиппа II и приобрел в Испании огромное могущество. Эболи и Мендоса давно хотели породниться, чтобы объединить свои богатства и влияние. В жертву этому стремлению и была принесена Анна. Очень скоро после свадьбы она обнаружила, что жизнь не имеет ничего общего с ее девическими мечтами. Жизнь, которую ей отныне предстояло вести, оказалась полна жестокости, ненависти и алчности.

Эболи ввел свою девочку-жену в высший свет, представил ко двору. Анна служила ему чем-то вроде украшения к наряду, незначительного дополнения к богатству и могущественному союзу, которые он приобрел вместе с ней. Вскоре после того, как Анна стала появляться с мужем при дворе, ее заметил набожный развратник Филипп II. Набожность короля Филиппа известна всему миру: он проводит дни и ночи в молитве, он налагает на себя строгие обеты, он ненавидит грех и

* 1) Любовная связь; 2) Повествование (исп.).

маловерие — особенно в других. Стремясь искоренить ересь, он потопил свободолюбивых фламандцев в крови. Он хотел бы поступить так же и с англичанами, но ему это не удалось. Он ведет войны во славу святой церкви, но не потерпит ее вмешательства в свои личные дела. Он является, как вы изволили выразиться, мадам, истинным испанцем.

Я опушу подробности. Выпуклые глаза Филиппа заметили юную красоту Анны. Ее муж был весьма предан своему королю. Поведение герцога было логичным и последовательным. Он взял в жены Анну де Мендоса ради удовлетворения своих амбиций, и едва ли что-то могло остановить его на этом пути. Анне было сказано, что любовь самого короля — это величайшая честь, за которую нужно благодарить Бога. Ведь король ближе к Нему, чем любой другой смертный. В своей короткой жизни Анна не принадлежала себе ни дня, она всегда была собственностью, игрушкой других. Могла ли она всерьез противиться притязаниям самого короля? Двор Филиппа был мрачен и малолуден, у Анны не было ни друзей, ни близких, ей не у кого было просить помощи и поддержки. Будь я в то время при дворе, я нашел бы способ не допустить случившегося. Но мне тогда было не намного больше лет, чем Анне, и я не был еще втянут в водоворот придворной жизни.

Анна стала возлюбленной рахитичного государя и родила ему сына, герцога Пастранского. Герцог Эболи сделался еще могущественнее и богаче, более прежнего расположил к себе короля. Я появился при дворе спустя шесть лет после случившегося. Мой отец устроил меня на место секретаря герцога Эболи. Из сплетен, в изобилии гулявших по дворцовым коридорам, я узнал историю жены герцога и преисполнился к ней жалости и сочувствия. Когда же я впервые увидел донью Анну, то был поражен в самое сердце ее красотой и достоинством. Пытаясь заглушить в себе проснувшуюся любовь, я скрывал свои чувства, вел беспутную жизнь. Жена могущественного министра, возлюбленная самого короля! Мог ли я оспаривать ее у сильных мира сего?! Но меня останавливало и еще одно обстоятельство: мне казалось, что Анна любит короля. Будучи неискушенным и неопытным, я удивлялся этому. Филипп II, несмотря на свой довольно молодой возраст, был худосочным и болезненным человеком маленького роста, с рахитичными журавлиными ногами. В лице его можно было бы найти много комичного, не будь

его выражение таким жестоким: выступающая нижняя челюсть, всегда приоткрытый рот, нелепый желтый пучок редкой бородки и выпуклые, как у лягушки, глаза. Возможно, Филипп и был рожден великим королем, но внешность у него была неприятной и отталкивающей. Несмотря на это, прелестная донья Анна, казалось, любила его.

В течение десяти лет я скрывал свою любовь. Я женился. Женился так же, как и сам Эболи, — моя женитьба была продиктована расчетом и являлась, по сути, соглашением двух сторон. Но мне повезло — вряд ли можно было найти более верную жену, чем Хуана Коальо. У нас появились дети; семейная жизнь протекала спокойно и гладко. Мне уже стало казаться, что моя невысказанная страсть к герцогине Эболи умерла. Видел я ее редко, мои обязанности и моя занятость росли вместе с быстрым продвижением при дворе. В двадцать шесть лет я стал министром и одним из первых лиц в партии, возглавляемой герцогом Эболи. Неожиданно для себя я попал под влияние этого подозрительного и мрачного человека. Крайне неприятный в общении, нечистоплотный в делах, Эболи тем не менее обладал какой-то странной демонической притягательностью, способностью пробуждать в людях преданность к себе. Мне стало легче понять Анну, привязанную, несмотря ни на что, к своему мужу. От странных чар Эболи мне удалось освободиться лишь после долгих лет гонений.

Когда в 1573 году герцог умер, мой авторитет был уже столь огромен, а расположение короля так велико, что я получил пост государственного секретаря короля Испании, не приложив к тому никаких усилий. Антонио Перес стал вторым человеком в Испании, уступая лишь своему королю. Не думаю, что в истории этой страны был когда-либо министр, пользующийся такой благосклонностью монарха, какою пользовался я. Даже сам Эболи в свои лучшие времена не был столь высоко ценим Филиппом II, не обладал такой властью и таким могуществом. В моих руках сосредоточилась вся внешняя и внутренняя политика Испании; стареющий король полностью доверял мне.

Вместе с могуществом пришло и богатство. Меня окружали толпы льстецов и подхалимов, моего расположения домогались прекраснейшие женщины королевства, любое мое желание исполнялось мгновенно. Не забывайте, что я был молод, мне едва исполнилось тридцать лет.

Высота положения пьянила меня и тешила мое самолюбие. Я с головой ушел в удовольствия, охотно принимая любые дары фортуны. Но даже в самые сладостные мгновения своей жизни я не забывал о делах. Я занял в своей партии место герцога Эболи, хотя формальным главой оставался Кирогa, архиепископ Толедский. Противостояли нам герцог Альба и его сторонники. Король незаметно подогревал противоборство двух партий в своем государстве. Он старался не отдавать предпочтения никому из политических противников, в равной степени благоволил к обеим партиям, давая преимущество то одной, то другой. Ему нравилось соперничество двух политических группировок, и он разжигал его, не становясь ни на чью сторону. Но в те дни наша партия, благодаря моим отношениям с королем, получила полную и безраздельную власть. Герцог Альба был повержен.

Столь высокое положение всегда таит в себе опасность. Голова, поднятая слишком высоко, может в любой момент взлететь еще выше — на кол. Перед вами живое свидетельство справедливости этого утверждения. Но до сих пор я не уверен, пошатнулось бы мое положение, если бы не любовь. Пламя такой силы, один раз зажженное в человеческом сердце, не может угаснуть в течение всей жизни. Время и заботы могут присыпать его пеплом, но в глубине будет продолжать тлеть огонь, и первый же порыв ветра вновь раздует это пламя.

Через несколько месяцев после смерти герцога Эболи король решил, что я, как официальный преемник почившего, должен нанести визит его вдове для уточнения некоторых вопросов, связанных с наследством. Донья Анна после смерти мужа занимала прекрасный дом в центре Мадрида, напротив дворца святой Марии. Требовалось изучить документы, оставленные герцогом. Это отняло несколько дней. Владения Эболи были не только огромными, но и довольно разбросанными. Донья Анна проявила житейскую мудрость и с интересом пыталась вникнуть в дела. На мою беду, ее особенно сильно заинтересовало одно из поместий. Речь шла о небольшом участке земли в Велесе². По-видимому, Анна была привязана к тем местам и, не обнаружив упоминания о Велесе в бумагах мужа, пришла с вопросами ко мне. Я ей ответил, что по поводу этого владения уже сделаны распоряжения.

— Уже сделаны? — с улыбкой недоумения спросила она. — Но кем?

— Герцогом, вашим супругом, незадолго до его кончины.

Донья Анна подняла на меня взгляд в ожидании дальнейших разъяснений. Поскольку я молчал, стоя рядом с креслом, в котором она сидела, донья Анна нахмурилась и спросила:

— Что за таинственность? К кому же перешел участок?

— К некоему Санчо Гордо.

— К Санчо Гордо? — Она нахмурилась еще больше. — К сыну прачки? Не будете же вы утверждать, что он купил эту землю?

— Нет, он получил ее в дар от вашего супруга.

— В дар?! — рассмеялась она. — Это означает, что ребенок прачки является сыном Эболи! — Донья Анна снова рассмеялась, и смех ее был полон холодного презрения.

— Сеньора! — воскликнул я, напуганный ее тоном. — Уверяю вас, это слишком смелое предположение. Герцог...

— Не продолжайте, — прервала она меня. — Не думаете ли вы, что меня беспокоит появление еще одного врага? Мой муж в могиле, и это лучшее, что он совершил. Жаль, что он вообще жил на свете.

Ее неподвижный взгляд был устремлен в пустоту, лицо застыло в каменной неподвижности. Слова давались ей с заметным трудом:

— Знаете ли вы, что значит долгие годы подвергаться унижениям? Не остается ни гнева, ни гордости, никаких других чувств. Ничего, кроме холодной и яростной ненависти. Вам это трудно понять, дон Антонио. Но именно это произошло со мной. Вам трудно представить, чем была моя жизнь все эти годы. Этот человек...

— Он мертв, сеньора.

— И я надеюсь, что его душа в аду. — Голос ее был все так же бесстрастен. — Лучшего он не заслужил за то зло, которое причинил слишком многим. Он женился на мне ради карьеры и денег; ради них он торговал мною, использовал меня, лишил меня гордости, чести, надежд... — Она замолчала.

Любовь и печаль переполняли мое сердце, и стон вырвался у меня прежде, чем я успел его сдержать. Донья Анна надменно вскинула голову:

— Я полагаю, вы испытываете ко мне жалость. Это моя вина. Мне не следовало начинать этот разговор. Страдания нужно переносить молча — для того, чтобы сохранить хотя бы внешнее достоинство. Иначе есть

опасность вызвать у людей жалость к себе, а от жалости до презрения один шаг.

Голова у меня закружилась, и из глубины моего истстрадавшегося сердца вырвались слова:

— Но только не у меня! Не у меня! — Больше ничего добавить я не смог. Грудь мою сдавило; в сильнейшем волнении я протянул ей руку. Анна неуверенно поднялась. Она посмотрела мне в глаза, и во взгляде ее читалось напряженное ожидание. Справившись с охватившим меня волнением, я продолжал:

— Простите меня! Мое сердце разрывается на части, когда я слышу от вас эти признания. Все эти долгие годы мои привязанность и преданность королю и герцогу Эболи были отравлены сознанием того, что они сделали с вами. Вам претит моя жалость. Но если мое чувство — жалость, то, поверьте, никто не имеет на него больше прав в этом мире, чем я!

— Но кто дал вам право жалеть меня? — Герцогиня стояла неподвижная, бледная; ее напряженный взгляд не отрывался от моего лица.

— Сами небеса, наверное. Все, что вам пришлось пережить, я пережил вместе с вами. Когда я попал ко двору, ваша судьба была уже решена. Узнав о том, что с вами сделали, я возблагодарил Бога за то, что мне не пришлось стать свидетелем вашего бесчестия. Но всегда, когда я встречал вас, когда видел вашу задумчивую красоту, ваше пленительное изящество, ваше редкое достоинство, кровь вскипала в моих жилах. Мысли об убийстве и мести начинали тесниться в моей голове.

Вздвогнув, она отшатнулась от меня:

— Но почему?

— Потому что я люблю вас! Люблю с того самого дня, когда впервые увидел. К несчастью, наша встреча произошла слишком поздно, мне не на что было надеяться... — Я произнес все это на одном дыхании, не глядя на Анну, до боли впившись руками в подлокотники кресла.

— Антонию... — Что-то в ее голосе заставило меня вскинуть голову. Бледность сошла с ее щек, губы трепетали, и казалось, что вся она горит. В глазах ее читалась мольба.

— Антонию, я никогда не подозревала об этом, никогда не догадывалась...

Я с изумлением, не веря себе, смотрел на нее.

— Почему же вы скрывали то, что могло бы поддержать

меня в трудную минуту, вселить в меня мужество и силу? Ведь я когда-то тоже надеялась, ждала...

— Вы надеялись и ждали?!

— Я надеялась, мечтала. Я ждала вас, Антонио.

Я протянул к ней руки, она упала в мои объятия и разрыдалась. Разум мой от всего услышанного почти помутился, сердце колотилось в груди от смешанного чувства радости и боли. И, право, для боли было гораздо больше оснований, чем для радости.

Весь вечер мы не разнимали рук, не могли отвести друг от друга глаз. Многие были сказано, многое поведено. С горечью мы убедились, что изменить уже ничего нельзя. Мы оба были связаны, и связаны очень прочно. Анна — королем, чья ревность была бы страшна, а я — семьей, женой и детьми. Наша встреча произошла слишком поздно. Мы расстались, приняв твердое решение попытаться забыть друг друга, не искать встреч, смириться с существующим положением вещей. Три томительных месяца соблюдали мы данное друг другу слово.

Моя жизнь после разговора с Анной круто изменилась. Я потерял интерес к прежним развлечениям, шумным попойкам с друзьями, перестал волочиться за женщинами. В душе моей росло доселе неведомое мне чувство вины перед моей женой Хуаной. Наша с Анной чистая и глубокая любовь отрезвила меня, заставив взглянуть на мир по-иному. Старые приятели посмеивались, не узнавая прежнего беспутного Антонио Переса. Я не обращал внимания на эти насмешки, проводя большую часть времени со своей семьей. Но мысли мои были полны одной Анной, любовь к ней теснила мне грудь. Через три мучительных месяца мы не выдержали, утратив способность сопротивляться страсти, полностью захватившей наши души, и вручили нашу любовь и наши жизни Богу.

Мы берегли нашу любовь, как могли, действуя со всей осторожностью и осмотрительностью, хранили наши встречи в глубочайшей тайне, и никто в целом мире не догадывался о них. Так продолжалось четыре года. Четыре года мы были счастливы, упиваясь друг другом. Предосторожности, к которым мы прибегали, объяснялись одним — страхом перед мстью короля, которая была бы ужасной, узнай Филипп о нашей любви. Мы смогли бы хранить ее в тайне и дальше, но неумолимая судьба распорядилась иначе.

Вы, вероятно, слышали о Доне Хуане Австрийском, внебрачном сыне Карла V, единокровном брате Филиппа

II. Дон Хуан был полной противоположностью своему брату. Насколько мрачен и неприветлив был Филипп, настолько весел, бесшабашен и искренен был Дон Хуан; насколько нелепа и уродлива была внешность одного, настолько красив и изящен был второй. Истинный Баяр³ наших дней, воплощение благородного рыцарства, Дон Хуан был известен как великий полководец. Славу эту принесла ему победа при Лепанто⁴, и он еще укрепил ее покорением в 1573 году Туниса. Возможно, блестящие победы слегка вскружили ему голову, но не забывайте, что Дон Хуан в ту пору был еще очень молод и как-никак являлся сыном императора. После громких военных побед у него появилась мечта, простительная в его положении, — он стал грезить о короне. Дон Хуан не делал из этого секрета; ему хотелось создать собственную империю, столицей которой мог бы стать Тунис. Но его мечты и намерения совершенно не совпадали с образом мыслей Филиппа II, в планы которого не входило основание Доном Хуаном собственного государства. Доблесть, отвага и полководческий талант брата требовались королю для укрепления его собственного могущества и славы.

Если бы не планы и мечты Дона Хуана и не вмешательство в его дела некоего Эсковедо, то, возможно, наша тайна так бы и осталась нераскрытой, нам бы удалось сохранить любовь и уцелеть самим. Но жизнь распорядилась по-своему. Эсковедо, как и я в свое время, являлся секретарем Эболи и после смерти герцога получил место в королевском совете. Должность была весьма скромной, но король благоволил к нему, считая его человеком неглупым и услужливым. Возможность выслужаться перед королем не заставила себя долго ждать. По правде сказать, эту возможность Эсковедо предоставил я сам, и, используя ее с умом, он мог бы пойти очень далеко — гораздо дальше, чем позволяли ему собственный талант и происхождение. Возможность заслужить расположение и благодарность короля была связана с делами Дона Хуана Австрийского.

К тому времени я уже стал хранителем всех секретов короля, знал все сокровенные желания Филиппа II. Не являлось для меня тайной и нежелание короля видеть своего брата коронованным. Непомеренные амбиции Дона Хуана пугали его. Мне же было очевидно, что не последнюю роль в их росте играет секретарь Дона Хуана, который, возвышая своего господина, стремился прежде

всего к усилению собственного влияния. Я рассказал об этом своем наблюдении королю. Филипп, не долго думая, потребовал удалить этого человека.

— Этого недостаточно, — ответил я королю, — нужно не только устранить секретаря, но и поставить на его место человека, преданного вашему величеству, который будет не только оказывать нужное нам влияние на Дона Хуана, но и сообщать нам обо всех его планах и намерениях.

— У вас есть кто-нибудь на примете? — с интересом спросил король.

Я на мгновение задумался, но быстро вспомнил об Эсковедо. Он обладал обаянием, манерами, был честолюбив, неглуп, и я считал его преданным королю. У нас с ним сложились неплохие отношения, я слыл его другом и покровителем. Словом, он подходил для этого дела, и я рад был оказать ему услугу. Все это я высказал королю, и дело было решено.

Но все вышло не так, как я рассчитывал. Эсковедо не оправдал моих ожиданий. Хотя он действительно очень быстро вошел в доверие к Дону Хуану, но сам, в свою очередь, оказался в плену огромного обаяния и амбициозных планов своего нового господина. Путь наверх, который я ему проложил, показался Эсковедо долгим и утомительным по сравнению с тем, что рисовался в мечтах Дона Хуана. Он поддался этим грезам так же, как и его предшественник. Отличие состояло лишь в том, что Эсковедо был гораздо энергичнее и напористее. Эсковедо стал не просто поддерживать и поощрять планы Дона Хуана — он принялся развивать их, изобретая новые пути к достижению цели. В мире к этому моменту произошли некоторые изменения. Тунис снова был захвачен турками, и все надежды Дона Хуана, связанные с тунисской империей, рухнули. Но Эсковедо обратил взор своего господина на новую возможность, фантастическую и реальную одновременно: он предложил ему заполучить английскую корону.

У Филиппа тем временем появились свои планы относительно Дона Хуана. Дела во Фландрии в результате бездарного правления герцога Альбы шли из рук вон плохо. Вся Северная Фландрия была охвачена мятежами еретиков. Филипп решил, что его брат, как признанный полководец, должен возглавить армию, собранную для подавления фламандского пожара. Эсковедо пришла в голову мысль, что если Дон Хуан одержит победу во

Фландрии, то можно будет подумать и об Англии, о походе на королеву-еретичку Елизавету и освобождении из заточения Марии Стюарт. Но Дон Хуан пошел в этих планах еще дальше. В мечтах ему уже виделась женитьба на освобожденной шотландской королеве и как следствие английская корона. Дон Хуан по совету Эсковедо обратился за поддержкой в Рим. Движимый давней ненавистью к английской королеве, святой престол охотно поддержал эти планы. Эсковедо отправился в качестве секретного посланника Дона Хуана в Рим для детального обсуждения замысла.

Я узнал обо всем этом от папского нунция в Мадриде, явившегося с известием от его святейшества.

— Я получил послание из Рима, — начал он, отвесив поклон, — в котором его святейшество поручает мне передать Дону Хуану его благословение на поход с целью овладения английской короной и устранения ереси по ту сторону Ла-Манша.

Известие это явилось для меня совершенной неожиданностью. О происках святой церкви, направленных против английской королевы, я знал давно. Еще три года назад секретный посланник шотландской королевы итальянец Ридольфо явился к Филиппу II с предложением о походе Испании на Англию для восстановления там католичества и коронования Марии Стюарт. Тогда герцог Альба отговорил короля от этой затеи, считая, что экспедиция потребует огромных расходов, тогда как успех ее предсказать трудно. И вот эта идея возникла вновь, но в несколько измененном виде.

— Но почему именно Дон Хуан Австрийский должен возглавить этот поход? — спросил я.

— Он известен как ревностный борец за веру. Он прекрасный полководец, и, кроме того, у шотландской королевы должен быть муж-католик.

— Но у Марии Стюарт хватало мужей.

— Его святейшество, по-видимому, не разделяет вашего мнения, — вкрадчиво ответил нунций.

— А что думает по этому поводу король Испании?

— Его католическое величество всегда был послушным сыном матери-церкви, — елеинным голосом произнес папский посланник.

Но мне-то было известно, что король сам, и только он один, определяет меру своего послушания церкви.

— Вы сейчас отправитесь к королю с этим сообщением? Можно устроить немедленную аудиенцию, — предложил

я в надежде стать свидетелем унижения напыщенного нунция. Но мой расчет не оправдался.

— Нет, — дерзко ответил мне святой отец, — мне предписано сначала увидеть некоего Эскоду, с которым я должен обсудить, как представить это дело его величеству. Я хотел бы получить у вас сведения об этом Эскеде. Вы знаете его?

— Эскода? Никогда не слышал этого имени. Возможно, он прибыл из Рима?

— Нет, нет. Странно, что вы не слышали этого имени. — Святой отец, нахмурившись, извлек из складок своей сутаны пергаментный свиток. После небольшой паузы он по буквам прочел: — Хуан де Эскода.

Только тут меня осенило:

— Вы, по-видимому, имеете в виду Хуана де Эскове-до, — с улыбкой сказал я.

— Да, да, конечно же, Эсковеда, — со вздохом облегчения согласился нунций. — Так кто он? И где я могу его найти?

— Эсковеда служит секретарем Дона Хуана и сейчас на пути из Рима в Мадрид.

— Тогда я ничего не буду предпринимать до его прибытия, — заявил святой отец, и на этом наш разговор закончился.

Меня поразила неосторожность Эсковеда. В послании из Рима ничего не говорилось о том, что планы Дона Хуана нужно хранить в тайне от короля и меня или что участие самого Эсковеда также следует держать в секрете. Неблагодарумие было поистине удивительным. После того, как папский посланник удалился, я немедленно отправился к королю с докладом о его визите. Филипп был ошеломлен и разгневан моим рассказом; никогда прежде я не видел его в такой ярости. Филипп не из тех, кто дает волю своим чувствам, он всегда сохранял внешнюю невозмутимость. Но на этот раз его лицо исказилось до неузнаваемости, пальцы нервно теребили редкую бородку, а глаза налились кровью. Думаю, что, если бы Эсковеда находился сейчас в пределах досягаемости короля, ему было бы нелегко спасти свою шкуру. Подождав, пока ярость короля немного утихнет, я принялся излагать ему свой план дальнейших действий.

— Дона Хуана нечем заменить во Фландрии, — спокойно начал я.

Король гневно вскинул на меня глаза.

— Там он вам пока полезен, — продолжал я, не

обращая внимания на то, что королевский гнев мог обратиться против меня. — Продолжайте использовать его в своих интересах, ваше величество.

— Вы предлагаете мне согласиться с планом папы? — недоуменно и сердито спросил Филипп.

— Да, согласитесь. Точнее, уступите.

— Уступить?! Мне?! Вы сошли с ума, дон Антонио!

— Уступите на словах, создайте видимость уступки. Вам надо выиграть время. Не соглашайтесь прямо, ответьте неопределенно, дайте понять Риму, что сначала нужно уладить дела во Фландрии, а затем можно подумать и об Англии. Это окрылит вашего брата, придаст ему сил для скорой победы над фламандцами. Вы же, в сущности, ничем себя не свяжете.

— А эта собака Эсковедо?! Так и оставить без внимания его измену?!

— Собака обычно выдает себя лаем. Мы будем внимательно следить за действиями предателя. Он, похоже, доверяет мне — воспользуемся этим. Когда же он станет нам бесполезен, накажем его безо всякого снисхождения! Эсковедо получит по заслугам, но час возмездия еще не настал, государь!

Король погрузился в раздумья. В молчании он ходил по комнате, потом с видимой неохотой дал согласие пока не трогать Эсковедо, но велел ни на мгновение не выпускать из виду Дона Хуана и его секретаря.

Прошло две недели. Король успокоился, к нему вернулись его обычные невозмутимость и хладнокровие. Дон Хуан, прибывший в Мадрид, был приятно удивлен неожиданной благосклонностью короля к его фламандскому плану. Эсковедо к этому времени вошел к нему в полное доверие, и, когда Дон Хуан отправился с армией во Фландрию, секретарь остался его доверенным лицом в Испании. Я внимательно следил за действиями Эсковедо. Это было нетрудно, так как он на самом деле доверял мне.

К моему удивлению, Эсковедо оказался не столь способным и ловким, как я предполагал. Он не скрывал своих намерений, повсюду похвалялся открывающимися возможностями и начисто был лишен терпения, так необходимого в дворцовых интригах. Дела во Фландрии шли довольно вяло, армия действовала не слишком успешно, фламандцы же, наоборот, оказывали решительное сопротивление испанским войскам. Но неудачи Дона Хуана не смущали Эсковедо, он без конца надоедал

королю и мне своими напоминаниями об обещании поддержать его господина. Не проходило и дня, чтобы Эсковедо не попросил аудиенции у короля или у меня. Его назойливость переходила всякие границы, он непрерывно жаловался на медлительность и нерешительность наших действий, упрекал, что мы бросили Дона Хуана на произвол судьбы. С каждым днем тон его речей становился все менее и менее уважительным. Король, поддаваясь моим уговорам, терпел его выходки, не давая своему гневу обрушиться на голову интригана. Мне было жаль Эсковедо, ведь я втянул его в эту историю, которая не могла кончиться для него добром. Кроме того, у меня сохранялась малая толика расположения к нему. Но летом 1576 года Эсковедо зашел слишком далеко: он написал королю письмо, полное яростных упреков в бездействии и презрительных отзывов о королевской политике. Я, зная содержание этого послания, пытался образумить его, охладить его пыл. Но все было напрасно.

— Друг мой, — говорил я ему, — попытайтесь прислушаться к голосу разума. Вы вступили на очень скользкий и опасный путь. Гнев короля может быть ужасен, вы рискуете уже не только своей карьерой, но и головой.

Но подобные увещания только подливали масла в огонь, и я добился лишь того, что его ярость обратилась на меня. Он стал обвинять меня в том, что я мешаю ему в осуществлении его планов, не пытаюсь склонить короля на сторону Дона Хуана. Я не хотел с ним ссориться, поэтому оставил брань без внимания. Он отправил-таки письмо, и гнев короля был неописуем. Я вновь, как мог, пытался успокоить государя.

— Несдержанность этого человека нам выгодна, — убеждал я Филиппа. — Гораздо хуже было бы, будь он скрытным; его опрометчивость в словах и делах нам только на руку.

Но все было напрасно. Филипп отказывался даже слушать о снисхождении к наглецу; жажда крови наполняла его сердце. И только внезапный отъезд Эсковедо во Фландрию, скорее напоминавший бегство, позволил ему остаться в живых.

А дела во Фландрии шли все хуже и хуже; надежды на победу, а, значит, и на английский трон таяли, становились все призрачнее. Когда стало ясно, что большего на этом пути достичь невозможно, Дон Хуан под влиянием того же неутомимого Эсковедо обратил свой взгляд на саму Испанию. Король дряхлел, и Эсковедо

считал, что Дон Хуан после смерти короля может претендовать на регентство при малолетнем инфанте. Он написал мне письмо с просьбой помочь ему убедить в этом Филиппа.

Я явился с этим письмом к королю. Тот попросил меня сделать вид, что я согласен выслушать предложения его брата. Необходимо было вытянуть из Эсковедо как можно больше сведений, разобраться в том, каким способом хотят они достигнуть своей цели. Я ушел, оставив короля в мрачном и подавленном настроении. Филиппа впервые всерьез испугала напористость брата и изворотливость его секретаря.

Итак, я отправил Дону Хуану письмо, в котором постарался убедить его в своей лояльности. Я попросил его остаться во Фландрии еще на какое-то время, попробовать добиться перелома в борьбе с мятежниками и, если удастся, заключить мир. Эсковедо тем временем неожиданно объявился в Мадриде. Я выяснил, что Дон Хуан для продолжения войны во Фландрии попросил помощи у папы. А Эсковедо с той же целью приехал в Мадрид — искать в Испании поддержки для победы над фламандцами. К тому времени был достигнут хрупкий мир, который полностью устраивал испанского короля, поскольку казна была опустошена и средств на продолжение войны попросту не было. Но мир длился недолго, вскоре Дон Хуан начал наступление, захватил Намр и провозгласил себя его правителем. Действия его полностью противоречили приказам короля, а требование помощи, изложенное Эсковедо в категоричных выражениях, переполнило чашу терпения Филиппа.

— Моя воля ничего не значит для этих двоих, — с горечью делился он со мной. — Я приставил Эсковедо к брату, чтобы тот оказывал на него необходимое мне влияние. Но этот выскочка лишь подогрел амбиции Дона Хуана. Мне надоело терпеть наглость этого человека, с ним надо покончить раз и навсегда! Никогда прежде я не встречал никого, столь подлого и столь жадного до власти, как эта собака Эсковедо! Если его сейчас не остановить, то он сумеет добиться успеха своего хозяина во Фландрии, а там, глядишь, и в Англии. Он может принести еще очень много вреда. Он должен умереть! И как можно скорее!

И снова мне пришлось умирять гнев Филиппа, как я делал уже не раз. Вновь я спас Эсковедо от неминуемой смерти, о чем этот безмозглый глупец и не подозревал.

В течение последних последующих месяцев положение дел оставалось очень неопределенным, боевые действия протекали вяло, не было ни мира, ни войны. Перелом наступил в январе 1578 года, когда война разгорелась с новой силой. На этот раз на стороне фламандцев выступила Англия, давний недруг Испании. Испанская армия под предводительством Дона Хуана одержала крупную победу при Жамблу. Она несколько подняла настроение короля и частично рассеяла достигшее предела недоверие к единокровному брату. Филипп стал спокойнее относиться к категоричным требованиям брата поддержать его деньгами. Дон Хуан прекрасно понимал, что потеря Фландрии означает для него прощание с надеждами на английскую корону. Осознание этого факта вызвало оживление деятельности Дона Хуана и Эсковедо. Последний непрерывно крутился возле меня, убеждая, умоляя, требуя склонить короля на их сторону. Кроме этих навязших в зубах разговоров, он стал надоедать мне просьбами помочь ему получить должность коменданта замка Могро. Замок Могро располагался у моря, над портом Сантандер. Меня заинтересовала эта настойчивая просьба. Я совершенно не понимал, какие цели преследует Эсковедо, добиваясь желанного назначения.

Вскоре произошло еще одно событие. От испанского посла во Франции мы узнали, что Дон Хуан заключил с герцогами де Гизами союз, именуемый «Защита двух корон». Цели его были столь же туманны, как и название. Это известие вновь разожгло ослабевшее было недоверие короля к своему брату. Как-то раз я был свидетелем встречи двух братьев, когда король набросился на Дона Хуана с яростными упреками, что тот замышляет заговор, желая занять его место. Стараясь быть справедливым, я постарался внести в этот вопрос некоторую ясность:

— Вас плохо информировали, ваше величество, — обратился я к Филиппу, — этот союз не является делом рук вашего брата. При всех своих мечтах о королевском престоле Дон Хуан предан вашему величеству.

— Вы знаете, что такое искушение? — спросил меня король, когда мы остались наедине. — У искушения существует порог, за которым человек, как бы он ни был силен, не способен уже ему сопротивляться. Негодяй Эсковедо искушает моего брата изо дня в день, избобретая все новые и новые планы завоевания престола. Насколько еще хватит преданности Дона Хуана, ответьте мне! Поверьте, Антонио, я больше не чувствую себя в

безопасности. — Некрасивое лицо Филиппа покрылось красными пятнами, его пальцы нервно теребили редкую бородку. — Я чувствую угрозу, исходящую от Эсковедо, и это чувство усиливается с каждым днем. Удар может обрушиться в любую минуту. Этот человек должен умереть прежде, чем он сможет убить меня.

Я пожал плечами, считая, что король сильно преувеличивает значение Эсковедо.

— Государь, он всего лишь жалкий интриган и фантазер. Ничтожество, вообразившее себя невесть кем. Но он нам все еще полезен. Его смерть лишит нас последнего источника информации о планах и действиях Дона Хуана. — Я успокаивал короля, как мог, но и сам я уже был заражен его тревогой и опасениями. Мне хотелось выполнить свой долг перед Филиппом, но в то же время я не желал Эсковедо смерти. Поэтому я тянул, выжидал и, в сущности, бездействовал, надеясь, что время расставит все по своим местам. Но Эсковедо сам подтолкнул меня к решительным действиям.

Королевский двор — отвратительное место. Грязные слухи и досужие домыслы цветут в его коридорах пышным цветом, а скандалы и сплетни составляют единственное развлечение придворных. Целиком поглощенный любовью к Анне и государственными делами, я держался в стороне от дворцовой жизни. В последнее время мы с Анной часто появлялись на людях вдвоем, я не делал тайны из своих визитов к ней, а несколько раз мы вместе посещали оперу и бой быков. Король знал об этом и даже поощрял мою заботу с герцогине, считая, что я делаю это из преданности ему. Эсковедо, знакомый с герцогиней Эболи еще со времен своей службы у герцога, тоже частенько наведывался в ее дом. Как-то раз, выходя вместе со мной от герцогини, Эсковедо завел разговор, открывший мне глаза.

— Дон Антонио, — начал Эсковедо, — я очень ценю все, что вы для меня сделали. Я считаю себя вашим преданным другом и хотел бы дать вам дружеский совет. Вам не следует так часто появляться у герцогини. — Он доверительно взял меня под руку. — О вас, о ваших визитах уже пошли сплетни, о них говорят все, кому не лень.

Я попытался высвободить руку, но он вцепился в мой локоть, как клещ.

— Не горячитесь, прошу вас, — продолжал он. — Я

ведь говорю вам это из самых добрых чувств, поверьте. Мне будет жаль, если вы попадете в беду.

— Я не нуждаюсь в ваших советах, — резко ответил я, вырвав наконец руку из его цепких пальцев. — Вы, а не я нуждаетесь сейчас в дружеском совете, как никто в Испании!

— Вы не поняли меня, дон Антонио, — настаивал наглец. — Я ведь друг не только вам, но и герцогине Эболи. Она всегда была добра ко мне. Но о ваших визитах в ее дом действительно шепчутся во всех закоулках дворца. А если какой-нибудь недруг шепнет об этом королю?

Рука моя дернулась к эфесу шпаги, кровь вскипела в жилах, и слепая ярость ударила в голову.

— Еще одно слово, — сквозь зубы процедил я, — и моя шпага продырявит вас насквозь! — Я резко остановился и обернулся, глядя прямо в его необычные для испанца, водянистые, рыбы глаза. Он мгновенно стал серьезен — возможно, не предполагал, какое действие окажут на меня его слова. Затем легко рассмеялся, отступил на шаг и сказал:

— У вас слишком горячая кровь, дон Антонио! Я к вашим услугам в любое время. Но мне не хотелось бы ссориться с вами. — Он снова взял меня под руку. — Мы так долго были друзьями. Поверьте, мною руководит лишь чувство беспокойства за вас и за герцогиню.

Я успокоился, осознав, какую глупость совершаю, выказывая гнев. Дальнейший путь мы проделали в молчании, не возвращаясь к прерванному разговору. Но на том все не закончилось. Напротив, этот случай был лишь предвестником будущих событий.

На следующий день я застал Анну в слезах. Эсковедо нанес ей визит незадолго до меня и завел с нею тот же самый разговор, что и со мной.

— Донья Анна, о вас говорят, — начал он, — о вас и об Антонио Пересе. Слухи разрастаются, как снежный ком. Они могут иметь самые неприятные последствия для вас обоих. Я осмеливаюсь говорить вам об этом только потому, что считаю себя вашим другом и должником. Я всегда ценил вашу доброту, и мне хотелось бы помочь вам.

Все это Эсковедо произнес с доверительной улыбкой. Герцогиня уже при первых его словах поднялась и всю его речь выслушала стоя, надменно вскинув голову. Эсковедо во время своего монолога подошел к Анне и

даже попытался взять ее за руку. Она, до этого момента терпеливо слушавшая, вздрогнула и отдернула руку, не сумев скрыть брезгливости.

— Уходите. Оставьте меня. Вы мне отвратительны. Не смейте больше переступать порог этого дома! Дела господ не могут касаться лакеев!

Эсковедо пытался сказать еще что-то, но Анна его не слушала, и ему пришлось уйти.

Когда Анна рассказывала мне об этом разговоре, лицо ее было бледным от тревоги и гнева. Я попытался успокоить ее, обещал как следует проучить Эсковедо за дерзость, но Анна корила себя за несдержанность и неосторожность. Этот человек, злобный и мстительный по натуре, вполне был способен отправиться к королю с доносом. А ревность и подозрительность Филиппа довели бы начатое. Основания для тревоги были самые серьезные. Мы оба вели себя глупо. Но главным для меня сейчас было одно — успокоить Анну. Она прильнула ко мне вся в слезах.

— Прости меня, Антонио. Это все моя вина, только моя. Я всегда знала, что любовь ко мне ставит тебя под удар. Мне следовало бы быть умнее и сильнее. Я навлекла на тебя смертельную опасность: Эсковедо отправится к Филиппу, и тогда мы пропали.

— Эсковедо никогда не осмелится на это, любовь моя. Он рассчитывает на меня, надеется, что я помогу ему в удовлетворении его амбиций. Если он уничтожит меня, то и сам окажется не у дел. Он хорошо понимает это, поэтому не осмелится пойти к королю. — Я крепко сжал Анну в своих объятиях, чувствуя, как она дрожит. Ушел я от нее лишь тогда, когда она успокоилась и повеселела. Но у самого на душе было невесело, сердце предчувствовало беду. И беда не заставила себя ждать.

Я вышел от Анны в глубокой задумчивости и не сразу заметил, что какой-то человек следует за мной по пятам с явным намерением заговорить. Темнота и черная шляпа скрывали его лицо. И только когда он заговорил, я понял, что это вновь Эсковедо.

— Итак, дон Антонио, — сказал он с угрозой, — вы, я вижу, не вняли моему дружескому предупреждению.

— Вы тоже, — ответил я спокойно и серьезно, продолжая быстро идти.

Он не отставал от меня. Хотя час был поздний, улицы все еще были полны праздной публики. Я хотел избежать

ссоры, ведь мое лицо многим было хорошо знакомо. Я стремился уйти подальше от людных улиц.

— Донья Анна, вероятно, рассказала вам о нашей с ней беседе? — снова начал Эсковедо.

— Да. И о том, как она ответила на вашу дерзость — тоже рассказала. Герцогиня была слишком мягка с вами.

— Она оскорбила меня! Назвала лакеем! И вы называете это мягкостью?! Такое оскорбление смывают кровью! — яростно прошипел Эсковедо. Он замолчал, ожидая моего ответа. Но я не считал нужным отвечать. Не выдержав молчания, он продолжал: — Знаете ли вы, дон Антонио, что вы настолько скомпрометировали герцогиню, что кое-кто из ее родственников всерьез подумывает вас убить?

— Многие хотели бы убить меня, но это не так-то просто. Антонио Переса убить нелегко, и вы убедитесь в этом сами, если будете продолжать надоедать мне или герцогине Эболи!

— Вы мне угрожаете? Но вы забыли, что хоть я и лакей, однако вы и донья Анна находитесь в моих лакейских руках! Убивать вас я не собираюсь, но я способен уничтожить вас обоих одним лишь словом! Я могу рассказать... да, рассказать о вас такое, что вам не поздоровится... Я могу немедленно отправиться к королю и описать ему, как его возлюбленная находит утешение в объятиях его верного друга!

— Ты лжешь, мерзавец!

— Вы знаете, что нет. Я видел вас вместе полчаса назад, видел своими собственными глазами. Вы оба были столь неосторожны, что любой мог бы наблюдать ваше свидание, заплатив пару дукатов слугам. — И он хитро посмотрел на меня. Огромным усилием воли я сдержал себя, помня о недопустимости публичного скандала.

В это время мы подошли к моему дому.

— Вы войдете? — холодно спросил я его.

— К вам?! В волчье логово? Впрочем, отчего бы и нет? Я не боюсь вас! — И вновь в голосе Эсковедо послышалась затаенная хитрость. Мы поднялись по широким каменным ступеням и вошли внутрь.

Я любил свой дом, символ моего положения, богатства и могущества. Эсковедо, впервые очутившись здесь, бросал вокруг жадные и завистливые взоры; похоже было, что его поразила роскошь убранства.

— Вы неплохо устроились. — Зависть прозвучала и в тоне, каким это было сказано. — Жаль было бы потерять

все это, не правда ли? Вы живете не хуже самого короля. Кстати, где он? Я слышал, что Филипп сейчас в Эскориале? — Он внимательно следил за тем, какое действие произведут на меня его слова.

Я постарался не выдать своего волнения. Король и вправду находился сейчас в Эскориале, своем загородном дворце. Он уединился там, как обычно в страстную неделю, стараясь постом и молитвой очистить свою темную душу. Эсковедо, раздраженный моим спокойствием, продолжал:

— Надеюсь, дон Антонио, вы не заставите меня совершить столь утомительную поездку!

Кровь прилила к моему лицу, но я все еще пытался делать вид, что не до конца его понимаю.

— Вы слишком долго выжидали, — говорил тем временем Эсковедо, от души наслаждаясь своей ловкостью. — Вы хотели, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Но сейчас это уже невозможно. Вам необходимо определиться, дон Перес, и сделать это немедленно. Я предлагаю вам объединиться со мной, и вместе мы сумеем добиться могущества, какое вам и не снилось. — Тут глаза его алчно сверкнули. — Но если вы будете противиться, если вы встанете на моем пути, то я уничтожу вас! Я расскажу королю, что его возлюбленная ему изменяет — и с кем?! С его верной опорой, правой рукой, преданным Антонио Пересом! Ну, а что будет дальше, представить нетрудно. — Эсковедо обнажил мелкие белые зубы в хищной улыбке. Я молчал, ожидая продолжения. И оно не заставило себя ждать. Эсковедо, решивший, что сопротивление мое сломлено, деловито изложил свои требования.

Прежде всего он хотел получить должность коменданта крепости Могро. Это я должен был сделать немедленно. Затем от меня требовалось склонить короля на сторону Дона Хуана, убедить его в необходимости военного похода против Англии и брака его брата с шотландской королевой. Словом, ни много ни мало, я должен был обеспечить хозяину Эсковедо английскую корону! Но это было всего лишь начало! Эсковедо, решив, что меня можно больше не опасаться, раскрыл свои карты до конца. После того, как Дон Хуан займет английский престол, можно будет подумать и об Испании! Тут-то и пригодится неприступная крепость Могро, охраняющая порт Сантандер, где Эсковедо предполагал совершить высадку войск Дона Хуана. А уж дальше объединенной англо-испанской армии под началом

Дона Хуана будет нетрудно одержать победу. Это были планы безумца! Эсковедо не был глуп, но он дал слишком большую волю своей безудержной фантазии. Похоже, он уже видел себя самого на одном из тронов в качестве регента. Не думаю, чтобы сам Дон Хуан знал обо всех этих грандиозных планах и о том, какую роль отвел в них господину его секретарь.

— А если я прямо сейчас отправлюсь в Эскориал и расскажу королю о ваших безумных планах? — поинтересовался я, когда Эсковедо замолчал.

Он расхохотался в ответ:

— Вы не сделаете этого никогда! Я скажу королю, что это ложь, которой вы хотите прикрыть свою измену. Подумайте, что это означает для вас... И для нее. — В его голосе послышалась неприкрытая угроза.

О, если бы гнев короля коснулся только меня! Раздумывал бы я хоть мгновение? Нет, ведь несмотря на свою любовь к Анне, я был всецело предан королю. Не задумываясь, я бы рассказал ему о фантастических, но тем не менее довольно реальных планах Эсковедо, а затем покорно принял бы любую кару. Но Анна! Я не мог позволить, чтобы страдание коснулось и ее. Я почувствовал слабость во всем теле, холодный пот выступил у меня на лбу. Наступило долгое молчание. Я закрыл глаза. Мне хотелось умереть. Молчание нарушил Эсковедо:

— Так что вы ответите мне, дон Антонио?

— Я в ваших руках, Эсковедо, — безжизненно ответил я ему. Радость блеснула в его глазах.

— Тогда мы союзники! Забудьте обо всем! Вам и герцогине ничего не грозит. — Торжествуя, он энергично прошелся передо мной взад-вперед. — Теперь необходимо действовать. И немедленно! Могро для меня и Англия для Дона Хуана!

— Король в Эскориале, вы правильно это отметили. В эти дни он никого не принимает и не занимается делами. Нужно ждать его возвращения в Мадрид.

— Хорошо. Дождемся Пасхи. — Он протянул мне руку. Преодолев отвращение, я скрепил рукопожатием позорную сделку. Эсковедо ушел довольный, в прекрасном настроении.

Я заперся в своем кабинете. На робкие уговоры жены, чтобы я отдохнул, отвечал, что очень занят, и просил не беспокоить. Я обдумывал свое положение целую ночь напролет. Выхода не было. Я не мог не принять предложения Эсковедо, не мог обречь на страдания и

смерть свою возлюбленную. К такому неутешительному выводу пришел я после той мучительной ночи.

А наутро с нарочным пришло письмо от короля. Филипп писал, что Дон Хуан опять настойчиво требует денег. «Это требование, — писал король, — подтверждает мои опасения. У меня есть все основания ожидать с их стороны каких-то новых каверз. Помимо денег Дон Хуан требует немедленно приезда Эсковедо. Это особенно тревожит меня. Вдвоем они намного опаснее! Я отвечу Дону Хуану, что Эсковедо покинет Мадрид незамедлительно. А вы должны позаботиться о том, чтобы Эсковедо покинул нас навсегда».

Рука моя дрогнула, когда я читал это письмо, кровь застучала в висках. Казалось, здесь вмешался сам рок. У меня не было никаких сомнений относительно того, что подразумевает Филипп под словом «покинул». Эсковедо должен был умереть. Надежда забрезжила передо мной. Сам король желает этой смерти! Негодяй заслужил ее. Это не будет убийством, это будет казнь. Казнь, которую благословил сам король. Я принял решение. Силы вернулись ко мне, и я тут же сел писать ответ королю, решив на всякий случай убедиться, насколько правильно я понял Филиппа. На следующий день моя записка вернулась обратно, и на ее полях рукой короля было написано: «Вы верно меня поняли. Мерзавец должен умереть, и как можно скорее. Проследите за этим лично».

Дорога назад была отрезана. Такому требованию оставалось только подчиниться. Я был готов выполнить то, что требовал от меня король. Его желание совпадало с моим, и сомнения меня покинули. Теперь оставалось лишь разработать план казни. У меня никогда не было недостатка в верных друзьях и верных слугах. Я вызвал своего управляющего Диего Мартинеса, преданного мне душой и телом, и изложил ему приказ короля. Диего отобрал пятерых человек: молодого офицера Энрикеса, двух арагонцев — Хуана де Месу и Инсаусти и двух слуг — Рубио и Боска. Три ночи эти пятеро караулили Эсковедо у его дома на крошечной площади Сантьяго. И наконец в ночь на великий понедельник Эсковедо был убит ударом шпаги, нанесенным Инсаусти. Но на теле впоследствии нашли пять ран: мои люди делали все наверняка. Потом молодой Рубио доставил мне известие о казни негодяя в мою загородную резиденцию в Алькале.

На следующее утро Мадрид бурлил, взбудораженный известием об убийстве королевского секретаря. О стреми-

тельном возвышении Эсковедо, его силе и влиянию знали многие. Немедленно были начаты энергичные поиски убийцы. Я вернулся в столицу еще через день. Мне необходимо было выглядеть удрученным, разыгрывать скорбь об убитом, который слыл моим другом. Это было столь же гнусно, сколь и необходимо.

Меня с самого начала стали подозревать в причастности к убийству, хотя никакой видимой связи не было. Причиной, думаю, явились слухи, распространяемые моими врагами, которые решили воспользоваться случаем, чтобы пошатнуть мое положение. Семья Эсковедо, вначале считавшая меня другом покойного, со временем перестала доверять мне, хотя его жена в равной степени подозревала как меня, так и герцога Альбу. В связи с этими подозрениями ко мне явился королевский алькальд⁵. Хотя он и не высказал их мне, его вопросы прямо свидетельствовали о том, что мое имя хотят связать со смертью Эсковедо. Я отвечал спокойно, держался хладнокровно и с достоинством. Пользуясь случаем, выразил сожаление, что не находился в Мадриде в ночь убийства и не могу поэтому сообщить никаких полезных сведений.

За этим посещением алькальда последовало другое — ко мне явился более высокий судебный чин. Чиновник разговаривал дружелюбно и предупредительно, но его мягкость не обманула меня. Целью его посещения являлось одно — попытаться вывести меня из себя, лишить хладнокровия и таким образом получить какие-нибудь сведения. Я старался ни словом, ни взглядом не выдать себя и своей тайны, но внутренне был неприятно удивлен такой настойчивостью, о чем сразу же написал королю. В ответном письме он полностью одобрил мои действия, советовал соблюдать предельную осторожность и не поддаваться ни на какие провокации. Мы обменивались письмами ежедневно. Я сообщал ему обо всех событиях, происходящих в Мадриде, и о ходе расследования убийства. Моей главной заботой была в те дни отправка из Мадрида моих верных людей, казнивших негодяя. Необходимо было удалить их из столицы, но сделать это незаметно, не привлекая ничьего внимания. В этом мне помог король. Рубио, Инсаusti и Энрикес получили предписания за его личной подписью о прохождении военной службы за пределами Испании, в различных областях Италии. Боск и Хуан де Меса, также по распоряжению короля, отправились в Арагон для улаживания имущественных дел герцогини Эболи. Таким

образом, все они оказались вне пределов досягаемости кастильского правосудия⁶.

Но, к сожалению, слухи о моей причастности к убийству не иссякали. Более того, в связи с этим делом вдруг стали упоминать имя Анны. Причины этого мне неясны до сих пор. Спустя месяц после смерти Эсковедо его семья подала королю прошение, в котором возложила на меня вину за его убийство. Король был вынужден принять Педро де Эсковедо, сына покойного, и пообещать ему наказать виновного, кем бы он ни оказался. Филипп был обескуражен складывающимся положением дел; опасность, которая нависла надо мной, тревожила его. Семью Эсковедо поддерживал Баскес, влиятельный секретарь королевского совета, член партии Альбы и мой тайный враг, всегда завидовавший моему быстрому возвышению и тому положению, которое я занимал. Дело Эсковедо позволило ему выступить против меня с открытым забралом. Баскес несколько раз намекал королю, что убийство Эсковедо связано с именем одной очень знатной дамы. Об этом мне рассказал сам Филипп, посмеиваясь над дикостью слухов. В ответ на мои опасения он поспешил успокоить:

— Пока я жив, вам нечего бояться, Антонио. Я не бросаю своих друзей в беде, тем более, что вы оказались в столь щекотливом положении из-за меня.

Об этом же король писал мне в письмах, которые последние два месяца я получал довольно часто. За это время у меня накопилось немало записок короля, имеющих отношение к делу Эсковедо. Меня успокаивал их доверительный и откровенный тон, все они свидетельствовали о том, что я был лишь послушным орудием в руках короля. Филипп не мог оставить меня в беде.

При дворе тем временем сформировался лагерь моих недругов. В него входили как мои старые враги, так и недавно приобретенные — семья Эсковедо и кое-кто из родственников герцога Эболи, решивших, что я бросаю тень на имя Анны Эболи. Заправлял всем неутомимый Баскес. Все эти люди открыто призывали убить меня. Угроза была столь реальной, что я вынужден был окружать себя охраной всякий раз, как выходил из дому. Мое положение ухудшалось день ото дня. Я вновь обратился к королю с просьбой о помощи. Я даже был согласен оставить свой пост, если это хоть в какой-то мере успокоит завистников. Но король этому воспротивился. В конце концов нервы мои не выдержали, и я

заявил Филиппу, что хотел бы предстать перед судом. Никаких доказательств моей причастности к убийству не нашли, и я мог рассчитывать на оправдательный приговор.

— Ступайте к верховному судье Кастилии, — посоветовал мне Филипп, — и расскажите ему обо всех обстоятельствах, приведших к смерти Эсковедо. Я, в свою очередь, постараюсь убедить его, что вы ни в чем не виновны.

Так я и сделал. Верховным судьей был епископ Пати. Он внимательно выслушал меня, а затем отправился к королю. На следующий день я был вызван к епископу. У него я застал также Педро де Эсковедо и Баскеса. Предложив мне место рядом с собой, судья обратился к Эсковедо:

— Дон Педро, у меня находится ваша петиция королю, в которой вы возлагаете вину за убийство вашего отца на дона Антонио Переса. Я прежде всего хочу вас заверить, что убийце будет воздано по заслугам, кем бы он ни являлся и какое бы положение ни занимал. Если вы настаиваете на своих обвинениях, то вам необходимо представить доказательства причастности дона Антонио к означенному преступлению. Но если случится так, что вы не сможете доказать его вину, то дело может обернуться против вас самих. Нельзя безнаказанно бросать тень на человека столь уважаемого, каким является государственный секретарь его католического величества. Я же со своей стороны ручаюсь, что дон Антонио ни в чем не виновен.

Епископ не лгал. С его точки зрения, я являлся лишь орудием в руках своего господина — короля Испании. Педро Эсковедо, оказавшись в столь щекотливом положении, выглядел испуганным. У него был вид человека, обнаружившего вдруг, что он стоит на краю пропасти, и любой неверный шаг грозит гибелью.

— Ваше преосвященство, — заговорил он дрожащим голосом, — у меня больше нет сомнений. Заверяю вас, что ни я, ни моя семья больше не будут связывать смерть моего отца с именем дона Антонио.

Разобравшись с Эсковедо, епископ обратился к Баскесу:

— Что касается вас, сударь, то вы превысили свои полномочия. Вы вмешались не в свое дело, вы огульно очернили дона Антонио, не имея никаких доказательств. И если дон Педро можно понять, то вас — нельзя! Ваша вина усугубляется еще и тем, что вы носите сутану священника. Вам необходимо полностью устранившись от

этого дела, прекратить обвинять Антонио Переса и больше времени и сил уделять Богу. Вы допустили в свое сердце зависть и злобу. А это не к лицу человеку, имеющему сан священника. Стыдитесь, сын мой!

Я покинул епископа удовлетворенный. На какое-то мгновение мне показалось, что мои враги отступили, отказались от своих обвинений. Но верным это оказалось лишь в отношении Педро Эсковедо. Баскес же продолжал гнуть свою линию, он продолжал обвинять меня везде, где только появлялся. Зависть — слишком сильное чувство, почти страсть; она способна помутить любой разум; она глуха и слепа ко всему. Баскес не мог уже остановиться: демон зависти и злобы полностью овладел его душой. Один из нас должен быть уничтожен — иного пути он не видел.

Близкие родственники под давлением Педро Эсковедо отказались от участия в этом деле. Баскес разыскал дальних родственников убитого и через них стал распространять утверждения о том, что я являюсь убийцей, и причину на этот раз прямо связывали с именем герцогини Эболи. И Анна, и я были на грани отчаяния. И тогда Анна, ни словом не предупредив меня, написала письмо королю. Это было совершенным безумием. В письме она просила короля защитить ее от дурных сплетен, распространяемых всюду Баскесом и его людьми. Анна оправдывалась, и это было ошибкой. После этого письма началось наше падение в пропасть.

Филипп, все еще находившийся в Эскориале, немедленно вызвал меня к себе. Он хотел знать более точно, в чем состоит суть обвинений, брошенных мне и Анне. Я рассказал ему, одновременно все отрицая. После разговора со мной Филипп обратился к герцогине, он хотел услышать, что скажет она. Анна отрицала все, как и я, ведь никаких доказательств нашей связи не существовало. Казалось, что король поверил нам, убедился в лживости этих обвинений. И тем не менее он не наказал Баскеса. Я старался не придавать этому особого значения, ибо хорошо знал медлительность Филиппа. «Время и я — одно», — часто любил повторять король.

С этого дня началась открытая война между мной и Баскесом. Королевский совет разделился на два враждующих лагеря, и его заседания походили теперь на военные баталии. Высшей точки наше противостояние достигло в тот момент, когда по вызову короля я был вынужден уехать в Эскориал. Мне понадобились некоторые доку-

менты, находившиеся в тот момент у Баскеса. Я послал за ними нарочного. Среди бумаг, доставленных слугой, я обнаружил письмо, полное злобных выпадов и обвинений. Меня не задел бы этот пасквиль, если бы в нем не содержалось оскорбление, приведшее меня в бешенство. Баскес, в чьих жилах текла мавританская кровь, посмел усомниться в моем кастильском происхождении! Он утверждал, что моя кровь недостаточно чиста и мое происхождение недостаточно благородно! В ярости я обратился к королю, присутствовавшему при чтении этого письма:

— Государь, взгляните, что позволяет себе этот мавританский пес! Это переходит все границы! Оградите меня от подобных оскорблений, либо позвольте мне самому постоять за себя!

Король заверил меня, что он целиком на моей стороне. Казалось, он разделяет мое негодование. Филипп предложил мне взять отпуск для возбуждения дела против Баскеса, но попросил повременить неделю. Однако неделя превратилась в месяцы, а дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Наступил апрель 1579 года, минул год со дня смерти Эсковеда. Я жил в постоянном напряжении, ощущение опасности заставляло меня следить за каждым своим шагом. Мы больше не виделись с Анной, опасаясь слежки. Король постепенно отдалялся от меня, видел я его все реже, хотя при встречах Филипп по-прежнему был со мной любезен и доброжелателен.

Как-то раз ко мне пришел исповедник Филиппа фрай Диего де Чавес и передал требование короля прекратить враждовать с Баскесом. Я устал от вражды и дал свое согласие, но выставил одно условие: «Баскес должен взять свои слова обратно!» С этим Чавес и отправился к моему врагу, а затем к королю. Что сказал Баскес королевскому исповеднику, что он мог еще добавить к слухам о моих отношениях с Анной — я не знаю. Но с этого дня отношение короля ко мне изменилось окончательно, тон его писем перестал быть дружеским, он отказывал мне в аудиенции. Я не выдержал и написал о своем отказе от судебного иска против Баскеса. В письме я постарался уверить его, что если он сам простил оскорбление, нанесенное нам обоим, то и я могу оставить его без внимания. В заключение я просил позволения удалиться от дел и уйти в отставку. Я сам уже пришел к такому выводу, да и Анна со слезами на глазах просила об этом в нашу последнюю встречу. Она послала за мной, и я,

понимая, что совершаю непоправимую ошибку, не выдержал и откликнулся на ее зов. Анна была бледна и печальна. Я провел у нее несколько часов, утешая ее. Но все было напрасно — Анна была убеждена, что все кончено, мы погибли. Ее приводила в отчаяние мысль, что всему виной ее неосторожность и безрассудство.

Я принял необходимые меры, чтобы мой визит к Анне остался незамеченным. Но, по-видимому, за мной следили более пристально, чем я предполагал. Филипп, терзаемый муками ревности и жажды мести, мог расставить своих шпионов повсюду. Покидая в тот день свою возлюбленную, я не мог и предположить, что вижу ее в последний раз. В ту же ночь именем короля я был взят под стражу в своем доме. Формальным поводом для ареста явился мой отказ пойти на мировую с Баскесом. Король в это время находился в Мадриде, о чем я до ареста и не подозревал. Он прибыл в столицу, чтобы лично присутствовать при другом аресте. В ту же самую ночь, стоя на паперти кафедрального собора святой Марии, он наблюдал за тем, как альгвасилы⁷ вошли в дом герцогини Эболи и как Анна, закутанная в темную шаль, вышла под конвоем и села в карету, увезшую ее в крепость Пинто. Анна содержалась в этой крепости в течение нескольких месяцев, а потом ее отправили в далекую Пастрану⁸ в пожизненную ссылку. Но обо всем этом я узнал много позже.

Я же в течение четырех месяцев содержался в тюрьме без предъявления каких-либо обвинений. Мое здоровье сильно пошатнулось, и через четыре месяца меня перевели в мой собственный дом, где держали еще восемь месяцев под усиленной охраной. Напрасно мои друзья и родные хлопотали за меня перед королем, просили предать меня суду или вернуть свободу. Король всякий раз отвечал, что дело это особого рода и спешка ни к чему.

Летом 1580 года Филипп отправился в Лиссабон для вступления в права владения португальской короной, доставшейся ему по наследству⁹. По его возвращении моя жена явилась к нему с ходатайством за меня. Но король не принял ее, и я продолжал находиться под домашним арестом. Миновал год со дня моего ареста. Я дал письменное обещание об отказе от вражды с Баскесом, и спустя некоторое время мне предоставили относительную свободу. Я мог выходить из дома, принимать посетителей, но сам никого посещать не имел права, и выезжать за пределы Мадрида мне было запрещено. Так прошли недели

и месяцы. Баскес, а с ним и его партия вошли теперь в полную силу. Теперь он занимал ведущее место в королевском совете. Его стараниями в 1584 году меня привлекли к суду по обвинению в коррупции и растрате. К тому времени был схвачен Энрикес, и он был готов давать показания по делу об убийстве Эсковедо. Но в предъявленном мне обвинении об убийстве не упоминалось ни словом.

Меня обвиняли в чрезмерной роскоши, во взяточничестве, в расхищении государственной казны. Филипп не осмелился судить меня за убийство, ибо знал, что в моих руках находятся письма, неопровержимо свидетельствующие о его причастности к нему. Суд приговорил меня к двум годам тюрьмы с последующей десятилетней ссылкой. Кроме того, мне следовало уплатить в королевскую казну двадцать миллионов мараведи¹⁰ — именно в такую сумму оценивался ущерб, который якобы я ей нанес. В моем доме произвели обыск. Я прекрасно понимал, что искали слуги короля. Но еще задолго до ареста были приняты необходимые меры: письма и бумаги, компрометирующие короля, я упаковал в небольшие кованные ларцы и спрятал в надежном месте. Бумаги были в безопасности и ждали своего часа. Не найдя писем, Филипп не решался спустить с цепей псов, требующих моей смерти за убийство Эсковедо.

Меня поместили в крепость Турруэгано. Ежедневно я подвергался многочасовым допросам, на которых от меня пытались добиться, где я храню письма короля. Но эти документы были моей единственной защитой. Заполучи их Филипп, меня бы немедленно казнили. В ответ на все вопросы я отвечал молчанием. Убедившись, что таким образом от меня ничего не добьются, мои мучители принялись за жену и детей. Хуану пугали тюремным заточением, расписывали пытки, которым подвергнут ее и детей, если она не укажет место хранения бумаг. Но Хуана в тяжелый час проявила такую верность и силу духа, которые я и не предполагал в этой тихой и покорной женщине. Она стойко вынесла все допросы, не испугалась угроз и ничем не выдала, что ей известно место, где спрятаны бумаги. Не поддавалась она и вкрадчивым уговорам королевского исповедника фрая Диего. Когда все способы были испробованы, ко мне явился королевский офицер и сообщил, что если я буду упорствовать, то жену и детей отправят в тюрьму, и они останутся там до тех пор, пока я не образумлюсь и не подчинюсь королевской

воле. Весть эта поразила меня, как удар обухом по голове. Можно ли представить более сильную муку, чем сознавать, что из-за тебя страдают невинные, любящие тебя люди! В первый миг я стоял ошеломленный, не в силах пошевелиться, но в следующее мгновение дал волю всей ярости, накопившейся во мне за долгие дни заточения. Не стесняясь офицера, я поносил короля в самых страшных и богохульных выражениях. Но никакого облегчения это мне не принесло. Неодолимая тяжесть легла на мое сердце. Лишь огромным усилием воли, выдержав страшную борьбу с собой, я взял себя в руки. Офицер внимательно следил за мной и, казалось, сочувствовал мне.

— Я понимаю ваше горе, дон Антонио, — сказал он. — Но судьба ваших близких в ваших руках. Одно ваше слово, и они будут свободны.

Я перевел дух, поднял на него глаза и медленно спросил:

— А я тем самым подпишу себе смертный приговор?

— Но не в этом ли сейчас состоит ваш долг перед семьей?

Я смотрел на его самодовольную физиономию, холодные пустые глаза, и мне хотелось ударить его. Но я подавил это желание. Воля моя была сломлена.

— Хорошо, я сделаю так, как вы говорите. Король получит свои документы. Я должен отдать распоряжения управляющему Диего Мартинесу, а для этого мне нужно его увидеть, — ответил я, заметив, что у меня дрожит голос.

Мои слова явно обрадовали офицера, который удалился в отличном расположении духа, приписав мое согласие своей ловкости и удачливости. Я же остался в невыразимом отчаянии, понимая, что, отдав письма в руки короля, я лишусь своей последней защиты. Но иного выхода не существовало. Три дня до приезда Мартинеса я провел в непрерывных раздумьях.

Через три дня верный Диего предстал передо мной. Я рассказал ему о трех небольших кованых ларцах, в которых хранились бумаги. Мартинес нашел их и отдал в руки королевского исповедника. На вопрос, знает ли он, что находится внутри, Диего ответил отрицательно.

Можно только представить, какую радость и какое облегчение испытал король, когда, наконец, получил вожеленные бумаги, когда убедился, что я лишен теперь своего грозного оружия. Результат последовал незамед-

лительно. Хуана и дети были освобождены, им разрешили жить в нашем доме в Мадриде, ни в чем не нуждаясь. Режим моего содержания заметно смягчился. Приближался 1586 год. Мое здоровье вследствие тюремного заточения и связанных с ним лишений заметно пошатнулось. Жене удалось получить разрешение перевезти меня в Мадрид и поселить в нашем доме. Меня, конечно же, строжайше охраняли, но старые друзья могли навещать нас. Я наслаждался покоем рядом с Хуаной и детьми, и лишь память об Анне жгла мое сердце. Так продолжалось четырнадцать месяцев. Мне уже стало казаться, что король, добившись своего, забыл обо мне и потерял всякий интерес к моей участи. О, как глубоко я ошибался!

Началось все с ареста Мартинеса по обвинению в убийстве Эсковедо. А затем и я был вновь брошен в застенки, на этот раз в крепость Пинто. Но пребывание в Пинто оказалось недолгим, вскоре меня под надежной охраной перевезли в Мадрид. И здесь я узнал, что Филипп все это время ни на минуту обо мне не забывал. Прошлым летом король отправился в Арагон председательствовать в испанских кортесах¹¹. Баскес, сопровождавший его, воспользовался моментом и допросил Энрикеса, содержавшегося в арагонской тюрьме. Энрикес к тому времени сознался в убийстве Эсковедо, но об участии других молчал. Баскес, пообещав ему жизнь в обмен на подробный рассказ, превратил Энрикеса из обвиняемого в обвинителя. Энрикес выдал всех, кроме меня, поскольку о моей причастности к этому делу ему было неизвестно. Инсаusti и Боска к этому моменту не было в живых. Меса и Рубио скрывались в арагонской глуши. Диего же Мартинес был схвачен.

Диего остался верен мне до конца. Угрозы не произвели на него никакого впечатления. Сохраняя полное самообладание, он отрицал свою вину и обвинил Энрикеса во лжи. Он неизменно твердил, что всегда был в прекрасных отношениях с Эсковедо и у него не было причин желать ему зла. Ему устроили очную ставку с Энрикесом, но и она не смогла поколебать твердости Диего. На очной ставке он презрительно обвинил Энрикеса в продажности и предательстве. Диего в ответ на попытки уличить его показаниями изменника сказал, что Энрикес был подкуплен врагами и его утверждения — злонамеренная ложь.

Стойкость и хладнокровие Мартинеса поставили тюремщиков в сложное положение. Они, в сущности, оказались в тупике. Энрикес не заслуживал доверия, а

иных доказательств вины Мартинеса не было. Требовался еще хотя бы один свидетель, и Баскес бросил своих ищек на поиски Рубио и де Месы. Особенно он рассчитывал на молодого и неопытного Рубио. Но я еще раньше предупредил об этом Месу и поручил ему ни на шаг не отпускать от себя Рубио.

Несколько месяцев сохранялось столь неопределенное положение. Наступил август 1589 года, время бежало куда быстрее, чем развивались события. Я написал прошение королю, в котором взывал к его милосердию и снисхождению. В ответ мое содержание сделали лишь более суровым. Несколько раз меня посещал Баскес. Но все его попытки заманить меня в ловушку и заставить выдать себя были бесплодны. Тем не менее в конце 1589 года Баскес во всеуслышание заявил, что моя вина полностью доказана. Вслед за этим заявлением Педро де Эсковедо предъявил мне и Диего Мартинесу обвинение. До начала суда меня заковали в кандалы. Для опровержения показаний Энрикеса, единственного свидетеля обвинения, я предъявил показания шести свидетелей с безупречной репутацией. Все они подтверждали, что в момент смерти Эсковедо я находился в Алькале и физически не мог принять участия в преступлении. Все свидетели, среди которых были королевский секретарь Арагона и один влиятельный священник, в один голос утверждали, что я всегда являлся ревностным христианином, неуклонно соблюдающим все заповеди Господни. Моим свидетелям противостоял человек, запятнавший себя предательством. Суд был пристрастен, но тем не менее он не смог законным образом вынести мне обвинительный приговор, основываясь на показаниях одного лишь Энрикеса. Существовало, конечно, огромное количество письменных свидетельств моего участия в этом деле, но пустить их в ход, не бросив тень на короля, было невозможно. Суд после нескольких заседаний объявил, что откладывает свое решение до того момента, когда будут найдены доказательства, подтверждающие мою вину. Во мне опять проснулась надежда. После двусмысленного заявления судей в Мадриде поднялся ропот. То тут, то там вспыхивали разговоры о том, что король злоупотребляет своей властью. Я решил воспользоваться ситуацией и потребовал выпустить меня на свободу или вынести приговор. Казалось, что судьба после долгих лет наконец улыбнулась мне. Но тут, в своей обычной манере

действовать исподтишка, вмешался Филипп. Он прислал ко мне своего исповедника фрая Диего.

— Приветствую вас, сын мой, — вкрадчиво пропел священник, как только дверь камеры захлопнулась за ним. Его улыбка была ласкова и дружелюбна, но колющий взгляд небольших карих глаз не сулил добра. — Вы неважно выглядите, дон Антонио. Побледнели, исхудали. Пора бы вам уже выйти из этой мрачной камеры. Одно лишь ваше слово — и все кончится, страдания останутся позади. Дон Антонио, я советую вам признаться в причастности к смерти Эсковедо. Вам не следует бояться этого признания, поверьте, ведь вы всегда можете оправдаться, что действовали в интересах Испании и ее короля.

Ловушка была слишком очевидна. Поддайся я на эти ласковые уговоры сладкоречивого священника и сделай такое признание, как от меня тут же потребуют доказательств этого утверждения. А документы отныне были в руках короля. Я не смог бы ничего доказать, мои слова остались бы только словами. Более того, меня бы тут же поспешили обвинить в очернительстве и клевете на короля. Замысел был тонок, но воплощение его оставляло желать лучшего. Я не попался в расставленные сети.

— У меня была подобная мысль, святой отец. Но я не могу изменить своему королю, как бы жесток он со мной ни был. В своих письмах король неоднократно писал, что никогда не оставит меня в беде, не даст моим врагам уничтожить меня, но никто не должен знать, что убийство Эсковедо совершено по его приказу. Король не сдержал своего слова, но я останусь преданным ему до конца! — На хитрость противника я решил ответить такой же хитростью.

— Но если король освободит вас от данного ему слова? — В святом отце пробудился гнев. Его выдавало лицо, но голос по-прежнему звучал вкрадчиво и подобострастно.

— Если его величество снизойдет до меня и пришлет мне записку, в которой его собственной рукой будет начертано: «Разрешаю Вам признаться, что убийство Эсковедо совершено по моему приказу», то я благодарно сочту себя освобожденным от обета молчания, — произнес я серьезно.

Священник, прищурившись, смотрел на меня блестящими глазами. Казалось, он понял скрытую насмешку,

но не стал продолжать разговор и ушел, оставив меня наслаждаться этой маленькой победой.

В течение нескольких дней меня никто не тревожил, хотя тюремщики стали обращаться со мной более сурово. Мне запрещалось кого-либо видеть, надзиратели в моем присутствии молчали, рацион ограничили хлебом и водой. Но все это мало меня трогало. Я ждал.

Шли последние дни 1589 года. Новый год я встретил в одиночестве в холодной и промозглой камере. А утром первого января меня посетил Баскес. Мой враг решил принести записку короля лично. Послание было адресовано вовсе не мне, а самому Баскесу; в нем говорилось:

«Прошу вас передать Антонио Пересу, что я освобождаю его от данного мне слова молчать о моем приказе предать смерти негодяя Эсковеда. Он может открыто заявить об этом перед лицом судей. Смерть Эсковеда целиком и полностью лежит на моей совести, поскольку я пошел на поводу у Переса и поддался его уговорам убить этого человека.

Филипп II Испанский.

P.S. В случае необходимости можете показать это письмо Антонио Пересу».

О, дьявольское коварство Филиппа! Так повернуть дело, так исказить факты! Оказывается, это я настаивал на убийстве Эсковеда! Я убеждал короля в необходимости этой смерти, а Филипп пытался защитить мерзавца! Оказывается, это он уступил моим настойчивым уговорам, и я должен в этом признаться! Я взглянул в глаза своему ненавистному врагу. Он, улыбаясь, ждал, что я скажу.

— Это новая ловушка, Баскес? Это ваших рук дело? Король не мог написать подобную записку!

— Вы не узнаете его руку? Взгляните повнимательнее.

— Я знаю его руку, как никто другой. Но я знаю и то, что король не клятвопреступник! Что же до остальных... Мне нечего добавить к тому, что я уже не раз говорил. Я не имею никакого отношения к смерти Эсковеда. Я разве что могу выразить официальный протест против вас, как пристрастного и заинтересованного судьи.

Баскес вышел из моей камеры в ярости. Еще шесть раз в течение одного месяца он досаждал мне своими визитами, пытаясь добиться признания. Но он лишь зря потратил время. В свой последний визит Баскес заявил:

— Вы вынуждаете нас пойти на крайние меры, Перес! Мы перейдем к пыткам. Может быть, они развяжут вам язык!

В ответ на эту угрозу я только расхохотался. Я ведь дворянин, и по испанским законам меня нельзя было подвергнуть пытке. Это один из самых старых законов, и они не посмеют его нарушить! И тем не менее они его нарушили. Не было ни одного закона Божьего или человеческого, который бы не нарушил король, чтобы хоть сколько-нибудь утолить свою жажду мести.

Меня раздели и обнаженного передали в руки палачей. Несколько дней и ночей я провел во мраке, в холодной камере, где из стен сочились вода, а пол кишел крысами. В камере не было ничего, кроме соломенной подстилки. Раз в сутки мне приносили ломоть хлеба и кружку воды. Как-то раз я был разбужен ярким светом. Это явились мои мучители. Меня привели в мрачное и зловещее помещение. Палач приковал меня цепями к столбу, руки мои скрестили на груди и связали грубым ремнем. Между скрещенными руками пропустили железную палку. Я с ужасом наблюдал все эти приготовления. Наконец пытка началась. Палач, монотонным голосом повторяя одно и то же требование, начал медленно поворачивать стержень. Я крепился, сколько мог. Когда боль становилась нестерпимой, я пытался облегчить ее криком. Но на требование признаться в убийстве Эсковедо я упорно молчал. Когда хрустнула кость, я потерял сознание. Но меня привели в чувство потоком холодной воды. Пытка возобновилась. Я был сломлен. Проклиная палачей, короля, Бога в самых страшных выражениях, я признался в убийстве Эсковедо, признал, что сделано это было в интересах Испании и по приказу короля. Мои слова были записаны самым тщательным образом, и от меня немедленно потребовали доказательств сказанному. Я знал, что признанием я подписал себе смертный приговор.

На следующий день мое признание зачитали так ни в чем и не соизвавшемуся Диего Мартинесу. Он понял, что отпираться дальше бессмысленно, и подтвердил показания Энрикеса.

Мое состояние в те дни было плачевно. К ранам и переломанным костям добавилась жесточайшая лихорадка. Тюремщики, испугавшись, что я не доживу до суда, пригласили врача. Тот нашел, что мое состояние в условиях тюрьмы не может улучшиться, и ко мне допустили жену и слуг. Шел конец февраля. Доброта Хуаны и искусство приглашенного ею эскулапа вернули мне силы. Руки вновь стали действовать, хотя одна так и осталась искалеченной. Но я не хотел, чтобы улучшение

моего состояния стало заметным для тюремщиков. У меня все еще оставалась надежда.

Моим единственным спасением оставался побег. Как только станет ясно, что я уже оправился от ран, меня немедленно приговорят к смерти и, не мешкая, приведут приговор в исполнение. Лишь побег давал мне шанс на спасение. За пределами Кастилии я смог бы помериться силами с Филиппом, доказать ему, что Антонио Перес еще не сломлен. Через Хуану я передал де Месе о своем намерении бежать. Жена и де Меса приготовили все необходимое. В ночь на 20 апреля де Меса ждал меня у тюремной стены с парой крепких и быстрых лошадей. Утром, как обычно, навестив меня, Хуана шепнула мне об этом. Охрана к тому времени стала менее бдительной и строгой. Я в нетерпении ждал наступления темноты. Когда ночь окутала крепость своим покрывалом, я поднялся с постели и, стараясь не шуметь, накинул на себя длинный женский плащ, оставленный женой. Уверенной походкой я вышел из своей камеры. У дверей никого не было! Я быстро прошел по темному коридору и спустился во двор, никем не замеченный. Стражники у ворот приняли меня за одну из служанок и выпустили за пределы крепости. Я был на свободе! Я не мог и предположить, что вырваться из темницы будет столь просто. Хуан де Меса, нетерпеливо дожидавшийся меня в тени крепостной стены, увидел меня и бросился навстречу. Я быстро скинул женский плащ, вскочил на коня, и мы поскакали прочь от ненавистой крепости. Мне хотелось петь и кричать от чувства свободы, переполнявшего душу. Девяносто с лишним миль до границы Арагона мы проделали, не останавливаясь и не отдыхая, и только раз поменяли лошадей. И вот кастильская земля, а вместе с ней и лживое кастильское правосудие остались позади.

Мы въехали в Сарагосу запыленные и усталые. Но времени для отдыха не было. Я немедленно направился в верховный суд Арагона, чтобы предстать перед ним за убийство Эсковедо. Вся моя надежда была на справедливость арагонцев. Думаю, что, когда я въезжал в Сарагосу, Филиппу уже стало известно о моем побеге. Мне даже трудно себе представить, какое впечатление произвело это известие на короля! Ведь Филипп с его хитростью не мог не догадываться, что если я осмелился отдаться в руки арагонского правосудия, то, значит, в моих руках имеются обеляющие меня доказательства. И у короля имелись все

основания для тревоги. Конечно же, посылая Диего Мартинеса за документами, я дал ему указание извлечь несколько писем Филиппа и спрятать их в надежном месте. Переписка короля была очень обширна и беспорядочна. Вынуть незаметно несколько писем, а затем запечатать ящики было совсем нетрудно. Я был уверен, что король ничего не заметит. Так оно и случилось. Бумаги спрятала моя жена в тайнике, о котором никто, кроме нас двоих, не знал. Письма неопровержимо свидетельствовали, что убийство Эсковедо было совершено по прямому указанию короля. Я не мог объявить о их существовании в Кастилии, но в Арагоне мои руки были развязаны.

Арагон имеет очень древние традиции, ревностно охраняемые и соблюдаемые. Эта испанская провинция всегда была более самостоятельной, чем остальные. Король Кастилии мог стать правителем Арагона лишь после того, как принесет клятву перед Высшим советом Арагона. Клятва содержала обязательство свято чтить обычаи и привилегии этой страны. Нарушение королем этой клятвы разожгло бы пламя восстания по всему Арагону, и затушить пожар было бы куда как непросто. Ни один испанский король до сих пор не осмелился пойти на это. Верховный суд Арагона являлся высшим по отношению к любому королевскому трибуналу. Каждый испанец мог обратиться в этот суд, известный всей Европе своей беспристрастностью и справедливостью. Все мои надежды были связаны именно с арагонским судом.

В ожидании суда меня поместили в городскую тюрьму, где я находился под надежной охраной. Опасались не моего побега, а того, что люди Филиппа попытаются убить или похитить меня. И действительно, как-то раз в тюрьму ворвались вооруженные до зубов кастильцы и, перебив охрану, выволокли меня оттуда. И лишь гнев возбужденной до предела толпы спас мне жизнь. Судебный процесс бурно обсуждали во всей Испании, да и в Европе внимательно следили за его ходом. А он проходил очень неторопливо, с длинными паузами. В одну из таких пауз я отослал Филиппу письмо, в котором предлагал ему отступить и предоставить свободу мне и моей семье. Я предупреждал короля, что в моих руках по-прежнему находится грозное оружие — несколько его писем.

В ответ он бросил за решетку мою семью, а все кастильские суды заочно приговорили меня к смертной казни.

Суд в Арагоне тем временем шел своим чередом. Я подготовил записку, в которой подробно изложил все факты дела и в качестве свидетельства своей невиновности ссылаясь на письма короля. Записка была зачитана на одном из заседаний суда. И тут-то Филипп наконец испугался. Он осознал, что меня, без сомнения, ждет оправдательный приговор. Король попытался спасти лицо, приказав прекратить начатое дело. Он утверждал, что на суде будут обнародованы бумаги, содержащие государственную тайну. А этого допустить никак нельзя. В результате меня незамедлительно оправдали, и я был отпущен на свободу. Но король на этом не успокоился, и против меня тут же выдвинули новое обвинение — меня обвинили в смерти двух моих слуг. Но обвинение было совершенно нелепо: слуги умерли естественной смертью, и доказать это не составляло труда. Затем вспомнили дело о коррупции, по которому я уже был осужден и наказан. В народе начали раздаваться насмешки в адрес Филиппа и его маниакального стремления погубить меня.

У короля оставалось лишь одно средство, самое страшное — святая инквизиция. Суд, перед которым отступают и склоняются все мировые суды. Филипп натравил на меня инквизиторов. Меня обвинили в самом страшном из человеческих грехов — в неверии в Бога. Мне припомнили мои неосторожные слова, вырвавшиеся у меня под пытками. Когда физическое страдание становилось непереносимым, я осыпал проклятиями моих мучителей и короля. А однажды я вскричал: «Бог спит, ежели он допускает такую несправедливость!» На основании этих и подобных им слов суд святой инквизиции составил обвинительное заключение и потребовал от верховного суда Арагона немедленно передать меня в руки инквизиции.

Судьи Арагона отказались выполнить это требование. Инквизиторы оштрафовали их на тысячу дукатов и призвали к послушанию, пригрозив отлучением от церкви и этим сломив наконец сопротивление. Верховный суд не осмелился так открыто противостоять святой инквизиции. Меня передали святым отцам. Весть об этом мгновенно облетела всю Сарагосу. Инквизиторов здесь не любили. В городе вспыхнул мятеж; народ вышел на улицы, чтобы защитить свои древние права и привилегии. Кроме того, жители Арагона симпатизировали мне, считая, что я стал жертвой мстительной природы короля. Едва только я

оказался в тюрьме святой инквизиции, как на улицах послышался воинственный клич: «*Contrafuegos!*»*, призывавший всех жителей Сарагосы подняться с оружием в руках против короля-клятвопреступника. Повстанцы штурмовали здание верховного суда, требуя немедленного восстановления справедливости и моего освобождения. Не добившись ничего, народ бросился ко дворцу инквизиции с тем же требованием.

Святые отцы ответили презрительным молчанием. Но когда их обитель была обложена хворостом и мятежники запалили факелы, инквизиторы отступили. Вид крови, пролитой в тот день на улицах города, испугал святых отцов. Был убит специальный посланник короля ранее губернатор города. Святые отцы, не на шутку испугавшись за собственные шкуры, снова передали мое дело верховному суду Арагона. Казалось, я был спасен. Но так только казалось.

Филипп позволил толпе излить свою буйную ярость, выплеснуть гнев. В первые дни мятежа он не предпринял никаких действий. Но когда мятежники поутихли и вся Сарагоса ликovala, празднуя победу, в город вошли регулярные части испанской армии. Толпа взроптала, но вид ошетилившихся мушкетов заставил ее замолчать. Я был обречен. Святые отцы, решив больше не рисковать, стали действовать очень быстро. В считанные дни меня осудили и приговорили к смертной казни за ересь, за убийство Эсковедо, за клевету на короля, измену Испании и многое другое. Словом, мне припомнили все мои истинные и вымышленные преступления. Меня могло спасти только чудо.

И чудо свершилось! Я до сих пор с трудом верю в происшедшее. Палач уже заковал меня в кандалы, меня уже возвели на эшафот и привязали к столбу, уже помощники палача торопились с вязанками хвороста, как раздалась ружейная пальба, и дюжина всадников в масках ворвалась на площадь. Лишь один человек не прятал свое лицо — это был Хуан де Меса, мой самый верный друг! Он собрал из арагонских дворян небольшой вооруженный отряд и, тщательно подготовившись, напал на мощную вооруженную охрану, которая меня сопровождала. Атака была столь неожиданна и стремительна, что охрана не сумела оказать серьезного сопротивления. Святые отцы, черной стаей расположившиеся вокруг эшафота, разлете-

* Беззаконие! (исп.)

лись при первых же выстрелах. Бой был коротким и кровавым. Прежде чем я осознал, что произошло, с меня уже сбили оковы, и я оказался в объятиях друзей. Еще через мгновение мы уже неслись прочь от места казни к воротам Святой Энграсии. Погоня, посланная нам вслед, не принесла результата. Я был на свободе, и на этот раз навсегда!

Такова моя история. Следует добавить, что после моего невероятного побега в Сарагосе были произведены повальные аресты. За ними последовали аутодафе — чудовищное изобретение святой инквизиции. Меня заочно приговорили к сожжению во всех испанских провинциях. Чучело, изображавшее меня, было сожжено на центральных площадях всех крупных городов Испании. Вся страна оза-рилась пламенем многочисленных костров; многие ни в чем не повинные люди стали в те дни жертвами инквизиции. Я не хочу вспоминать об этом, ибо слова богохульства рвутся с моих губ.

Я скрывался вместе с верным Хуаном, скитался, прятался от людей. И вот я в Наварре. Генрих IV, политический противник испанского короля, взял меня под свою опеку. Здесь я уже давно, но жажда мести Филиппа со временем не утихла. Дважды он подсылал ко мне убийц, дважды убийство было сорвано — наемников разоблачали прежде, чем им удавалось совершить свое черное дело. Оба случая были преданы широкой огласке. Филипп растерял последние остатки уважения. Но даже если королю удастся меня убить, моя смерть не принесет ему удовлетворения. Я написал воспоминания, которые разошлись по всей Европе. Сам я не боюсь смерти, но меня тревожит участь моей семьи, находящейся во власти испанского короля. Я прекращу свою борьбу против Филиппа только тогда, когда увижу жену и детей подле себя. Генрих IV намеревается принять католичество. Ну, что ж, Англия и королева Елизавета примут меня с распростертыми объятиями. Я жив, и я не сдался.

Антонио Перес задумался. В сгустившихся сумерках повисло молчание. За окном зажглись огни; легкий ветерок принес вечернюю свежесть. Рассказ был долгим, но лишь дважды Антонио прервал его. В первый раз он замолчал, когда говорил о своей любви к Анне Эболи. Его остановили сдавленные рыдания маркизы. Во второй раз его рассказ

прервали гортанные птичьи крики, внезапно раздавшиеся за окном.

— Орлиный крик. Я не слышал его с тех пор, как покинул холмы Арагона.

Закончив рассказ, Антонио внимательно посмотрел на женщину. Ее лицо было мокро от слез.

— Вы плачете? Что вызвало эти слезы — мой рассказ или ваше собственное двуличие?

Сильно побледнев, маркиза стремительно встала; в глазах ее читался неподдельный испуг.

— Я не понимаю вас, дон Антонио!

— Я хочу сказать, что вы лживы и коварны. Вы использовали свою красоту, свое очарование, чтобы заманить меня в ловушку. Вы продали свою совесть и свою честь, вы так же гнусны, как и те наемники, что пытались убить меня!

При этих словах он встал и теперь, преисполненный гнева и жалости одновременно, грозно возвышался над испуганной женщиной.

— С самого начала я знал, что это ловушка. Такое внимание к старику со стороны молодой и обворожительной красавицы весьма подозрительно. Вы хорошо играли свою роль. Но я многое повидал и знал, что иду к волку в пасть. Однако вы мне действительно понравились, и я решил рассказать вам свою историю в надежде, что сердце ваше не окончательно очерствело и ожесточилось. Сколько вам заплатили за мою голову? — Он произнес эти слова сурово и печально. Маркиза плакала, и рыдания ее были искренни.

— Да, я согласилась заманить вас в свой замок. Но я не ведала, не знала, кто вы. Я исправлю то, что наделала. Все ворота оцеплены. Но есть потайной выход, о котором знают только обитатели замка. Я покажу вам его. Он выведет вас к реке. Пойдемте, я провожу вас.

— Благодарю вас, мадам. Но я могу выйти беспрепятственно через центральные ворота замка. Мне некого опасаться. Помните, во время моего рассказа трижды прозвучал орлиный крик. Это был сигнал. Верный Хуан дал мне знать, что засада обнаружена и уничтожена. Я ведь подозревал неладное с самого начала. И принял необходимые меры. Я не воюю с женщинами, и у меня нет к вам никаких претензий. Но я все же хочу спросить, что заставило вас пойти на это?

— Я считала, я верила, что вы воплощение зла. И кроме того, моя семья очень бедна, вы и сами видите, в

каком упадке находится наш родовой замок. Я уступила. Мне пообещали десять тысяч дукатов. — Она упала на колени и схватила его руку. — Простите меня, дон Антонио, если можете.

Он осторожно поднял ее, мягко улыбнулся:

— Я сам немало грешил. Я знаю, что такое искушение, и не помню зла. — Он поцеловал ей руку, потом повернулся и медленно вышел.

Маркиза потерянно смотрела ему вслед, не смея окликнуть.

Перес спустился в сад, где Хуан со своими людьми охранял схваченных головорезов. Их было трое. Перес взглянул на них и сказал:

— Один из вас вернется в Кастилию и сообщит Филиппу Испанскому, что Антонио Перес покинул Францию и отправился в Англию, ко двору королевы Елизаветы, чтобы помочь ей своим знанием испанских дел в борьбе против испанского короля. Я освобожу одного из вас. Двое других будут повешены. Жребий решит, кто из вас останется жив.

IV

НОЧЬ МИЛОСЕРДИЯ

Преступление леди Алисы Лайл

Одна давняя, но памятная англичанам специальная выездная сессия суда присяжных, по справедливости названная «Кровавой», среди множества других рассмотрела и дело по обвинению леди Алисы Лайл. Приговор и его исполнение потрясли общество, и потому эта история дошла до нас во всех подробностях. Даже в те жестокие времена, когда публичные казни были обычным развлечением обывателей, смертный приговор пожилой даме, вынесенный лишь за то, что она воспользовалась единственной в ту пору привилегией женщины — проявлять милосердие к гонимым, поверг людей в ужас. В истории Англии это был первый подобный случай, и весьма зыбкий юридический фундамент обвинения немало способствовал распространению дурной славы кровожадного верховного судьи Джефрейса, баронета Уэмского, для которого это дело стало первым из рассмотренных им в западных графствах.

Историку, желающему разобраться в побуждениях и психологии участников тех или иных событий, судебный процесс над Алисой Лайл особенно интересен тем, что в действительности она пострадала вовсе не вследствие предъявленного ей формального обвинения. Обвинение было скорее предлогом, нежели причиной, но этого предлога оказалось достаточно, чтобы бесстрастная Немесида покарала невинную жертву.

Глава протестантов герцог Монмут проиграл битву при Седжмуре¹. Западные графства, где народ откликнулся на призывы герцога и поддержал восстание, объял страх: всем были известны фанатичная жестокость и мстительный характер короля. Командовавший королевской армией при Седжмуре Фэвершэм оставил комендантом Бриджустера командира танжерского гарнизона полковника Перси Керка. Солдаты и офицеры были достойны своего полковника. Знамя первого танжерского полка, некогда созданного для войны против язычников, украшала эмблема с пасхальным агнцем, и за солдатами полка закрепилось язвительное прозвище «ягнята Керка».

Из Бриджустера полковник Керк предпринял карательную экспедицию в Тонтон, где остановился в гостинице «Белый олень». Перед воротами гостиницы стоял врытый в землю прочный столб с перекладной-вывеской, и полковник, решив, что будет чрезвычайно забавно, если сей символ гостеприимства послужит виселицей, превратил ворота временного приюта во врата вечного забвения. Керк приказал доставить пленных, которых его солдаты гнали в кандалах от самого Бриджустера, и, не тратя времени на судебную комедию, распорядился вздернуть их перед гостиницей. Предание гласит, что, когда пленников затолкали на импровизированный эшафот, Керк и его офицеры, расположившиеся в комнатах у окон, подняли бокалы за их счастливое избавление от юдоли земной, а когда жертвы задергались в конвульсиях, Керк приказал бить в барабаны, дабы джентльменам сподручнее было плясать в общем ритме.

Полковник, как видим, обладал своеобразным, если не сказать, изощренным чувством юмора, которое, вероятно, пробудилось в нем на Североафриканском побережье.

В конце концов полковника Керка отозвали и даже пожурили, однако отнюдь не за варварские забавы, хотя даже тогда, во времена довольно грубые, они могли показаться дикими, а за мягкость, которую начал прояв-

лать этот джентльмен, обнаружив, что многие из потенциальных жертв готовы щедро оплачивать его милосердие.

Тем временем в атмосфере террора люди, имевшие основания бояться королевского мщения, спешили спрятаться кто куда мог. Двоим из этих несчастных удалось бежать в Хампшир, где, как они надеялись, можно было рассчитывать на относительную безопасность. Война обошла это графство стороной. Первый, священник Джордж Хикс, сражался в армии Монмута; второй, адвокат Ричард Нелторп, был объявлен вне закона за участие в Райхаусском заговоре. Обоим срочно требовалось убежище, и Хикс вспомнил об одной доброй леди из Мойлскорта, последовательнице учения нонконформистов².

Ее покойный муж, Джон Лайл, занимал должность лорда-хранителя печати при Кромвеле и некогда участвовал в суде над королем Карлом I³. Во время Реставрации⁴ Джон Лайл бежал в Швейцарию, но длинная рука Стюартов достала его и на материке. За голову беглеца была обещана награда, а в Лозанне сэр Джон пал жертвой алчного убийцы. Многим было известно, что жена лорда-хранителя в свое время помогла немалому количеству роялистов скрыться от индипендентов⁵, ее преданные друзья-тори⁶ ходатайствовали за нее, поэтому Алису Лайл оставили владелицей поместья погибшего мужа.

С тех пор минуло двадцать лет. Леди Алиса Лайл — ее называли так лишь по старой памяти да из вежливости, поскольку титулы, пожалованные Кромвелем, не сохранились после Реставрации — продолжала жить у себя дома и собиралась окончить свои дни в мире. И эта история не была бы написана, если бы не затаенная ненависть врагов к имени, которое носила состарившаяся и ни в чем не повинная дама, и если бы убийство ее мужа не произошло так далеко, в Швейцарии, ибо оно не насытило алчущих насладиться созерцанием трупа врагов. На закате жизни Алисе Лайл выпал жестокий жребий. И своим орудием Судьба избрала священника Хикса.

Хикс уговорил Данна, пекаря из Уорминстера и сторонника нонконформистской церкви, передать леди Лайл его просьбу о предоставлении убежища. 25 июля Данн отправился с этим поручением в Эллингхэм. Ему предстояло пройти около двадцати миль. Миновав Фовант и Чок, он добрался до Солсбери-плэн, но не знал дороги дальше и разыскал знакомого по имени Бартер, тоже нонконформиста, который взялся его проводить.

Субботним вечером они достигли усадьбы Мойлскорт, где их принял дворецкий леди Лайл. Данн, который был понахальнее, но туповат, так с ходу и бухнул, что его послали спросить, не примет ли миледи преподобного Хикса.

Степенный пожилой дворецкий Карпентер сразу насторожился. Хотя он не мог связать скрывающегося пресвитерианского священника⁷ с недавним восстанием, у Карпентера возникло предположение, что Хикс по меньшей мере из тех, против кого направлен указ, запрещающий проповеди на тайных молитвенных собраниях. Поэтому дворецкий, поднявшись к миледи, не только изложил ей суть просьбы, но и предостерег ее на этот счет.

Старушка с поблекшими глазами только улыбнулась в ответ на его предупреждение. Ей не раз случалось укрывать беглецов в дни Республики, и все обходилось благополучно. И леди Алиса распорядилась ввести посетителя.

Карпентер, снедаемый дурными предчувствиями, провел Данна к хозяйке и оставил их вдвоем. Данн изложил свою просьбу, не упомянув, впрочем, о том, что Хикс воевал на стороне Монмута, и она поняла его так, что он скрывается от указа, направленного против всех нонконформистских проповедников. Потом Данн добавил, что у Хикса есть товарищ, и леди Лайл пожелала узнать его имя.

— Не знаю, миледи. Однако я думаю, он участвовал в сражении.

Леди Лайл задумалась. Но жалость скоро поборолла сомнения в ее доброй душе.

— Хорошо, — сказала она, — я предоставляю им кров на одну неделю. Приведите их во вторник, когда стемнеет, да идите задней дорожкой через сад, чтобы вас не заметили.

С этими словами хозяйка встала и взяла свою эбеновую трость, чтобы самой проводить гостя и распорядиться о его ужине. На кухне она заметила Бартера, который при ее появлении встал и почтительно поклонился. Задержавшись на пороге, леди Лайл обратилась к Данну с тихим вопросом — и улыбнулась, выслушав столь же тихий ответ.

На обратном пути Бартер поинтересовался у своего спутника, что означала эта сцена.

— Миледи спросила меня, знаешь ли ты что-нибудь о деле, — невозмутимо отвечал Данн. — Я сказал «нет».

— О деле? — пробормотал Бартер. — О каком деле?

— Ну, разумеется, о том, ради которого мы приходили, — горделиво усмехнувшись, ответил Данн. И этот ответ посеял в душе Бартера смутную тревогу. Ее только усилили прошальные слова Данна, подкрепленные монетой в полкроны:

— Это задаток. Остальное получишь, если встретишь меня здесь во вторник и снова покажешь дорогу к Мойлскорту. Со мной будут два очень богатых джентльмена — по десять тысяч фунтов годового дохода на каждого. Скажу тебе прямо, я надеюсь сорвать с них немалый куш — такой, что мне больше никогда не придется работать. И ты, если встретишь нас здесь, тоже можешь рассчитывать на щедрую награду.

В глубоком раздумье Бартер побрел домой, и, чем больше он размышлял над хвастливыми речами Данна, тем больше недоумевал. Казалось очень странным, с какой стати честным людям платить непомерную цену за столь ничтожную услугу. Он терялся в догадках, пока в его неповоротливом мозгу не мелькнула мысль о мятежниках. С этого момента сомнениям уже не было места, и испуганный Бартер решил немедленно сообщить обо всем ближайшему шерифу.

По иронии судьбы его признание выслушал не кто иной, как полковник Пенраддок. Этот сухопарый, желчный и решительный человек проявил к рассказу о гостях леди Лайл самый пристальный интерес, и немудрено — ведь тридцать лет тому назад Джон Лайл, лорд-председатель Верховного суда, приговорил к смерти его отца, участника Уилтширского восстания.

— Ты — честный парень, — заметил полковник, когда Бартер умолк. — А как звать этих негодяев?

— Тот человек не называл никаких имен, сэр.

— Ну, ладно, скоро мы сами это выясним. Ты сказал, вы отправитесь?..

— В Мойлскорт, сэр. Их собирается приютить леди Лайл.

Мрачная улыбка скользнула по обрамленному тяжелым париком лицу полковника.

— Хорошо. Можешь идти, — произнес он после минутного размышления. — И будь уверен, мерзавцев схватят прямо там, на месте встречи.

Однако, к удивлению Бартера, во вторник на Солсбе-

ри-плэйн не оказалось никаких солдат. Он без всяких помех отвел в Мойлскорт Данна и его спутников — низенького, дородного мистера Хикса и тощего, долговязого Нелторпа. А сказочное вознаграждение, обещанное ему Данном, ограничилось на деле пятью шиллингами. Озадаченный бездействием полковника, Бартер поспешил к нему. Его страхи возобновились, и он хотел поскорее сообщить о местонахождении преступников, чтобы снять с себя всякое подозрение в сообщничестве.

Пенраддок выглядел очень довольным.

— Что ж, отлично. Ступай домой и ни о чем не тревожься. Ты исполнил свой долг, а остальное — уже наше дело. — И он повелительным жестом отпустил незадачливого осведомителя.

Простодушный Бартер не подозревал, что арест пары изменников-пресвитерианцев был в глазах полковника сущим пустяком. Месть дому своих кровных врагов Лайлов — вот что занимало мысли неукротимого сына старого Пенраддока.

А в это время беглецы вместе с Данном ужинали под гостеприимным кровом Мойлскорта. Прежде чем отойти ко сну, леди Алиса, как заботливая хозяйка, зашла узнать, есть ли у ее гостей все необходимое. Они разговорились. Как и следовало ожидать, беседа вращалась вокруг событий, занимавших умы всей Англии, — заговора Монмута и Седжмурского сражения.

Леди Лайл не задавала им никаких вопросов, но, оставшись одна, почувствовала смутное беспокойство. Что, если люди, воспользовавшиеся ее гостеприимством, что-то скрывают? Это показалось ей вполне вероятным, и она решила при первой возможности разрешить свои сомнения.

Наутро, проведя тревожную ночь, она послала за преподобным Хиксом. Священник не любил и не умел хитрить, и уже через несколько минут леди Лайл без особого труда выяснила, что его товарищ Ричард Нелторп объявлен вне закона за участие в Райхаусском заговоре. Эта новость не доставила ей никакой радости. Леди Лайл была не только испугана, но и возмущена обманом, поставившим ее в столь ложное положение. Привыкшая к честности, она не стала скрывать своего неудовольствия.

— Вы должны понять меня, сэр, — заключила миледи. — Вам нельзя здесь оставаться. Пока я думала, что вы подвергаетесь преследованиям лишь за религиозные убеждения, я с готовностью шла на некоторый риск. Но присутствие вашего друга меняет дело. Я не хочу

подвергать опасности ни себя, ни моих дочерей. Кроме того, я всегда питала отвращение к заговорам и смутам. Я сохраняю лояльность к нынешнему правительству и потому прошу вас обоих уйти, как только вы позавтракаете.

Грузный Хикс, понутив голову, молча стоял перед старой дамой. Он не пытался переубедить ее. Наступила тягостная пауза, которую внезапно прервал громкий стук в ворота. Через минуту в комнату вбежал побледневший Карпентер.

— Солдаты, миледи! Нас предали. Они знают про мистера Хикса! Что нам делать? Что делать?!

Леди Лайл сохранила невозмутимость и ни голосом, ни лицом не выказала ни малейшего волнения. Но душу старой хозяйки Мойлскорта наполнила жалость — и к перепуганному слуге, и к своим неудобным гостям. Леди Алиса вздохнула.

— Что ж, в таком случае следует спрятать этих несчастных джентльменов, — произнесла она, и Хикс, выйдя из замешательства, осыпал поцелуями руки миледи. Он клялся, что скорее даст себя повесить, чем навлечет беду на ее дом.

Но переспорить леди Лайл было не так-то просто. Повинуясь приказу госпожи, дворецкий потащил Хикса вниз по лестнице, прихватив по дороге дрожащего Данна. Затолкав обоих в сарай, где хранился солод, он наспех прикрыл их пустыми мешками и вернулся в дом. Нелторп уже куда-то исчез, не дожидаясь посторонней помощи.

Удары в ворота становились все громче, и грубые голоса из-за стены требовали именем короля немедленно впустить их. Выглянув в окно, сестры Лайл увидели взвод солдат в красных мундирах, во главе с сержантом. Чуть поодаль стоял полковник Пенраддок, который решил лично руководить облавой, чтобы насладиться зрелищем горя и унижения вдовы своего врага.

— Откройте ворота! — крикнул полковник, заметив испуганные лица девушек. — В этом доме мятежники, и я пришел их арестовать.

В эту минуту Карпентер откинул засов, и двор заполнили красные мундиры. Пенраддок подошел к старику-дворецкому и положил тяжелую руку ему на плечо.

— Мне известно, что прошлой ночью в дом твоей хозяйки явились чужие, — произнес он внушительно, но без гнева. — В твоих интересах быть со мной откровенным, приятель. Итак?

Дворецкий задрожал.

— Сэр... сэр... — бормотал он, заикаясь.

— Пойдем, дружище, — пригласил полковник. — Раз уж я знаю, что они здесь, давай скорей покончим с этим делом. Покажи, где они спрятаны, если хочешь спасти свою шею от петли.

Этого оказалось достаточно. Малодушие дворецкого отняло у беглецов последние шансы — под жестким взглядом полковника Карпентер мигом выложил все, что ему было известно.

— Умоляю вас, сэр, не выдавайте меня миледи, — хныкал он, плетясь к сараю, где скрывались Дани и Хикс. Стыд в его душе боролся со страхом. — Смилуйтесь, сэр...

Полковник лишь отмахнулся от него, как от назойливой мухи, распахнул дверь и указал солдатам на кучу мешков, под которыми, едва дыша, затаились его жертвы. Но когда их вытащили, он резко обернулся к дрожащему Карпентеру.

— Здесь только двое! — крикнул полковник. — Где третий? Я знаю, что ночью сюда явились три негодяя. Не вздумай вилить, старый мошенник. Куда ты девал третьего?

— Клянусь Богом, сэр, я понятия не имею, где он, — весь сжавшись, плаксиво пролепетал дворецкий.

Пенраддок повернулся к своим людям:

— Начинайте обыск!

Начался погром. Солдаты, грохоча сапогами, обходили комнату за комнатой. В поисках тайников они колотили прикладами по деревянным стенам, не колеблясь, вонзали штыки в те места, которые казались им подозрительными. Содержимое шкафов и сундуков вываливалось на пол, а большое зеркало со звоном разлетелось на тысячу осколков. Сержант приказал выломать несколько половиц — ему показалось, что под ними пустота. Впрочем, усердие храбрых вояк было не вполне бескорыстным: вещи, мало-мальски представлявшие ценность, моментально исчезали в их бездонных карманах.

Леди Лайл не вмешивалась в происходящее, и, только когда бесчинства солдат достигли высшей точки, она стала в дверях, опираясь на свою неизменную трость, и устремила взгляд на торжествующего полковника. Но даже сейчас в ее глазах было не возмущение, а лишь сдержанный упрек. Скрывая волнение за легкой насмешливостью, леди обратилась к мстителю в красном мундире:

— Вы не изволили меня предупредить, сэр, что мой дом отдан вам на разграбление.

Сняв свою украшенную плюмажем треуголку, полковник церемонно поклонился хозяйке Мойлскорта.

— Я действую именем короля, — ответил он.

— Король, — возразила она, — мог приказать вам обыскать мой дом, но не громить и не грабить его. Ваши люди ведут себя, как разбойники.

Пенраддок пожал плечами.

— Они ведут себя, как солдаты. И вы не вправе ожидать от них хороших манер после того, как сами преступили закон, пряча у себя мятежников, врагов короля.

— Это неправда, — упрямо произнесла леди Алиса. — Я не знаю ни о каких врагах короля.

Полковник, глядя на нее с высоты своего роста, усмехнулся. Она была такой маленькой, тщедушной и старой, что, казалось бы, одна ее внешность должна была исключить всякую мысль о мести. Но полковник Пенраддок думал иначе.

— Двое из них — пресвитерианец Хикс и мошенник Дани — уже схвачены нами. Не пытайтесь провести меня, леди Лайл. Пожалейте себя. Мне известно, что в доме прячется еще один человек. Выдайте его, и вы будете избавлены от дальнейших хлопот.

Она посмотрела ему в глаза и неожиданно улыбнулась в ответ.

— Я не понимаю вас, полковник, и боюсь, что ничем не смогу вам помочь.

Пенраддок побагровел.

— В таком случае, миледи, обыск будет продолжен... — начал он, но в эту минуту раздался крик из соседней комнаты. Перемазанный сажей Нелторп извивался в руках дюжих солдат — его вытащили из каминной трубы, где он пытался найти спасение.

Через месяц, 27 августа, леди Алиса Лайл предстала перед судом в Винчестере по обвинению в государственной измене.

Секретарь огласил заключение королевского прокурора. В нем говорилось, что леди Лайл, действуя тайно и злонамеренно, нарушила свой верноподданнический долг, оказав поддержку и предоставив укрытие Джону Хиксу — заведомому изменнику, поднявшему оружие против короля.

Такое начало не предвещало ничего хорошего, но маленькая седовласая дама в скромном сером платье безмятежно рассматривала лорда-председателя Джефрейса и четырех судей по обе стороны от него. Она не сомневалась, что будет оправдана. Обвинительный приговор за акт христианского милосердия казался ей делом совершенно немыслимым. К тому же наружность лорда Джефрейса внушала наивной старушке дополнительную надежду. Его бледное лицо, оттененное пурпурной мантией, подбитой горностаем, выглядело красивым и одухотворенным, а в больших глазах читались сострадание и ум — так, во всяком случае, казалось миледи. Она не догадывалась, что томный вид председателя суда объяснялся двумя прозаическими причинами — вчерашней попойкой и неизлечимой болезнью. Джефрейс был обречен, знал об этом и мстил всему миру, неуклонно приговаривая к смерти всех, кого только мог.

Заседание продолжалось. Королевский прокурор обратился с речью к присяжным, и леди Лайл, к своему изумлению, услышала, что она всегда оставалась тайной противницей законной власти и сочувствовала заговору Монмута. Нелепость этого утверждения возмутила ее. Процесс проходил без участия адвоката, и старой даме предстояло собственными силами защищать свою жизнь, состязаясь с целой бандой прожженных крючкотворов. Впрочем, сама она считала, что дело идет не о жизни, а лишь о ее добром имени.

— Милорд, — не выдержала леди Алиса при упоминании о Монмуте, — я всей душой осуждаю этот мятеж, как и любая женщина в Англии!

Джефрейс подался вперед, протестуя, замахав рукой.

— Миссис Лайл, мы должны соблюдать общепринятую судебную процедуру. Вам будет предоставлено слово для оправдания, и тогда вы изложите присяжным все, что сочтете необходимым. Милостью Всевышнего правосудие в нашей стране нелицеприятно, и суд его величества не отступает от принципов справедливости. А что касается вашего заявления, то я, разумеется, от всего сердца молю Господа, чтобы вы оказались невиновной.

Мягкий тон и благочестивые выражения лорда-председателя произвели на леди Алису самое благоприятное впечатление. Успокоенная, она опустила на скамью, решив запастись терпением.

Суд приступил к допросу свидетелей. Первым был вызван Данн. Вытягивая каждое слово, члены суда

заставили его рассказать о том, как он с ведома и согласия миледи проводил к ее дому двух беглецов. В зале воцарилась напряженная тишина.

— Была ли, по вашему мнению, обвиняемая Алиса Лайл знакома ранее с изменником Хиксом? — задал вопрос один из судей.

— Точно не знаю, ваша светлость, — проговорил Данн, пытаясь сообразить, какой ответ был бы ему выгоднее.

Повернувшись в кресле, лорд Джефрейс впился в свидетеля пронизывающим взглядом.

— Значит, вы утверждаете, будто по одному вашему слову леди Лайл приглашает к себе совершенно незнакомых людей? Разве Мойлскорт — гостиница? Здесь собрались не одни глупцы, мистер Данн, и я советую вам быть осторожнее. Возможно, суду известно куда больше, чем вы полагаете.

И насмешка в голосе председателя сменилась неприкрытой угрозой.

Данн затрясся.

— Милорд, я говорю правду, клянусь вам!

Но взгляд и речь судьи уже обрели прежнее добродушие.

— Очень рад это слышать, мистер Данн. Я только прошу вас быть повнимательнее. Нет ничего лучше чистой правды, и нет ничего отвратительнее разукрашенной лжи. Ну-с, а теперь вернемся к вашим показаниям. Продолжайте.

Однако пекарю совсем не хотелось продолжать. Охваченный страхом, он начал врать напрапалую, не заботясь даже о видимости правдоподобия. А когда один из судей поинтересовался, чем объясняется проявленное свидетелем участие к делам незнакомых людей, тот ответил, что действовал из человеколюбия, но беглецы обманули его, притворившись, будто желают скрыться от жестокого кредитора, грозящего им тюрьмой.

Пурпурная мантия всколыхнулась.

— Уж не думаете ли вы, сэр, что суд введут в заблуждение ваши бесстыдные увертки? — осведомился Джефрейс, и в голосе его вновь зазвучал металл. — Скажите, чем вы зарабатываете на жизнь?

— Я... я пекарь, милорд, — пробормотал несчастный.

— Вы, как я понял, так сердобольны, что, надо полагать, весь испеченный хлеб отдаете почти даром. И вы, конечно, работаете даже по воскресеньям, не правда ли?⁸

— Нет, что вы, милорд, никогда! — воскликнул Данн, на этот раз вовремя почуяв ловушку в вопросе судьи.

— Уж очень вы шепетильны в религиозных вопросах, сэр, — язвительно заметил Джефрейс. — Правда, вы находите возможным оказывать по воскресеньям услуги изменникам, но это для вас, по-видимому, не труд, а отдых!

Тут председатель хватил через край. Вконец запуганный, Данн окончательно потерял голову и уже не мог сообразить, чего добиваются от него грозные судьи. Он отчаянно изворачивался, отрицал очевидные факты и под конец замолк, беспомощно озираясь по сторонам. Новые вопросы исторгали из него лишь невнятное бормотание. И судьям, и присяжным успели надоесть бессвязные выдумки хлебопека.

— Джентльмены, думаю, с этим мошенником все ясно. Сами видите, с кем приходится иметь дело. Такой родную мать продаст за полкроны, не то что короля. Турок, и тот может с большим основанием рассчитывать на вечное блаженство, чем подобный христианин.

И Джефрейс, отпустив напоследок в его адрес несколько замечаний личного характера (столь энергичных и выразительных, что секретарь не решился занести их в протокол суда), приказал пока увести свидетеля и пригласить следующего.

Следующим перед присяжными предстал Бартер. Он подробно поведал суду о своем посещении Мойлскорта, не забыв упомянуть, что обвиняемая, увидев его на кухне, стала о чем-то шептаться с Данном. Когда он рассказал о разговоре на обратном пути, судьи оживились. Слова о «деле, ради которого они с Данном приходили», выглядели достаточно удобной зацепкой: появилась надежда доказать осведомленность леди Лайл об истинных мотивах, заставивших ее гостей скрываться от посторонних глаз.

Пекаря вызвали вновь, и прокурор приложил все усилия, пытаясь вырвать у него признание или хотя бы видимость такового. Но и угрозы, и увещевания пропали даром — свидетель не желал оговаривать ни себя, ни обвиняемую. Более того, он по-прежнему не понимал, чего от него хотят, и Джефрейсу оставалось лишь обличить его беззастенчивую ложь, столь присущую изменникам и их пособникам, и призывать кару небесную на голову этого тупоумного негодая.

— Жалкий лжец! Ты губишь свою драгоценную душу.

Разве не об этом сказано в Писании? Все горы выдумок, нагроможденные тобой, не укроют тебя от возмездия за лжесвидетельство.

— Я не знаю, про какие выдумки вы говорите, — лепетал Данн.

В бессильной ярости судья перешел на такую площадную брань, какую услышишь не во всяком притоне. Потом он снова резко сменил гнев на милость и вкрадчиво попытался убедить Данна, что если тот ответит, на какое дело он намекал в разговоре с Бартером, то это будет лишь в интересах миледи.

— Она спросила, известно ли мне, что Хикс — протестант.

— Не может быть, чтобы это было все. О чем она еще говорила?

— Это все, милорд, — запротестовал Данн. — Я больше ничего не знаю!

— О Боже! Видели ли вы когда-нибудь подобного наглеца? — прорычал Джефрейс. — Долго еще нам слушать твой вздор и терпеть издевательства?

Поняв, что толку от него не добиться, Данну наконец разрешили сесть, и к свидетельскому месту вышел полковник Пенраддок. Сегодня он чувствовал себя подлинным героем дня. Держа руку на Библии и отчетливо произнося каждое слово, он поклялся говорить правду и только правду. Не скупясь на подробности, полковник сообщил суду историю героического штурма Мойлскорта, ареста мятежников и их преступной покровительницы. Пенраддок ликовал в душе — месть свершилась; он привел к подножию плахи человека из дома своих кровных врагов, и не беда, что жертва оказалась всего лишь беззащитной старухой.

Когда полковник, добавив вскользь, что ему известно, как в свое время леди Лайл едва ли не с восторгом одобряла действия своего мужа, закончил свой рассказ, лорд-председатель вновь принялся за Данна.

— Почему при появлении солдат вы сочли необходимым спрятаться за компанию с мятежником Хиксом?

— Меня испугал шум, милорд, — пробормотал несчастный пекарь, не смея поднять глаза.

— Ах вот как, просто испугал шум. Испугал так сильно, что вы, не зная за собой никакой вины, кинулись в сарай и зарылись в груды мешков. Вы всегда так пугливы, мистер Данн? Или все объясняется тем самым

тайнственным «делом», о котором вы толковали с обвиняемой?

По знаку милорда служитель поднес горящую свечу к лицу свидетеля, чтобы от судей не укрылось ни малейшее движение его губ или глаз. Это не сделало пекаря более понятливым и сговорчивым:

— Милорд, ваша честь, смилуйтесь надо мной! — завопил Данн. Не осмеливаясь отвернуться, он моргал и жмурился от яркого света. — Клянусь вам, не было никакого другого дела, кроме того, о котором я уже рассказывал вашей светлости! Видит Бог, я не лгу, но у меня в голове все уже так перепуталось, что я иной раз сам не соображаю, что говорю!

— Для того, чтобы говорить правду, вовсе не нужно соображать, даже если вы на это способны, — резко произнес Джефрейс. — Впрочем, судя по вашим словам, ни вы, ни обвиняемая не отличаетесь рассудительностью, коль скоро она зазывает к себе в гости подозрительных незнакомцев, которых прячет — вместе с вами, сэр! — от слуг короля!

— Милорд! — воскликнула леди Алиса, задетая этим грубым выпадом. — Я надеюсь, меня не осудят, не выслушав!

— О нет, упаси Бог, миссис Лайл, — с подчеркнутой любезностью ответил председатель суда, и улыбка, не сулящая ничего хорошего, промелькнула на его породистом лице. — Подобные вещи практиковались лишь во времена вашего покойного мужа — вы хорошо знаете, что я имею в виду, — но, благодарение Господу, сейчас в Англии все по-другому.

После неохотно отвечавших Карпентера и его жены в четвертый раз вызвали Данна, но очередная попытка вытянуть из бедняги признание в знакомстве Хикса с Алисой Лайл и ее осведомленности о его участии в мятеже окончилась так же, как и предыдущие, и, несмотря на тупость, Данн был упорен. Сломить его так и не удалось.

Снова обругав его, Джефрейс объявил:

— Слово предоставляется обвиняемой. Суд слушает вас, миссис Лайл.

Старая дама поднялась со скамьи подсудимых. Она чувствовала себя очень усталой и одинокой, но сохраняла спокойствие и веру в справедливость своих соотечественников. Леди Алиса заговорила, обращаясь к председателю суда:

— Милорд, я должна заявить следующее. Я знала

только о предстоящем приходе в Мойлскорт священнослужителя мистера Хикса, вынужденного скрываться ввиду известного указа о пресвитерианских проповедниках. Я никогда не слышала имени мистера Нелторпа, не приглашала его к себе и была очень удивлена, узнав, что он находится в моем доме. Разумеется, я не подозревала и об участии мистера Хикса в вооруженном восстании — деле, несовместимом с его саном и долгом христианской любви к ближнему.

— Ну, так я скажу вам, — вставил Джефрейс, — что среди этих лживых пресвитерианских святош нет ни единого, чьи руки не были бы запятнаны кровью!

— Милорд, я всей душой против бунтов и мятежей. Будь мы в Лондоне, мне не составило бы труда представить вашей чести любые требуемые на сей счет свидетельства. Я уверена, что леди Эбергэвнни, как и другие высокопоставленные особы, осчастливившие меня своей дружбой и расположением, охотно подтвердили бы мою неизменную верность королю Иакову⁹. Я очень многим обязана дому Стюартов и никогда не нарушала долга благодарности и послушания. То чистая правда, милорд, и всякий, кто скажет обо мне иное, солжет. Я не признаю себя виновной в измене и смею напомнить вам, милорд, что мистер Хикс, насколько мне известно, хотя и арестован, но еще не осужден. Возможно ли судебное преследование за укрывательство человека, чьи преступные действия только предстоит доказать и о которых, повторяю, мне не было известно, когда я решила предоставить ему пищу и кров? Думаю, что закон и ваша совесть дадут на это одинаковый отрицательный ответ, милорд.

Лорд Джефрейс сидел, побелев от гнева, и вопрос его прозвучал хрипло и сдавленно:

— Вы закончили, леди Лайл?

— Мне осталось сказать немного, ваша честь, — по поводу показаний полковника Пенраддока. Его намек на то, будто бы я одобряла казнь короля Карла I — ложь! Настолько же ложь, насколько Бог — истина. В день этого ужасного события я не осушала глаз, и во всей Англии не найдется женщины, которая оплакивала бы несчастного государя горше, чем я. Что же касается моего поведения во время ареста преподобного Хикса и мистера Нелторпа, то признаюсь — я действительно отказалась что-либо сообщить полковнику о посторонних людях у меня в доме. Но солдаты, явившиеся в Мойлскорт, вели себя столь

грубо и вызывающе, словно были ордой захватчиков и грабителей, а не слугами короля. Я отказалась от любого сотрудничества с ними и их командиром полковником Пенраддоком, но двигали мною лишь возмущение и страх, а вовсе не желание ставить правительству палки в колеса. И я вновь повторяю, милорд, — и это такая же правда, как то, что я надеюсь на спасение своей души, — я никогда не была знакома с мистером Нелторпом и до последнего момента даже не подозревала о его присутствии. Мне было известно, что мистер Хикс — приверженец протестантской церкви, и я на самом деле предоставила ему пищу и кров...

Леди Алиса умолкла, стараясь побороть волнение, собраться с мыслями, и судья поспешил воспользоваться паузой — обвиняемая держалась слишком уж достойно и уверенно.

— Можете ли вы сказать что-нибудь еще в свою защиту? — спокойно спросил Джефрейс.

Он уже овладел собой и готовился к заключительной речи, главной части трагического фарса.

— Милорд, — снова начала обвиняемая, — я приехала в графство только за пять дней до этих ужасных событий...

Джефрейс покачал головой:

— Суд не интересуется срок вашего прибытия. Похоже, вы приехали как раз вовремя, чтобы приютить мятежников.

Голос леди Лайл чуть дрогнул, но она продолжала, по-прежнему сохраняя самообладание:

— Я никогда не стала бы рисковать жизнью, кроме как ради дела, освященного волей короля. В этих принципах я воспитывала и своих детей. Мой сын сражался за короля, и у его величества нет более верного слуги, чем он.

— В самом деле, миссис Лайл? Вы в этом уверены? — насмешливо осведомился Джефрейс, желая снизить впечатление, которое могла оказать на присяжных речь подсудимой.

— Да, милорд, — с достоинством произнесла дама и возвратилась на свое место.

Наступил час Джефрейса. Он медленно встал — величественный и грозный, олицетворение королевского правосудия — так, по крайней мере, казалось присяжным. Эти простодушные, жизнерадостные сквайры, представители старинных и уважаемых в графстве фамилий землевладельцев, с молоком матери впитали истинно

английское благоговение перед законом. Сейчас они с почтением и не без страха взирали на красную, отороченную горностаем, мантию милорда, золотую цепь на его груди и властное лицо, обрамленное тяжелым париком.

Впрочем, первая часть заключительной речи напоминала скорее проповедь. Это было естественно для политического процесса в Англии XVII века, когда династические и партийные распри тесно переплетались и маскировались распрями религиозными. Обильные цитаты из Писания, поминутные упоминания Всевышнего, торжественный и благочестивый тон — все в речи Джефрейса делало ее более уместной под сводами кафедрального собора, чем в зале суда. Старая леди, измученная тревожностями последних недель, не выдержала — она задремала, подобно большинству своих соотечественников во время длинных и скучных казенных проповедей. Тут, видимо, даже присяжные, не отличавшиеся остротой ума, должны были понять, что этот сон свидетельствует об уверенности леди Лайл в собственной невинности.

А председатель все говорил и говорил. Его интонация постепенно менялась — пафос уступил место яростным обвинениям, проклятиям и угрозам в адрес пресвитерианской церкви. Благоприятное впечатление, произведенное на присяжных мужественной кротостью леди Лайл, не укрылось от наблюдательного Джефрейса, и он старался склонить их на свою сторону. Это было нелегкой задачей — добиться смертного приговора старой даме, не причинившей никому ни малейшего зла. К тому же улики, представленные суду, отнюдь не свидетельствовали о государственной измене или хотя бы о намерении таковую совершить, и лорд-председатель мог рассчитывать лишь на страх присяжных перед ним, перед королем, перед новым восстанием. Если удастся его посеять, то он заставит их забыть доводы разума и веления совести.

Алиса Лайл вздрогнула и проснулась — ее разбудил внезапный грохот. Лорд Джефрейс завершил свою гневную филиппику¹⁰ против мятежников и пресвитериан, треснув кулаком по судейскому столу. Он сумел довести себя до неподдельного бешенства, дышал с трудом, глаза его налились яростью. С изумлением и страхом смотрела леди Лайл на председателя суда, недоумевая, чем вызвано такое иступление.

Джефрейс перевел дух. Теперь почва для вынесения окончательного приговора была достаточно подготовлена,

следовало только направить мысли присяжных в нужную сторону.

— Джентльмены, напоминая вам слова подсудимой. Она утверждает, будто пролила море слез, оплакивая гибель короля Карла I, осыпавшего своими милостями ее семью. Но в чем же выразилась признательность обвиняемой, ее верность памяти царственного мученика? В том, что она предоставляет убежище негодяям, дерзнувшим восстать против его преемника, ныне здравствующего короля Якова!

Выдержав паузу, судья обвел взглядом притихший зал и выпустил последнюю отравленную стрелу:

— Разумеется, каждый должен отвечать лишь за свои собственные поступки. Поэтому я не буду напоминать вам о роли, сыгранной в преступном цареубийстве не кем иным, как мужем обвиняемой. Я полагаю, джентльмены, вы и без моей помощи сумеете разобраться в искренности слов вдовы Джона Лайла. — Сделав опять многозначительную паузу, лорд-председатель обвел взглядом помрачневших присяжных и продолжал: — Вы слышали показания свидетелей. Правда, один из них выкручивался, как угорь, чтобы скрыть истину, но это только лишний раз подтверждает, что все обстоятельства дела изобличают подсудимую, вступившую в преступный сговор с мятежниками — врагами его величества. Этим людям, равно как и их пособникам, нет и не может быть оправдания, и я надеюсь, что вы, джентльмены, вынося свое справедливое и беспристрастное решение, не позабудете о вашем долге перед королем и Англией.

Лорд Джефрейс опустил в кресло, полагая, что выразился достаточно ясно. Но, к его удивлению, сельские сквайры не проявили мгновенной готовности подчиниться воле властей. Первым признаком неповиновения стал вопрос старшины присяжных, мистера Уистлера. Повторяя слова подсудимой, он поинтересовался, допустимо ли считать преступлением укрывательство человека, который еще не предстал перед судом.

Джефрейс, нахмурившись, глянул на краснощекую физиономию мистера Уистлера. Не хватало еще, чтобы присяжные начали оспаривать законность процесса!

— Не понимаю ваших сомнений, сэр, — холодно произнес он, с трудом подавив желание грубо осадить вольнодумца. — Вина Хикса совершенно бесспорна, и, учитывая важность разбираемого дела, суд вправе пре-

небрежь несущественными процедурными мелочами. А теперь, джентльмены, прошу вас приступить к совещанию.

Безапелляционный тон председателя подействовал, и присяжные, храня угрюмое молчание, потянулись в совещательную комнату. В зале воцарилась напряженная тишина.

Проходила минута за минутой, и лорд Джефрейс начал проявлять признаки нетерпения. Подозвав судебного пристава, он велел передать высокочтимому жюри предложение председателя суда объявить перерыв, с тем, чтобы господа присяжные, коль скоро их затрудняет принятие решения по столь очевидному делу, смогли без помех обсудить все обстоятельства в течение предстоящей ночи. Через полчаса присяжные возвратились в зал; лица их были напряженны и серьезны.

— Милорд, ваша честь, — начал Уистлер, когда на нем остановился горящий нетерпеливым ожиданием взор судьи — прежде, чем огласить наш вердикт, мы хотели бы рассеять некоторые возникшие у нас сомнения.

— Сомнения? Боже милостивый! — Лорд Джефрей откинулся на спинку кресла. — Смеею спросить, сэр, в чем же вы засомневались на этот раз?

Мистер Уистлер прокашлялся.

— Ваша честь, заключение о виновности миссис Лайл в государственной измене зависит, насколько мы поняли, от того, была ли она осведомлена о прошлом своих гостей. Мы не можем понять — достаточно ли весомы представленные улики для однозначного вывода. Показания главного свидетеля весьма запутанны и противоречивы, милорд, а дело, как вы сами изволили заметить, очень важное. Мы просим вашу честь высказаться по данному поводу.

Лорд-председатель помедлил секунду, разглядывая старшину. Этот краснорожий здоровяк своей неуместной дотошностью раздражал его, пожалуй, не меньше, чем Данн. Неужели ему, да и остальным тупицам-присяжным, невдомек, что исход сегодняшнего спектакля предreshен с высоты трона, а вся судебная процедура не более чем пышная бутафория для простофиль?

— Не знаю, чем помочь вам, сэр, — процедил Джефрейс.

Вместе с тем он понимал, что эти бестолковые сквайры, если их сейчас предоставить самим себе, вполне могут вынести обвиняемой оправдательный вердикт. Придется растолковать им все заново, чтобы разом покончить со

всякими пустыми колебаниями. Снова заговорив, Джефрейс придал своему голосу максимум негодующего изумления:

— Джентльмены, я поражен вашей нерешительностью! Доказательства, представленные суду, неопровержимы настолько, насколько это вообще возможно для человеческого правосудия. По моему убеждению, никто не должен требовать большего. Или вы не слышали показаний свидетеля — этого презренного негодяя, пекаря Данна? Он признался, что в Мойлскорте велись разговоры о недавнем восстании и других мятежах. Признался, что обвиняемая спрашивала у него, поднимал ли Хикс оружие против короля, а потом задала этот же вопрос своим преступным гостям, которые сразу же ей во всем открылись, зная, что найдут сочувствие. Можно ли изобличить измену и сговор более явственно?!

Однако мистер Уистлер не сдавался:

— Прошу прощения, милорд, но нам внушает некоторые сомнения именно последнее обстоятельство, о котором упомянули ваша честь, — признание, сделанное мятежниками по приходе в Мойлскорт. Мы полагаем...

— Вы, кажется, смеетесь над нами, сэр! — рывкнул Джефрейс.

Глаза его сузились — он снова пришел в ярость. Этот насквозь пропитанный элем мужлан позволяет себе слишком многое; пускай травит лисиц в своих поместьях, но не воображает, будто ему удастся сломить волю председателя королевского суда.

— Если все слова, произнесенные час тому назад, успели стереться из вашей памяти, то мне остается лишь выразить сожаление! При всем уважении к вам я не собираюсь заново проводить заседание. И раз уж вы столь забывчивы, то поверьте сейчас мне: в Мойлскорте был разговор о мятежах, был сговор между беглыми изменниками и их тайной покровительницей. Вина подсудимой доказана, и я предлагаю досточтимой коллегии присяжных, не тратя времени, завершить совещание и огласить вердикт. Дело совершенно ясное, — заключил свою гневную тираду Джефрейс.

Мистер Уистлер густо побагровел, но лорд-председатель достиг поставленной цели — старшина и остальные члены жюри поняли роль, отведенную им на этом процессе.

Поняла свою участь и леди Алиса Лайл. Но даже теперь она все еще не могла поверить, что ничего нельзя изменить, и сделала последнюю попытку воззвать к

справедливости. Голос ее дрожал, когда она обратилась к председателю суда:

— Милорд, я надеюсь...

— Замолчите, подсудимая! — прогремел лорд Джефрейс. — Вам было предоставлено слово, и суд выслушал вас. А сейчас сядьте на место!

Леди Лайл покорно опустила на скамью. С этой минуты она молчала, лишь мысленно обращаясь к Богу, моля даровать ей достаточно сил для последнего страшного испытания.

Присяжные вернулись. Мистер Уистлер, не поднимая глаз, коротко объявил единогласное решение: Алиса Лайл виновна в государственной измене.

— Что ж, джентльмены, вы исполнили свой долг, — отеческим тоном произнес председатель. — Вам не в чем упрекнуть себя, разве только в излишней щепетильности. Будь я на месте любого из вас, то под тяжестью столь неоспоримых улик, не колеблясь, признал бы виновной даже родную мать! — И с этими знаменательными словами лорд Джефрейс закрыл заседание.

Приговор был объявлен на другой день. Следуя букве закона, суд приговорил леди Алису Лайл, признанную виновной в государственной измене, к смертной казни через сожжение на костре.

Жестокая расправа, уготованная беззащитной старой женщине, всколыхнула страну. Никто не питал иллюзий насчет истинных мотивов процесса, но даже убежденные роялисты в большинстве своем находили, что убийство вдовы Джона Лайла, да еще организованное задним числом, через много лет после гражданской войны, едва ли прибавит славы дому Стюартов. Влиятельные друзья леди Лайл — среди них граф Эбергэвэнни и победитель Седжмура лорд Фэвершэм — обратились к королю с просьбой помиловать осужденную; ходатайство об этом направил в Лондон и епископ Винчестерский. Но Яков II счел королевское милосердие слишком ценным товаром для столь незначительного случая, и единственное снисхождение, оказанное им несчастной, заключалось в замене костра на топор палача.

Второго сентября благородная кровь леди Лайл обогрила плаху на рыночной площади Винчестера. Кроткое мужество не изменило ей до последней минуты. За день до казни она написала письмо, в котором вновь заявляла о своей невинности и просила всех судей и обвинителей, пославших ее на смерть.

Гибель Алисы Лайл — лишь одна из многих подобных трагедий, но она не скоро сгладилась в памяти современников, хотя сейчас почти забыта. И все же об этой истории следует помнить — хотя бы потому, что она показывает, как начатая однажды цепь насилия и жестокости (казнь Карла I) тянется сквозь годы и поколения, настигая все новые невинные жертвы.

V

НОЧЬ РЕЗНИ

Праздник святого Варфоломея

Пока продолжается История, среди историков, вероятно, не утихнут споры о Варфоломеевской ночи. В событиях этой ночи до сих пор остается много загадочного, хотя сама эта загадочность отчасти порождается именно спорами историков, занимающихся религиозными войнами и принадлежащих к католической и антикатолической школам. Последователи первой исторической школы стремятся доказать, что Варфоломеевская ночь была чисто политической акцией, не имеющей ничего общего с преследованием еретиков, сторонники второй придерживаются прямо противоположной точки зрения, считая, что имел место заранее и тщательно спланированный заговор. Они усматривают связь между этим событием и встречей Екатерины Медичи с герцогом Альбой семью годами раньше. Согласно мнению противников Ватикана, главу партии протестантов Генриха Наваррского заманили в Париж на бракосочетание с Маргаритой Валуа лишь для того, чтобы уничтожить протестантскую знать королевства, съехавшуюся на свадьбу своего номинального вождя.

В нашем рассказе мы не собираемся сравнивать доводы адептов обеих исторических школ. Легко установить, что правда, как водится, лежит где-то посередине: преступление было политическим по замыслу и религиозным по исполнению; другими словами, государство умышленно использовало религиозный фанатизм, подогрев его в нужный момент. Грех было не воспользоваться подвернувшимся случаем.

Против утверждения о запланированности Варфоломеевской ночи говорит, во-первых, то, что невозможно было

бы сохранить заговор Екатерины Медичи и герцога Альбы в тайне в течение семи лет, а во-вторых, то, что волна жестокого истребления протестантов прокатилась по стране весьма беспорядочно. К этому можно добавить попытку убийства Колиньи за два дня до праздника святого Варфоломея — покушение, отреагируй на него должным образом гугеноты, могло вызвать провал всего плана, если бы таковой существовал.

Следует иметь в виду, что Франция долгие годы была разделена на два лагеря и находилась в состоянии гражданской войны, которую вели католики и протестанты. И те, и другие боролись за безраздельную власть, и религиозные противоречия служили только поводом для этой войны. Почти непрерывная религиозная война опустошала и разоряла королевство. Главнокомандующим гугенотов был опытный солдат Гаспар де Шатильон, адмирал Колиньи. Фактически он являлся королем французов-протестантов и обращался с Карлом IX как равный с равным. Он создавал армии и вооружал их на средства, полученные от протестантской церкви. Вторым некоронованным королем — королем католического государства в государстве — был герцог де Гиз. Наконец, самую незначительную, по-видимому, роль играла третья, и слабейшая, партия короля Карла IX.

Брат короля герцог Анжуйский (впоследствии ставший Генрихом III) оставил нам записки с изложением событий, непосредственно предшествовавших Варфоломеевской ночи, составленные им в Кракове, когда герцог стал королем Польши, для секретного агента Мирона. У нас нет оснований не доверять автору этих записок, поскольку ничто не указывает на какие-либо тайные цели, которые герцог мог преследовать в то время, когда их сочинял. Однако для уточнения подробностей и подтверждения некоторых фактов пришлось обратиться к мемуарам Сюлли — придворного из свиты короля Наваррского и Люсиньяна — чудом оставшегося в живых дворянина из свиты адмирала. Этих-то трех источников мы и придерживались при воссоздании полной картины событий.

...Непринужденная болтовня дам и кавалеров, заполнивших длинную галерею в Лувре, вдруг стихла до шепота и сменилась полной тишиной. Толпа расступилась, пропуская короля, который вновь решил подразнить придворных своим появлением в обществе адмирала Колиньи.

Стройный, изящный герцог Анжуйский в фиолетовом камзоле, украшенном золотым шитьем, перестав любоватьсЯ своими холеными руками, наклонился к красавице мадам де Немур, шепнул ей что-то на ухо, и оба враждебно посмотрели на адмирала.

Король медленно прошествовал вдоль галереи, опираясь на плечо главы гугенотов. Они представляли собой весьма живописную пару. Если бы Колиньи не сутулился, то был бы на целых полголовы выше короля. Суровая мощь старого вояки, казалось, исходила от самой фигуры адмирала, а шрамы и морщины, избороздившие лицо, придавали его облику мрачное достоинство, граничившее с высокомерием. Впечатление это усиливалось пересекавшим щеку и терявшимся в седой бороде лиловым рубцом, который вместе с тремя выбитыми зубами оставила ему на память о битве при Монконтуре¹ вражеская пуля. Высокий лоб, пронизательные серые глаза и аскетический черный наряд являли собой противоположность глуповатой внешности короля, облаченного в легкомысленный камзол из желто-зеленого атласа.

Выдвинутый вперед подбородок и бегающий взгляд Карла IX усиливали неприятное чувство, которое вызывала у людей его физиономия с мясистым носом и придурковато отвислой губой. Брюзгливый и грубый нрав двадцатичетырехлетнего государя в точности соответствовал его внешности, а речь изобилвала непристойностями и изощренным богохульством.

В конце галереи Колиньи остановился и облобызал монаршью длань. Карл похлопал его по плечу.

— Считайте меня своим другом, — сказал он. — Я весь — и сердцем и душой — принадлежу вам. Прощайте, отец мой.

Колиньи удалился; король, горбясь и глядя в пол злыми глазами, вышел в противоположную дверь. Как только он скрылся из виду, герцог Анжуйский оставил мадам де Немур и поспешил вслед за ним. Болтовня придворных возобновилась с прежней оживленностью.

Король мерил шагами свой просторный кабинет, до отказа набитый предметами самого разнообразного назначения. Большое изображение девы Марии соседствовало здесь с висевшей на стене аркебузой; по другую его сторону висел охотничий горн. Небольшая чаша для святой воды с засохшей веточкой полыни служила, видимо, хранилищем принадлежностей для соколиной охоты. Возле свинцового окна стоял ореховый письменный стол, покры-

тый затейливой резьбой и заваленный всевозможными книгами и манускриптами. Тратат об охоте валялся здесь бок о бок с Часословом, а четки и собачий ошейник были брошены поверх рукописной копии стихов Ронсара². Король, надо заметить, и сам слагал вирши, правда, рифмоплетом был прескверным.

Карл оглянулся, и лицо его при виде вошедшего брата налилось желчью. Со злобным ворчанием он пнул ногой буро го пса, и гончая, взвизгнув, отлетела в угол.

— Ну? — заорал король. — Что еще? Могу я хоть минуту побыть один? Когда меня наконец оставят в покое? Что на этот раз, черт возьми? Чего тебе надо?

Водянисто-зеленые глаза Карла сверкали, а правая рука то стискивала, то отпускала рукоятку кинжала на поясе.

Пораженный неожиданной свирепостью брата, молодой герцог стушевался.

— Ничего, ничего. Зайду в другой раз, если я вас потревожил. — Он поклонился и исчез, провожаемый злобным хохотом.

Д'Анжу знал, что брат его не жалуется, и боялся Карла, но тем яростнее было его негодование. Герцог направился напрямик в покои своей матери, чтобы пожаловаться ей на поведение короля. Генрих ходил у Екатерины в любимчиках и всегда мог рассчитывать на сочувствие.

— Все это дело рук мерзкого адмирала, — заявил он в конце длинной тирады. — Карл всегда такой после общения с Колинни.

Екатерина Медичи погрузилась в размышления.

— Карл — это флюгер, — сказала она, подняв свои сонные глаза. — Любой подувший ветерок вертит им как угодно, и тебе давно следовало бы это знать. — Она зевнула, и каждому, кому не известна была ее манера постоянно зевать, могло показаться, что предмет разговора королеве абсолютно безразличен.

Они были одни в уютной, увешанной гобеленами комнатке, которую Екатерина называла своей молельней. Полная, все еще красивая королева-мать возлежала на кушетке, обитой розовой парчой, а д'Анжу стоял у окна. Он снова разглядывал свои руки, которые старался пореже опускать вниз, чтобы кровь не прилиwała к ним и не портила их восхитительной белизны.

— Адмирал пытается ослабить наше влияние на Карла, а сам влияет на него все сильнее, — возмущенно сказал Генрих.

— Можно подумать, я этого не знаю, — последовал сонный ответ.

— Пора положить этому конец, пока он не успел разделаться с нами! — напористо проговорил д'Анжу. — Ваше собственное влияние, мадам, тоже с каждым днем убывает, и адмирал, того и гляди, совсем охмурит вашего сына. Брат принимает его сторону против нас. О, Боже! Видели бы вы, как он назвал его «отец мой» и объявил себя его преданным другом. «Я ваш всем сердцем и душой...» — вот слова брата. А когда я потом вошел к Шарлю в кабинет — о, как он зарычал, как посмотрел на меня и схватился за кинжал! Мне показалось, что он сейчас вонзит его мне в горло. По-моему, совершенно очевидно, чем именно старый негодяй привлек его на свою сторону. — И Генрих повторил еще более яростно: — Пора, пора положить этому конец!

— Знаю, знаю, — бесстрастно пробормотала Екатерина, дождавшись, когда выплеснутся его эмоции. — И конец этому, безусловно, наступит. Старого убийцу следовало повесить еще много лет назад, ведь это он направил руку, стрелявшую в Франсуа де Гиза. Теперь он стал еще опаснее — и для Шарля, и для нас, и для Франции. Он хочет отправить свою гугенотскую армию во Фландрию, на помощь кальвинистам, и поссорить нас с Испанией³. Хорошенькое дело, клянусь Богом! — Ее голос на минуту оживился: — Католическая Франция воюет с католической Испанией из-за гугенотской Фландрии! — Королева-мать усмехнулась, потом вяло, на свой лад, продолжала: — Ты прав. Пора с этим покончить. Колиньи — это голова чудовища: если ее отрубить, то и все чудовище, возможно, испустит дух. Нужно бы посоветоваться с герцогом де Гизом. — Екатерина опять зевнула. — Да, герцог де Гиз даст нам совет и наверняка не откажется помочь. Решено: мы должны избавиться от адмирала.

Однако возможность исполнить дело, за которое ему платили, представилась Морверу только в следующую пятницу. Поздним утром, когда адмирал под охраной нескольких придворных возвращался из Лувра к себе домой на улицу Бетизи, из окна первого этажа дома Вилэна раздался выстрел. Пуля перебила два пальца правой руки адмирала и застряла в мякоти левого плеча.

Колиньи поднял свою покалеченную, окровавленную руку, указывая на окно, из которого раздался выстрел, и его люди побежали к дому, чтобы схватить убийцу. Но

когда они выломали дверь и ворвались внутрь, Морвер уже бежал черным ходом, возле которого наготове стояла лошадь, и, несмотря на погоню, так и не был схвачен.

О происшествии немедленно донесли королю, игравшему в это время в теннис с герцогом де Гизом и приемным сыном адмирала, Телиньи. Присланный с известием от Колиньи развязный молодой дворянин снял шляпу, поклонился и сказал:

— Сир, адмирал просил передать, что после этого покушения он познал настоящую цену соглашению с его светлостью де Гизом, которое он заключил с ним после Сен-Жерменского перемирия. Адмирал предлагает, чтобы и ваше величество тоже сопоставили два этих события и сделали свои выводы.

Герцог де Гиз застыл на месте от подобной наглости, но не проронил ни слова. Король побагровел, посмотрел на герцога разъяренным взглядом и, не сдержав бешенства, разбил ракетку о каменную стену.

— Дьявол! — закричал он. — Дадут мне когда-нибудь спокойно пожить? — Он отшвырнул обломки ракетки и ушел, сыпля проклятиями.

Позже, допросив гонца еще раз, он выяснил, что выстрел прозвучал из дома Вилэна, бывшего опекуна герцога де Гиза, а лошадь, на которой ускакал убийца, была из герцогских конюшен.

Тем временем герцог и господин де Телиньи, не обменявшись поклонами, разошлись в разные стороны, после чего де Гиз заперся с друзьями у себя во дворце, а Телиньи отправился к своему названому отцу.

В два часа пополудни, уступив настоятельной просьбе адмирала, король навестил раненого вместе с королевой-матерью, двумя своими братьями, д'Анжу и д'Алансоном, несколькими офицерами и придворными. Королевская процессия проследовала по улицам, которые немного побурлили после утренних событий, но ко времени выезда кавалькады из Лувра уже утихли. Король был мрачен и молчалив, отказывался обсуждать случившееся с кем бы то ни было и не предоставил аудиенцию даже своей матери. Екатерина и д'Анжу, раздраженные провалом своего плана, возмущенно поджимали губы.

Адмирал ждал их, сосредоточенно задумавшись. Придворный врач Паре⁴ ампутировал ему оба раздробленных пальца и обработал рану на плече. Хотя можно было считать, что Колиньи легко отделался и был уже вне опасности, пронесся слух, что в него стреляли отравленной

пулей, и ни сам адмирал, ни его люди не опровергали этого слуха. Они, разумеется, предполагали извлечь из него дополнительную выгоду и приобрести еще большее влияние на короля. Неважно, останется Колиньи жив или умрет, но король, несомненно, придет в большее негодование, если будет думать, что рана угрожает жизни адмирала.

С матерью и братьями Карл промчался мимо угрюмых гугенотов, заполнивших просторный вестибюль, и ворвался в покои адмирала, где тот полулежал на диване возле окна. Колиньи попытался подняться, но король поспешил вперед и не позволил ему это сделать.

— Лежите, мой дорогой отец! — воскликнул Карл, всем своим видом выражая глубокую озабоченность. — Боже, что они с вами сделали? Успокойте меня, по крайней мере, тем, что ваша жизнь в безопасности, или, клянусь, я...

— Моя жизнь принадлежит Господу, — отвечал адмирал напыщенно, — и когда Он ее потребует, я откажусь от нее — только и всего.

— Только и всего? Черт возьми, только и всего! Ранены вы, но оскорблен я! Кровью своей клянусь вам, кое-кто поплатится за это. Они надолго запомнят! — И король разразился столь кощунственными проклятиями, что набожный, искренне богобоязненный еретик содрогнулся от его слов.

— Успокойтесь, государь, прошу вас! — наконец вмешался он, положив свою ладонь на бархатный рукав королевского камзола. — Успокойтесь и выслушайте меня. Я просил вас прийти сюда не ради себя, не для того, чтобы требовать наказания виновных за эти нанесенные мне раны, а потому, что это покушение не что иное, как попытка подорвать вашу власть и ваш авторитет. Зло во Франции накапливает силы, — Колиньи умолк и мельком взглянул на Екатерину, Генриха и Франсуа. — Однако то, что мне необходимо сказать, предназначается лично вам, сир.

Карл резко обернулся к своим спутникам и словно пронзил взглядом мать и братьев. Но долго смотреть кому-то прямо в глаза было выше его сил.

— Прочь! — скомандовал он, махнув рукой и чуть не задев при этом их носы. — Вы слышали? Оставьте меня наедине с моим отцом-адмиралом.

Молодые герцоги, помня о приступах необузданной ярости, которые охватывали брата при любой попытке

противиться его слабой воле, поспешно удалились. Но медлительная Екатерина не торопилась.

— Настолько ли здоров месье де Колиньи, чтобы обсуждать сейчас какие-либо важные дела? Примите во внимание его состояние, ваше величество, — бесцветным голосом заметила она.

— Благодарю вас за трогательную заботу, мадам, — не без иронии в голосе ответил адмирал, — но, слава Богу, я еще достаточно крепок! И даже если бы я был менее здоров, чем сейчас, для меня было бы гораздо более тяжким бременем сознавать, что я не исполнил свой долг по отношению к его величеству.

— Ну? Слышали? — скривился король. — Ступайте же, ступайте.

Екатерина покинула комнату вслед за младшими сыновьями, дожидавшимися ее в вестибюле. Все трое собрались у одного окна, выходящего на раскаленный, залитый солнечным светом двор. Как потом рассказывал сам д'Анжу, они очутились в окружении двух десятков мрачных придворных и офицеров свиты адмирала, которые поглядывали на них с нескрываемой враждебностью. Они хранили молчание, прерываемое лишь отрывистыми фразами вполголоса, и расхаживали взад и вперед перед августейшими особами, не заботясь о соблюдении должного этикета и почтительного расстояния.

Королеве и ее сыновьям, изолированным в этом недружелюбном окружении, становилось все более не по себе, и, по признанию самой Екатерины, ее нигде и никогда раньше не охватывал большой страх за свою жизнь; когда же они покинули негостеприимный дом, она испытала огромное облегчение.

Этот страх побудил ее все-таки снова вмешаться и заставить Карла прекратить секретное совещание в соседней комнате. Она проделала это в присущей ей манере: с максимально возможным самообладанием Екатерина неспешно направилась к двери, слегка стукнула и вошла, не дожидаясь приглашения.

Король, стоявший подле адмирала, быстро обернулся на стук. Его глаза яростно сверкнули, чуть только он увидел свою мать, но она его опередила.

— Сын мой, — сказала она, — я тревожусь за бедного адмирала. Если вы позволите ему переутомляться, у него начнется лихорадка. Как его друг, вы не должны продолжать сейчас этот разговор. Повремените с делами,

пока адмирал не поправится — а это произойдет скорее, если вы дадите ему отдохнуть.

Колиньи насмешливо поглаживал свою седую бороду, король же язвительно воскликнул:

— Черт побери, матушка! Какая неожиданная и трогательная забота!

— В ней нет ничего неожиданного, сын мой, — ответила королева нудно-рассудительным тоном и уставилась на Карла своими тусклыми глазами, которые обладали над ним какой-то колдовской властью, парализуя волю. — Кому, как не мне, знать, сколь много значат для Франции здоровье и жизнь адмирала.

Д'Анжу у нее за спиной ухмыльнулся двусмысленности этой фразы.

— К чертям собачьим! Король я или нет?

— Вот и будьте королем, не злоупотребляйте здоровьем своего несчастного подданного. — И королева повторила, по-прежнему гипнотизируя его взглядом: — Пойдемте, Шарль. В следующий раз, когда адмирал восстановит свои силы, вы продолжите ваш разговор. А теперь пойдемте.

Монарший гнев сменился почти детской обидой. Карл попытался выдержать материнский взгляд и был окончательно сломлен.

— Наверное, моя мать права... Отложим пока это дело, отец. Поговорим о нем сразу же, как только вы встанете на ноги.

Он подошел к дивану и, прощаясь, протянул руку. Колиньи принял ее и задумчиво посмотрел в молодое, но безвольное лицо короля.

— Я благодарен вам, сир, за то, что вы пришли и выслушали меня. Надеюсь, в другой раз мне удастся сказать вам больше. А тем временем, государь, хорошенько поразмыслите над тем, о чем я успел вам рассказать. Я забочусь исключительно о вашем благе, сир. — И он поцеловал его руку.

Королева сдерживалась до самого возвращения в Лувр и только там попыталась пробиться сквозь отрешенную задумчивость Карла, чтобы узнать — а ей непременно нужно было разузнать все, — о чем шла речь во время конфиденциальной беседы сына с адмиралом. Сопровождаемая д'Анжу, Екатерина толкнула дверь королевского кабинета. Карл сидел за письменным столом, подперев сложенными ладонями свой вытянутый вперед подбородок. Едва завидев вошедших, он издал какой-то рык и грубо поинтересовался, зачем они опять пожаловали.

Екатерина с величественным спокойствием подошла к стулу и уселась. Генрих, подбоченясь, остался стоять чуть позади нее.

— Сын мой, я пришла узнать, о чем вы говорили с Колиньи, — без обвиняков заявила королева.

— А какое вам до этого дело?

— Все ваши дела касаются и меня, — спокойно возразила она. — Ведь я — ваша мать.

— А я — ваш король! — закричал Карл, стукнув кулаком по столу. — И собираюсь им оставаться.

— Милостью Божьей и благосклонностью месье де Колиньи, — усмехнулась Екатерина.

— Что вы хотите этим сказать? — Король уставился на нее с приоткрытым ртом, и шея его начала багроветь. — Как вы смеете?!

Бесстрастный взгляд матери осадил его прыть, и она повторила свои презрительные слова.

— Поэтому я и пришла к вам, — добавила она. — Если вы не способны править страной без посторонней опеки, я, по меньшей мере, должна сделать все от меня зависящее, чтобы вашим опекуном не стал бунтовщик, который стремится подчинить вас своей воле.

— Подчинить? Меня? — вскричал король, подпрыгнув от возмущения. Он посмотрел на мать, но, будучи не в состоянии выдержать ее холодного взгляда, снова отвел глаза. Карл грязно выругался и с отвращением произнес: — Скажите уж, что он хочет править вместо меня!

— Да, и править. Он будет помышлять вами до тех пор, пока не исчезнут последние остатки вашего авторитета, и тогда вы окончательно станете лишь игрушкой в руках гугенотов, королем-марионеткой.

— Клянусь Богом, мадам, если бы вы не были моей матерью...

— Именно потому, что я ваша мать, я и пытаюсь спасти вас.

Карл опять обратил на нее взгляд и опять дрогнул. Он нервно прошел по комнате туда и обратно, бормоча что-то себе под нос, затем, поставив ноги на *grie-Dieu**, повернулся к королеве.

— Бога ради, мадам, раз вы так настаиваете, я повторю вам все, что сказал мне адмирал. Вы доказали мне, что все им сказанное есть чистейшая правда. Он утверждал, что с королем во Франции считаются лишь до тех пор,

* Скамеечка для молитв (*фр.*).

пока он обладает настоящей силой и, следовательно, властью или хотя бы радеет о своих подданных, что моя власть вкупе с управлением всеми государственными делами благодаря искусному плану, который осуществляете вы с герцогом Анжуйским, ускользает из моих рук в ваши собственные; что эта власть, которую вы у меня крадете, в один прекрасный день может быть использована вами против меня и моего королевства. Он предостерегал меня и советовал быть настороже, следить за вами обоими и принять меры предосторожности. Он дал мне этот совет, мадам, считая это своим долгом, ибо он — один из моих наиболее преданных друзей и верных подданных. Находясь на пороге смерти...

— Бесстыдный лицемер! — прервал его флегматичный, но презрительный голос Екатерины. — На пороге смерти! Два пальца и легкое ранение в плечо, а он изображает из себя умирающего. А все для того, чтобы заставить вас поверить его поклепу!

В ее словах присутствовала логика, надменность и бесстрастность матери действовали на короля сильнее самой логики. Большие водянистые глаза Карла расширились.

— А если... — начал он, запнулся и чертыхнулся. — Так, значит, он лжет, мадам? — неуверенно спросил он.

Екатерина уловила в его вопросе нотку надежды — надежды, отвечавшей тщеславному желанию быть настоящим королем, а не просто носить этот титул. Королева выпрямилась.

— Вы мне не верите? Мне — своей матери? Вы меня просто оскорбляете! Пойдем, Анжу. — И с этими словами она гордо удалилась, понимая, однако, что ее слова заронили зерно сомнения в душу Карла. На большее она пока и не рассчитывала.

Однако, уединившись с д'Анжу в своей молельне, королева не сумела сохранить свое обычное показное безразличие ко всему на свете. На этот раз она вся дрожала, покраснев от негодования, и громко поносила Колиньи и гугенотов, сверкая далеко не сонными глазами.

Но сейчас ничего уже нельзя было изменить. Первый удар не достиг цели: адмирал выжил. Возникла опасность, что неудачное покушение рикошетом ударит по тем, кто его подготовил. Впрочем, на следующий день, в субботу, дела неожиданно приняли совершенно иной оборот.

Великий предводитель католиков, могущественный кра-

савец герцог де Гиз, которого больше кого-либо другого подозревали в организации покушения, покинул свой дворец, занялся сбором новостей о происходящем в городе и потом пришел с ними к королеве-матери. Вооруженные отряды гугенотов разъезжали верхом по парижским улицам, выкрикивая угрозы и проклятья:

— Смерть наемным убийцам! Долой гизаров!

И, хотя в Париж для поддержания порядка был срочно вызван полк французской гвардии, герцог ожидал серьезных неприятностей. Город переполнила гугенотская знать, собравшаяся на торжества по случаю королевской свадьбы. Поползли слухи, что протестанты повсюду вооружаются. Правдивы они были или нет, но при сложившихся обстоятельствах очень походили на правду. Парижу угрожала смута.

Оставив Гиза в своей молельне и взяв с собой любимчика Анжу, Екатерина разыскала короля. Возможно, она поверила слухам; возможно даже и то, что в ее изложении они выглядели как несомненные факты, — но, во всяком случае, пересказав их Карлу, она резко укрепила свои позиции.

— Король Гаспар I, — говорила она королю, — уже принимает меры. Еретики вооружаются; офицеры-гугеноты направлены в провинцию набирать войска. Адмирал приказал нанять десять тысяч рейтар⁵ в Германии и десять тысяч швейцарцев в кантонах.

Карл усталился на мать бессмысленным взглядом. Некоторые из этих слухов уже достигли его ушей, и он воспринял ее слова как лишнее их подтверждение.

— Теперь ты видишь, кто твои подлинные друзья и верные слуги! — заключила Екатерина. — Как случилось, что в вашем собственном государстве у вас оказалось столько противников? Католики так ослаблены и разорены после гражданской войны, в которой их король мало с ними считался, что перестали на вас полагаться и тоже собираются вооружаться и самостоятельно дать отпор врагам. Таким образом, в вашем королевстве две вооруженные партии, и ни одну из них нельзя назвать лояльной. Если вы не пошевелитесь и не сделаете немедленный выбор между своими друзьями и своими врагами, то останетесь в изоляции. Вам угрожает серьезная опасность стать королем без подданных.

Ошеломленный Карл опустился в кресло и задумался, сжав голову руками. Он взглянул на мать — в глазах

его метался страх затравленного зверя. Он перевел взгляд на брата.

— Что же делать? — спросил он. — Что?! Как предотвратить опасность?

— Очень просто: одним молниеносным ударом, — спокойно отвечала Екатерина. — Нужно одним быстрым и точным ударом отсечь голову чудовищу мятежа, этой гидре ереси.

Карл с ужасом отпрянул, его пальцы, вцепившиеся в резные ручки кресла, казались высеченными из белого мрамора.

— Вы предлагаете убить адмирала? — хрипло прошептал король.

— Не только адмирала, но и всех гугенотских главрей, — ответила Екатерина таким тоном, словно речь шла о десятке-другом каплунов, предназначенных на убой.

— Ах, вот как! *Par la Mort Dieu!** — Король вскочил в ярости. — Вы жаждете крови! Вы его ненавидите, и потому...

Она холодно перебила его:

— Не я! Не я! Крови жаждут еретики. Я не собираюсь давать вам никакого конкретного совета, кроме единственного: соберите свой совет. Пошлите за Таванном, за Бираком, Ретцем и всеми остальными и посоветуйтесь с ними. Они — ваши друзья, и вы им доверяете. Посмотрим, насколько их мнение разойдется с моим, когда они ознакомятся с фактами. Пошлите же за ними, они все сейчас в Лувре.

Карл, глядя на нее, задумался на минуту и сказал:

— Ладно, будь по-вашему, — и открыл дверь, громко выкрикивая распоряжения.

Один за другим появились маршал де Таванн, герцог де Ретц, герцог Невер, канцлер Бирак и последним — герцог де Гиз, к которому король продолжал испытывать ревнивую ненависть из-за его популярности.

Стоял жаркий августовский день. Окно, выходящее на набережную Сены, открыли для доступа свежего воздуха.

Карл восседал за своим письменным столом в дурном расположении духа. Он перебирал пальцами нитку четок. Екатерина заняла стул сбоку от его стола, д'Анжу уселся рядышком на табурет. Остальные почтительно стояли,

* Грубое французское богохульство, труднопереводимое на русский (дословно — «Чтоб помер Бог!»). Обычно передается простым «Черт возьми!».

ожидая, когда король объявит о причине их срочного вызова. Бегающий королевский взгляд блуждал от одного к другому, потом скользнул по полу и почти вызывающе остановился на матери.

— Скажи им, — приказал он ей грубо.

Екатерина повторила то, о чем уже говорила сыну, только более подробно и обстоятельно. Некоторое время в комнате был слышен лишь ее монотонный голос. Закончив, она зевнула и приготовилась выслушать возражения.

— Ну? — резко прервал паузу король. — Вы слышали? Что вы предлагаете? Говорите!

Первым — медленно, но твердо, — ответил Бирак:

— Я согласен с ее величеством. Другого пути нет. Опасность велика, и, чтобы ее предотвратить, надо действовать быстро и наверняка.

Таванн заложил руки за спину и сказал приблизительно то же самое, что и канцлер.

Перебирая четки своими длинными пальцами и отведя глаза в сторону, король дал высказаться всем по очереди. Оставались маршал де Ретц и герцог де Гиз. Карл поднял глаза и, умышленно избегая смотреть на Гиза, устоялся на маршала, который держался несколько в стороне.

— А вы, месье маршал? Каков будет ваш совет?

Ретц расправил плечи и набычился, словно готовился к отражению враждебной атаки. Был он слегка бледен, но вполне владел собой.

— На свете существует только один человек, которого я ненавижу всем своим существом, и этим человеком является Гаспар де Колиньи, который распространял против меня и моей семьи лживые обвинения и грязную клевету. Но я не хочу, — добавил он твердо, — мстить своим врагам ценой поражения моего короля и повелителя. Я не могу согласиться с этой гибельной для вашего величества и для всего королевства затеей. Если мы предпримем то, что нам здесь посоветовали, сир, то, я уверен, нас осудят — и справедливо осудят — за предательство и вероломство. Помните о подписанном нами договоре!

После слов герцога де Ретца наступила мертвая тишина. Оппозиция возникла там, где ее меньше всего ожидали. Екатерина и д'Анжу рассчитывали на ненависть маршала к Колиньи и были уверены, что он поддержит их замысел.

Бледные щеки короля покрыл едва заметный румянец,

его глаза заблестели. Казалось, он неожиданно обрел надежду в море отчаяния.

— Его устами глаголет истина! — воскликнул Карл. — Месье и вы, мадам, — вы слышали правду. Как она вам нравится?

— Господин де Ретц от избытка благородства невольно вводит нас в заблуждение, — быстро ответил Анжу. Поскольку он питает к адмиралу личную неприязнь, то полагает, что уронит свою честь, если выскажется иначе. И он не хочет, как сам сказал, использовать короля в качестве орудия мести за свои обиды. Полагаю, мы можем отнестись с уважением к позиции господина де Ретца, хотя и считаем ее ошибочной.

— Может быть, месье де Ретц предложит нам какой-нибудь другой, лучший путь выхода из создавшегося положения? — скрипучим голосом произнес Таванн.

— Он есть, он должен быть найден! — закричал король, вскакивая. — Другой путь должен быть найден, вы слышите? Я не позволю вам посягнуть на жизнь моего друга адмирала. Клянусь небом, не позволю!

Все зашумели и заговорили одновременно, но король хлопнул ладонью по столу и напомнил, что его кабинет не базар.

— А я повторяю, что другого пути нет, — настаивала Екатерина. — Во Франции не может быть двух королей, как не может быть двух партий. Король должен быть один, и этот король — вы. Прошу вас понять это ради безопасности королевства и вашей собственной.

— Во Франции два короля? — спросил Карл. — Какие два короля?

— Вы и Гаспар I Колиньи, король гугенотов.

— Он мой подданный, мой преданный и верный подданный, — вяло и не очень уверенно протестовал король.

— Подданный, который собирает свою собственную армию, взимает налоги и оставляет в городах гугенотские гарнизоны, — сказал Бирак. — Весьма опасный подданный, сир.

— Подданный, который заставляет вас воевать на стороне протестантской Фландрии против католической Испании, — неосторожно добавил туповатый Таванн.

— Заставляет? Меня? — разъярился король. — Не слишком ли дерзкие слова?

— Они были бы дерзкими, если бы не доказательства. Вспомните, сир, его собственные слова перед тем, как вы

разрешили ему начать военные приготовления. «Позвольте нам воевать во Фландрии, иначе мы будем вынуждены воевать в своей стране».

Карл вздрогнул и побледнел. Таванн задел его самое больное место. Это высказывание Колиньи король хотел забыть как можно скорее. Он натянул четки так сильно, что шнурок, на который они были нанизаны, глубоко врезался в его пальцы.

— Сир, — продолжал Таванн, — если бы я был королем и мой подданный обратился ко мне, как я к вам, его голова через час слетела бы на плахе. Но дела обстоят настолько плохо, что я решил сказать вам правду, чего бы мне это ни стоило. Гугеноты вооружаются, они нагло разъезжают по улицам вашей столицы, призывая к бунту. Их и сейчас здесь уже полно, но становится все больше, и опасность нарастает.

Лицо Карла исказилось. Он вытер пот со лба трясущейся рукой.

— Я и сам вижу эту опасность. Я допускаю, что она велика. Но Колиньи?..

— Сейчас речь идет о том, кто будет королем во Франции — Карл или Гаспар! — раздался надтреснутый голос Екатерины.

Шнур неожиданно порвался в руках бледного короля, и четки разлетелись во все стороны.

— Ваша взяла! — закричал Карл. — Если так необходимо убить адмирала, убейте его, убейте! — В бешенстве он визжал, брызжа слюной и потрясая кулаками перед теми, кто вынудил его на этот шаг. — Убейте его! Но тогда уж убейте каждого гугенота во Франции, чтобы никто не остался в живых и не смог мне отомстить. Всех до одного, слышите? Примите меры, и пусть это будет исполнено немедленно. — И Карл с перекошенным лицом и трясущимися губами вылетел из кабинета.

Итак, необходимые полномочия были получены, и тут же, в кабинете короля, началась разработка плана действий. Де Гиз, до сих пор лишь молчаливо наблюдавший за происходящим, теперь вышел из тени и принял самое активное участие в обсуждении, пообещав организовать собственно убийство адмирала.

Остаток дня и часть вечера заговорщики провели, обговаривая детали плана. В деле решено было использовать офицеров военной полиции города Парижа и офицеров французской гвардии, подстраховавшись тремя тысячами швейцарских гвардейцев, командирами надеж-

ных казарм и всеми, кому можно было доверять. Уже к десяти часам вечера приготовления были закончены. Сигналом к началу избиения должен был стать звон колоколов Сен-Жермен д'Оксеруа, сзывающих к заутрене.

Один из домочадцев адмирала, возвращаясь ночью домой, встретил группу людей, несущих на плечах связки пик, но сначала не обратил на это внимания. Потом он миновал несколько негромко переговаривающихся солдат с мушкетами и горящими факелами, однако все еще ничего не заподозрил. Наконец, пройдя еще один квартал, он остановился, чтобы понаблюдать за человеком, поведение которого показалось ему странным: тот с помощью мела метил двери некоторых домов белым крестом.

Встретив затем другого человека, тащившего связку оружия, заинтригованный гугенот грубо спросил его, куда и зачем он волочет свою ношу?

— В Лувр, месье. Сегодня ночью там будет представление, — последовал ответ.

В Лувре королева-мать и католические лидеры, покончив с составлением плана, пытались чуток отдохнуть, но им это плохо удавалось. В третьем часу утра Екатерина и д'Анжу вернулись в королевский кабинет. Карл был на месте; его знобило, словно в лихорадке.

Часть вечера он провел в бильярдной, где сыграл партию с Ларошфуко, которого любил и который весело распрощался с ним в одиннадцать, не предполагая, что прощается навсегда.

Все трое подошли к окну, выходящему на реку, и, открыв его, начали настороженно всматриваться в темноту. Воздух был свеж и прохладен, дул легкий предрассветный ветерок, и небо на востоке чуть посветлело. Внезапно где-то неподалеку раздался одинокий выстрел, заставивший короля вздрогнуть. Карл задрожал всем телом, его зубы громко застучали.

— Дьявол! Этого не будет! Не будет! — вдруг закричал он истерично.

Карл посмотрел на мать и брата безумным взглядом, но они подавленно промолчали; даже в темноте была заметна бледность всех троих; ужас стыл в их расширенных зрачках.

Король опять закричал: он отменяет все свои последние распоряжения! Екатерина и Генрих не пытались возражать, и король вызвал офицера, велел ему немедленно разыскать герцога де Гиза и передать приказ.

Не застав герцога во дворце де Гизов, офицер быстро

смякнул, где его искать, и побежал к дому адмирала. Герцог стоял посреди освещенного факелами двора над лежащим у его ног мертвецом, только что выброшенным из окна спальни. В ответ на слова офицера де Гиз рассмеялся, пошевелил носком сапога голову мертвеца и ответил, что распоряжение несколько запоздало. В тот же миг раздался первый удар большого колокола Сен-Жермен д'Оксеруа, зазвонившего к заутрене.

В ту же минуту его услышала и королевская семья, собравшаяся у окна в Лувре, и тут же началась пальба из аркебуз и пистолетов, а издали донеслись нарастающие кроважидные крики и истошный визг. Зазвонили колокола других монастырей, и вскоре все колокольни Парижа охватил тревожный набат. Красноватое пламя тысячи факелов зловещим багряным светом озарило облака. Над Сеной потянуло пороховой гарью, в воздухе запахло смолой и копотью. Вопли и стенания жертв, бормотание умирающих сменялись улюлюканьем свирепствующей толпы.

Король, вцепившись в подоконник, сквозь стиснутые зубы исторгал проклятия и богохульства. Потом шум и крики приблизились и зазвучали где-то совсем недалеке. Жить по соседству с Лувром считалось среди гугенотов престижным, и теперь сюда стекались опьяненные кровью и грабежами солдаты и горожане. Вскоре уже набережная перед окнами королевского дворца представляла собой картину жуткого побоища.

Убийцы гонялись за полуодетыми мужчинами, женщинами и детьми. Повсюду поперек улиц были натянуты цепи, и затравленные гугеноты, наткнувшись на них в темноте, оказывались в западне. Некоторые из протестантов, надеясь найти путь к спасению, бежали к реке, но сатанински предусмотрительные католики переправили все лодки, обычно причаленные у набережной, на другой берег. Несколько сотен гугенотов были зарезаны перед самым дворцом на глазах у короля, который позволил разгуляться всему этому кошмару.

Хлопали двери, к небесам взмывали языки пламени, из окон домов выбрасывали на мостовые тела жертв, и прямо под стенами Лувра шла форменная охота на людей. По свидетельству д'Обинье, со всех сторон в Сену текли потоки крови.

Некоторое время король наблюдал за этими зверствами, и то, что бормотали его искусанные, бескровные губы, тонуло в невообразимом шуме побоища. Внезапно Карл обернулся — возможно, для того, чтобы накинуться на

мать и брата, но их в кабинете уже не было. Позади него остался один только паж, который, сжавшись от страха, наблюдал за своим повелителем.

Неожиданно король захохотал зловещим, истеричным хохотом безумца. Его взгляд упал на аркебузу, висевшую рядом с изображением Мадонны. Он сорвал оружие со стены, схватил мальчишку за воротник камзола и подтащил к окну.

— Стой здесь и заряжай! — приказал он пажу, продолжая разражаться приступами дикого хохота.

Используя вместо упора подоконник, Карл прицелился и разрядил аркебузу в группу спасающихся бегством гугенотов.

— Parpaillots! Parpaillots!* — завопил он. — Убивай! Убивай!

...Через пять дней король, который к этому времени уже сумел переложить бремя ответственности за все происшедшее, включая убийство около двух тысяч протестантов, на герцога де Гиза и его лютую ненависть к Колиньи, поехал верхом в Монфокон посмотреть на обезглавленное тело адмирала. Мертвый гугенот был подвешен цепями к виселице. Некий угодливый придворный предупредил короля:

— Не подъезжайте слишком близко, ваше величество. Адмирал, кажется, сегодня не надушился и распространяет зловоние.

Водянисто-зеленые глаза Карла превратились в узкие щели; губы скривились в жестоком подобии усмешки.

— Труп убитого врага всегда хорошо пахнет, — ответил он.

VI

НОЧЬ КОЛДОВСТВА

Людовик XIV и мадам де Монтеспан

Попробуйте снять наслоения позолоты и блестящей лести современников, которые обычно покрывают личность монарха, и вы обнаружите под ними королей, иногда глупых, иногда просто неважных, а порою и

* Еретики! (фр.)

смешных. Редко появляется на свете правитель воистину великий; те же, кто носит это прозвище, зачастую заслужили его потому, что мудро довольствовались маской образованных — в понимании соответствующей эпохи — интеллектуалов, не претендуя на роль пророка. Однако ни в одной галерее Истории невозможно отыскать фигуру более абсурдную, чем «великолепный Король-Солнце, Великий Монарх Людовик XIV Французский».

Трудно припомнить хотя бы единственный случай, когда бы его высмеяли — по крайней мере, ни разу, когда он того заслуживал. Лстыцы и подхалимы его эпохи достигли такого совершенства, что даже по секрету, а возможно, и в мыслях своих не осмеливались говорить правду о короле. Усердие их не пропало втуне — лож пережила и своих авторов, и их тщеславного повелителя. Многократно произнесенное слово превращается в бессмысленный набор звуков; и, напротив, настойчиво повторяемая нелепица кажется уже правдоподобной.

Стоит только отместить нагромождения эпитетов и славословий, обратиться к действительным фактам, как тотчас станет очевидным грандиозное надувательство придворных летописцев. Впрочем, славословие тоже говорит о многом. Взять хотя бы самый пышный титул Людовика XIV — *Le Roi Soleil*, Король-Солнце, — его применяли как будто без дураков, да только дураку не видно, что король-то голый. Не так ли выставляли себя напоказ голые придворные шуты минувших веков, горделивыми ужимками подражавшие правителям, с той лишь разницей, что герой нашего рассказа делал это не ради забавы. Свидетельствуя о скудости интеллекта Людовика, эта нешуточная буффонада была еще и симптомом мании величия — как ни странно звучит подобное утверждение в отношении короля.

Людовика преследовала навязчивая идея божественной сущности монарха. Трудно поверить, что он считал себя человеком, ибо стремился внушить всему миру, что он почти бог. Для него был разработан особый и чрезвычайно сложный этикет, которому его придворные следовали в повседневной жизни. Самые обиходные действия и едва ли не физиологические акты государя обставлялись с подробно расписанными церемониями и напоминали священные обряды. В утренние часы в опочивальне Людовика собирались принцы крови и представители самых знатных французских семей; дождавшись его пробуждения, они строгой чередой подходили к его величеству. Первый

вручал ему носки, второй коленапреклоненно протягивал королевские подвязки, третий держал наготове парик, и так до тех пор, пока не бывала полностью облачена неуклюжая, расплывшаяся фигура монарха. Не хватало лишь фимиама, которым повелителя окуривали бы на каждой из этих стадий — существенное упущение с его стороны!

Посредственность интеллекта Людовика проявлялась, помимо того, в его животном сласлолюбии, о чем будет рассказано чуть позже. За своим, по выражению Сен-Симона, «ужас каким громадным величием» король пытался скрыть бессердечие и отсутствие человечности.

Дьявольские плоды его правления страна вкушала еще и через сотню лет, прежде чем установленный им порядок был сметен, как устаревший хлам. В эпоху Людовика XIV Франция стала великой державой, но не благодаря, а, скорее, вопреки своему королю. В конце концов, он и сам понимал, что его власть не абсолютна. Государство держалось на таких талантливых людях, как Кольбер и Лувуа¹, на великом гении французского народа, который заявлял о себе при любом режиме, и, наконец, существовала мадам де Монтеспан. Не следует преуменьшать ее влияние на Людовика и на его славу, поскольку она была *maitresse en titre** и более чем королевой Франции как раз в самый блестящий период его правления, между 1668 и 1678 годами.

Вообще, женщины при дворе Людовика XIV играли значительную роль. Стоило государю обратить на какую-нибудь из фрейлин свои темные глаза, как она таяла, словно воск, под лучами Короля-Солнца. Однако мадам де Монтеспан был доступен секрет обратного действия, и сам венценосец превратился в воск, из которого ее ручки могли вылепить любую модель. Вот этого-то секрета — тайной страницы истории Франции — мы и собираемся коснуться в нашем рассказе.

Франсуаза Афина де Тоннэ-Шаран² появилась при дворе в 1660 году. Ум и грация юной девицы были под стать ее красе, а набожность и благочестие служили образцом добродетели для всех придворных дам. Так продолжалось, пока дьявол-искуситель не соблазнил молодую особу. Когда же это произошло, она не просто

* Официальной любовницей (фр.).

вкусила плод запретного дерева — она опустошила целый сад. Дочь Евы пала жертвой непомерной гордыни и тщеславия; не последнюю роль сыграла и обыкновенная зависть, которая охватывала Франсуазу всякий раз, когда она видела, какие почести и роскошь окружают фаворитку короля Луизу де Лавальер.

Через три года после своего появления в свете фрейлина вышла замуж за маркиза де Монтеспана, но и это не утолило ее алчности, затаенных амбиций и страстных желаний. Наконец удача улыбнулась маркизе: Король-Солнце обратил свой благосклонный взор на пышные прелести юной красавицы. Упускать такую возможность было нельзя, но нелепое поведение ее мужа чуть было не испортило ей всего дела. Глупый маркиз оказался столь старомоден и нерасчетлив, что не оценил чести, оказанной ему монархом, и имел дерзость оспаривать у Юпитера свою жену.

Когда Монтеспан начал неосмотрительно причинять слишком много беспокойства, открыто понося короля, это так удивило кузину Людовика мадемуазель де Монпансье, что она назвала его «человеком необыкновенным и сумасбродным» и заявила ему в лицо, что он, должно быть, не в своем уме. Однако представления маркиза о чести и достоинстве оказались столь своеобразны и консервативны, что он с нею не согласился и не внял дружеским советам. Монтеспан дошел до того, что чуть ли не устраивал королю скандалы, цитировал в его присутствии Священное Писание и прозрачно намекал на царя Давида, осмелившись даже призвать на голову Короля-Солнца кару божественного правосудия. Все это отдавало дурным вкусом, и если маркиз избежал тайного указа о заключении в Бастилию, то лишь потому, что король опасался широкой огласки его скандальных намеков и оскорблений, могущих бросить тень на его монаршую непогрешимость.

Маркиза наедине с Монтеспаном ругательски ругала его за эти выходки, на людях же только холодно улыбалась. Как-то в ответ на требование мадемуазель де Монпансье приструнить своего мужа — ради его же собственной безопасности — маркиза горько усмехнулась:

— Мне стыдно за него. Ему лишь бы потешить публику.

Ничего хорошего из упрямства маркиза не вышло. Не помогли ни призывы к королевской порядочности, ни домашнее рукоприкладство. Кончилось дело тем, что.

создав другим массу осложнений, он из-за своего неразумного поведения растерял друзей и оказался на грани разорения. Осознав, что справедливости не добьется, маркиз де Монтеспан вышел в отставку, разыграв напоследок прощальный спектакль на свой собственный манер. Вырядившись в траур, словно вдовец, со свитой одетых в черное слуг он прибыл во дворец в похоронной карете и церемонно попрощался со всеми придворными. Король-Солнце оказался выставлен на посмешище и был глубоко уязвлен.

С этих пор Монтеспан больше при дворе не появлялся и отдал свою жену королю. Вскоре он удалился в свое родовое поместье, а несколько позже, предупрежденный доброжелателями о том, что Луи намерен с ним поквитаться, покинул пределы Франции.

Маркиза де Монтеспан окончательно утвердилась в положении *maitresse en titre* и в январе 1669 года разрешилась младенцем — герцогом Менским, первым из семи отпрысков, которых она родила королю³. Парламент всех их узаконил, объявив «королевскими детьми Франции»; всем им были пожалованы титулы, а к ним — поместья и наследственная королевская рента. Достоинство удивления, что революция произошла не тогда, а сотню лет спустя, когда угнетенный народ не выдержал невыносимого бремени налогов и восстал, чтобы покончить с паразитами.

Великолепие фаворитки было в те дни столь блистательно, как никогда при французском дворе прежде не бывало. В ее поместье Кланьи, что близ Версаля, высился теперь огромный замок. Правда, начал Людовик со строительства загородной виллы, но мадам де Монтеспан это не устраивало.

— Вилла хороша для оперной певички, — оскорбилась она, после чего пристыженному монарху ничего не оставалось делать, кроме как приказать снести виллу и поручить прославленному архитектору Мансару⁴ спроектировать и воздвигнуть на ее месте сверхкоролевскую резиденцию.

Да и в самом Версале апартаменты мадам де Монтеспан занимали двадцать комнат первого этажа, в то время как многострадальная королева довольствовалась лишь десятью комнатами второго. Шлейф королевы вполне мог нести за нею обыкновенный паж, но для фаворитки те же обязанности должна была выполнять никак не меньше, чем супруга маршала Франции. Немногие государины

способны были держаться с таким подлинно королевским достоинством, как маркиза. Мадам де Монтеспан всюду сопровождал отряд телохранителей, королевские офицеры отдавали ей честь, а во время путешествий за ее каретой, влекомой шестеркой лошадей, тянулась кавалькада почетного эскорта и бесконечный кортеж свиты.

Как писала мадам де Севинье⁵, триумф ее был громок и молниеносен. В непомерной гордыне мадам за семь лет прибрала к рукам все и вся и начала тиранить окружающих, в том числе самого короля. Он сделался ее робким и покорным рабом, да только рабство это, видно, было не таким уж и сладким.

Постоянство и покорность не входят в число добродетелей Юпитера. Поначалу король стал раздражителен, а потом сорвался и, отбросив всякую сдержанность, пустился в скандальный и вопиющий разврат. Представляется сомнительным, чтобы в богатой истории всевозможных королевских походов удалось обнаружить параллели этому любвеобильному периоду в жизни Короля-Солнца. В продолжение нескольких месяцев мадам де Субис, мадемуазель де Рошфор-Теобан, мадам де Лувињи, мадам де Людре и множество менее значительных особ стремительной чередой прошли сквозь горнило монаршей нежности, а точнее, через королевскую постель; и, наконец, двор с изумлением воззрился на вдову Скаррон и воздаваемые ей со всеми положенными церемониями почести. Назначение вдовы на должность гувернантки королевских отпрысков никого не могло ввести в заблуждение касательно истинного положения вдовы во дворце.

Так закончилась семилетняя абсолютная власть мадам де Монтеспан. И благородные кавалеры, и простолюдины продолжали относиться к ней с благоговейным трепетом, но, забытая Людовиком, она теперь принимала почести за насмешку и, сохраняя высокомерную улыбку, лелеяла в душе жажду мести. Отставная фаворитка откровенно насмехалась над дурным вкусом короля; ее острый ум нашел применение в опасных словесных стычках с заменявшими ее дамами, но, даже ослепленная ревностью, маркиза опасалась перейти грань, за которой ее могла постигнуть судьба ее предшественницы Лавальер⁶.

Страх этой участи и сегодня глодал сердце мадам де Монтеспан. Она сидела спиной к окну, и в глазах ее мелькали отблески адского пламени, сжигавшего ее душу. Привыкшая играть главные роли, она упала нынче до положения зрителя дворцовой комедии и молча наблюдала

за переменчивой говорливой толпой блестящих придворных. Тут ее внимание привлек стройный молодой человек, выделяющийся в пестром сборище своим черным с головы до пят платьем. Лицо его, то ли мрачное, то ли печальное, несло на себе печать внутренней сосредоточенности, а глаза, не будь он сейчас погружен в свои мысли, могли пронизывать насквозь.

Это был месье де Ванан из Прованса. Ходили слухи, что он балуется магией, и в прошлой его жизни были один-два эпизода, в которых не обошлось без колдовства и о которых до сих пор шептались в округе. Ванан не скрывал, что обучался алхимии и был «философом», то есть человеком, пытающимся найти философский камень — легендарное вещество, способное превращать металлы в золото. Однако если бы молодого алхимика обвинили в черной магии, он стал бы это отрицать, хотя и не слишком убедительно.

И вот, завидев этого опасного человека, мадам де Монтеспан внезапно в последней отчаянной надежде решила обратиться к нему за помощью. Она дождалась, пока он на нее посмотрит, и с томной улыбкой на устах ленивым взмахом веера подозвала его к себе.

— Ванан, я слышала, ваши философские успехи столь велики, что вам удалось превратить медь в серебро?

Его колющий взгляд уставился на нее в упор, тонкие губы тронула улыбка.

— Это правда, — ответил Ванан. — Я сделал слиток чистого серебра, который приобрел у меня монетный двор. Интерес мадам де Монтеспан, казалось, возрос.

— О, монетный двор! — повторила она удивленно. — Но ведь это, друг мой... — Она задохнулась от волнения. — Это же чудо!

— Никак не меньше того, — согласился алхимик. — Но предстоит еще большее чудо — трансмутация неблагородного металла в золото.

— И вы его превратите?

— Дайте мне только добыть секрет затвердевания ртути, остальное — пустяк. А я добуду его, и очень скоро.

Алхимик говорил со спокойной уверенностью человека, утверждающего нечто, в чем он нисколько не сомневается. Маркиза задумалась, потом вздохнула.

— Вы мастер на такие вещи, Ванан. А не знаете ли вы средства смягчить каменное сердце, сделать его более податливым?

Ванан взглянул на даму, которую Сен-Симон называл «прекрасная, как день», и широко улыбнулся:

— Посмотрите на себя в зеркало — разве вам нужна алхимия?

Гнев тенью пробежал по прекрасному лицу маркизы. Она мрачно ответила:

— Я смотрела — и напрасно. Вам многое доступно, Ванан. Сумеете ли вы мне помочь?

— Любовное зелье, — хмыкнул он. — Вы это всерьез?

— Ты надо мной издеваешься! Зачем ты произнес эти слова — чтобы все услышали?

Ванан убрал с лица улыбку.

— Алхимия, которой я занимаюсь, вам не поможет, — тихо сказал он. — Но я знаком с теми, кто может это сделать.

Маркиза с горячностью схватила его за запястье.

— Я хорошо заплачу, — пообещала она.

— Вам придется. Подобные услуги довольно дороги. — Алхимик оглянулся, желая удостовериться, что их никто не подслушивает, и наклонился к маркизе: — На улице Таннери живет одна колдунья, по имени Лавуазен. Она известна многим придворным дамам как предсказательница судьбы. Если хотите, я мог бы замолвить ей за вас словечко.

Мадам Монтеспан вдруг побледнела. Богобоязненное воспитание и укоренившиеся привычки, несмотря на беспорядочную греховную жизнь, которую она вела, заставили ее содрогнуться от отвращения перед затеянным кощунством. Колдовство ведь от дьявола. Она высказала свои сомнения. Ванан рассмеялся:

— Но если оно подействует... — И пожал плечами.

В эту минуту в другом конце комнаты зазвенел женский смех. Маркиза бросила туда взгляд и увидела самодовольного короля, со снисходительным обожанием склонившего голову к ушку прелестной мадам де Людре. Внезапная ярость мутной волной окатила душу маркизы де Монтеспан. Благочестивые сомнения были тотчас забыты. Пусть Ванан проводит ее к этой своей ведьме. Посмотрим, что из этого выйдет, а там будь что будет.

Так темной ночью в конце года на углу улицы Таннери появился экипаж, из которого, опершись на руку Луи де Ванана, сошла дама в маске и запахнутом плаще. Ванан проводил даму к дому мадам Лавуазен.

Дверь открыла двадцатилетняя дочь колдуньи Маргарита Монвуазен, которая отвела их наверх, в приятно

меблированную комнату, обитую фантастическими обоями с красным рисунком по черному фону. Рисунок ткани изображал каких-то устрашающих призраков, колеблющихся в неверном свете нескольких свечей. Раздвинулись черные портьеры, и в комнату вошла хозяйка — пухлая низенькая дама, по-своему миловидная, в невероятном темно-красном бархатном плаще с оторочкой из дорогого меха. Плащ был вышит золотыми двуглавыми орлами и стоил, наверное, не меньше, чем мантия принца. Ноги колдуньи были обуты в красные туфли с теми же золотыми орлами.

— А, это вы, Ванан! — фамильярно приветствовала его хозяйка.

Алхимик поклонился.

— Я привел к вам даму, которая нуждается в вашем искусстве, — сказал он, указывая рукой на свою закутанную в плащ спутницу.

Мадам Лавуазен смерила гостью круглыми бусинками глаз.

— Маска тоже может мне кое о чем рассказать, мадам маркиза, — дерзко сказала она. — Королю, поверьте, не понравилось бы выражение лица, которое вы под нею скрываете.

— Вы знаете меня? — удивленно и сердито воскликнула мадам де Монтеспан, срывая маску.

— Чему же здесь удивляться? — спросила мадам Лавуазен. — Если желаете, я также скажу вам, что вы прячете в своем сердце.

Мадам де Монтеспан, как все набожные люди, была очень легковерна.

— Раз уж вы все равно знаете, что мне от вас нужно, — взволнованно заговорила она, — то ответьте, сможете ли вы это для меня сделать? Я хорошо заплачу.

Мадам Лавуазен таинственно улыбнулась.

— Черствость действительно не поддается лечению обычными методами, — произнесла она. — Но позвольте мне сначала подумать, чем тут можно помочь. За ответом приходите через несколько дней. Только хватит ли у вас смелости пройти через тяжелое испытание?

— Я готова на все, если это сулит удачу.

— Тогда ждите от меня весточки, — заключила ведьма, и на этом они расстались.

Вручив колдунье, как ее учил Ванан, тугой кошелек, маркиза укатила в Кланьи. Участие алхимика в этой истории, насколько можно судить по отрывочным сведе-

ниям, ограничилось тем, что он познакомил знатную даму с колдуньей.

Мадам де Монтеспан провела в Кланьи три дня нетерпеливого ожидания. Наконец к ней явилась сама мадам Лавуазен. Однако ее слова заставили маркизу в ужасе отпрянуть. Колдунья предложила обратиться к аббату Гибуру, с тем, чтобы тот отслужил черную мессу. Мадам де Монтеспан понаслышке было известно кое-что о странных обрядах с жертвоприношениями Сатане, и, хотя знала она немного, этого было достаточно для того, чтобы возбудить в ней негодование и отвращение к белолицей ведьме с пороссячьими глазками, посмевавшей оскорбить ее своим предложением. Задыхаясь от гнева, маркиза долго бушевала и даже чуть было не пустила в ход кулаки, потому что Лавуазен спокойно смотрела на нее с презрительным выражением на самодовольной физиономии. Но постепенно перед этим несокрушимым спокойствием ярость маркизы улеглась, и мадам де Монтеспан одолели сомнения.

Может быть, следует все-таки выяснить подробнее, что ждет ее в случае согласия? К тому же ей страстно хотелось добиться своего, и любопытство взяло верх. Но то, что рассказала колдунья, оказалось еще страшнее, чем маркиза могла себе представить.

Лавуазен начала уговаривать:

— Разве можно получить что-нибудь бесплатно? За все в этой жизни приходится платить.

— Но это же чудовищно! — протестовала маркиза.

— Кто знает, мадам? Чем оценить те блага, которые будут получены вами взамен? А они немалые. Вы познаете ни с чем не сравнимую радость абсолютного телесного здоровья, безграничной власти и почитания. Разве быть больше, чем королевой, не стоит небольшой жертвы?

Для маркизы де Монтеспан все это стоило гораздо большей жертвы, поэтому она подавила свое отвращение и согласилась участвовать в кошунственном действе.

Ведьма предупредила, что для гарантированного успеха необходимы три мессы, которые нужно отслужить в бездействующей сейчас часовне замка Вильбузен, настоятелем которой был аббат Гибур.

Мрачный средневековый замок с потемневшими от времени стенами высился, окруженный рвом, в уединенном местечке в двух милях от Парижа. Сюда в непроглядную мартовскую ночь приехала мадам де Монтеспан со своей доверенной горничной мадемуазель Дезойет.

Оставив экипаж на Орлеанском тракте, они направились за встречавшим их слугой по разбитой грязной дороге к замку, едва маячившему сквозь ненастье. В зубцах старинных башен завывал ветер, и черные тополя, выстроившиеся почетным караулом на пути к дьявольскому месту, со стонами сгибались под яростными порывами. Вода во рву от дождя взбухла почти до краев; от нее исходил смрадный болотный дух.

Заброшенность уединенного замка, мрак и непогода произвели на спутниц гнетущее впечатление. Мадемуазель Дезойет не смела жаловаться вслух и, спотыкаясь, шла вперед за своей госпожой по раскисшей глине, преодолевая ветер, валивший с ног. Миновав подъемный мост, перекинутый через чернильную мерзость, странно булькающую внизу, и ворота крепости, они оказались в обширном дворе. Здесь ветер ослабел. Сквозь щель приоткрытой двери замка на мощный двор падала полоска желтого света, указуя путь к грехопадению.

Каблучки маркизы и ее спутницы застучали по булыжнику, дверь со скрипом растворилась, и освещенный проем затмил женский силуэт. Это была Лавуазен. Она впустила свою клиентку в переднюю с голыми стенами. Свет фонаря падал на дочь колдуньи Маргариту Монвуазен и невзрачного, плутоватого на вид парня в домотканой одежде и рыжем парике — колдуна по имени Лесаж. Во время колдовских обрядов Лесаж обычно был у мадам Лавуазен на подхвате. Он слыл талантливым прохвостом и использовал популярность парижских ведьм к собственной выгоде. Мадам Лавуазен запалила свечу и, оставив слугу Леруа в компании Лесажа, поднялась с маркизой по широкой каменной лестнице этажом выше. В холодном доме стояла сырость; повсюду гуляли сквозняки. Мадемуазель Дезойет жалась к своей госпоже, а замыкала шествие Марго Монвуазен. В просторной комнате, предварающей вход в часовню, посередине стояли только дубовый стол да плетеное тростниковое кресло с гнутой ореховой спинкой. Стены прикрывали несколько поблекших, ветхих гобеленов. Настольная лампа с абажуром выделялась одиноким светлым пятном в окружающем мраке, и ее тусклый свет падал на высокого старика лет семидесяти в необычном облачении: белый стихарь поверх его засаленной сутаны был разрисован черными словыми шишками, орарь из черного атласа — тоже в словых шишках, вышитых желтой нитью. Отталкивающая внешность старика вызвала у маркизы чувство омерзения: его

щеки покрывали синие вены, глаза косили в разные стороны, губы провалились внутрь беззубого рта, а голый веснушчатый череп венчали редкие клочки седой пакли. Это и был пресловутый аббат Гибур, ризничий обители Сен-Дени, посвященный в духовный сан и посвятивший себя служению Сатане. Аббат приветствовал знатную гостью низким поклоном, от которого маркизу передернуло. Она выглядела чересчур возбужденной и явно нервничала. Ею опять начинал овладевать страх, но маркиза заставила себя переступить порог часовни, тускло освещенной свечами в подсвечнике, установленном позади чаши для святой воды на большом столе. В алтаре свет не горел. Служанку мадам хотели отправить вниз, но та боялась разлучаться со своей хозяйкой и пошла с нею. Лавуазен затворила дверь, оставив дочь снаружи.

Маргарита никогда не участвовала в колдовских обрядах своей матери, хотя была отчасти осведомлена об их содержании, поэтому она только догадывалась о том, что должно произойти в запертой изнутри часовне. Сжавшись в плетеном кресле, Марго с содроганием представляла себе этот кошмар, когда сквозь завывание ветра в каминной трубе из-за двери донесся гул голосов. Побуждаемая болезненным любопытством, вся дрожа, подкралась она к замочной скважине и, став на колени, заглянула в часовню.

Прямо перед собой она увидела алтарь и перед ним на столе обнаженную мадам де Монтеспан. Королевская фаворитка, похожая на мраморную скульптуру, лежала навзничь, вытянувшись в полный рост со скрещенными на груди руками, в которых держала по зажженной свече. Она, видимо, впала в экстатический транс. Над нею возвышался аббат Гибур; его фигура загоразживала от взора девушки остальное помещение и чашу рядом с телом маркизы.

Гнусавый голос аббата нараспев читал по-латыни. Маргарита узнала Евангелие, читаемое от конца к началу. Затем стали слышны ответы, которые время от времени бормотала ее мать, невидимая Марго в ее наблюдательный глазок.

Маргарита достаточно понимала латынь, чтобы узнать кощунственное извращение Символа веры, но, если не брать в расчет естественное любопытство, вызванное в ней присутствием самой маркизы де Монтеспан, все это могло показаться весьма глупой и бессмысленной затеей. Однако Марго Монвуазен так не считала. Когда дело

дошло до жертвоприношения, смена событий неожиданно ускорилась. Марго метнулась к креслу, едва не застигнутая врасплох и не уличенная в подглядывании вышедшей из часовни матерью.

Мадам Лавуазен живо пересекла прихожую и исчезла. Вскоре она вернулась, держа в руках сверток, из которого доносился писк ребенка.

Маргарита Монвуазен обладала достаточным опытом, чтобы догадаться, что за этим последует. Она и сама была молодой матерью, и материнский инстинкт, заложенный, за редким исключением патологических извращений, в каждой женщине, сковал Марго ледяным ужасом.

Она схватилась руками за горло и оцепенела. Ее мать скрылась в часовне. Тогда девушка встала и, словно лунатик, вновь приблизилась к двери и прильнула к замочной скважине.

Богомерзкий жрец повернулся и принял младенца из рук колдуньи. Младенец затих. Маленькое голое человеческое существо нескольких дней от роду в грязных лапах преступника. Гибур поднял его над алтарем и козлиным голосом забормotal слова демонической молитвы:

— Аштарот, Асмодеус, Князь Любви, молю тебя принять эту жертву — младенца, которого я тебе отдаю. Взамен я прошу, чтобы Король Тьмы меня по-прежнему любил, а благородные принцы и принцессы никогда ни в чем мне не отказывали.

Внезапный порыв ветра ворвался в окна часовни и вихрем пронесся над алтарем. В пустом очаге камина прихожей что-то завывало, за окном грохнуло, будто легион чертей атаковал стены замка. Ноги Маргариты подогнулись, и она опустилась на кучу какого-то тряпья. Сквозь шум бури ей послышался взрыв ликующего сатанинского хохота. Стуча зубами, она зажмурилась, заткнула уши, но все равно услышала вновь заплакавшего ребенка. Жалобный плач сменился визгом, потом кашлем, что-то забулькало, звякнул металл о глиняный кувшин, и все смолкло.

Едва Маргарита дотащилась до кресла и упала в него, как из часовни опять появилась ее мать. Ведьма несла в руках купель. Маргарите не нужно было заглядывать в купель, чтобы узнать, что в ней.

Тем временем в часовне продолжался сатанинский обряд. Теплую человеческую кровь, собранную в чашу для святой воды, Гибур посыпал порошком из шпанских мушек и молотых сушеных кротов, полил кровью летучих

мышей и добавил еще какой-то мерзости. Смешав все это с мукой, он получил тошнотворное месиво, приправив его словами ужасного заклятия.

Маргарита слышала его бляные сквозь не прикрытую матерью дверь. Ужас все сильнее сдавливал ее горло. Ей чудилось, будто удушливые адские миазмы, порожденные дьявольскими заклинаниями Гибура, выползали из часовни, стлались по полу и поднимались все выше, отравляя воздух и грозя полностью окутать несчастную девушку.

Через полчаса на пороге часовни наконец появилась мадам де Монтеспан. Она была бледна, как мертвец, ее ноги тряслись и колени подгибались; в безумных глазах застыл невыразимый ужас. Все же маркиза умудрялась держаться прямо, почти вызываяще, и что-то резко выговаривала Дезойет, которая в полуобморочном состоянии, пошатываясь, вышла вслед за нею.

Покидая нечестивое место, маркиза уносила с собой некоторое количество дьявольской смеси, которая, будучи высушенной и растертой в порошок, предназначалась для добавления в пищу королю, дабы возродить его угасшее влечение к фаворитке.

Маркиза подговорила одного своего протеже, офицера-интенданта, за щедрую плату подсыпать снадобье в королевский суп. В тот же день с Людовиком приключилась непонятная опасная хворь. Пока государь болел, мадам де Монтеспан всячески проявляла свою заботу и беспокойство о нем, постоянно находилась рядом, и по его выздоровлении ей показалось, что тайное, тогда уже троекратное причастие возымело свое колдовское действие. Результат действительно свидетельствовал о том, что она не напрасно подвергла себя кошмарному испытанию, участвуя в сатанинской мессе. Мадам де Людре была забыта, а вскоре король охладел и к вдове Скаррон. Ветренный монарх, пренебрегая всеми соблазнами двора, снова оказался у ног очаровательной маркизы ее верным и покорным рабом.

Таким образом, маркиза де Монтеспан вновь с триумфом утвердилась в фаворитках Короля-Солнца. Мадам де Севинье, описывая этот период их взаимоотношений, подчеркивала, что примирение было полным, заметив при этом, что к ним, кажется, вернулся прежний сердечный пыл.

Ничто не омрачало счастья мадам де Монтеспан. Никогда еще ее власть над королем и его двором не была столь абсолютной. Так продолжалось целых два года.

Но вскоре оказалось, что это последняя вспышка умирающего огня. В 1679 году ее погасила мадемуазель де Фонтанж⁷. Фрейлина королевы, не старше восемнадцати лет — совсем еще ребенок, прелестная и свежая, она очаровала венценосца своими большими наивными глазами. И вот из-за этой куколки с румяными щечками и льняными волосами царствующая мадам де Монтеспан получила окончательную отставку.

Людовик осыпал новую фаворитку милостями и подарками. Он пожаловал ей титул герцогини с доходом в двадцать тысяч ливров. Подданные шушукались и роптали, маркизу же это попросту бесило. Она открыто оскорбляла новоиспеченную герцогиню и однажды спровоцировала Людовика на публичный скандал, с небывалой откровенностью и завидной смелостью заявив ему в глаза:

— Вы обесчестили свое звание, вы покрыли себя позором. Вам явно изменил вкус. Надо же — завести шашни с этой маленькой пустышкой, у которой ума и хорошего воспитания не больше, чем у бездушной бело-розовой куклы! — Маркиза презрительно усмехнулась, заключив свою речь беспрецедентным оскорблением: — И вы — король! — стали любовником этой неотесанной деревенщины!

Людовик побагровел и грозно воскликнул:

— Бессовестная ложь! Мадам, вы совершенно невыносимы! — Его ярость, понятное дело, лишь усиливали спокойствие и ледяная улыбка мадам де Монтеспан, ведь до сих пор самые гордые головы Франции непременно склонялись перед его гневом. — Вашими устами говорит ваша дьявольская гордость, ваша ненасытная алчность и безжалостная душа деспота. У вас самый лживый и ядовитый на свете язык!

— Все мои несовершенства, — усмехнулась она, — ничто в сравнении с вашей похотливостью.

Это было уже слишком. Король посерел, как воск. Слова маркизы лишили ее последнего шанса. Людовик не мог стерпеть такого надругательства над своим «грозным божественным великолепием». Она низвергла его с трона божества и выставила напоказ его человеческую слабость. Простить такое было невозможно.

Гробовое молчание нависло над остолбеневшими свидетелями королевского унижения. Потом, в тщетной попытке спасти свое поруганное достоинство, Людовик без единого слова круто повернулся и удалился, громко стуча каблуками по полированному паркету.

Тут мадам де Монтеспан отчетливо осознала, какую непоправимую глупость она совершила, но ничего, кроме ярости, не ощутила — ярости и жажды мести. Нет, герцогине Фонтанж не придется наслаждаться плодами своей победы! И Луи не избежит наказания за свою неверность! Колдунья Лавуазен поможет маркизе — у нее наверняка найдется подходящее средство.

И мадам де Монтеспан снова отправилась на улицу Таннери.

Новая услуга, понадобившаяся маркизе, для колдуньи была не в диковинку. Если даму беспокоит соперница, а ей страстно необходимо сохранить благосклонность мужа; если есть некто, слишком упорно цепляющийся за свою ничтожную жизнь и ее нужно слегка подсократить — у ведьмы всегда наготове парочка заклинаний и рецепт снадобья, среди компонентов которого преобладает порошок мышьяка. Берите склянку — и дело в шляпе.

В самом деле, сей удобный метод распространился столь широко и повсеместно, что правительство, шокированное откровениями маркизы де Бренвийер, учредило в 1670 году специальный трибунал, известный как Горячая палата, для расследования и исполнения приговоров за подобного рода преступления.

Ведьма Лавуазен обещала посодействовать маркизе. Она стакнулась с другой ведьмой, по имени Лафилястр, имевшей зловещую репутацию, привлекла своего компаньона Лесажа, двух опытных отравителей — Романи и Бертрана, и все вместе они изобрели хитроумный план убийства герцогини Фонтанж. Романи под видом торговца нарядами и Бертран под видом его слуги должны были заявиться в дом герцогини и предложить ей разные товары, в том числе модные перчатки из Гренобля, славящиеся во всем мире. Фонтанж, разумеется, попадет на эту приманку и, поносив должным образом обработанные перчатки, умрет медленной смертью. При этом ни у кого не должно возникнуть подозрения в ее отравлении.

Короля предполагалось устранить посредством некоего документа — прошения, пропитанного тем же ядом, вызывающим смерть при соприкосновении с кожей. Мадам Лавуазен бралась сама пойти в понедельник, тринадцатого марта, в Сен-Жермен и вручить прошение королю лично в руки. В этот день, согласно старинной традиции, король и его министры принимали всех желающих в одном большом приемном зале.

Так решила шайка отравителей. Но Судьба распорядилась по-иному.

За три месяца до описываемых событий одна вульгарная особа выпила лишний стакан вина, который и спас короля. Как мы видим, между причиной и следствием может наблюдаться прямо-таки гротесковая несоразмерность.

Портной по имени Вигорё устроил в тот день званый обед, на который пригласил нескольких друзей. Среди приглашенных была приятельница его жены (жена, между прочим, тайком поколдовывала). Приятельницу звали Мари Боссе. Эта самая Мари Боссе как раз и выпила упомянутый лишний стакан вина, развязавший ей язык. Она принялась хвастать своей способностью предсказывать будущее и тем, что она неплохо наживаетея на этом ремесле, ибо к ней зачастили благородные господа.

— Вот только боюсь, недолго мне тешиться прибылью, — хихикнула она. — Тут появилась еще парочка отравителей, так что предсказывать будущее скоро станет некому.

Один присутствовавший за обедом адвокат наострил уши, вспомнил истории, бывшие у всех на слуху, и поставил в известность полицию. Полиция подстроила Мари Боссе ловушку, в которую та благополучно попала. Под пыткой она выдала имя мадам Вигорё, та — еще нескольких, и так далее.

Арест Мари Боссе повлек за собой цепь расследований дел о колдовстве, последнее из которых — кто бы мог предположить? — привело в королевский дворец.

За день до запланированного визита мадам Лавуазен в Сен-Жермен ее вызвали в полицию, где арестовали и препроводили в Шатле⁸. На допросе Лавуазен призналась в большинстве своих преступлений, но страх перед ужасной карой за цареубийство заставил ее кое о чем умолчать. До самой своей казни она так и не проговорила о знакомстве с маркизой де Монтеспан. Колдунья окончила свои дни в феврале 1680 года на колу.

Но нашлись другие — те, кого ведьма предала под пыткой и кто был послабее характером. Полиция арестовала ведьму Лафилястр и колдуна Лесажа. Лишь только выяснилось, что эти двое были связаны между собой и сообщничали в самых невероятных делах, Горячая палата взялась за них вплотную и напала на след попытки отравления монарха. Председатель палаты Лорейни немедленно положил доклад на стол перед королем, и тот,

ужаснувшись злодеяниям, в которых участвовала мать его детей, приостановил заседания Горячей палаты, приказав прекратить допросы Лесажа и Лафилястр и не начинать допрашивать Романи, Бертрана, аббата Гибура и остальных арестованных отравителей и колдунов, осведомленных о кошмарных преступлениях маркизы де Монтеспан.

Впрочем, Людовик XIV вовсе не стремился спасти маркизу; он заботился только о себе — как бы не уронить своего королевского достоинства. Для него не было ничего страшнее, чем быть замешанным в скандал или оказаться в смешном положении, а это должно было неизбежно случиться, стань дело достоянием гласности.

Король так этого боялся, что не мог наказать мадам де Монтеспан, поэтому он через своего министра Лувуа назначил ей аудиенцию, во время которой поставил ее в известность о следствии по делу узников Горячей палаты.

Гордая, еще недавно всевластная дама затрепетала. Впервые в жизни она зарыдала и проявила покорность, но король остался тверд и равнодушен к ее слезам. Он сказал, сколь ему отвратительна маркиза, запятнавшая себя гнусным кошунством. Он не говорил о ее преступлении прямо, но намеками в достаточной степени проявил свою осведомленность. Де Монтеспан поначалу была сражена его обвинениями и подавленно всхлипывала, однако не в ее натуре было долго и безропотно внимать упрекам. Презрение и демонстративная неприязнь Людовика пробудили в ней гнев, и всю ее покорность как рукой сняло.

— Ну так что ж? — воскликнула она, сверкая мокрыми глазами. — Разве только моя в этом вина? Пусть все, в чем вы меня обвиняете, — правда. Но не меньшая правда и то, что вы своим бессердечием и изменами ввергли меня в бездну отчаяния. Я вас любила, — продолжала маркиза, — ради вас я пожертвовала моей честью, моим любящим мужем, этим честным и благородным человеком — я пожертвовала всем, чем только может дорожить женщина. И что я получила от вас в награду? Ваши жестокость и непостоянство сделали меня посмешищем придворных лизоблюдов. И вас еще удивляет, как я могла впасть в такое безумие? Как смогла я потерять жалкие крохи чести и чувства собственного достоинства, которые у меня еще оставались? Я давно потеряла все, кроме жизни. Возьмите и ее, если это доставит вам удовольствие. Небесам известно, сколь мало она для меня значит! Но не забудьте: занося руку надо мной, вы ударите мать

ваших детей — законных детей Франции. Помните об этом!

А Людовик об этом и не забывал. Маркиза вполне могла ограничиться намеком на потерю королем своего реноме и репутации божества, которому можно только поклоняться. Впрочем, и этого не требовалось.

Дабы избежать скандальных слухов, маркизе позволили остаться жить при дворе, хотя апартаменты в первом этаже ей пришлось освободить. Лишь десять лет спустя мадам де Монтеспан удалилась в местечко Сен-Жозеф.

Но и в опале тайно избалованная преступница, покушавшаяся, помимо прочих злодеяний, на жизнь Короля-Солнца и своей соперницы, получала ежегодную пенсию в 1 200 000 ливров. В то же время власти не осмелились продолжать судопроизводство и против ее сообщников — зловещего аббата Гибура, отравителей Романи и Бертрана и колдуньи Лафилястр. Даже тех, кто прямо не разделял их вину, но сотрудничал с этими негодяями, зарабатывая на жизнь колдовством и ядом, тоже оставили в покое: они могли случайно знать и рассказать под пытками об ужасной ночи колдовства в замке Вильбузен.

Потребовался взрыв и революционный переворот, чтобы очистить Францию от расплывшейся нечисти.

VII

НОЧЬ СОКРОВИЩ

Дело об ожерелье королевы

Под покровом звездной, благоуханной, но уже прохладной августовской ночи 1784 года принц Луи де Роган, кардинал Страсбургский, главный капеллан Франции¹, с бьющимся от волнения сердцем направлялся через Версальский парк к роще Венеры на тайную и очень важную для него встречу.

Этот прославленный член прославленного дома, ведущий свое происхождение от двух королевских родов — Валуа и Бурбонов², — производил впечатление человека в расцвете сил. Статный, высокий, он выглядел моложе своих лет. В сером плаще и круглой шляпе с золотыми лентами, сопровождаемый двумя неотступно следующими

за ним слугами, он быстро шел, сгорая от нетерпения открыть врата, преграждавшие ему дорогу к осуществлению честолюбивых замыслов, врата, закрытые перед ним теми самыми руками, из которых он теперь надеялся получить ключ к ним.

Он заслуживает вашей симпатии, этот элегантный принц-кардинал, бывший объектом ненависти и коварства безжалостной австрийской императрицы с того самого дня, как он появился при венском дворе в качестве посла короля Франции³.

Великолепие, с которым он обставил свое пребывание в Вене, превосходило королевское, даже если сравнивать его с блеском французского двора. И это чрезвычайно возмущало Марию-Терезию, придерживающуюся строгих германских понятий. Его охотничьи увеселения, вечеринки, праздники, которые он устраивал по любому поводу, остроумие, пышность и безрассудная экстравагантность, превращавшая эти забавы в сцены из «Тысячи и одной ночи», изнеженная роскошь его свиты и ее невероятная расточительность — все это раздражало и шокировало императрицу.

Мысль о том, что духовное лицо, в нарядной светской одежде, верхом на коне может охотиться на оленей, повергала ее в шок, его нескромный флирт со знатными дамами Вены приводил ее в состояние, близкое к отчаянию, а его элегантность и неотразимое обаяние были для нее лишь свидетельством распушенности, которая могла привести к нравственному разложению всего ее двора.

Она всеми силами сглаживала его пагубное влияние и в конце концов стала плести интриги, целью которых был отзыв посла. Она не пыталась скрывать свою враждебность к нему, и, разумеется, расположению королевы к кардиналу вовсе не способствовало то, что на ее холодную надменность он отвечал иронической учтивостью; это всегда ставило ее в затруднительное положение. Но однажды он зашел слишком далеко в своем злорадстве.

«Мария-Терезия, — написал он Дагийону⁴, — в одной руке держит носовой платок, чтобы вытирать слезы, проливаемые из-за несчастий угнетенной Польши⁵, а в другой — меч для продолжения ее раздела».

Сказать, что острый язык принца был одной из причин французской революции, кажется, на первый взгляд, сильным преувеличением. Однако это на самом деле так, потому что, не будь этой опрометчивой фразы, у Рогана,

возможно, не было бы необходимости в эту августовскую ночь спешить на свидание, в результате которого в руках революционной партии оказалось мощное оружие.

Дагийон опубликовал эту колкость. О ней узнала Мария-Антуанетта, а от нее — ее мать в Вене. Это вызвало у императрицы негодование и обиду, которые не давали ей покоя до тех пор, пока блестящий принц-кардинал не был отозван из Вены. Но даже тогда успокоение не наступило. Разоблачительная насмешка (а если хоть немного знать Марию-Терезию, можно представить, что это для нее значит) вызвала враждебные действия со стороны императрицы, отныне целеустремленно направленные против Рогана.

Кардинал был честолюбив, полон веры в свои таланты и в мощную поддержку своей влиятельной семьи. Он надеялся стать новым Ришелье или Мазарини, первым министром короля, некоронованным правителем Франции, той силой, которая направляет действия монарха. И он наверняка достиг бы своей цели, если бы не препятствия, которые воздвигла на его пути враждебность Марии-Терезии. Императрица постаралась, чтобы ее ненависть через дочь преследовала его повсюду, даже во Франции.

Как всегда послушная железной воле матери и разделявшая ее обиду, Мария-Антуанетта использовала все свое влияние, чтобы расстроить планы дерзкого кардинала, которого под влиянием матери стала считать опасным и беспринципным человеком.

По возвращении из Вены с письмами от Марии-Терезии к Людовику XVI и Марии-Антуанетте кардинал был весьма холодно принят хмурым королем, а королева отказала ему даже в аудиенции, распорядившись, чтобы он передал письма через придворных.

Раздосадованный кардинал понимал, в чем дело. Он чувствовал, как рука Марии-Терезии управляет Марией-Антуанеттой, а через нее и королем. Его положение ухудшалось. Он, мечтавший стать вторым Ришелье, с трудом смог получить обещанную ему должность главного капеллана Франции, и то лишь в результате настойчивых хлопот своего семейства.

Было ясно: ему не преуспеть, если он не сумеет смягчить суровую королеву. За это кардинал и взялся. Но на три написанных им королеве письма он не получил ответа. И через другие каналы настойчиво просил он аудиенции, чтобы лично выразить свое сожаление о проявленной им оскорбительной неучтивости. Но королева,

находясь под влиянием Марии-Терезии, оставалась непреклонной.

Роган был доведен почти до отчаяния, и тут в недобрый для него час пути его пересеклись с путями Жанны де ла Мотт де Валуа, о которой говорили, что она, будучи тайной фавориткой королевы, оказывает на нее закулисное влияние. Такая репутация обеспечивала ей средства к существованию.

Как утопающий за соломинку, ухватился принц-кардинал Луи де Роган, главный капеллан Франции, командор ордена Святого Духа, за эту *faiseuse d'affair** в надежде, что она поможет ему в его отчаянном положении.

Жанна де ла Мотт де Валуа была, возможно, самой отчаянной авантюристкой из когда-либо живших на этом свете: лишь изворотливость ума и красота обеспечивали ей возможность жить безбедно. Начиная же она с того, что кланчила подавание на улице. Потом объявила, что происходит от побочной ветви графов Валуа, это засвидетельствовала маркиза Булэнвийер, дружившая с ней, Жанна получила от короля небольшую пенсию и вышла замуж за не слишком щепетильного молодого солдата бургундского жандармского полка Марка Антуана де ла Мотта⁶.

Позже, в августе 1784 года, ее покровительница представила Жанну кардиналу де Рогану. Его преосвященство, заинтересовавшись необыкновенной историей дамы, а также ее удивительной красотой, жизнерадостностью и умом, пригласил ее в свой пышный замок в Саверне близ Страсбурга, где, выслушав подробный рассказ о ее приключениях, обещал свою поддержку и в доказательство своей благосклонности вскоре добился для ее мужа чина драгунского капитана.

Потом супруги де ла Мотт оказались в Париже и Версале, где были вынуждены переезжать с одной квартиры на другую из-за требований хозяев об уплате долгов. Наконец, они обосновываются на рю Нёв-Сен-Жиль. Здесь супруги живут на относительно широкую ногу на деньги, занятые либо у самого кардинала, либо под его поручительство; то впечатление, которое производило имя и происхождение графини, а также покровительство кардинала, беззастенчиво сю используемое, помогали де ла Мотт получать кредиты в

* Аферистку (фр.).

магазинах и облегчали различного рода мошеннические проделки.

Но жить, все время изворачиваясь, не так-то легко. Нужно обладать особым тактом, ловкостью, хладнокровием, дерзостью и изобретательностью. Все эти качества были присущи мадам де ла Мотт в полной мере. Поэтому, осаждаемая кредиторами, она умудрялась успешно отражать их натиск и выглядеть на людях всегда невозмутимой и спокойной.

Влияние мадам де ла Мотт на королевский двор никогда не подвергалось сомнению. К тому же это соответствовало характеру Марии-Антуанетты и нравам ее двора. Опрометчивая во многих своих поступках, королева была весьма неразборчива и в привязанностях. Примером тому — ее близкие отношения с мадам де Полиньяк и принцессой де Ламбаль⁷. Народная молва преувеличивала нескромность поступков новой фаворитки, не оставляя камня на камне от репутации Жанны.

По мере того, как возрастала известность графини Жанны де Валуа — так мадам де ла Мотт стала именовать себя, — ее покровительства стали искать различные карьеристы и люди, жаждущие продвинуться по службе, неплохо платившие ей за обещания ходатайствовать за них перед двором.

И вот в паутину ее интриг попался кардинал де Роган, который, как он сам признавался, «был совершенно ослеплен безмерным желанием обрести благосклонность королевы». Она вдохнула надежду в отчаявшееся сердце кардинала, заверив, что в благодарность за все милости, оказанные ей, она не успокоится, пока королева не изменит своего отношения к нему.

Спустя некоторое время графиня стала уверять Рогана, что под ее влиянием враждебность королевы к нему ослабевает, и, наконец, объявила, что королева просила передать: она желает получить от него оправдательное объяснение, которое он так долго и тщетно пытался представить ранее.

Роган, безмерно обрадованный, составил объяснение, которое было передано королеве графиней, и через несколько дней получил на бумаге с голубой каймой, украшенной французскими лилиями, собственноручную записку королевы.

«Я рада, — писала Мария-Антуанетта, — наконец-то узнать, что Вы не виноваты. Я не могу пока даровать Вам аудиенцию, которой Вы желаете, но как только

обстоятельства позволят, я дам Вам знать. Надеюсь на Вашу скромность».

По совету графини Валуа его преосвященство послал ответ с выражением глубокой благодарности.

С этих пор началась регулярная переписка между королевой и кардиналом, продолжавшаяся на протяжении трех месяцев и становившаяся все более интимной и сердечной. Его просьбы получить аудиенцию становились с каждым письмом все настойчивее, и наконец королева объявила, что, побуждаемая уважением и расположением к нему, так долго находившемуся в немилости, сама желает встречи с ним. Но все должно остаться в тайне. Публичная аудиенция пока преждевременна: у него много врагов при дворе, которые, узнав об этом заранее, могут все погубить своими интригами.

Такое письмо от прекрасной женщины, да еще королевы, чья недоступность увеличивала тысячекратно ее привлекательность в его воображении, неизбежно должно было вскружить кардиналу голову. Тайная переписка, завершающаяся тайной встречей, казалось, сблизила их, что было невозможно при иных обстоятельствах.

В ткань его эмоций, основу которой составляло честолюбие, вплеталось теперь и другое, романтическое, хотя и полное почтения, чувство.

Легко себе представить, с каким настроением принц-кардинал направлялся этой ясной благоуханной летней ночью к роще Венеры. Он шел заложить фундамент величественного здания своих честолюбивых устремлений. Для него это была главная ночь жизни.

— Ночь сокориш, — произнес он, глядя на усыпанное бриллиантами звезд небо. Увы, эта его фраза оказалась пророческой.

Пройдя аллею, обсаженную самшитом и вязами, он вышел на открытую лужайку, в центре которой деревья, посаженные по кругу, образовывали небольшую рощу. Там собирались установить, но так и не установили статую Венеры. Но хотя там и не было холодного мраморного изваяния богини, зато стояла живая, мерцающая в темноте фигура королевы, которая ждала его.

Роган остановился. Он почти не дышал. Лишь сердце его бешено колотилось. А уже через минуту он почти бежал. Войдя в рощу, кардинал сбросил свою широкополую шляпу, встал перед королевой на колени, целуя кайму ее белого батистового платья. Что-то (а это была роза, брошенная ею) слегка задело его щеку. Почтительно,

как символ ее расположения, поднял он цветок и посмотрел в гордое, прелестное лицо королевы, которое, хотя и неясно различимое, Роган, несомненно, узнал. Взгляд его выражал благодарность и преданность. Он заметил, что она дрожит, и услышал волнение в ее голосе, когда она обратилась к нему.

— Вы можете надеяться, что прошлое будет прощено.

Прежде чем он успел до конца насладиться смыслом этих сладостных слов, послышались быстрые шаги, нарушившие их уединение. Человек, в котором кардинал как будто узнал камердинера королевы Декло, раздвинув завесу листвы, заглянул в рощу.

— Скорее, мадам! — воскликнул он возбужденно. — Приближаются мадам де Кампан и мадемуазель д'Артуа!

Королева быстро скрылась, а кардинал тихо отошел в сторону.

Но, когда на другое утро графиня Валуа принесла ему на листочке с голубой каемкой записку, в которой королева советовала ему терпеливо ждать часа, благоприятного для публичной демонстрации королевского благоволения, он смиренно и с легким сердцем принял этот совет. Его согревали воспоминания о ее голосе и брошенной ему розе. Вскоре пришла еще одна записка, в которой Мария-Антуанетта рекомендовала ему удалиться в его страсбургскую епархию и находиться там до тех пор, пока она не решит, что подходящий момент для восстановления его в прежнем положении наступил.

Покорно исполнил он и эту рекомендацию.

В декабре того же года у графини Валуа появился новый соискатель ее протекции, и тогда же она впервые увидела знаменитое бриллиантовое ожерелье.

Оно было сработано ювелирами королевского двора с Вандомской улицы, Бёмером и Босанжем, и предназначено для графини дю Барри⁸. Над подбором бриллиантов к ожерелью Бёмер трудился пять лет, разъезжая для этого по всей Европе. Результат оправдал все его усилия — ожерелье состояло из крупных, великолепных бриллиантов, подобного сочетания просто не существовало больше в мире, да и не могло существовать.

К несчастью, Бёмер слишком долго трудился над ожерельем. Людовик XV скоростижно скончался, и ожерелье стоимостью в два миллиона ливров так и осталось у мастера.

Теперь все надежды связывались с широко известной экстравагантностью Марии-Антуанетты. Однако цена от-

пугнула ее, а Людовик XVI ответил назойливому ювелиру, что страна гораздо больше нуждается в военном корабле, чем в ожерелье.

Бёмер предлагал ожерелье многим дворам Европы, но безуспешно. Дела фирмы расстроились, она влезла в большие долги, и отчаяние Бёмера дошло до предела. Еще раз предложил он ожерелье королю, заявляя, что готов пойти на уступки и согласен на рассрочку платежей, но опять получил отказ.

Бёмер так надоел всем со своим ожерельем, что стал своего рода анекдотической фигурой. Однажды он настолько забылся, что нарушил прогулку королевы в садах Трианона. Бросившись перед ней на колени, он сквозь слезы заговорил о своем отчаянии, заявив, что если она не купит ожерелье, то он утопится. На его слезы она ответила лишь насмешкой.

— Встаньте, Бёмер! — обратилась она к нему. — Я не люблю таких сцен. Я отказалась купить ожерелье и не хочу больше слышать о нем. Вместо того, чтобы топиться, сломайте ожерелье и продайте каждый бриллиант по отдельности.

Он не сделал ни того, ни другого, но продолжал всем жаловаться. Однажды его жалобы услышал некто Лапорт, всегда стесненный в деньгах друг дома графини Валуа.

Бёмер сказал ему, что он заплатил бы тысячу луидоров тому, кто найдет покупателя ожерелья. Этого было достаточно, чтобы нуждающийся Лапорт засуетился. Он рассказал о предложении графине, и оно сразу заинтересовало ее. Затем Лапорт рассказал Бёмеру о том влиянии, которое его знакомая имеет на королеву, и убедил ювелира прийти к Жанне с ожерельем.

Зачарованная блеском камней, графиня тем не менее заявила, что слухи о ее влиянии на королеву преувеличены. Однако ее интонация при этих словах была шутливой, рассчитанной на то, чтобы убедить Бёмера в обратном. И, как бы поддавшись на его настойчивые просьбы, она обещала все-таки подумать, как ему помочь.

3 января кардинал вернулся из Страсбурга. Переписка его с королевой через графиню Валуа все это время продолжалась, и вот наконец представилась возможность доказать свою готовность послужить ее величеству, оказав королеве услугу, которая могла бы связать ее определенными обязательствами перед ним.

Графиня принесла ему письмо от Марии-Антуанетты, в котором королева выражала желание приобрести оже-

релье, добавляя при этом, что, будучи в настоящее время стесненной в средствах, она хотела бы договориться о скидке и рассрочке платежа на три месяца. Для этого ей нужен посредник, который сам по себе был бы достаточной гарантией для Бёмера. Она просила его преосвященство оказать ей эту услугу.

Кардинал, со времени встречи в роще Венеры ждавший возможности доказать свою преданность, с воодушевлением взялся за исполнение королевской просьбы.

24 января графиня подъехала к ювелирному магазину на Вандомской улице. Ее черные глаза блестели от радости, тонкое, красивое лицо сияло и от этого казалось еще прекраснее.

— Месье, — приветствовала она взволнованных компаньонов, — мне кажется, я могу обещать вам, что ожерелье очень скоро будет продано.

У ювелиров перехватило дыхание от волнения.

— Покупку, — продолжала графиня, — сделает очень знатный вельможа.

Боссанж бросился пылко благодарить ее. Но Жанна де ла Мотт оборвала его:

— Этот вельможа — сам принц-кардинал Луи де Роган. Именно с ним вы будете вести дела, и я советую вам, — добавила она доверительно, — быть предусмотрительными, особенно при обсуждении условий покупки.

И, конечно, вы должны помнить, что это дело меня не касается, и я не хотела бы упоминания моего имени в связи с ним.

— Конечно, мадам, — пролепетал Бёмер, который, да же несмотря на холодный день, вспотел. — Не беспокойтесь. Мы все понимаем и чрезвычайно благодарны. Если, — его руки нервно перебирали что-то в ларце, — если бы вы соблаговолили, мадам, принять эту безделушку в знак нашей благодарности, мы...

Она прервала его тоном, в котором сквозило высокомерие:

— Вы, по-видимому, не поняли, Бёмер, что я не имею к этому никакого отношения. Я ничего не сделала для этого, — настойчиво повторила она. И затем, расплывшись в улыбке, добавила: — Моим единственным желанием было помочь вам.

И она сразу же уехала, оставив их под впечатлением этого визита, но более всего — отказа принять драгоценный камень.

На другой день к ювелирному магазину подкатил тот

знатный вельможа, о котором она говорила, то есть сам кардинал, чтобы по поручению королевы взглянуть на ожерелье и договориться об условиях продажи. К концу недели сделка была заключена. Цена была определена в миллион шестьсот тысяч ливров, которые королева должна была выплатить частями в течение двух лет, причем первый платеж приходился на 1 августа следующего года.

Эти условия кардинал изложил в записке, врученной им мадам де ла Мотт, чтобы они могли быть скреплены подписью королевы.

На другой день графиня вернула ему письмо.

— Королева довольна и благодарна, — заявила она, — и одобряет ваши действия. Но она не желает ничего подписывать.

Однако кардинал проявил настойчивость. Процедура сделки требовала этого, и он положительно отказывался заниматься делом дальше без подписи королевы.

В последний день месяца графиня принесла этот документ снова, на этот раз оформленный так, как требовал кардинал, — под ним стояла теперь подпись: «Мария-Антуанетта Французская», и пометка «одобрено», начертанная также рукой королевы.

— Королева, — сообщила ему мадам де ла Мотт, — совершила эту покупку тайно от короля, и она очень просит, чтобы эта бумага не покидала рук вашего преосвященства. Поэтому не позволяйте никому видеть ее.

Роган дал требуемое обещание, но, считая, что к Бёмеру и Босанжу оно не относится, показал им записку и подпись королевы, когда на другой день ювелиры приехали к нему с ожерельем.

К вечеру, когда уже смеркалось, карета с зашторенными окнами подъехала ко входу в дом мадам де ла Мотт на площади Дофина в Версале. Из нее вышел и поднялся по лестнице Роган со шкатулкой в руках⁹.

Мадам ждала его в обшитой белыми панелями, тускло освещенной комнате с отгороженным стеклянными дверьми альковом.

— Вы принесли ожерелье?

— Оно здесь, — ответил он, постукивая по шкатулке затынутой в перчатку ладонью.

— Ее величество ждет бриллианты сегодня вечером. Ее посланец должен вот-вот быть здесь. Королева будет довольна вашим преосвященством.

— Это все, чего я могу желать, — ответил он сдер-

жанно и сел в ответ на ее приглашение, держа драгоценную шкатулку на коленях.

Несколько минут ожидания они провели за пустячной беседой. Наконец на лестнице послышались шаги.

— Скорее! В альков! — воскликнула Жанна. — Посланец королевы не должен вас видеть.

Роган послушно скрылся в алькове, сквозь стеклянные двери которого он мог видеть происходящее.

Служанка графини открыла дверь и доложила:

— Гонец от королевы.

Высокий стройный юноша в черном, сопровождавший королеву в «ночь сокровищ» в роще Венеры, быстро вошел в комнату, учтиво поклонился мадам де ла Мотт и подал ей записку.

Она сломала печать и попросила посланца на минуту удалиться. Когда он вышел, она обернулась к кардиналу, стоявшему у входа в альков.

— Это Декло, слуга ее величества, — сказала она, протянув ему записку, в которой предписывалось передать ожерелье курьеру.

Посланец был снова приглашен в комнату, чтобы получить шкатулку из рук мадам де ла Мотт. Через пять минут кардинал уже сидел в карете, возвращаясь в приподнятом настроении в Париж и размышляя о благодарности и доверии, которые испытывает к нему королева.

Спустя два дня, встретив в Версале Бёмера, кардинал посоветовал ему выразить королеве благодарность за покупку ожерелья.

Бёмер тщетно пытался это сделать. Подходящий случай не представлялся. Напрасно пытался он также узнать, надевала ли королева ожерелье. Но его это, как видно, не особенно беспокоило. К тому же мадам де ла Мотт вполне правдоподобно объяснила Лапорту сдержанность королевы, сказав, что ее величество не хочет надевать ожерелье до того, как полностью за него не расплатится.

Такое же объяснение она дала кардиналу, когда он после трехмесячного пребывания в Страсбурге вернулся в июле в Париж. Жанна не упустила возможности сказать ему, что еще одна причина, по которой королева не может считать ожерелье своей собственностью, — непомерно высокая цена.

— По-видимому, она вынуждена будет вернуть его, если Бёмер не пойдет на уступки, — сказала она.

Если его преосвященство и был несколько встревожен услышанным, то почти сразу же погасил в себе возникшее

беспокойство. Он согласился переговорить об этом с ювелирами, и 10 июля, за три недели до срока первого платежа, он навестил их, чтобы сообщить пожелание королевы.

Бёмер почти не пытался скрыть раздражение, появившееся на его пронизательном смуглом лице. Если бы его клиентом была не королева, а ее посредником не кардинал, то он, без сомнения, выразил бы свое недовольство более явно.

— Цена, о которой мы договаривались, уже была намного ниже стоимости ожерелья, — проворчал он. — Я бы никогда не согласился на такую сумму, если бы не то трудное положение, в какое мы попали, уже заплатив за камни. Мы одолжили на это деньги и обязаны платить проценты. Дальше снижать цену невозможно.

Красивый кардинал был учтив, любезен, проявлял понимание, но оставался непреклонным. Если не будет найден выход, ожерелье придется вернуть.

Бёмер был напуган. Отмена сделки привела бы его к полному краху. С большой неохотой, сознавая, что у него нет другого выхода, он уменьшил цену на двести тысяч ливров и даже согласился написать королеве следующее письмо, изящество слога которого заставляет предположить, что оно составлено под диктовку кардинала:

«Мадам, мы с надеждой осмеливаемся думать, что наша готовность достичь соглашения, диктуемая нашим уважением и верностью, является доказательством нашей преданности Вашему Величеству. И мы испытываем великое удовлетворение при мысли о том, что самые прекрасные бриллианты на свете будут служить украшением величайшей и лучшей из королев».

Случилось так, что Бёмер должен был лично вручить королеве несколько бриллиантов, которые подарил ей король по случаю крещения своего племянника. Он воспользовался этим обстоятельством, чтобы лично вручить королеве это письмо. Но прежде чем она открыла его, в комнату случайно зашел один из придворных, и ювелир удалился, письмо так и не было прочитано в его присутствии.

Позже, в присутствии мадам де Кампан, которая запомнила этот эпизод, королева развернула записку, недоуменно прочитала ее, а затем, возможно, вспомнив недавнюю угрозу Бёмера покончить с собой, сказала:

— Слушайте, что этот безумец Бёмер пишет мне. — Она прочла письмо вслух. — Вы отгадывали загадки в

«Меркьюр»⁰ сегодня утром. Может быть, вы разгадаете мне эту.

И, презрительно пожав плечами, она поднесла листок к пламени одной из восковых свечей, стоявших на столике для опечатывания писем.

— Этот человек живет, чтобы досаждать мне, — продолжала она. — Он всегда был немного не в себе, но при чем тут я? Умоляю вас, когда увидите его, убедите этого назойливого ремесленника, что меня мало волнуют бриллианты.

На этом разговор был закончен.

Дни шли за днями, и за неделю до срока уплаты трехсот пятидесяти тысяч ливров мадам де ла Мотт по поручению королевы снова посетила кардинала.

— Ее величество, — заявила мадам, — затрудняется в уплате первого взноса. Ей не хочется беспокоить вас письмом. Но я подумала, что вы могли бы выказать ей свою преданность и в то же время успокоить ее. Не могли бы вы ссудить ей эту сумму?

Если бы кардинал не сам диктовал Бёмеру письмо, которое тот вручил королеве, он непременно заподозрил бы неладное. Но поскольку все обстоятельства были, как он считал, ему известны, он начал обдумывать предложение мадам де ла Мотт. Роган был очень богат, но в меньшей степени расточителен.

Кроме того, положение усугублялось тем, что его племянник, князь Гэменэ, оказался банкротом, причем его долги составили почти три миллиона ливров. Для кардинала было естественным — да и фамильная честь требовала — принять его бремя на свои плечи.

Ссудить такую большую сумму немедленно он никак не мог. Не мог он и занять денег: слишком мало времени было для этого.

Его озабоченность по этому поводу возросла еще больше после получения письма от ее величества, которое мадам де ла Мотт принесла ему 30 июля. Королева писала, что первый взнос не может быть сделан до 1 октября, к тому же к этой дате, несомненно, будет уплачена только половина пересмотренной суммы, — семьсот тысяч ливров. Вместе с письмом мадам де ла Мотт передала кардиналу тридцать тысяч ливров, которые представляли собой проценты от суммы выплаты, ими королева надеялась успокоить ювелиров.

Но это было не так-то легко. Бёмер, терпение которого лопнуло, категорически отказался согласиться на отсрочку

платежа, а также от получения тридцати тысяч ливров, разве лишь в счет уплаты взноса.

Кардинал был весьма взволнован. Нужно было что-то срочно предпринимать, иначе его тайные отношения с королевой могут стать явными, а это означало неизбежный скандал. Он пригласил к себе мадам де ла Мотт, рассказал ей обо всех новых обстоятельствах, связанных с ожерельем, и просил помочь как-то уладить дело.

То, что она сделала, могло бы немало удивить его. Понимая, что наступил кризис и требуются смелые шаги, она послала за Босанжем, более уступчивым партнером. Тот пришел в дом на улицу Нёв-Сен-Жиль и заявил, что он обманут.

— Обманут, вы сказали? — Она резко рассмеялась. — Скажите лучше, надут, мой друг. Вы стали жертвой мошенничества.

Босанж побледнел. Его выпуклые глаза на бледном лице, казалось, еще больше округлились.

— Что вы сказали, мадам? — спросил он хрипло.

— Подпись королевы на письме кардинала — подделка.

— Подделка?! Подпись королевы? О, мой бог! Откуда вы это знаете, мадам?

— Я видела ее, — ответила она.

— Но...

Ноги уже не держали его, он опустился на стул, стоявший рядом. Забыв об этикете, машинально, почти в забытьи, он вытирал капли пота, выступившие у него на бровях, затем снял парик и вытер голову.

— Не нужно попусту переживать, — сдержанно сказала Жанна. — Кардинал Роган очень богат. Вы должны надеяться на него. Он заплатит.

— Заплатит ли?

Надежда и сомнение слились в этом вопросе.

— Что ему остается? — сказала она. — Разве можно предположить, что он позволит разразиться скандалу вокруг его имени и имени королевы?

Босанж увидел наконец просвет. Где здесь добро и зло, кто виноват — эти вопросы были для него второстепенными. Главное то, что ювелиры смогут получить те миллион четыреста тысяч ливров, за которые было продано ожерелье. Поэтому Босанж с такой охотой уверовал в слова мадам де ла Мотт.

К несчастью для всех вовлеченных в это дело, в том числе и для ювелиров, Бёмер не был настроен на компромисс. Напуганный сообщением Босанжа, он решил

действовать незамедлительно. Бёмер помчался в Версаль, намереваясь увидеть королеву. Но королеве, как мы знаем, он надоел уже донельзя. И он должен был удовлетвориться изложением своих просьб вперемешку с требованиями мадам де Кампан.

— Вас надули, Бёмер, — сказала сразу же первая фрейлина королевы. — Ее величество никогда не получала ожерелья.

Но убедить в этом Бёмера ей не удалось. Доведенный до ярости, он вернулся к Босанжу.

Босанж, хоть и был сильно встревожен, однако сохранял спокойствие. Кардинал, настаивал он, был их поручителем. Невозможно сомневаться, что он будет стараться, чего бы ему это ни стоило, выполнить свои обязательства, дабы избежать скандала.

Так оно, конечно, и было бы, если бы не этот поспешный визит Бёмера в Версаль.

Вскоре ювелир был вызван в Версаль по поводу изготовления пряжек.

Королева приняла ювелира наедине, и сразу же стало ясно, что пряжки были лишь предлогом для разговора. Она потребовала, чтобы он объяснил смысл сказанного мадам де Кампан.

Бёмер не мог избавиться от ощущения, что с ним, по-видимому, шутят. Разве он не написал и не передал лично королеве письмо, в котором благодарил ее за покупку ожерелья, и разве это письмо не осталось без ответа, в котором подразумевалось, что ожерелье находится в ее руках? Безумно раздраженный, он говорил не так, как подобает разговаривать с королевой.

— Смысл, мадам? Смысл заключается в том, что я требую оплатить ожерелье, терпение моих кредиторов иссякло. Если вы не прикажете сделать это, я разорен!

Взгляд Марии-Антуанетты, обращенный на него, был холоден и гневен.

— Вы осмеливаетесь предполагать, что ваше ожерелье у меня?

Бёмер был бледен, как снег, руки его дрожали.

— Ваше величество отрицает это?

— Вы позволяете себе неслыханную дерзость! — воскликнула она. — Вы должны отвечать на вопросы, а не задавать их. Ответьте же мне!

Но отчаявшегося человека не так-то легко запугать.

— Нет, мадам, я утверждаю это! Графиня Валуа, которая...

— Какая графиня Валуа?

Страшная догадка, словно меч, поразила Бемера при этом неожиданном вопросе, заданном в такой категоричной форме. Несколько мгновений он молча, изумленно смотрел на негодующую королеву, потом овладел собой и постарался во всех подробностях рассказать об обстоятельствах, при которых он расстался с ожерельем: он описал визит мадам де ла Мотт, посредничество кардинала де Рогана, принесшего подписанный ее величеством документ с одобрением условий покупки; вручение ожерелья его преосвященству для передачи королеве.

Мария-Антуанетта слушала его рассказ со все возрастающим волнением. Ее обычно бледные щеки сейчас пылали от гнева.

— Подготовьте и пришлите мне записку обо всем, что вы мне сейчас рассказали, — велела она. — А теперь можете идти.

Эта встреча происходила 9 августа. 15 августа было Успение, а также именины королевы. В Версале устроили торжественный прием, на который прибыло много знати. В 10 часов должны были служить мессе в королевской часовне, которую, по заведенному обычаю, отправлял главный капеллан Франции кардинал Роган.

Однако на этот раз в десять часов в кабинете короля была проведена встреча, на которой присутствовали, кроме короля и королевы, барон де Бретей¹¹ и хранитель печати Миромесниль. Они полагали, что встретились для решения дела о бриллиантовом ожерелье. На самом же деле эти марионетки в руках судьбы способствовали решению участи французской монархии.

Король — толстый, грузный и флегматичный — сидел в позолоченном кресле за инкрустированным золоченой бронзой столом. Его бычьи глаза выражали тревогу. Над крупным носом залегли две глубокие морщины. Рядом и чуть позади стояла королева, бледная и надменная, а лицом к ним стоял месье де Бретей, громко читающий написанные Бёмером показания.

После прочтения на миг воцарилась полная тишина. Раздался почти жалобный голос короля:

— Что же нам делать? Что нам делать?

Королева ответила резко и зло:

— Когда римский пурпур и титул принца всего лишь маски, скрывающие мошенника, остается только одно. Мошенник должен быть разоблачен и наказан.

— Но, — пробормотал король, — мы еще не выслушали кардинала.

— Не думаете ли вы, что ювелир осмелился бы лгать в таких обстоятельствах?

— Но примите во внимание, мадам, положение кардинала и положение его семьи, — вмешался благоразумный Миромесиль. — Примите во внимание сенсацию, скандал, который непременно возникнет, как только все станет широко известно.

Однако послушная дочь Марии-Терезии, испытывающая к Рогану ненависть и непреодолимое отвращение, не захотела прислушаться к этим разумным доводам.

— Что значат для нас скандалы? — заявила она.

Король взглянул на Бретёя.

— А вы барон? Что вы думаете?

Де Бретёй, смертельный враг Рогана, пожал плечами и постучал пальцем по документу.

— Перед лицом этого, сир, мне кажется, единственно правильным решением будет арест кардинала.

— Вы верите, что... — начал было король и умолк, не закончив фразы.

Но Бретёй понял.

— Я знаю, что кардинал может быть стеснен в средствах, — сказал он. — Он всегда сорил деньгами направо и налево, а теперь еще эти долги его племянника, принца де Гэменэ.

— И вы можете поверить, — воскликнул король, — что принц дома Роган, даже если он и нуждался в деньгах, мог... О нет, такое невозможно себе представить!

— Разве он не украл мое имя? — оборвала его королева. — Разве это не доказывает, что он обычный тупой мошенник?

— Но мы еще не выслушали его, — робко напомнил король.

— Возможно, его преосвященство сумеет что-то объяснить, — отважился вернуть Миромесиль. — Будет весьма благоразумно дать ему такую возможность.

Король в знак согласия кивнул своей породистой головой в напудренном парике.

— Пойдите и разыщите его. Немедленно приведите его! — обратился он к Бретёю. Последний поклонился и вышел.

Вернувшись вскоре, он придержал дверь, давая пройти статному кардиналу, вряд ли сознающему, что ему предстоит, безмятежному и умиротворенному, облаченно-

му в багряную шелковую сутану. Кардинал быстрым шагом подошел к королю. В первый раз с той романтической ночи в роще Венеры, после которой прошел уже целый год, очутился он лицом к лицу с королевой.

Внезапно, как гром среди ясного неба, прозвучал вопрос короля:

— Кузен, что это за история с покупкой бриллиантового ожерелья, которую, по вашим словам, вы сделали от имени королевы?

Король и кардинал смотрели друг другу в глаза, причем глаза короля были прищурены, а глаза кардинала округлены от неожиданности. Король подался вперед, опершись локтями на стол, кардинал же стоял, застыв на месте, напряженно и неподвижно.

Краска постепенно сошла с лица Рогана. Его глаза искали королеву и встретили ее презрительный взгляд, холодную усмешку. Наконец он слегка наклонил голову.

— Сир, — сказал он неуверенно, — я чувствую, что был обманут. Но сам я не обманывал никого.

— Тогда вам не о чем беспокоиться. Нужно только все объяснить.

Объяснить! Как раз этого он не мог сделать. Кроме того, какого рода объяснение требуется от него? Только королева могла решить это.

— Если вы действительно были обмануты, — сказала она насмешливо, пронзая его стальным взглядом, — то прежде всего вы обманули самого себя. Но даже и в этом случае невозможно поверить, чтобы самообман завел вас так далеко, что побудил выставить себя моим посредником! Вас, человека, который должен знать, что он — последний из наших подданных, кого бы я просила об услугах. Вас, с кем я ни разу не разговаривала за последние восемь лет! — Слезы гнева показались на ее глазах, голос дрожал. — А теперь вы хотите заставить нас поверить в то, во что поверить невозможно.

Так одним ударом она разбила вдребезги надежды, питаемые им с той «ночи сокровищ» (поистине, сокровищ!) в роще Венеры. И вот рухнули его честолюбивые мечты, а сам он повержен в прах!

Видя его замешательство, незлобивый монарх поднялся.

— Хорошо, кузен мой, — сказал он мягко, — соберитесь с мыслями. Сядьте и напишите, что бы вы могли сказать в ответ.

И с этими словами он направился в библиотеку, сопровождаемый королевой и двумя министрами.

Оставшись один, Роган, шатаясь, подошел к креслу и бессильно опустился в него. Он взял перо, задумался на минуту и начал писать. Но ему еще не все было ясно. Он никак не мог постичь, как его провели, все еще не мог поверить, что эти драгоценные записки от Марии-Антуанетты были поддельными, что совсем не королева встретила его в роще Венеры и бросила ему розу, засохшие лепестки которой хранятся между ее письмами в красной сафьяновой папке. Но ему было, по крайней мере, ясно, что ради королевы — ради чести королевы — он обязан предположить, что так все и было. И, приняв решение, он принялся за объяснение.

Закончив, он сам отнес его королю в библиотеку.

Людовик, наморщив лоб, прочел написанное, затем передал бумагу королеве.

— Ожерелье сейчас у вас? — спросил король.

— Сир, я передал его этой женщине — Валуа.

— Где сейчас эта женщина?

— Я не знаю, сир.

— А письмо с подписью королевы, которое вы, по словам ювелиров, показывали им, где оно сейчас?

— Оно у меня, сир. Я передам его вам. Только сейчас я понял, что это подделка.

— Только сейчас! — воскликнула королева с усмешкой.

— Имя ее величества было скомпрометировано, — сурово сказал король. — Оно должно быть очищено. Как королю и как мужу мне ясен мой долг. Ваше преосвященство, я должен подвергнуть вас аресту.

Роган в оцепенении сделал шаг назад. Он был готов к позору, к отставке, но только не к аресту.

— Арест? — прошептал он. — О, подождите, сир. Публичный скандал! Подумайте об этом! Что до ожерелья, то я заплачу за него сам, тем самым искупив свое легковерие и безрассудство. Я умоляю вас, сир, покончить здесь с этим делом. Я прошу об этом ради себя, ради принца де Субих¹² и ради имени Роганов, которое будет несправедливо опозорено.

Король раздумывал в нерешительности. Заметив это, благоразумный и дальновидный Миромесниль осмелился развить доводы, которые Роган высказал лишь вскользь, подчеркивая, что желательно избежать скандала.

Людовик кивал, соглашаясь с ним, но Мария-Антуанетта, не в силах долее сдерживать ненависть, стала резко возражать против доводов благоразумия.

— Это отвратительное дело должно быть раскрыто, —

настаивала она. — Это нужно мне, чтобы все стало на свои места. Пусть кардинал расскажет всему свету, как ему это пришло в голову, — чтобы я, не разговаривая с ним уже восемь лет, могла пожелать воспользоваться его услугами для покупки ожерелья.

Она была вся в слезах, и ее слабый, легко поддающийся чужому влиянию муж посчитал ее правой. И в результате к ужасу всего двора принц Луи де Роган был арестован, как простой вор.

Взбалмошная, опрометчивая, недалёковидная женщина позволила, чтобы ее мстительность перевесила все остальные соображения, не заботясь о последствиях, не думая о том, что попирает принцип справедливости, она стремилась лишь к одному — удовлетворить переполняющую ее ненависть. Однако этот неблагородный поступок бумерангом ударил по ней самой. В слезах и крови должна она будет искупить свое немилосердие: очень скоро она пожнет его горькие плоды.

Сен-Жюст¹³, один из выдающихся ораторов в парламенте, апостол ясных идей, получивших свое полное осуществление в революции, выразил общественное мнение следующими словами:

— Великое и радостное событие! Кардинал и королева замешаны в подделке и мошенничестве! Грязь на кардинальском жезле и на королевском скипетре! Какой триумф идей свободы!

На судебном разбирательстве, происходившем в парламенте, мадам де ла Мотт, человек по имени Рето де Вийет, тот, кто подделал подпись королевы и выдавал себя за Декло, и мадемуазель д'Олива, использовавшая свое поразительное сходство с королевой, чтобы выдать себя за нее в роще Венеры, были признаны виновными и арестованы. Но ожерелье так и не было возвращено. Оно было разобрано, и часть бриллиантов уже продана. Остальные были проданы в Лондоне капитаном де ла Моттом, который с этой целью уехал в Англию и благоразумно не вернулся оттуда.

Кардинал был оправдан под приветственные возгласы публики, что вызвало раздражение и досаду королевы¹⁴. Его влиятельное семейство, духовенство Франции и простой народ, среди которого он всегда был популярен, энергично выступили в его защиту. И случилось так, что тот человек, которого королева хотела погубить, остался единственным из всех, замешанных в этом деле, кто не пострадал. Враждебность королевы к кардиналу обернулась

враждебностью его друзей во всех слоях общества к королеве. По всей Европе ходили порочащие ее пасквилы. Считали, что она гораздо больше замешана в этом грязном деле, чем удалось установить. Утверждали, будто мадам де ла Мотт стала невинной жертвой, а предстать перед судом должна была королева, и только королевский сан позволил ей выйти сухой из воды.

Теперь представьте, какое оружие было вложено в руки людей с новыми идеями свободы — людей, страстно обличавших продажность системы, которую они стремились разрушить.

Мария-Антуанетта должна была предвидеть это. Но ее ослепили ненависть и стремление во что бы то ни стало заставить Рогана заплатить за язвительную шпильку, направленную против ее матери. Она могла бы уберечь себя от многих бед, если бы в свое время спасла Рогана. Эхо этих событий никогда не переставало звучать в ушах Марии-Антуанетты. Оно сопровождало ее, когда восемь лет спустя она шла на суд революционного трибунала. Оно провожало ее до самого эшафота, доски которого были сколочены в символическом смысле не без ее собственного участия¹⁵.

VIII

НОЧЬ УЖАСА

Народный представитель Карье и нантские утопленники

Революционный комитет города Нанта, усиленный представителями властей департамента и несколькими членами Народного собрания, заседал в величественном зале дворца Комте, еще сохранявшего остатки былого, дореспубликанского великолепия. Гулен — присяжный поверенный и председатель комитета, человек хрупкого телосложения, элегантный, с очень выразительным лицом; Гранмазон — мастер по строительству оград, некогда знатный горожанин, со свирепым взглядом и настороженной физиономией; Минье — в прошлом епископ, ставший ныне директором департамента; Пьер Шо — разорившийся торговец; Форже — оборванец и негодяй, неряшливый и взлох-

маченный. Они и еще около трех десятков человек, каких можно встретить на каждом углу.

Стоял декабрь, в зале было холодно и сыро; в свете желтых лампад было видно, что сбившимся в тесную кучку людям явно не по себе.

Внезапно двери распахнулись, и дворецкий громко провозгласил:

— Народный представитель Жан-Батист Карье!

И он вошел быстрым шагом. Это был человек среднего роста, он выглядел болезненно и в то же время изысканно. У него было тонкое удлинненное лицо землистого оттенка, на котором выделялись нос с горбинкой, крупный рот и дугообразные брови. Глубоко посаженные глаза грозно поблескивали, а тусклые черные волосы не были ни заплетены в косички, ни перевязаны ленточкой. Карье был закутан в плащ для верховой езды бутылочного цвета, богато отороченный мехом. Полы плаща касались ботфорт, а громадный поднятый воротник почти доставал дошей круглой шляпы. Под плащом виднелся трехцветный пояс, символизирующий республиканский стяг. Уши Карье украшали золотые серьги.

Так выглядел тридцатипятилетний представитель Конвента и армии на западе, которого благочестивые родители прочили в священнослужители. Он уже месяц находился в Нанте, куда его направили для устранения неугодных.

Он подошел к свободному стулу, предназначенному для главы расположившегося полукругом собрания. Положив на спинку стула хрупкую руку, он окинул собравшихся презрительным, уничтожающим взглядом; губы его искривились в усмешке, полной желчи. Его взгляд был жестким и угрожающим и настолько не вязался с болезненным обликом тщедушного Карье, что многие из сидевших в зале бравых молодцов не на шутку испугались.

Внезапно он разразился пылкой речью. Голос его звучал резко и временами визгливо:

— Не знаю, каким образом, но случилось так, что за все время, пока я в Нанте, не было дня, когда бы вы не давали мне повода для недовольства вами. Я созвал вас, чтобы вы сами могли оправдаться за свою тупость.

С этими словами он упал на стул, плотнее запахнувшись в свой плащ с меховой оторочкой.

— Ну, я вас слушаю! — прошипел Карье.

Минье, этот епископ, лишенный сана, но сохранивший представительный вид и некоторую елейность речи, с почтением попросил представителя Конвента выразиться

точнее. Эта мольба вывела Карье из себя: вспыльчивость народного представителя была притчей во языцех.

— Куда уж точнее! — взвизгнул он. Глаза его сверкали, лицо исказилось гримасами. — Да есть ли в вашем грязном городе хоть что-то дельное? Все ни к черту! Вы не выполнили свой долг и не снабдили как следует армию Веньи. Анже пал, и теперь бандиты угрожают самому Нанту! В городе нужда во всем, распространяется мор. Люди падают прямо на улицах, тиф опустошает тюрьмы. А вы, о Господи, вы хотите, чтобы я выражался яснее! Что ж, я буду точен и назову вам подлинных виновников. Все это из-за вашего бездарного правления. Вы мните себя вожжами? Вы... — Тут он перешел на непечатную брань. — Я явился сюда, чтобы встряхнуть из вас эту дремоту, и, клянусь Господом, я ее из вас встрясу, даже если придется снести кое-кому головы с плеч!

Члены комитета затряслись от холодного страха, в который их поверг дикий блеск этих запавших глаз.

— Ну! — рявкнул Карье после долгого молчания. — Вы что, не только идиоты, но еще и глухонемые?

Лишь у головореза Форже достало смелости ответить ему:

— Я уж сообщил Народному собранию, что если механизм работает со сбоями, то лишь в силу нежелания гражданина Карье советоваться с городскими властями.

— Ты им так сказал? Ты, гнусный лжец! — взвизгнул Карье. — А не для того ли я здесь, чтобы совещаться с вами? Разве не приехал бы я раньше, предложи вы мне это сделать? Но нет, вы сидели сложа руки, пока я по собственному почину не прибыл в Нант, чтобы заявить вашим дерьмовым властям, что они губят город!

Гулен, хрупкий и элегантный Гулен, встал на ноги, чтобы успокоить его.

— Народный представитель, мы признаем, что все сказанное вами верно. Произошло недоразумение. Мы не осмелились вызвать сюда высокого представителя священного народа. Мы должны были ждать, пока вам самому не заблагорассудится приехать к нам, и теперь, после вашего заявления, более не существует причин, по которым механизм должен давать сбой. Ошибки, о которых вы говорили, увы, имеют место, но корни их не столь глубоки, чтобы мы, трудясь под вашим руководством и следуя вашим советам, не могли выкорчевать их, дабы сделать почву еще более плодородной под воздействием живительных струй свободы.

Смягчившись, Карье пробормотал нечто одобрительное.

— Хорошо сказано, гражданин Гулен. Удобрение, в котором столь нуждается почва, — кровь, черная кровь аристократов и федералистов! И я могу обещать от имени великого народа, что этого удобрения будет вдоволь.

Собрание взорвалось рукоплесканиями, вволю потешив тщеславие Карье. Он поднялся, выразил признательность за понимание и, раскрыв объятия, попросил председателя подойти к нему, чтобы принять братский поцелуй. Потом они принялись судить да рядить, как исправить положение, побороть голод и болезни. По мнению Карье, существовал только один путь к цели — сокращение числа ртов, которые надо было кормить. Нужно уничтожить всех больных. Это — кратчайший, решительный путь, пойти которым отважатся лишь люди, не боящиеся ответственности.

В тот же день шестерым узникам тюрьмы Буффе был вынесен смертный приговор за попытку к бегству.

— Откуда мы знаем, — спросил Карье, — что виновных только шестеро? А может, вина лежит на всех заключенных Буффе? Узники поражены болезнью, которой заражают и патриотов Нанта. Они едят хлеб, а его мало. Честные патриоты тем временем голодают. Надо снести головы всем этим проклятым свиньям! — Он распалился, воодушевленный собственным предложением. — Да, это будет полезный шаг. Поспешим же. Пусть кто-нибудь приведет председателя революционного трибунала!

Председателя привели. Это был знатный горожанин, юрист. Звали его Франсуа Фелиппес.

— Гражданин председатель, — приветствовал его Карье, — власти города Нанта обсудили весьма важные меры. Сегодня вы вынесли смертный приговор шестерым заключенным Буффе за попытку к бегству. Надо отсрочить исполнение приговора и распространить его на всех, кто сидит в Буффе.

Даже такой ревностный революционер, как Фелиппес, не утратил способности мыслить логически и благоговеть перед законом. Подобный приказ, да еще столь цинично высказанный, показался бы ему нелепым, если бы не был таким жестоким.

— Но это невозможно, гражданин представитель, — ответил он.

— Невозможно? — прорычал Карье. — Глупое слово. Власти хотят, чтобы все поняли, что это возможно. Священная воля великого народа...

— Во Франции, — бесцеремонно прервал его Фелиппес, — нет закона, по которому можно отсрочить исполнение смертного приговора.

— Нет закона? — От удивления у Карье отвисла челюсть. Он слишком опешил, чтобы сердиться.

— Кроме того, — невозмутимо продолжал Фелиппес, — все остальные заключенные не повинны в преступлении, за которое приговорены эти шестеро.

— Ну и что? — гаркнул Карье. — В прошлом году я ехал верхом на ослице, так даже она была разумнее вас. Господи, да при чем тут все это?

Но у Фелиппеса нашлись единомышленники среди членов Народного собрания, такие, которые, не набравшись смелости выступить самостоятельно, все же отважились поддержать человека, столь храбро высказавшего их общее мнение.

Столкнувшись с сопротивлением, Карье вскочил и затрясся от ярости.

— Мне кажется, — прошипел он, — что укоротить на голову надо бы не только мерзавцев, сидящих в Буффе, но и кое-кого еще. Ради пользы нации. Своей нерасторопностью и трусостью вы вредите общему благу. Да сгинут все негодяи!

И тут ему принялся подпевать смазливый молодчик по имени Робен:

— Патриоты сидят без хлеба! Так не лучше ли умертвить мерзавцев, чтобы не жрали хлеб патриотов?

Карье погрозил собравшимся кулаком.

— Слышите, вы, подонки! Я не могу миловать тех, кого заклеил закон.

Он употребил неудачное слово, к которому Фелиппес тут же прицепился.

— Истинная правда, гражданин представитель, — сказал он. — И что касается узников Буффе, то вам придется подождать, пока закон не заклеит их.

И с этими словами он покинул зал таким же твердым шагом, каким вошел, не обращая внимания на поднявшийся ропот.

Когда Фелиппес удалился, представитель вновь бросился в кресло, кусая губы от досады.

— Этот парень когда-нибудь тоже кончит на гильотине, — проревел он.

Однако Карье был рад избавиться от Фелиппеса и не желал его возвращения. Он заметил, что упрямство юриста укрепило слабое сопротивление некоторых членов Народ-

ного собрания. И если он, Карье, хочет добиться своего, то пусть уж тут лучше не будет законопослушного председателя революционного трибунала.

И в конце концов ему удалось настоять на своем, однако лишь после того, как он впал в неистовство и сокрушил руганью и оскорблениями тех немногих, кто осмелился возражать против плана массовой бойни.

Он ушел, лишь когда было условлено, что Народное собрание немедленно приступит к выборам членов суда присяжных, которые составят список всех заключенных нантских тюрем. Подготовив такой список, присяжные должны передать его комитету, который знает, что делать, ибо Карье достаточно ясно выразил свои намерения. Первой неотложной мерой, которая отведет от города многочисленные беды, станет немедленное уничтожение заключенных нантских тюрем.

Наутро, на самой заре промозглого декабрьского дня, комитет, заседавший всю ночь под председательством Гулена, передал список примерно из пятисот имен заключенных генералу Буавену, коменданту Нанта, вместе с приказом без малейшего промедления собрать этих людей, ответы их в Лепероньер и расстрелять.

Но Буавен был солдатом, а солдаты — не санкюлоты². Он отнес приказ Фелиппесу и заявил, что не намерен выполнять его. Фелиппес, к удивлению Буавена, согласился с ним. Он отправил приказ обратно в комитет, объявив его вопиюще незаконным и напомнив властям, что нельзя убивать ни одного заключенного, независимо от того, кто отдал приказ. Казнь возможна только по приказу, следующему за решением трибунала.

Члены комитета, напуганные непреклонностью председателя революционного трибунала, не посмели упорствовать, и дело застыло на мертвой точке.

Узнав об этом, Карье разразился бранью, совершенно непригодной для воспроизведения в книге. Он бушевал как безумец при мысли о том, что какой-то крючкотвор, адвокатишка осмелился стать на его пути — его, высшего представителя великого народа!

Случилось так, что пятьдесят три священнослужителя, которых привезли в Нант несколькими днями раньше, сидели под навесом складов в ожидании размещения в тюрьме, и их имена еще не были внесены в список. Дабы потешить уязвленное самолюбие, Карье велел друзьям из Общества Марата прикончить их.

Ламберти, главарь маратистов, спросил Карье, как это сделать.

— Как? — проворчал тот. — Очень просто, друг мой. Швырните этих свиней в реку и избавьтесь от них. Во Франции этой мрази и без них хватает.

Однако этим приказы представителя Конвента, похоже, не исчерпывались. Их подлинный текст и способ исполнения известны нам из письма, присланного им в Конвент. В письме говорится, что пятьдесят три несчастных священнослужителя, «содержащиеся в заточении на барже, стоявшей у берега Луары, были поглощены рекой». В постскриптуме он прибавил: «Луара — самая революционная река на свете!»

Конвент не обманывался насчет истинного смысла этих слов, и когда Карье узнал, что его письмо было встречено рукоплесканиями в Национальном собрании Франции, он обнаглел настолько, что решил более не связывать себя юридическими ограничениями, преграждавшими путь к цели. И в конце концов, то, чего не может сделать революционный комитет как официальное ведомство, вполне выполнимо при помощи верных и не очень разборчивых друзей из Общества Марата. Уж они-то не попадут под влияние Фелиппеса!

Общество Марата было полицией революционного комитета. Набирали в него санкюлотов самого низкого пошиба, нантских подонков. Командовал полицией мерзавец по имени Флери, а создал ее сам Карье с помощью Гулена.

Ночью 24 фримера³ Третьего года Республики (14 декабря 1793 года «по старому стилю»), в субботу, Флери собрал десятка три своих молодчиков и привел их во дворец Комте, где уже ждали Гулен, Башелье, Гранмазон и еще несколько членов комитета, всецело преданных Карье. От этих людей маратисты и получили официальные указания.

— В тюрьмах свирепствует моровая язва, — сообщил им Гулен, — и этому надо положить конец. Посему нынче же ночью вы отправитесь в тюрьму Буффе, откуда заберете узников. Вы отведете их на набережную Ла-Фосс, а оттуда их отвезут по воде на Бель-Иль⁴.

В одной из камер старой, убогой тюрьмы Буффе лежал на соломе торговец яйцом и птицей, арестованный года три назад по обвинению в конокрадстве и с тех пор всеми забытый. По его собственной версии, какой-то малозна-

комый человек доверил ему продать краденую лошадь. Торговец был пойман с поличным.

Вполне обычная история, рассказанная много раз, почти не поддающаяся опровержению. Поэтому весьма возможно, что торговец был именно тем, за кого себя выдавал. Тем не менее судьба избрала его своим слепым орудием. Звали торговца Лерой, и, по его собственному утверждению, он был убежденным патриотом. Ну, а конокрадство, разумеется, одно из ярчайших проявлений революционности.

Часов в десять вечера Лерой пробудился от шума, довольно необычного в этой мрачной каменной могиле. Обрывки непристойных песен, взрывы дикого хохота свидетельствовали о том, что в тюрьме идет разнузданная попойка. Гуляли, как показалось Лерою, во внутреннем дворе тюрьмы, в караулке.

Лерой сполз с сырого тюфяка и, подойдя к двери, прислушался. Ясно было, что сторож Лакуэз развлекает своих дружков и угощает их на славу. Скорее всего, приятели Лакуэза уже упились. Что бы это значило, черт возьми?

Вскоре его любопытство было удовлетворено в полной мере. На каменной лестнице слышались тяжелые шаги, стук деревянных сабо, лязг оружия; решетку его камеры залил свет, который становился все ярче.

Кто-то гнусавым пьяным голосом распевал «Кармань-олу», бряцали ключи, скрежетали отодвигаемые засовы, распахивались двери. Шум нарастал. Сквозь этот гам до Лероя донесся глумливый голос надзирателя:

— Идемте, покажу вам своих птичек в клеточках. Пошли, поглядим на милых пташек!

Лерой встревожился: в этом веселье ему почудилось нечто зловещее.

— Вы, все, вставайте! — пролаял надзиратель. — Вставайте и собирайте свое барахло! Вы отправляетесь в путешествие! Шевелитесь, лежебоки! Живо!

Наконец распахнулась и дверь камеры Лероя, и он увидел перед собой горстку пьяных головорезов. Один из них, верзила в красном колпаке, с длинными черными усами, держал на согнутой руке моток веревки. Он бросился на узника. Торговец был проворным и ловким юношей, но его сковал страх. Оробев, он покорно позволил вывести себя из камеры. Да и благоразумие подсказывало, что сопротивляться не стоит.

Он шел по каменному коридору и на каждом шагу

видел, как его товарищей по неволе вытаскивают из камер и гонят вниз. Возле лестницы стоял изрядно подвыпивший молодчик. Он держал в руках список и выкликал имена, которые нелепо коверкал. Обязанности свои он выполнял при мерцающей свече, которую держал другой, не менее пьяный головорез. Они подпирали друг дружку; покачивающаяся парочка являла собой нелепое, гротескное зрелище.

Лерой безропотно позволил свести себя вниз по лестнице и очутился возле будки стража ворот, где увидел полдюжины маратистов. Те сидели за столом, уставленным бокалами с вином. Полицейские бранились, галдели, пели и осыпали каждого заключенного пошлыми насмешками. В комнатке царил кавардак. Лампада была разбита вдребезги, по полу растеклась лужа вина из опрокинутой бутылки. На скамье у стены рядом сидели заключенные, другие вповалку лежали на полу, и все они были связаны.

Двое полицейских бросились к Лерою и быстро обыскали его, вывернув карманы. Увидев, что они пусты, маратисты осыпали узника грязными ругательствами. Лерой видел, как точно такой же процедуре подвергаются и остальные заключенные. У них отбирали деньги, книги, часы, кольца, пряжки — все, представлявшее хоть какую-то ценность. С одного священника босоногий негодяй стащил даже башмаки.

Когда полицейские стали вязать Лерою руки, он поднял глаза. По его собственному признанию, он не на шутку струхнул.

— Зачем это? — спросил узник. — Меня ведут на смерть?

Маратисты велели ему не задавать вопросов, подкрепив свой запрет проклятием.

— Умертвив меня, вы убьете верного республиканца, — заявил им Лерой.

Высоченный детина со свирепой физиономией и злыми черными, будто стеклянными, глазами бросил на него косой взгляд сверху вниз.

— Слушай, болтливый дурак, нам не нужна твоя жизнь. Довольно с нас и твоего добра.

Это был Гранмазон, строитель оград и некогда знатный человек. Он ужинал с Карье и только что прибыл в Буффе вместе с Гуленом. Увидев, что дело движется медленно, Гранмазон принялся торопить полицейских.

— Ладно, брось этого парня, Жоли. Он и так крепко

связан. Поднимись и приведи остальных. Пора в путь... пора...

Связанного Лероя отпихнули прочь, и он уселся на пол. Торговец огляделся. Рядом какой-то старик умолял дать ему воды. Мольба была встречена презрительным хохотом.

— Воды! Клянусь святой гильотиной, он просит воды! — Пьяные санкюлоты впали в неистовое веселье. — Потерпи, приятель, потерпи. Успеешь еще нахлебаться вволю. Тебя ждет громадный кубок!

Вскоре будка была набита узниками до отказа, и толпа запрудила все проходы. Появился Гранмазон. Он на чем свет стоит клял маратистов за нерасторопность и постоянно напоминал им — вот уже целый час без умолку — о том, что пора отправляться, поскольку начинается отлив.

Понукаемые им Жоли — черноусый верзила в красном колпаке — и еще несколько молодчиков из Общества Марата принялись связывать узников в цепочки человек по двадцать. Их вывели на холодный двор, и здесь Гранмазон в сопровождении человека с факелом в руках прошел вдоль рядов, пересчитывая пленников. Результат подсчета привел его в бешенство.

— Сто пять! — заорал он и грязно выругался. — Вы торчите здесь почти пять часов и за это время успели спутать лишь сто пять преступников! Мы что, вечно будем тут возиться? Говорят вам, начинается отлив. Давно пора отправляться.

Страж тюремных ворот Лакуэд, чье угощение помогло прислужникам комитета столь безобразно распоясаться, тут же подбежал и заверил Гранмазона, что связаны все, кто сидел в его тюрьме.

— Все? — воскликнул опешивший Гранмазон. — Но ведь по списку их должно быть почти две сотни. — И он завопил: — Гулен! Эй, Гулен! Где Гулен, черт возьми?

— Список составлялся на основе учетной книги, — сказал ему Лакуэд. — Но вы упускаете из виду, что многие узники недавно умерли: у нас тут была лихорадка. А еще несколько человек сейчас в лазарете.

— В лазарете? Вот-те на! Ну-ка, кто-нибудь, поднимитесь и притащите их. Мы отвезем их туда, где всех вылечат!

Он окликнул изысканного Гулена, который приближался к ним, кутаясь в плащ, и проворчал:

— Вот тебе первые любители хорошей бани. Сто с лишним свиней.

Гулен повернулся к Лакуэзу.

— Как вы поступили с пятнадцатью разбойниками, которых я прислал к вам сегодня вечером?

— Но они только сегодня прибыли в Нант, — ответил Лакуэз, совершенно не понимая смысла всех этих необычайных событий. — Их еще не занесли в книгу, даже не досмотрели.

— Я спрашиваю, как вы с ними поступили? — зашипел Гулен.

— Отвели наверх.

— Тогда приведите. Они ничем не лучше остальных.

Вместе с пятнадцатью новичками и приблизительно дюжиной больных общее число узников составило около ста тридцати человек.

Маратисты, получившие подкрепление из национальных гвардейцев⁵, выступили из тюрьмы часов в пять утра. Побоями и проклятиями подгоняли они своих несчастных жертв.

Запястье торговца было привязано к руке молодого монаха ордена капуцинов, который безвольно поплелся вперед, смиренно понунив голову и шевеля губами. Похоже, он бормотал молитвы.

— Как ты думаешь, что они с нами сделают? — вяло спросил Лерой и увидел, как глаза капуцина тускло блеснули во мгле.

— Не ведаю, брат мой. Вверх себя Господу и будь готов ко всему, что тебя ждет.

Для Лероя ответ этот прозвучал малоутешительно. Ковыляя, он двинулся дальше. Они вышли на площадь Буффе, посреди которой смутным контуром маячила красная гильотина, и направились к набережной Турвиль. Оттуда их провели вдоль реки по всей набережной Ла-Фосс. Узников начал охватывать страх, кое-кто стал роптать, но оплеухи и уверения, что их повезут на Бель-Иль, тут же положили конец этому ропоту. Узникам сказали, что им предстоит возводить на острове крепость.

Торговец решил, что это похоже на правду. Новость утешила его куда лучше, чем утешила бы любая молитва. Впрочем, он уже давно разучился молиться.

Пока они шли по набережным, в домах нет-нет да и приоткрывались окна. Любопытные высовывали головы, но тотчас же опять прятались от греха подальше.

Наконец на Кале-Робен всех согнали в сарай, двери которого выходили на реку. У сарая стоял большой лихтер⁶. В свете факелов было видно, как на палубе

суетятся с поддюжины корабельных плотников; слышался стук молотков и визг пил.

Те из пленников, что стояли ближе к барже, поняли, что там творится. В борту судна выпиливали два широких отверстия, напоминающих орудийные порты. Плотники забивали одно из них досками. Узники заметили, что сейчас эти отверстия находятся выше ватерлинии, но, когда судно будет загружено, их обязательно зальет водой. Осознав, какая страшная судьба уготована им, несчастные вновь почувствовали панический страх. В памяти всплыли обрывки разговоров и мрачные шутки, которыми обменивались маратисты в Буффе. Их смысл в одно мгновение стал понятен всем. Охваченные тревогой, узники извивались, бились, роптали, вопили о пощаде и исторгали яростные проклятия.

На обреченных дождем посыпались удары. Но тщетно старались надсмотрщики вновь утихомирить их своей басней о постройке крепости на Бель-Иле. Один из пленников в отчаянии сумел разорвать свои путы и, воспользовавшись переполохом, исчез. Гранмазон с подручными искали его четверть часа, но так и не нашли. Вероятно, они бы искали его всю ночь, но тут какой-то человек в черном плаще и круглой шляпе, стоявший рядом и беседовавший в Гуленом, строго сказал:

— За дело, приятель. Черт с ним! Мы его еще поймаем. Скоро рассветет. Ты и так уже потерял много времени.

Это был Карье, явившийся, чтобы лично проследить за исполнением своего приказа. По его команде Гранмазон приступил к погрузке. К борту лихтера подали трап, по которому обреченным предстояло спуститься на палубу. Связывавшие их веревки стянули ту же, но оставили только на запястьях. Узникам велели грузиться. Однако поскольку они не торопились подчиниться, а некоторые отпрянули назад, закричали и застонали, моля о пощаде, Гранмазон и Жоли стали хватать их за воротники, подталкивать к краю причала и втискивать в трюм, ломая несчастным руки и ноги. Сочтя, что такой способ погрузки позволяет экономить время, от трапа и вовсе отказались.

Лерой должен был быть брошенным на борт одним из последних. Он упал на вздымающуюся и копошащуюся груды человеческой плоти, постепенно оседавшую на дно лихтера. Люки над головой закрыли и заколотили гвоздями. По странной случайности, Лерой и молодой капуцин, рядом с которым он шел в цепочке, до сих пор оставались вместе. Тут, в суматохе и темноте, оглашаемой

стонами и криками, Лерой вдруг услышал голос юного монаха, призывавшего остальных к молитве.

Они оказались в кормовой части трюма, возле одного из бортов, и Лерой, сохранивший сообразительность, которая до сих пор давала ему средства к существованию, попросил капуцина поднять кверху руки. Потом он, как собака, раздул ноздри, вертя головой, и наконец нашел то, что искал. Крепкие зубы торговца впились в бечеву и принялись бесконечно терпеливо перекусывать ее.

Тем временем плавучий гроб отошел от причала и заскользил по стремнине. На люке сидели Гранмазон, Жоли и еще двое маратистов. Они орали «Карманьолу»⁷, чтобы заглушить крики несчастных в трюме, и отбивали такт ногами по палубе.

Лерой работал челюстями, как крыса, пока наконец веревка не ослабла. Потом, чтобы не терять монаха в этой мешанине копошащихся тел, он схватил капуцина зубами за рукав.

— Держись за меня, — произнес он отчетливо, насколько мог, и капуцин с благодарностью повиновался. — Теперь развяжи мне запястья.

Ладони капуцина заскользили по рукам Лероя от плеч вниз; пока не коснулись запястий. Пальцы монаха ухватились за узлы. Развязать их в темноте было нелегким делом, приходилось трудиться на ощупь. Однако юноша оказался упорным и терпеливым, и в конце концов последний узел сдался. Торговец был освобожден от веревок.

Это принесло ему несказанное облегчение, хотя и не давало серьезных преимуществ. Но, по крайней мере, его руки были свободны, и он мог при необходимости действовать ими. Он не обманывался относительно того, что должно было произойти, и понимал: смерти не избежать. Но Лерою никак не хотелось расставаться с надеждой.

Его руки высвободились как раз в нужный момент. Гранмазон и его подручные на палубе больше не пели. Они забегали, засуетились. Что-то ударилось о борт судна в носовой части, очевидно, шлюпка. Где-то ниже уровня палубы зазвучали голоса, потом лихтер затрясся от страшного удара по доскам носового порта. Гам в трюме усилился, став вдвое громче. Задышающиеся, бранящиеся, стонущие люди навалились на Лероя и на миг подмяли его под себя, когда судно накренилось на правый борт. Послышались удары не только по носовому, но и по

кормовому порту; раздался треск, обшивка оторвалась, и вода хлынула в трюм.

То, что творилось во мраке, было неопишимо ужасно. В панике многие узники разорвали свои путы. Они бросились к открытым портам, в которые хлестала вода. В отчаянии эти люди принялись голыми руками отрывать доски. Кому-то удалось высунуть наружу руки, чтобы попытаться расширить отверстие. Но рядом с лихтером стояла шлюпка корабельных плотников, а в ней — строитель оград Гранмазон, державший в руках мясницкий нож.

С насмешками и грязными проклятиями он рубил протянутые руки, вновь и вновь взмахивая ножом, тыча им в трюм сквозь щель и вонзая лезвие в плотную упругую массу. Он неистовствовал до тех пор, пока плотники не отгребли прочь от тонущего лихтера, чтобы он не увлек шлюпку за собой.

Судно и его обреченный груз — сто тридцать живых людей — стало медленно погружаться носом. Стоны, вопли и проклятия внезапно стихли: ледяные воды Луары сомкнулись над лихтером.

Попавшего в водоворот Лероя вынесло наверх и прижало к палубному настилу. Он машинально вцепился в балку. Вода захлестнула его голову, а потом, к удивлению торговца, вдруг схлынула, плеснувшись раз или два, когда киль лихтера коснулся дна, и наконец стала на уровне плеч Лероя.

Он мгновенно понял, что произошло. Погружаясь носом, лихтер угодил на мель. Корма частично осталась над водой, и там образовался воздушный пузырь — просвет высотой в фут или полтора. Но из ста тридцати обреченных бедняг Лерой оказался единственным, кому эта случайность принесла необыкновенную удачу.

Он остался в кормовом трюме и в течение двух часов, по его собственному выражению, плавал над трупами. Человек не столь сильный как телесно, так и духовно, никогда бы не выдержал двухчасовой пытки в ледяной воде тем декабрьским утром. Но Лерой держался. И надеялся. Я уже говорил, что он всегда крайне неохотно расставался с надеждой. И вскоре после рассвета его вера в удачу была вознаграждена. С первыми лучами зари, обогрившими воду, послышались голоса и скрип весел в уклочинах. По реке шла лодка.

Лерой закричал, и голос его в утренней тишине прозвучал глухо, будто из могилы. Скрип весел стих.

Лерой крикнул еще раз, и ему ответили. Весла заработали вдвое проворнее, чем прежде, и лодка стала борт о борт с лихтером. Кто-то принялся отдира́ть багром доски палубы. Вскоре в ней появилось отверстие, достаточно широкое, чтобы Лерой мог пролезть в него.

Вглядевшись в жиденький туман, который уж и не чаял увидеть, торговец подтянулся на руках, на что ушел почти весь остаток сил. Когда его грудь оказалась вровень с палубой, Лерой увидел лодку и двух человек в ней.

Однако обессилевшие и окоченевшие руки уже не держали его. Лерой упал обратно в трюм, перевернувшись вниз головой и теперь уже всерьез испугавшись, что помощь пришла слишком поздно. Но когда он вновь забарахтался, выбираясь на поверхность, рядом с ним в воду шлепнулась веревка. Лерой судорожно ухватился за нее, намотал на руку и взмолился, чтобы его вытащили.

Итак, его выволокли из трюма, подняли на борт лодки и высадили на берег в ближайшем удобном месте. Все это хозяева скорлупки проделали из человеколюбия, но страх, охвативший их, когда Лерой рассказал, как попал в такое положение, помешал им сделать больше.

Полураздетый, промерзший до костей, с клацающими зубами, приковылял Лерой на заплетающихся ногах в домик стражи в Шантене. Солдаты «синих»⁸ стащили с него мокрые лохмотья, закутали в одеяло и отогрели: снаружи — огнем очага, изнутри — жидкой овсяной кашей. Потом они попросили его рассказать о себе.

История с лошадьёу, вероятно, навела вас на мысль, что торговец был записным вралем. Вот этот свой дар он и пустил в ход, объявив себя моряком из Монтуа и поведав душераздирающую историю о кораблекрушении. К сожалению, Лерой переборщил. Один из солдат знал кое-что о море и о Монтуа, и рассказ Лероя показался ему не совсем правдивым. Боясь ответственности, солдаты доставили торговца в Нант, в революционный комитет.

Даже здесь все могло бы обойтись, поскольку среди членов комитета не было моряков и никто не мог разоблачить Лероя. Но, вот незадача: в тот день в комитете заседал черноусый санкюлот Жоли, тот самый, который накануне вечером выволок Лероя из его камеры и связал по рукам.

При виде торговца глаза Жоли едва не вылезли из орбит.

— Откуда ты взялся, черт побери? — загремел он.

Лерой вздрогнул. Сообщники Жоли вытаращили на него глаза, но их предводитель объяснил:

— Он был во вчерашней купальной команде. И у него хватило наглости предстать перед нами. Уведите его и бросьте обратно в воду.

Однако Башелье, наиболее влиятельный после Гулена член комитета, был наделен чувством юмора, вполне достойным Французской революции. Увидев, как приуныл торговец, он разразился взрывом смеха и, возможно потому, что положение, в которое попал Лерой, очень позабавило его, решил проявить милосердие.

— Нет-нет, — возразил он. — Пока отведите его обратно в Буффе. Пускай с ним разберется трибунал.

И вот Лерой отправился назад, в тюрьму, к мокрой лежанке, хлебу и воде, к забвению, в котором пребывал и прежде, пока судьба не призвала его к себе на службу.

Именно Лерою мы обязаны тем, что знаем большинство подробностей первого массового затопления людей, устроенного Карье, чтобы быстро избавить город от лишних ртов и преодолеть трудности, возникшие в результате бездарного ведения дел властями.

Очень скоро последовали другие экзекуции. Всего их было двадцать три, причем по мере приобретения опыта Карье настолько обнаглел, что топил уже не только мужчин. Да и казни теперь больше не проводились тайком, под покровом ночи. Вскоре ко дну пошли и женщины (только за один раз в нивозе Карье сгубил три сотни при ледящих кровях обстоятельств), и даже маленькие дети. Сам Карье признавал, что за три месяца его правления в «народную купель» угодили три с лишним тысячи жертв, в то время как другие (несомненно, более достоверные) источники приводят втрое большее число принявших «народное крещение».

Вскоре эти массовые казни превратились в нечто узаконенное, само собой разумеющееся, в некое зрелище, которым Карье и его комитет считали долгом потешить толпу.

Но вот наступил день, когда продолжать это дело стало почти невозможно. Просто уже некого было казнить — столь скоро и эффективна оказалась эта расправа. Тюрьмы опустели. Однако бороться с однажды укоренившейся привычкой весьма нелегко. Карье надо было искать новый «материал», и никто не мог сказать, в каком направлении он будет вести этот поиск, никто не чувствовал себя в безопасности. Вскоре среди членов комитета поползли

слухи, будто Карье намерен распустить их и набрать новых. И тем из них, кого можно было заподозрить в мягкотелости, стало не по себе.

Не по себе сделалось и членам Народного собрания. Они направили к Карье депутацию с предложениями по более толковому ведению военной кампании в Вандее⁹. Кампания эта была любимой мозолью представителя. Он разговаривал с патриотами самым оскорбительным образом, а потом приказал своим секретарям спустить их с лестницы.

И вот в эту атмосферу всеобщего недоверия и тревоги попало одно из самых немислимых орудий судьбы в облике очень юного и весьма ретивого гражданина Марка Антуана Жюльена. Его отец, депутат Жюльен, был приближенным Робеспьера, благодаря влиянию которого Марка Антуана назначили агентом комитета общественной безопасности и послали проверить, как настроен народ и как ведут себя представители Конвента «на местах».

Прибыв в Нант в конце января 1794 года, Жюльен едва ли не первым делом посетил Народное собрание, которое все еще бурлило, гневаясь на Карье, устроившего его депутации столь недостойный прием.

Марк Антуан был настолько потрясен услышанным, что вместо намеченного на утро посещения народного представителя, сел составлять письмо Робеспьеру. В нем он подробно изложил все злоупотребления, в которых повинен Карье, и описал вопиющую нищету и упадок города Нанта.

Тем же вечером, когда Марк Антуан мирно засыпал с чувством исполненного долга, его грубо подняли с постели офицер и двое солдат национальной гвардии. Объявив Жюльену, что он арестован, они попросили его встать и одеться.

Марк Антуан в гневе вскочил с кровати и предъявил верительные грамоты и полномочия. Это не произвело на офицера никакого впечатления. Он действовал по приказу народного представителя.

Продолжая сердиться, молодой человек быстро оделся. Скоро он покажет этому представителю, что с агентами общественной безопасности шутки плохи. По-прежнему бесстрашный офицер запихнул Жюльена в карету и повез в Мезон-Виллетре, стоявший на острове особняк, где проживал гражданин Карье.

Тот был уже в постели, но не спал. Он рывком сел на кровати, когда солдаты грубо втокнули в спальню

молодого парижского щеголя. Одного вида представителя оказалось достаточно, чтобы Марк Антуан позабыл свой гнев и утратил присутствие духа.

Карье побледнел и сделался серо-зеленым от злости. Его черные глаза горели подобно глазам зверя во тьме, а всклокоченные черные волосы, прилипшие к покрытому испариной лбу, еще больше оттеняли жуткое лицо. Марк Антуан отпрянул, утратив дар речи.

— Итак, — произнес Карье, впериw в него неподвижный взор, — вы и есть то самое существо, которое осмелилось порочить меня в глазах комитета общественной безопасности и вменять мне в вину мою деятельность?

Он извлек из-под подушки письмо Марка Антуана к Робеспьеру.

— Это ваше?

Увидев, что нарушается тайна его переписки с Неподкупным¹⁰, Марк Антуан снова почувствовал возмущение. Он осмелел.

— Мое, — ответил юноша. — По какому праву вы вскрыли письмо?

— По какому праву? — Карье спустил на пол одну ногу. — Вы что же, сомневаетесь в моих правах? Вы — человек, введший в заблуждение людей, внушив им мысль о значительности своей персоны. Вы, очковтиратель, пускающий пыль в...

— За ваше поведение вы ответите лично перед гражданином Робеспьером, — пригрозил Марк Антуан.

— Ага! — Карье осклабился в невообразимо злобной ухмылке. Выскользнув из постели, он слегка пригнулся, будто готовился к прыжку, и ткнул пальцем в сторону своего пленника.

— Вы из тех, с кем опасно враждовать открыто. Вы действуете, исходя из этого убеждения. Но ведь с вами можно раздаться и втихую. И я разделаюсь. Вы в моих руках, и, кланюсь, вам от меня не уйти, вы, чертов..!

Марк Антуан посмотрел в лицо представителя и понял все его зловещие намерения. Ужас сковал юношу, но природа наделила его сообразительностью, и он пустил ее в ход.

— Гражданин Карье, — сказал он, — я все понимаю. Нынче же ночью меня тихонько умертвят в темном местечке. Но вы сгинете следом за мной, при свете дня, осыпaeмый людскими проклятиями. Пусть вы перехватили мои письма к отцу и Робеспьеру. Но если сам я не покину Нант, отец явится сюда и потребует у вас отчета.

И вы кончите на эшафоте, как и пристало жалкому убийце.

Из всей этой тирады лишь одна фраза въелась в мозг Карье: «мои письма к отцу и Робеспьеру», — так сказал находчивый Марк Антуан. Юноша увидел, как расслабляются сжатые губы представителя, как гневное сверкание в черных глазах сменяется испуганным блеском.

То, о чем Марк Антуан упомянул лишь вскользь, врезалось в разум Карье: было второе письмо, которое его агенты прозевали. Они еще заплатят за это, но пока, если все правда, надо из осторожности замять это дело, иначе не сносить ему головы. Возможно, Карье и заподозрил блеф, но у него не было средства, при помощи которого он мог бы проверить свои подозрения. Как видите, Марк Антуан неплохо соображал.

— Ваш отец? — прорычал представитель. — Кто же он, ваш отец?

— Депутат Жюльен.

— Что? — Карье встрепнулся, выказывая безграничное удивление. Вы — сын депутата Жюльена?

Он рассмеялся и двинулся вперед, протягивая обе руки. Как видите, он тоже неплохо соображал.

— Друг мой, что же вы раньше не сказали? Зачем так сконфузили меня? А я-то подумал — конечно, это было глупо с моей стороны, — что вы какой-нибудь мошенник-однофамилец, высланный из Анже!

Он бросился Марку Антуану на шею и сжал его в объятиях.

— Простите меня, друг мой! — взмолился Карье. — Приходите завтра отобедать со мной, и мы вместе посмеемся над этим недоразумением!

Но у Марка Антуана и в мыслях не было обедать с Карье, хотя он охотно дал такое обещание. Когда юноша вернулся в гостиницу, едва веря, что унес ноги, все еще обливаясь потом при мысли о том, что был на волосок от гибели, то немедленно собрал свой саквояж и, воспользовавшись выданными ему в Париже документами, ухитрился без проволочек получить почтовых лошадей.

Наутро, очутившись в Анже и в безопасности, он, недостижимый теперь для Карье, вновь написал Робеспьеру. На этот раз Марк Антуан предусмотрительно отправил письмо и своему отцу.

«В Нанте, — писал он, — я застал старый режим в его наихудшем проявлении. — Марк Антуан знал язык свободы и мог взять нужный тон, чтобы заставить

патриотов действовать. — Жалкие секретари Карье соперничают в несносном высокомерии, будто лакеи прежних министров. Сам Карье живет в роскоши, окружив себя женщинами и дармоедами, держит гарем и собственный двор. Справедливость и правосудие он смешал с грязью, без суда утопив всех заключенных тюрем в Луаре. Нант надо спасать. Мятеж в Вандее необходимо подавить, а душителя свободы Карье — отозвать».

Письмо возымело действие, и Карье отзывали в Париж, однако далеко не с позором, а под предлогом ухудшения здоровья. По этой причине его и освободили от обременительных обязанностей городского головы Нанта.

Конвент воспринял его возвращение весьма спокойно. Даже, когда в начале июля Карье узнал, что Бурбот, его преемник в Нанте, приказал арестовать Гулена, Башелье, Гранмазона и других приятелей Карье из комитета по обвинению в массовых казнях и присвоении национального достояния, изъятого у эмигрантов, он сохранял невозмутимость, сознавая неуязвимость своего положения.

Однако членов нантского комитета привезли на суд в Париж 10 термидора (29 июля 1794 года), в самый памятный день в анналах революции. В этот день пал Робеспьер, а с ним — и плотина, сдерживающая волну народного мщения. Сеятелей ужаса ждало суровое возмездие.

Из истории с Марком Антуаном Жюльеном видно, как проворно ориентировался Карье в обстановке. Следуя в карете за двухколесной телегой, в которой Робеспьера везли на казнь, он сиял и громче всех кричал: «Смерть предателю!» Наутро после казни, выступая с трибуны Конвента, он горячо доказывал, что стал жертвой низвергнутого тирана, ловко обратив себе на пользу стычку с Марком Антуаном и напомнив Конвенту, как его очернили в глазах Робеспьера. Тогда, в жаркие дни термидора, его речь была встречена рукоплесканиями.

Но богиня возмездия уже неотвратимо и безмолвно надвигалась на него.

Среди заключенных, которых цепь странных случайностей привела из Нанта в Париж, был наш старый знакомый Лерой, торговец птицей. Правда, теперь он выступал как свидетель обвинения в деле бывших членов городского комитета.

Рассказав суду о причинах своего ареста, а также о том, что в течение трех лет он сидел, без суда, всеми позабытый, в камере зачумленной тюрьмы Буффе, Лерой

затем поведал о страданиях, пережитых им в ту ужасную ночь, когда его везли по Луаре на барже обреченных. Говорил он просто и без актерства, отчего рассказ звучал еще более убедительно и проникновенно. Публика, заполнившая Дворец правосудия¹¹, трепетала от страха, рыдала, слушая историю мучений, перенесенных свидетелем, и проливала слезы радости по поводу его чудесного спасения. Когда Лерой закончил давать показания, зал взорвался рукоплесканиями. Торговец немного растерялся, ибо за всю свою предшествующую жизнь он не видел и не слышал ничего, кроме оскорблений.

Потом, на волне возрождения, нахлынувшей в те дни на пробуждающуюся от кровавого кошмара Францию, кто-то предложил собрать пожертвования в пользу Лероя. Так к нему в руки попала толстая пачка ассигнаций и банковских билетов, показавшаяся скромному торговцу целым состоянием. И тогда Лерой тоже прослезился.

Затем присутствовавшая в зале суда публика стала требовать головы Карье. Требование это подхватил весь Париж, и в конце концов члены Конвента выдали Карье революционному трибуналу.

Он предстал перед судом 25 ноября, так и не найдя адвоката, который взялся бы защищать его. Шестеро защитников, предложенных председателем, один за другим отказались представлять интересы этого утратившего все человеческое чудовища. Наконец Карье в ярости заявил, что будет защищать себя сам. И он действительно защищался.

А линия защиты была такова: его деятельность в Нанте в основном сводилась к снабжению Западной армии; он не имел почти ничего общего с нантской полицией, отдав ее под начало революционного комитета; он понятия не имел о тех событиях, которые, как тут было сказано, происходили в городе. Однако Гулен, Башелье и остальные, спасая собственные шкуры, свалили всю вину на Карье в надежде сделать козлом отпущения его одного.

Приговор Карье огласили в годовщину той памятной ночи, когда молодчики из Общества Марата ворвались в тюрьму Буффе. В телеге его везли вместе с безжалостным Гранмазоном, который теперь настолько преисполнился жалости к самому себе, что всю дорогу до эшафота плакал горячими слезами.

Толпа, провожавшая его от Консьержери до Гревской площади¹², улюлюкала и осыпала Карье оскорблениями, но внезапно притихла, когда он взшел на эшафот. Карье

поднялся туда твердым шагом, но плечи его поникли, а взгляд был устремлен долу.

Вдруг в этой тишине весело, гротескно, ужасно заиграл кларнет. Карье вздрогнул и выпрямился. Резко обернувшись, он метнул на музыканта последний в своей жизни страшный взгляд.

Мгновение спустя с глухим стуком упал нож, и окровавленная голова скатилась в корзину.

И по-прежнему вытаращенные глаза уже никого не могли испугать.

Над притихшей площадью пронеслось эхо от падения ножа.

— Ура! — крикнул кто-то. — Вот конец, достойный великого топителя!

Это был торговец Лерой. И толпа подхватила его ликующий возглас.

IX

НОЧЬ НОВОБРАЧНЫХ

Карл Смелый и Сапфира Данвельт

Когда Филипп Добрый в начале 1467 года скончался в Брюгге от падучей, его смерть была представлена народу Фландрии как удобный предлог для разрыва обременительного союза с Бургундией. И сделали это агенты Людовика XI, короля, предпочитавшего вероломство открытому силовому противостоянию.

Герцог Бургундии Карл, прозванный Смелым, был самым страшным и грозным врагом короля Франции, и лукавый монарх, решив избежать прямого столкновения со столь могущественным противником, придумал способ запутать герцога и парализовать его силы сразу же после того, как тот пришел к власти. Для этого король направил во фламандские владения герцога своих людей. Они должны были интриговать против Карла, пробуждая тем самым дремавший до поры до времени в сердцах беспокойных бюргеров бунтарский дух.

Первый призыв к оружию раздался с башни Белфри в густонаселенном богатом городе Генте, бывшем тогда одним из самых многолюдных и зажиточных в Европе. Сорока тысячам ткачей предписывалось бросить свои

станки и брать в руки мечи, пики и фламандские голендаги¹. Из Гента яростное пламя восстания быстро распространилось вдоль Мааса и вспыхнуло во втором по значимости городе Бургундии — Льеже; многочисленные гильдии кожевников и оружейников были готовы последовать примеру ткачей Гента и вступить в бой.

Мятежники держались храбро лишь до тех пор, пока не встретились при Сен-Гронде с Карлом Смелым, который разгромил восставших бюргеров, оставив на поле боя тысячи убитых.

Герцог был в гневе. Он чувствовал, что фламандцы решили заставить его врасплох в тот миг, когда, как им казалось, он был не способен отстоять свои интересы; поэтому он решил раз и навсегда вбить им в головы, что подобное бесцеремонное отношение к повелителю чревато для них большой бедой. Когда к нему явилась делегация почтенных граждан города в длинных рубашках и с веревками на шеях, чтобы, упав перед ним на колени, смиренно просить принять ключи от города, он с презрением отверг их предложение.

— Уясните себе, — сказал он, — что мне вовсе не нужны эти ключи. Я надеюсь, вы хорошо усвоите этот урок для вашего же блага.

Наутро его передовые отряды начали проламывать брешь в городской стене, заполняя окружающий ее ров булыжниками, из которых она была сложена. И вот, когда пролом стал достаточно широким, Карл во главе своего бургундского войска вошел в эти импровизированные ворота как завоеватель, с опущенным забралом и пикой у бедра, и приказал разрушить все укрепления Льежа.

Так закончилось фламандское восстание 1467 года против герцога Карла Смелого. Ткачи вернулись к станкам, оружейники — к горнам, кожевники и перчаточники взялись за свои ножицы. Мир был восстановлен, а для поддержания порядка Карл посадил всюду, где считал нужным, своих доверенных людей, назначив их военными комендантами.

Одним из них был германец Клаудиус Ринсолт, уже несколько лет состоявший на службе у герцога. Это был прирожденный предводитель, непревзойденный в искусстве владения оружием, в бою отважный до безрассудства и не боявшийся ничего на свете. Скорее всего именно это качество более всего ценил Карл, недаром прозванный Смелым и ставивший храбрость неизмеримо выше любых других качеств человека.

В знак расположения к мужественному германцу герцог назначил его комендантом провинции Зеландия, наделив полномочиями наместника герцога, и приказал подавлять в зародыше любую искорку мятежа.

Ясным майским утром Клаудиус Ринсолт в сопровождении рыцарей прибыл в Миддельбург, столицу Зеландии, чтобы занять свою резиденцию на главной площади в замке Гравенхоф и вершить правосудие именем своего господина. Эту обязанность германский капитан исполнял с крайней суровостью, полагая, что тягу к бунтарству надо выдирать с корнем. Для него, человека по природе безжалостного, именно такой образ действий был самым естественным. Герцог даже не догадывался об этом, иначе он призадумался бы, прежде чем назначить Клаудиуса комендантом. Ведь Карл, несмотря на суровость, с которой он подавил восстание, был человеком в общем-то гуманным и справедливым.

В числе тех, кого посадили в Миддельбургскую тюрьму в результате повальных облав и арестов, произведенных Ринсолтом, оказался и богатый молодой бюргер Филипп Данвелт, арестованный из-за письма, подписанного его именем и найденного в доме одного видного смутьяна, которого сначала пытали, а затем повесили. В письме, полученном накануне восстания, содержалось обещание поддержать мятежников оружием и деньгами.

Данвелт в разговоре с Ринсолтом, происходившем в мрачном зале Гравенхофа, клятвенно отрицая свою причастность к восстанию, сказал, что ему даже не предлагали в нем участвовать. Услышав о дате получения письма, он рассмеялся. В тот день, когда оно было получено, Филипп находился во Флашинге, и не по какой-нибудь случайной оказии, а потому, что венчался там, и вместе с молодой женой вернулся в Миддельбург. Было бы нелепо, сказал он, участвовать в восстании или связываться с мятежниками во время свадьбы. И Филипп, уверенный в себе, снова рассмеялся.

Германский капитан не любил людей, которые позволяли себе смеяться в его присутствии. По его мнению, это свидетельствовало о недостаточном уважении как к его должности, так и к нему лично. И теперь, сидя в высоком судейском кресле, окруженный секретарями и телохранителями, он весьма свирепо смотрел на белокурого, розовощекого молодого человека, вздумавшего проявить подобное легкомыслие. Безбородое загорелое лицо Ринсолта, обрамленное пышными каштановыми волосами,

было по-своему красиво; лишь на левой щеке бледным пятном выделялся шрам.

— Но письмо подписано твоей рукой, — мрачно проворчал он.

— Может быть, там и стоит мое имя, — любезно улыбнулся Данвельт, — но уж никак не моя подпись.

— Черт побери, — выругался капитан. — Это что, оправдание? Какая разница?

Не подумав об опасности, беспечный Данвельт отважился на легкую дерзость:

— Да, это оправдание! Самый глупый из твоих писарей — и тот понял бы это!

Голубые глаза коменданта сверкнули сталью, тяжелая челюсть выпятилась, щеки залила краска гнева, и он вновь выругался.

— Ты еще остришь, ничтожество? — И, обратившись к стражникам, приказал: — Уведите его обратно в тюрьму. Пусть там в тишине он научится приличным манерам, а уж потом предстанет перед нами!

И Данвельта отправили обратно в камеру. Он понял, что в правление Клаудиуса Ринсольта даже невинный человек должен держать ухо остро.

Комендант уселся в кресло, недовольно ворча. К нему склонился секретарь, сидевший по правую от него руку.

— Проверить истинность утверждений этого человека совсем не трудно, — сказал он. — Надо вызвать его жену и слуг и спросить, когда он был во Флашинге и когда состоялось венчание.

— Да! — проворчал Ринсольт. — Займитесь этим. Я более чем уверен, что этот пес солгал нам.

Однако его уверенность была напрасной. На другой день к коменданту привели на допрос экономку и жену Данвельта, и они лишь добавили подробностей к тому, что говорил Филипп. Стало совершенно ясно, что он ни сном, ни духом не причастен к восстанию против герцога Бургундского. Супруга Данвельта клятвенно отрицала это и умоляла:

— Я могу присягнуть, что говорю правду, я уверена, что доказательств его вины не существует. Он всегда был лоялен к власти и все это время занимался только своими делами и мною.

— Господин, — она протянула руки к хмурому германцу, и в ее глазах заблестели слезы, — умоляю вас поверить мне и отпустить моего мужа, раз нет доказательств его вины.

В голубых глазах Ринсольты вспыхнул огонь, а полные яркие губы медленно раздвинулись в чуть заметной, загадочной улыбке. Стоявшая перед ним изящная женщина была очень хороша собой. Ее отороченное мехом светлое платье с высокой, по последней моде, талией плотно облегло нежно очерченную грудь. Низкий вырез подчеркивал совершенную белизну ее шеи. Овал лица казался странно детским под высокой, похожей на корону, прической; с головы ниспадала тончайшая вуаль, колышавшаяся при каждом ее движении.

Солдафон некоторое время продолжал молча, в упор разглядывать ее, а губы его все продолжали медленно растягиваться в странной улыбке. Не отрывая глаз от жены Данвельта, он коротко бросил секретарю:

— Эта женщина лжет! Я полагаю, что только наедине с ней смогу узнать правду.

Он с трудом оторвал от кресла свое массивное тело, облаченное в темно-пурпурный бархат.

— У меня есть одна улика! — заявил он хрипло. — Идите за мной, и вы увидите ее своими глазами.

Он провел ее темным коридором, выходящим из мрачного зала, и остановился у дверей маленькой уютной комнаты, сплошь увешанной коврами. Отпустив сидевшего там слугу, он тут же предложил женщине войти в комнату и еще некоторое время разглядывал ее из-под насупленных бровей. Вслед за ними шла служанка, но Ринсольт не впустил ее в комнату. Супруге Данвельта пришлось войти одной.

Ринсольт не спеша вынул из дубового ларца письмо, под которым стояло имя «Филипп Данвельт». Просительница взглянула на коменданта испуганно, вся она трепетала. Он сложил письмо так, чтобы было видно только имя ее супруга, и помахал им перед глазами женщины.

— Что это за имя? — отрывисто спросил он.

Она быстро заговорила:

— Это имя моего мужа, но не его рука. Наверное, это какой-то другой Филипп Данвельт. Наверняка в Зеландии есть и другие люди, носящие это имя.

Ринсольт мягко рассмеялся, по-прежнему глядя на нее с непонятным напряженным вниманием, и под его пристальным взглядом она вся испуганно сжалась. Увидев в его глазах нечто зловещее, женщина начала задыхаться, хотя в комнате было прохладно.

— Стоит мне поверить вам, как вашего мужа тут же

выпустят из тюрьмы, и ему нечего будет бояться. А он, уверяю вас, в смертельной опасности!

— Ах! Вы должны поверить мне! Кроме меня, есть и другие свидетели его невиновности.

— Другие меня не интересуют, — прервал он ее с грубым высокомерием. Потом, многозначительно сменив интонацию, произнес: — Но я могу удовлетвориться вашим заверением, что это почерк не вашего мужа, несмотря на то, что я вам не верю.

Она все еще не понимала, чего он от нее хочет, и лишь глядела на него округлившимися карими глазами.

— Что ж, — сказал он чуть погодя с добродушно-грубоватым смешком, — я готов отдать жизнь Филиппа Данвельта в ваши прекрасные руки. Распоряжайтесь ею, как пожелаете. Но, надеюсь, дорогая, вы не захотите оказаться злодейкой и погубить его?

С этими словами он склонился к ней. Его руки мягко, по-змеиному, обвились вокруг ее тела. Но прежде чем они сомкнулись, она вырвалась и с омерзением на лице отпрянула прочь. С ее побледневших губ уже готов был сорваться крик.

— Одно слово, — предостерег он, — и ваш муж умрет.

— Отпустите меня! Отпустите! — выкрикнула она.

— Тогда уж добавьте: и отправьте моего мужа на виселицу.

Но она повторяла все те же два слова:

— Отпустите меня! Отпустите меня! — В этот миг она не могла думать больше ни о чем.

Выражение отвращения на ее лице оскорбило самолюбивого коменданта: он был тщеславен. В ярости он прогнал женщину, посылая ей вдогонку оскорбления.

На другой день к ней явился курьер коменданта и передал короткую записку, извещавшую о том, что утром ее мужа повесят. В горестном оцепенении просидела супруга Данвельта в одиночестве несколько часов — неподвижная, с окаменевшим лицом и сухими глазами. Ближе к вечеру она все в том же полубессознательном состоянии вызвала двух слуг, чтобы они проводили ее в тюрьму Миддельбурга. Она представилась начальнику тюрьмы и сказала, что пришла проститься с мужем, приговоренным к смерти. В этом ей нельзя было отказать, да и приказа такого у тюремщика не было.

Ее провели в сырую камеру, где дожидался казни Филипп Данвельт, и в желтом свете фонаря, прикрепленного к низкому своду потолка, женщина увидела

страшную перемену в его лице, вызванную известием о смертном приговоре. Перед ней был уже не тот самоуверенный молодой бюргер, который легкомысленно дерзил коменданту Зеландии, уверенный в своей невинности и исполненный сознания собственной значительности. Она увидела человека с искаженным, посережившим лицом, всклокоченными волосами, в порванной одежде. От гнева и отчаяния он содрогался всем телом.

— Сапфира! — воскликнул он, завидев жену, и со стоном припал к ее груди.

Она ласково обняла его и усадила обратно на деревянный стул, с которого он вскочил при ее появлении.

Он схватился руками за голову. Умереть невинным, стать жертвой несправедливости, судебной ошибки! Умереть таким молодым!

Слушая его бессвязную речь, она вздрагивала от страха и жалости к самой себе. Ей хотелось бы, чтобы он встретил смерть спокойнее. Подумав об этом, она высказала свою мысль вслух:

— Я могла спасти тебя, Филипп.

Приговоренный поднял искаженное, мертвенно-бледное лицо.

— Что ты сказала? — хрипло переспросил он. — Говоришь, могла спасти меня? Так что же... Почему?..

— Но какой ценой, мой милый! — вскрикнула она.

— Цена? Ты говоришь о цене? Но ведь речь идет о моей жизни и смерти! Этот Ринсольт требует наше состояние? Отдай ему все, и я буду жить...

— Разве я колебалась бы, если б речь шла о деньгах? — прервала его жена.

Пока она пересказывала свой разговор с комендантом, Филипп дрожал от гнева.

— Собака! Грязный германский пес! — пробормотал он сквозь зубы, когда она закончила.

— Теперь ты понимаешь, дорогой, — продолжала она прерывающимся голосом, — цена оказалась слишком высокой. Ты возненавидел бы меня.

Однако Филипп повел себя совсем не так, как она ожидала. Отчаянная жажда жизни, известная только смертникам, диктовала ему свое.

— Как знать? — ответил он. — В наших обстоятельствах желания и доводы рассудка ничего не значат, и, может быть, жертва была бы оправданной...

И замолчал, все же устыдившись своих слов, вспомнив,

что существует граница, которую честь мужчины не может переступить.

Его слова все еще звучали в ее ушах, когда она возвращалась домой. Той же ночью она отправилась к коменданту Зеландии.

Когда она пришла, Ринсолт ужинал. Не выходя из-за стола, он приказал впустить Сапфиру Данвельт.

— Да, мадам?

— Могу я поговорить с вами наедине?

Ее голос был ровным и спокойным, как и ее взгляд.

Он отослал всех своих людей, отпил большой глоток из кубка, стоявшего у локтя, вытер рот тыльной стороной ладони и уселся в свое высокое кресло, приготовившись слушать.

— Вчера, — сказала она, — вы обратились ко мне с предложением. Во всяком случае, мне так показалось.

На его лице отразилось удивление, но его сменила радость.

— Значит, так, мадам. Здесь я распоряжаюсь жизнью и смертью. Но в случае с вашим мужем я передаю власть вам. Одно слово — и я подпишу приказ, по которому он выйдет из тюрьмы еще до рассвета.

— Я пришла, чтобы сказать это слово, — ответила она.

Какое-то мгновение Ринсолт глядел на нее; его улыбка становилась все шире, на щеках вспыхнул румянец. Он вскочил, опрокинув кресло.

Со словами: «Черт побери!» — он обнял ее и прижал к себе ее трепещущее тело...

На другое утро, сразу после восхода солнца Сапфира уже стучалась в ворота Миддельбургской тюрьмы, судорожно сжимая в руке бумагу, подписанную комендантом.

— Приказ коменданта Зеландии об освобождении Филиппа Данвельта! — срывающимся от волнения голосом воскликнула она.

Тюремщик взглянул на бумагу, потом на лицо ее подательницы. Его губы сжались.

— Идемте, — сказал он и повел ее по мрачному коридору в камеру, где накануне она встречалась с мужем.

Тюремщик распахнул дверь, и Сапфира быстро вошла внутрь.

— Филипп! — вскрикнула она и запнулась на следующем слове...

Он лежал неподвижно на убогом тюфяке. Его сложенные руки покоились на груди, лицо было воскового

оттенка, из-под полуприкрытых век глядели остекленевшие глаза.

Она подбежала к нему и, упав на колени, прикоснулась к телу.

— Мертв! — вскричала она и, стоя на коленях, обернулась к тюремщику, стоящему в дверях. — Мертв!

— Его повесили вечером, мадам, — тихо проговорил тот.

Она застонала и, лишившись чувств, упала на тело супруга.

Вечером она вновь пришла в Гравенхоф, чтобы встретиться с Ринсольтom. Ее впустили. Это была уже совсем другая женщина — с измученным, перекошенным страданием лицом, в котором не осталось и следа былой красоты. Подойдя к коменданту, она какое-то время смотрела на него молча, с неопиcуемой ненавистью во взгляде, потом заговорила, и в словах ее вылилась вся ненависть к нему.

Он выслушал ее, пожал плечами и снисходительно улыбнулся.

— Что обещал, то и сделал, — ответил он. — Я дал слово, что Данвельт выйдет из тюрьмы. Разве я не исполнил этого? Едва ли вам стоило рассчитывать на то, что я позволю ему мешать нашим с вами приятным свиданиям!

Она в ужасе отступила под его похотливым взглядом и убежала прочь, сопровождаемая его циничным хохотом.

Целую неделю после этого она сидела дома и размышляла, но настал день, когда в сопровождении слуг вышла на улицу в трауре и взошла на борт плоскодонной баржи, которая отправилась вверх по Шельде к Антверпену. Конечной целью путешествия был Брюгге, но об этом она не сказала никому и выбрала самый длинный окольный путь. Из Антверпена баржа отправилась в Гент, откуда четыре крепкие фламандские лошади протащили ее по каналу в великолепный город, где размещался двор бургундских герцогов.

В блистательном, залитом июльским солнцем Брюгге кипела жизнь. В то время город был всемирной ярмаркой, центром мировой торговли. За его стенами размещались десятки иностранных торговых домов и не меньшее количество посольств иноземных государств. В течение одного дня здесь можно было услышать все языки мира. Они звучали на широких оживленных улицах среди величественных зданий, каких вы не встретили бы в

других европейских городах. В порт прибывали тяжело груженные торговые суда из Венеции, Генуи, Германии, из балтийских стран, из Константинополя и Англии, а на переполненных рынках толпились, покупая и продавая различный товар, ломбардцы и венецианцы, левантийцы, тевтоны² и саксонцы.

Миновал полдень, и огромная колокольня, возвышавшаяся над герцогским замком, отбрасывала тень на многолюдную площадь. Среди многоязычного гомона толпы выделялись звук рога и крики: «Герцог! Герцог!»

Показалась кавалькада примерно из сорока всадников, продвигавшихся медленным шагом. Это двор герцога возвращался в замок после охоты. Над толпой горожан воцарилась тишина. Народ почтительно расступился, и вместо человеческих голосов теперь слышался лишь стук копыт о булыжники, перезвон соколиных колокольчиков, лай охотничьих собак и звук того рога, который первым возвестил о прибытии герцога.

Это была пышная процессия: вельможи в шелках и бархате всевозможных оттенков и сапогах из тончайшей испанской кожи, дамы в нарядных головных уборах с развевающимися вуалями, в вышитых накидках, ниспадавших до брюха их лошадей в роскошной сбруе.

По обе стороны процессии шли конюхи и егеря и вели охотничьих собак.

Горожане вытянули шеи, и левантийский торговец заспорил с ломбардцем о том, сколько стоит все это великолепие. Затем появился сам юный герцог. Его черный камзол резко контрастировал с радужной пестротой окружения. Он был невысок, но производил впечатление сильного человека благодаря прекрасному сложению. На худом загорелом лице выделялись живые глаза. Рядом с ним на белой лошади ехал юноша, одетый с ног до головы в шелк цвета пламени; его красивую золотоволосую голову покрывала островерхая черная бархатная шляпа, на левом запястье сидел сокол с колпачком на голове. За спиной юноши на черной ленте висела маленькая лютня. Он радостно смеялся, являя собой воплощение молодости и веселья.

Процессия медленно продвигалась по направлению к Принцессхофу, резиденции герцога. Кавалькада уже почти пересекла площадь, когда внезапно раздался женский голос, громкий и возбужденный:

— Я прошу справедливости, герцог Бургундии! Нарушены мои законные права!

Этот крик испугал вельможных всадников, на мгновение прервав их веселье.

Одетый в красное юноша, скакавший рядом с герцогом, повернулся в седле посмотреть, кто это так жалобно кричит, и увидел Сапфиру Данвельт.

Она была в трауре, лицо ее закрывала черная вуаль, лишь подчеркивая красоту, которую немедленно оценил острый юношеский взгляд. По ее внешнему виду и количеству окружающих ее слуг молодой человек понял, что женщина богата; ее горестная мольба тронула его жизнерадостную поэтическую душу. Положив руку на плечо герцога, он слегка сжал его, и тот осадил коня.

— Чего ты просишь? — любезно спросил Карл.

— Справедливости! — только и ответила она, печально, но настойчиво.

— Надеюсь, твое желание будет исполнено, — серьезно ответил герцог, — но я не могу заниматься этим делом в седле, посреди улицы. Следуй за нами. — И ускакал вперед.

Она пошла за ним в Принцессхоф, сопровождаемая своими конюхами и служанкой Катариной. В большом зале замка ей пришлось подождать в толпе конюших и егерей, осушавших кубки, присланные им герцогом. Она стояла поодаль, погруженная в печальные размышления, и никто не обращал на нее внимания. Наконец камергер пригласил ее пройти к герцогу. Тот ждал ее в большой, но скромно обставленной комнате. На герцоге был черный с позолотой камзол, отороченный мехом. Он сидел в высоком дубовом кресле, обитом кожей. За его спиной стоял, приняв изящную ленивую позу, все тот же симпатичный юноша, одетый в красное, который только что скакал бок о бок с герцогом.

Сапфира рассказала потрясающую историю, стоя перед ними со сложенными руками, потупив взор. Слушая ее, герцог все больше и больше хмурился. Но в его взгляде читалось скорее недоверие, чем гнев.

— Ринсольт?! — воскликнул он, когда она закончила. — Говоришь, это сделал Ринсольт?

В его голосе слышалось сомнение и ничего более.

Юноша, стоявший за спиной Карла, негромко рассмеялся и переменял позу.

— Ты удивлен? А разве можно было ожидать от тевтонской свиньи чего-то иного? Меня-то он не смог бы обмануть, ведь он...

— Помолчи, Арно! — коротко бросил герцог и об-

ратился к женщине: — Это очень, очень тяжкое обвинение. И брошено оно человеку, которому я доверяю и которого ценю, иначе я не назначил бы его на тот пост, который он сейчас занимает. У тебя есть доказательства, женщина?

Она протянула ему лист пергамента, подписанный ордер на освобождение Филиппа Данвельта из тюрьмы.

— Тюремщик Миддельбурга подтвердит вашей светлости, что, когда я принесла этот приказ, мой муж был уже повешен. То же самое скажет и моя служанка Катарина, которая приехала со мной. Есть еще несколько слуг, которые могут засвидетельствовать невиновность моего мужа. Капитан Ринсольт не сомневался в ней.

Изучив пергамент, герцог стал серьезен и задумчив.

— Где ты остановилась? — спросил он.

Женщина ответила.

— Жди там, я призову тебя, — велел он ей. — Ордер останется у меня. Будь уверена: правосудие свершится.

Тем же вечером в Миддельбург отбыл курьер с приказом Ринсольту явиться в Брюгге, и самонадеянный германец немедленно отправился в путь, не подозревая о причине вызова, уверенный в том, что герцог, любивший храбрецов, осыплет его очередными милостями. Храбрость Ринсольта проявилась, быть может, ярче всего в тот миг, когда герцог без всякого предупреждения предъявил ему обвинение в совершенном злодействе.

Германец был удивлен, но не испугался. Одним фламандским бюргером больше, одним меньше — какая разница? А чего стоила честь фламандки? Солдату, доблестному воину не пристало об этом задумываться. Это был лишь каприз — Ринсольт был столь же туп, сколь и жесток, и считал свой поступок таким незначительным грехом, что даже не видел смысла отпираться. Герцог, который умел быть очень хитрым, сразу все понял и, выказав едва ли не одобрение, заставил Ринсольта выдать себя с головой.

— Значит, этот Филипп Данвельт, быть может, был невиновен?

— Он на самом деле был невиновен: вскоре мы схватили настоящего мятежника, носящего такое же имя, — спокойно ответил комендант. — А тому бедняге не повезло, но...

— Не повезло! — в приветливых до сих пор интонациях герцога внезапно зазвучали стальные нотки. Он

встал с кресла. — Не повезло! И это все, что ты можешь сказать, пес?

— Отдавая приказ повесить его, я считал его виновным, — пробормотал ошеломленный капитан.

— А это что? Отвечай: что это? — И герцог помахал перед носом Ринсольта подписанным им приказом.

Капитан побледнел, в его взгляде появился страх.

— Разве такое ты должен был вершить правосудие моим именем в Миддельбурге? Ты опозорил и обесчестил мое имя! Если ты считал его виновным, то почему и с какой целью подписал эту бумагу? Молчи! Я знаю твою цель! И почему, добившись своего, ты не сдержал слово и не выполнил своего обязательства в этой грязной сделке?

Ринсольту нечего было ответить. Он был напуган и разозлен одновременно. Все это казалось ему раздуванием из мухи слона.

— Я... я хотел найти компромисс между справедливостью и...

— И своей похотью, — закончил его мысль герцог. — Ах ты, германская собака! Ей-Богу, следовало бы укоротить тебя на голову.

— Но господин мой! — протестующе воскликнул Ринсольт.

— Ты грязно поступил с женщиной, — сказал герцог, глядя на капитана. — Чем ты возместишь ей потерю? И чем ты способен ее возместить? Конечно, я могу бросить к ее ногам твою мерзкую голову. Но разве этим исправишь содеянное?

Внезапно капитан почувствовал приближение надежды, причем весьма согревающей его, потому что он находил Сапфиру восхитительной женщиной.

— Ну что ж, — медленно произнес он, — я сделал ее вдовой, и я же могу сделать ее замужней женщиной. Сам я никогда не думал о женитьбе. Но если ваша светлость считает брак достаточным возмещением, то я согласен.

Герцог хотел что-то сказать, но промолчал. Выражение его лица вновь изменилось. Он прошел в дальний угол комнаты, склонив голову набок и размышляя. Потом повернулся и сказал капитану:

— Пусть будет так. Хотя это и не исчерпает твоей вины, но большего ты сделать не в силах. Это до некоторой степени восстановит ее доброе имя, отнятое тобой. Ты должен жениться на ней не позже, чем через неделю. Если она не согласится, тебе придется худо.

Сапфира не хотела соглашаться — скорее предпочла

бы смерть, — если бы не настойчивость герцога, которую он проявил в беседе с нею с глазу на глаз. Итак, почти убежденная, что это в некоторой степени восстановит ее честь, бедная женщина, ни жива, ни мертва, позволила отвести себя к алтарю часовни герцога и, едва ли соображая, что творит, вышла замуж за Клаудиуса Ринсольта — человека, которого она, казалось бы, должна была ненавидеть и презирать больше, чем кого бы то ни было во всем мире.

Ринсольт в общем-то был удовлетворен исходом дела и приказал устроить по поводу бракосочетания роскошный пир. Но когда капитан и его молодая жена, повисшая в полубморочном состоянии на его руке, шли от алтаря, герцог взял Ринсольта за плечо.

— Это еще не все, — сказал он, — следуйте за мной.

Новобрачных привели в большой зал Принцессхофа, где собрался весь двор — поздравить их, подумал германский капитан. За широким столом сидели два писаря с перьями и бумагами. К тому же столу подошли герцог и Арно, одетый на этот раз во все голубое, и Карл потребовал тишины.

— Капитан Ринсольт, — серьезно и спокойно проговорил он, — то, что вы сделали, хорошо, но недостаточно. Принимая во внимание обстоятельства вашей женитьбы, а также ставшие нам известными ваши образ мысли и понятия о чести, мы решили, что необходимо принять меры предосторожности. Если вы задумаете бросить жену, это обойдется вам очень дорого.

— Я и не собираюсь... — начал было Ринсольт, который терпеть не мог наставлений.

Герцог жестом велел ему замолчать.

— Не прерывайте меня, — резко бросил он. — Вы богатый человек, Ринсольт, благодаря милостям, которыми я одаривал вас с тех пор, как вытащил из германских трущоб и сделал тем, что вы сейчас из себя представляете. Итак, вот документ, согласно которому вы завещаете все, чем на сегодняшний день владеете — все это перечислено здесь же, — своей жене. Завещание вступает в силу в случае вашей смерти либо развода. Прошу вас подписать документ.

Капитан какое-то мгновение колебался. Этот договор мог связать ему руки. Герцог был явно несправедлив. Однако, перехватив спокойный и твердый взгляд Карла, Ринсольт шагнул к столу и взял из рук писаря бумагу.

Он понял, что выбора нет. Это — ловушка. Что ж,

придется смириться. Он склонился над столом и начертал на бумаге свою корявую подпись солдата.

Писарь присыпал чернила песком и протянул документ герцогу. Бросив взгляд на подпись, Карл расписался сам и отдал документ супруге капитана, все еще не пришедшей в себя.

— Берегите это, — сказал он ей. — Эта бумага — мой свадебный подарок.

Глаза Ринсольты сверкнули. Если документ будет храниться у жены, то еще не все потеряно! Однако ему тут же пришлось забыть об этом.

— Отдайте мне свою шпагу, — потребовал Карл.

Удивленный капитан вытащил оружие и протянул его своему господину. Тот взял шпагу, и на его лице мелькнула суровая улыбка. Он внимательно осмотрел клинок, держа ее одной рукой за эфес, а другой — за острие шпаги. Внезапно он согнул правое колено и, плашмя положив на него клинок, разломил его надвое.

— Бесчестный клинок! — сказал он, отбрасывая обломки. И, указав на Ринсольту, приказал: — Уведите его! Пошлите к нему священника. Даю ему полчаса на исповедь, а затем его голова будет поднята на пике над крышей замка. Пусть все видят, какова справедливость герцога Бургундского!

Германец взревел, как раненый бык, и рванулся было вперед, но стражники потихоньку подобрались к нему сзади и схватили его. Сапфира была освобождена от уз брака, на которые герцог Бургундский Карл и не думал ее обрекать.

Х

НОЧЬ ДУШИТЕЛЕЙ

Джованна Неаполитанская и Андре Венгерский¹

Карл, герцог Дураццо², был одним из первоклассных шахматистов своего времени, манипулирующих королями и королевами, рыцарями и прелатами из плоти и крови в игре, которую он вел с судьбой на доске неаполитанской политики. Он не обманывался относительно счета, который представит ему беспощадный противник в случае проигрыша. Он сознавал, что ставкой в этой игре

служит его голова и что один-единственный неверный шаг неизбежно приведет его к проигрышу. Поэтому, как мы увидим, он играл одновременно и дерзко и осторожно.

Первый свой ход он сделал в марте 1343 года, три месяца спустя после смерти Роберта Анжуйского, короля Иерусалима и Сицилии; так звучал титул правителя Неаполя³. Герцог решил воспользоваться анархией, которая воцарилась в королевстве в результате глупого и бездарного правления.

Добрый король Роберт Мудрый силой вырвал корону Неаполя у своего старшего брата, короля Венгрии⁴, и правил страной как узурпатор. Возможно, чтобы успокоить совесть или предотвратить в будущем борьбу между своими наследниками и наследниками брата, он попытался исправить совершенную несправедливость при помощи брака между внуком брата Андре и своей внучкой Джованной. Этот брак был заключен десять лет назад, когда Андре было семь, а Джованне пять лет.

Целью этого раннего брачного союза было примирение обеих ветвей Анжуйского дома. На деле же соперничество стало еще более острым, чем когда-либо, этому в немалой степени способствовал и сам король Роберт. Перед кончиной он призвал к своему смертному одру принцев крови из дурресской и тарантской ветвей правящего дома и других знатнейших лиц королевства и потребовал от них клятвы в верности Джованне. Кроме того, он сам назначил регентский совет, который должен был править королевством до тех пор, пока Джованна не станет совершеннолетней.

Джованна была провозглашена царствующей королевой, и правление страной осуществлялось советом только от ее имени, что совершенно противоречило тем целям, ради которых был заключен брак. Поэтому неаполитанский королевский двор сразу же разделился на два лагеря — партию королевы, в которую входила неаполитанская знать, и партию Андре Венгерского, к которой принадлежали венгерские аристократы, образовавшие его свиту, и несколько недовольных Джованной неаполитанских баронов. Во главе этой партии стоял наставник Андре монах Роберто.

Этот надменный монах, яркий портрет которого оставил нам Петрарка⁵, краснолицый, рыжебородый и рыжеволосый, маленький и толстый, всегда грязный, проникнутый, словно Люцифер⁶, непомерной гордыней, несмотря на свои лохмотья, яростно врывался на заседания

регентского совета, требуя предоставить ему от имени его воспитанника голос при решении государственных вопросов. Он подавлял совет не только своими властными манерами, но и тем, что пользовался поддержкой черни, которая принимала его неряшливость за проявление признака святости. Его вторжения на заседания совета вызывали такое замешательство, что вынудили папу как верховного властителя (Неаполь был ленным владением святой церкви) вмешаться, он назначил легата для управления королевством до совершеннолетия Джованны.

Венгры*, во главе с братом Андре, венгерским королем Людовиком⁷, подали в папский суд в Авиньоне⁸ жалобу, требуя папской буллы, назначающей совместную коронацию Андре и Джованны, что было бы равносильно передаче полной власти над Неаполем в руки Андре. Неаполитанцы же, возглавляемые принцами крови, ближайшими наследниками трона, требовали коронации для одной лишь Джованны.

Так обстояли дела в королевстве, когда герцог Дураццо, внимательно следивший за происходящим, решил наконец разыграть свою рискованную партию. Начал он с тайного похищения четырнадцатилетней Марии Анжуйской, своей собственной кузины и сестры Джованны. Целый месяц продержал он ее в собственном дворце, успев за это время получить от папы (при посредничестве своего дяди кардинала Перигора) разрешение на брак между кровными родственниками. Получив это соизволение, Карл прилюдно, на глазах всего Неаполя, женился на девушке. Благодаря этой женитьбе, против которой Мария, по-видимому, нисколько не возражала, он тоже получил права на неаполитанскую корону.

Это был открытый вызов. Следующим ходом было письмо, отправленное им тому же кардиналу Перигору, чье влияние на святой престол было весьма значительным; в письме Карл просил дядю оказать давление на папу Климента VI с тем, чтобы тот не подписывал буллу в пользу Андре и двойной коронации.

Своеволие в женитьбе Карла на Марии Анжуйской, естественно, настроило Джованну против него. Враждебно восприняли этот поступок и те принцы крови, которые стояли ближе всего к престолу и которых он обошел, укрепив свое положение. Наверняка рассчитал, что такой

* Родня из венгерской ветви.

шаг позволит ему — неаполитанскому принцу! — получить предлог для того, чтобы завязать дружбу с венгерским узурпатором.

При других обстоятельствах его заигрывания, должно быть, были бы с подозрением встречены Андре, а уж тем более хитрым монахом Роберто. Но теперь, зная о вероломном поступке Карла, венгерская партия приняла его с распростертыми объятиями, усмотрев в его отходе от двора Джованны победу сторонников Андре. Карл заявил, что питает симпатию к Андре и ненавидит сторонников Джованны, которые настраивают ее против мужа. Он охотился и пил вместе с Андре, поощряя грубые вкусы этого чужеземца, которого он сам в глубине души презирал как варвара.

Вскоре Карл из доброго собутыльника превратился в советника молодого принца, и губительное наставление, которое он дал Андре, даже монах Роберто посчитал искренним и чистосердечным.

«Отвечай враждебностью на враждебность, не давай сбить себя с пути, показывай всем своим видом, что ты «уверен в благоприятном для тебя решении папы. Всегда помни, что ты король Неаполя не благодаря своему браку, а по собственному праву, Джованна же — всего лишь отпрыск незаконно захватившей власть ветви».

При этих словах в тупых бычьих глазах Андре мелькало нечто, напоминавшее мысль, и румянец оживлял его обычно бесстрастное лицо. Это был белокурый гигант с бледным, невыразительным, несмотря на правильные черты, лицом и холодным неприятным взглядом. Рядом с лощеными неаполитанцами он выглядел грубым, неотесанным мужланом, каковым они его и считали. Монах Роберто поддержал совет герцога Дураццо, и Андре неуклонно следовал ему. Он отдал распоряжение освободить заключенных из тюрьмы, оказывал почести своим венгерским приверженцам и таким неаполитанским вельможам, как герцог Альтамура, бывшим в оппозиции ко двору. По отношению к королеве он выказывал полное пренебрежение. Это привело, как и рассчитывал провинциальный Карл, к тому, что наиболее влиятельные представители неаполитанской знати, поддерживавшие королеву, составили заговор против Андре.

Дебют удался, а поведение самой Джованны позволило Карлу оживить партию.

Юная королева находилась под сильным влиянием некой Филиппы Катанезе, женщины непомерно честолю-

бивой и злобной. Филиппа, бывшая в юности прачкой, благодаря своему отличному здоровью была взята кормилицей к отцу Джованны. Сохранившая привязанность своего воспитанника, она постоянно находилась при дворе, потом вышла замуж за богатого мавра по имени Кабане, который получил звание великого сенешаля королевства, а сама — бывшая прачка! — стала одной из первых дам Неаполя. Должно быть, она точно рассчитала, как приспособиться к новым обстоятельствам, иначе не была бы назначена после смерти своего молочного сына наставницей его несовершеннолетней дочери. Впоследствии, чтобы усилить свое влияние на королеву, эта чрезвычайно неразборчивая в средствах властолюбивая особа ухитрилась устроить так, что ее сын Роберто Кабане стал любовником Джованны.

После смерти своего деда Джованна сразу же сделала Роберта герцогом Эволи, несмотря на то, что ее благосклонностью уже пользовался красивый молодой Бертран д'Артуа. Таким образом, во главе партии королевы стояли, наряду с принцами крови, эти трое — Катанезе, ее сын и Бертран д'Артуа.

Как ко всему этому относился Андре, толком не известно. Возможно, поглощенный заботами о соколах и гончих, он не замечал своего позора. По крайней мере, насколько это касалось Бертрана. Другой человек на месте Карла, возможно, попросту раскрыл бы глаза Андре. Но Карл был прозорлив. Он предпочитал не торопиться. Его следующий ход зависел от того, что решат в Авиньоне по поводу коронации.

Это решение стало известно в июле 1345 года, и двор воспринял его как гром среди ясного неба. Папа издал буллу о совместной коронации Андре и Джованны.

Карлу объявляли шах. Его дядя кардинал Перигор сделал все, что мог, чтобы воспрепятствовать такому исходу, но в конце концов папа исполнил настойчивую просьбу Людовика Венгерского, который выдвинул веский довод, заявив, что он сам, будучи законным наследником короны Неаполя, согласен отказаться от своих притязаний только в пользу младшего брата. Довод этот он подкрепил вручением папе огромной по тем временам суммы в сто тысяч золотых крон; и тотчас же папскому двору стало ясно все в этом запутанном деле.

Решение папы расстраивало игру Карла. Однако он взял себя в руки и начал обдумывать ответный ход, который дал бы ему преимущество. Он отправился

поздравлять Андре и застал его раздувшимся от гордой уверенности в своем триумфе.

— Рад вас видеть, — приветствовал его Андре. — Я не такой человек, чтобы забыть тех, кто был со мной, когда судьба моя еще не была решена.

— Я надеюсь, — сказал Карл, освободившись от братских объятий, — что вы не забудете и тех, кто был вашим врагом и кто, даже будучи поверженным ныне, предпринимает отчаянные попытки предотвратить вашу коронацию.

В обычно тусклых глазах венгерца появился недобрый огонек.

— О ком вы говорите?

Карл задумчиво погладил черную бороду; взгляд его прищуренных темных глаз был печален. Нужно было наметить такую жертву, чтобы друзья Джованны испугались и сделали выгодные ему ходы.

— Ну, прежде всего это советник Джованны Изерния. Выкладки этого мерзкого законника подвергают сомнению ваши права на корону. Дальше надо назвать...

Однако здесь Карл сделал многозначительную паузу, умолкнув как бы в нерешительности.

— Кто еще? — вскрикнул Андре. — Скажите!

Герцог пожал плечами.

— Говоря по правде, их хватает. У вас слишком много врагов среди друзей королевы.

Легкий загар не смог скрыть бледность Андре. Он сбросил малиновый плащ, как если бы ему вдруг стало жарко, и стоял, подавшись вперед, словно изготавившись к схватке.

— Нет нужды называть их имена, — сказал он жестко.

— Конечно, — согласился Карл. — Но самый опасный Изерния. Пока он жив, смертельная угроза подстерегает вас повсюду. А его кончина могла бы вызвать панику, которая свяжет руки остальным.

Больше не надо было ничего говорить. Он знал, что сказал уже достаточно для того, чтобы Андре, мрачный и гневный, посеял ужас в сердцах тех, кто чувствовал за собой хоть какую-нибудь, пусть даже ничтожную, вину, и в том числе, конечно же, и в сердце Джованны.

Андре посоветовался с монахом Роберто. Доказательств того, что Изерния опасен, вполне достаточно, и поэтому наутро он пал от кинжала убийцы, подкараулившего его при выходе из замка Кастель-Нуово. Карл лично сообщил об этом двору.

Тем прохладным вечером придворные прогуливались по прекрасному парку Кастель-Нуово. Приблизившись к ним, Карл коснулся стального плеча Бертрана д'Артуа. Фаворит королевы искоса взглянул на герцога. Зная о связях Карла с Андре, Бертран относился к нему с неприязнью и недоверием.

— Этот венгерский боров, — сказал Карл, — начал точить свои клыки. Ведь теперь его власть подтверждена папой.

— Мне все равно, — ухмыльнулся д'Артуа.

— Не знаю, будет ли вам все равно, если я добавлю, что он уже успел обогреть их кровью.

Бертран д'Артуа изменился в лице. Герцог продолжал:

— Он начал с Джакомо Изернии. Десять минут назад тот был заколот насмерть в двух шагах от замка. Я думаю, это только начало.

— Боже! — воскликнул д'Артуа. — Изерния! Царство ему небесное. — И он перекрестился.

— Царство небесное ждет и многих из вас, если вы позволите этому венгерцу стать орудием провидения, — сказал Карл с мрачной усмешкой.

— Это угроза?

— Не распалаяйтесь и не валяйте дурака. Я предупреждаю. Я знаю, как он настроен. Мне известны все его намерения.

— Да, вы всегда были его доверенным лицом, — насмешливо проговорил Бертран.

— Это так. Но теперь с меня довольно. Я — неаполитанский принц и никогда не пойду на поклон к варвару. С ним можно было славно покутить и поохотиться, пока он был просто герцогом Калабрийским и не чаял стать чем-то большим. Но если он сделается моим королем, а наша госпожа Джованна — всего лишь его супругой... Нет, только не это!

В глазах Бертрана д'Артуа вспыхнула радость. Он схватил Карла за руку и повел вдоль изгороди из виноградной лозы, образовавшей у стены зеленую крытую галерею.

— О, для нашей королевы это добрая весть! — воскликнул он. — Она страшно обрадуется, узнав, что вы верны ей.

— Это не так уж важно, — ответил Карл. — Главное — чтобы вы были начеку. Вы и Эволи — в особенности. Конечно, среди намеченных жертв не только вы, но венгерец не настолько доверяет мне...

Бертран внезапно остановился. Он смотрел на Карла, и кровь медленно отливала от его лица.

— Я следующий? — спросил он, прижав руку к сердцу.

— Да, вы. Вы следующий. Но не раньше, чем он натянит корону. Тогда он расправится со всеми неаполитанскими дворянами, которые прежде противостояли ему. Неужели вы не понимаете, — он понизил голос, — какое ужасное черное знамя мести поднимет узурпатор перед коронацией? И ваше имя будет во главе списка людей, которых объявят вне закона. Неужели вас это удивляет? В конце концов, он супруг и кое-что знает о ваших отношениях с королевой...

— Замолчите!

— Чушь. — Карл пожал плечами. — Что проку молчать о том, о чем знает весь Неаполь? На вашем месте я бы не ждал предостережений. Я-то знаю, на что способен обманутый супруг, когда он становится королем.

— Нужно сообщить королеве.

— Конечно. Лучше, если она узнает все от вас. Идите к ней, пусть примет меры. Но действуйте тайно и осмотрительно. Вы в безопасности, только пока он не надел корону. Но главное, — что бы вы ни решили, ничего не предпринимайте здесь, в Неаполе.

И он удалился, Бертран же поспешил к Джованне. Выходя из сада, Карл остановился и оглянулся. Он искал глазами королеву. И увидел ее — высокую, гибкую девушку. На ней было лиловое шелковое платье. На прелестное, правильной формы лицо как бы бросала теплый отсвет копна пышных, цвета меди, волос.

Через три дня приближенный королевы по имени Мелаццо, подкупленный Карлом, сообщил, что брошенное им семя упало на благодатную почву. С целью убийства короля был составлен заговор, который возглавляли Бертран д'Артуа, герцог Эволийский Роберто Кабане и его зятя Терлицци и Морконе. Сам Мелаццо, которого считали горячим приверженцем королевы, также был включен в компанию заговорщиков. Кроме того, туда входил слуга Андре, который, как и Мелаццо, был подкуплен Карлом.

На лице Карла появилась довольная улыбка. Игра шла по его правилам.

— Перед коронацией двор выезжает на месяц в Аверсу. Это самый подходящий момент для осуществления их планов. Намекните им на это.

Коронация была назначена на 20 сентября. За месяц

до нее, 20 августа, двор, спасаясь от жары и духоты Неаполя, переехал в более прохладную Аверсу и расположился в монастыре святого Петра.

В ночь их прибытия в трапезной монастыря все было устроено так, чтобы в ней могла расположиться на ужин многочисленная и веселая компания. Длинная комната, выложенная камнем, с высоким потолком и очень высоко расположенными окнами, обычно такая аскетично-голая, была увешана гобеленами, пол покрывали циновки, между которыми были разбросаны вербена и другие ароматические травы. Вдоль боковых стен и в торце комнаты на невысоких помостах были установлены каменные столы, за которыми обычно обедали непритязательные в своих привычках монахи. Теперь на этих столах сверкали хрустальные бокалы, золотая и серебряная посуда. За столами спиной к стене сидели дамы и кавалеры, составлявшие двор королевы. Сводчатый потолок трапезной был покрыт довольно незамысловатыми фресками, изображавшими разверзшиеся небеса — работа монаха, чья кисть была скорее благочестива, нежели искусна. Над столом настоятеля, стоявшим у задней стены комнаты, была изображена, согласно традиции, тайная вечеря.

За этим столом, окружив небрежно развалившегося Андре, расположилась партия короля. Его золотистая грива была слегка взъерошена. Он пил один бокал за другим, как было принято у варваров, то и дело бросал кость или кусок мяса своим темно-рыжим псам.

Весь день компания охотилась в окрестностях Капуи, и Андре, довольный охотой и жизнью, почти позабыл о зловещих нашептываниях Карла; он смеялся и шутил с сидевшим рядом предателем Морконе. Чуть позади стоял его слуга Пасе, тоже человек Карла. По правую руку от него сидела королева, тщетно пытаясь делать вид, что ест; ее красивое юное лицо покрывала смертельная бледность, а во взгляде широко раскрытых темных глаз сквозила ненависть. В числе гостей были мрачно насупившийся Эволи и его зять Терлицци, Бертран д'Артуа и его отец, Мелаццо, также ставленник Карла, и Филиппа Катанезе, величественная и высокомерная, странно молчаливая в этот вечер.

Карла Дураццо в этой компании не было: игроку не пристало превращаться в пешку на доске.

Ему намекнули: то, что он коварно внушил Бертрану д'Артуа, будет осуществлено в Аверсе, и поэтому он решил остаться в Неаполе. У него неожиданно заболела

жена, и, как заботливый муж, он не мог оставить ее одну. Карл просил Андре извинить его. Он очень сожалеет, что не сможет насладиться вместе со всеми охотой; на прощанье он в знак дружбы подарил молодому королю лучшего из своих соколов.

Вечер был уже на исходе, когда наконец по знаку королевы дамы поднялись и направились в свои покои. У мужчин пир разгорелся с новой силой. Вино не успевали подносить, и шум стоял такой, что монахи, укрывшиеся от мирской суеты в своих кельях, наверное, так и не смогли сомкнуть глаз. Смех Андре становился все более громким и бессмысленным. Наконец в полночь он тяжело поднялся и, пошатываясь, отправился спать, чтобы немного отдохнуть перед завтрашней охотой.

Но нашлись там другие охотники, которым не терпелось закончить свою смертельную игру, не дожидаясь рассвета. Это были Бертран д'Артуа, Роберто Кабане, герцоги Терлицци и Морконе, Мелаццо и слуга Андре Пасе. Они ждали, пока монастырь не уснет крепким сном. В два часа ночи они, стараясь двигаться как можно тише, собрались в лоджии на четвертом этаже, которая представляла собой длинную галерею с колоннами над монастырским садом. На мгновение они замерли перед дверью спальни королевы, выходящей на галерею, потом, крадучись, подоברались к двери короля на другом ее конце. Пасе дважды резко постучал в дверь; наконец они услышали недовольное сонное бормотание Андре.

— Это я — Пасе, мой господин, — произнес слуга. — Прибыл курьер из Неаполя от брата Роберто с важными вестями.

Они услышали, как король громко зевнул, затем раздался какой-то шорох, звук опрокинутого стула и наконец скрежет отодвигаемого засова. Дверь приоткрылась, и в тусклом свете зарождающегося дня они увидели Андре, одетого в отороченный мехом халат, накиннутый поверх ночной рубашки.

Он увидел только Пасе. Остальные отошли в полумрак. Не подозревая худого, Андре вышел из комнаты.

— Где этот посланец?

Неожиданно дверь, в которую он только что вышел, резко захлопнулась; обернувшись, он увидел Мелаццо, который, используя кинжал как засов, пытался запереть ее, чтобы никто не мог воспользоваться этим ходом — ведь в комнате была еще другая дверь, открывающаяся во внутренний коридор.

Конечно, вместо этого Мелаццо мог бы ударить Андре сзади и таким образом мгновенно кончить все дело. Но заговорщикам было известно, что Андре носил амулет — кольцо, подаренное матерью и охраняющее его от стали и яда. Слепая вера людей того времени в чудесную силу таких вещей была настолько велика, что они не решились искушать судьбу проверкой действия кинжала. Вот почему они не обратились и к более легкому способу убийства — яду. Веря в чудодейственную силу амулета, заговорщики решили, что Андре надо задушить.

Когда он обернулся, они все вместе бросились на него и, прежде чем он понял, что происходит, повалили его на пол. Андре яростно отбивался. Он был здоров, как молодой бык, и сладить с ним оказалось нелегко. Он поднялся, расшвыряв противников, но те опять повалили его. При этом он громко закричал, взывая о помощи. Он вслепую наносил удары, один раз его огромный кулак угодил в Морконе, который упал, едва не потеряв сознание.

Осознав, как трудно будет его задушить, убийцы, должно быть, прокляли злосчастный амулет. Он снова поднялся на колени, выпрямился и, окровавленный, оставляя клочья своих белокурых волос в руках убийц, с громким криком побежал по галерее к двери в комнату жены. Колотя в дверь, он звал ее:

— Джованна! Джованна! Ради Бога! Открой! Открой! Меня убивают!

За дверью была тишина...

— Джованна! Джова-а-а-нна!

Никакого ответа.

Убийцы, испугавшись, что его крики разбудят весь монастырь, на мгновение замешкались и стояли в нерешительности. Но Бертран д'Артуа, понимая, что отступать слишком поздно, внезапно снова бросился на Андре.

Крепко обхватив друг друга, они несколько минут раскачивались, тяжело дыша: потом с грохотом упали на пол, причем при падении Андре, оказавшийся внизу, сильно ударился головой о каменный пол галереи. Любковник королевы удерживал его в таком положении, придавив коленями.

— Веревку! — задыхаясь, скомандовал он подоспевшим сообщникам.

Один из них бросил ему моток лилового шелка, переплетенный золотой нитью, на конце которого была петля. Бертран накинул ее на голову Андре, туго затянул, не обращая внимания на отчаянные судорожные попытки

последнего освободиться. Остальные стали помогать Бертрану. Все вместе они подняли корчащуюся в агонии жертву к ограде лоджии и перекинули через нее. Бертран, Кабане и Пасе держали веревку, на которой висел Андре, дожидаясь, когда он затихнет. Мелатцо и Морконе подошли помочь им, и тут Кабане заметил, что Терлицци держится поодаль.

Тонем, не допускающим возражений, он крикнул ему: — Идите сюда и помогите! На веревке хватит места и для вашей руки. Нам нужны помощники, а не свидетели, граф.

Терлицци подчинился, и воцарившаяся на миг тишина внезапно была нарушена пронзительными воплями. Кричала женщина, спавшая в комнате под ними; неожиданно проснувшись, она в сером свете наступающего дня увидела фигуру бьющегося в судорогах человека, который раскачивался на веревке прямо перед ее окном.

Еще несколько секунд испуганные убийцы держали свой конец веревки, дожидаясь, пока на другом ее конце все кончится, потом только отпустили ее, и тело с глухим стуком упало на землю монастырского сада. И сразу же разбежались в разные стороны: монастырь, разбуженный криками женщины, уже начал просыпаться.

Трижды, как рассказывают, стучались монахи в дверь комнаты королевы, чтобы получить от нее распоряжения касательно тела ее мужа, и ни разу не получили ответа. Не получили они ответа и тогда, когда позднее, днем, в закрытом паланкине и в сопровождении охраны она уехала из Аверсы и вернулась в Неаполь. Так и не получив указаний, монахи оставили тело в монастырском саду, где оно лежало до тех пор, пока Карл Дураццо спустя два дня не приехал за ним.

Демонстративно вез он убитого принца, чью смерть так искусно инспирировал, в Неаполь, и там, в кафедральном соборе, перед специально приглашенными венграми и огромной толпой народа торжественно поклялся над телом Андре отомстить его убийцам.

Использував Джованну и убрав руками ее любовника и его преступных сообщников одно из препятствий на своем пути к трону, он теперь пытался использовать правосудие, чтобы убрать и другое препятствие.

Проходили дни, недели, месяцы, а королева не делала никаких попыток разыскать убийц своего мужа. Не было даже начато следствие. Бертран д'Артуа вместе со своим отцом удалился в Сен-Агата, свое родовое гнездо. Но

другие — Кабане, Терлици и Морконе — продолжали невозмутимо сидеть вместе с Джованной в Кагель-Нуово.

Карл написал письма Людовику Венгерскому и папе с требованием правосудия, подчеркнув, что никаких попыток наказать виновных в королевстве не делается. Он призвал их взять это дело в свои руки. В результате папа Климент VI 2 июня следующего года издал буллу, по которой верховный судья Неаполя Бертран де Бо должен был поймать и наказать убийц. Второй буллой папа предал их анафеме. Однако святой отец сопроводил эти приказы частным письмом, в котором он строго запрещал верховному судье, ссылаясь на государственные интересы, впутывать в это дело королеву...

Де Бо сразу же принялся за работу и, очевидно, подталкиваемый Карлом, отдал приказ арестовать Мелаццо и слугу Пасе. Карл не собирался обвинять королеву или даже кого-нибудь из ее придворных: слишком серьезные последствия могло бы иметь такое обвинение. Ему достаточно было указать на людей самого низкого звания в надежде, что под пыткой они постепенно выдадут остальных, а в конечном счете и королеву.

Терлици, узнав об аресте двух заговорщиков и полностью сознавая грозящую ему опасность, решил на дерзкую и отчаянную попытку предотвратить свой арест. Вместе с группой сообщников он напал на эскорт, когда Пасе везли в тюрьму. Они отбили пленника, но вовсе не для того, чтобы спасти ему жизнь. Терлици нужно было только его молчание. По его приказу у несчастного вырвали язык, а затем его снова передали страже и предоставили судьбе.

Сумей Терлици сделать то же самое и с Мелаццо, Карл попал бы в трудное положение. Этого, однако, не случилось, выходит, Пасе изувечили напрасно. На допросе Мелаццо выдал Терлици, а вместе с ним Кабане, Морконе и других. Более того, его показания уличали Филиппу Катанезе и двух ее дочерей, жен Терлици и Морконе. О королеве он не сказал ничего. Он знал даже меньше, чем слуга Пасе, и не ведал о ее причастности к заговору.

Вскоре последовал арест остальных. Приговоренные к смерти, они были публично сожжены на площади Сен-Элигио, испытав все невыразимые словами ужасы пыток четырнадцатого столетия, которые продолжались вплоть до самой казни. Но даже корчась в муках и теряя под щипцами палачей сознание, они никого не выдали. Их

молчание казалось необъяснимым. Никто не знал о том, что верховный судья Бертран де Бо делал все, чтобы повеление папы было выполнено. Как только обвиняемые начинали говорить лишнее, их языки нанизывались на рыболовные крючки.

Планы Карла были несколько расстроены; кроме того, возникло еще одно, новое препятствие: Джованна снова вышла замуж, на этот раз за своего кузена Людовико Тарантского⁹.

Хотя игра, казалось, шла к патовому исходу, Карл решил все-таки, несмотря ни на что, двигаться дальше. Он написал венгерскому королю письмо, в котором, теперь уже открыто, обвинял Джованну в убийстве, сославшись в подтверждение своих слов на недостойное поведение королевы.

Людовик, в ответ на попытки Джованны отклонить обвинения в бездействии по отношению к убийцам покойного супруга, отправил ей угрожающее письмо, в котором перечислял все ее грехи. Он писал: «Джованна, ваша прежняя беспорядочная жизнь, ваше стремление сосредоточить власть в королевстве в собственных руках, ваше пренебрежение долгом отпущения по отношению к убийцам вашего мужа, ваше новое замужество и сами попытки оправдаться — все это, несомненно, доказывает, что вы причастны к смерти вашего супруга».

Пока это было все, к чему стремился Карл. До сих пор все шло так, как он хотел. Однако возникло новое осложнение. Людовик Венгерский решил бороться за королевство. Учитывая все обстоятельства, он мог считать себя законным наследником короны, а итальянские принцы предоставили ему возможность свободного прохода через свои земли. Все это совершенно не нравилось Карлу. Он понимал, что необходимо срочно принять меры, иначе он может получить нечаянный мат, что сведет на нет всю искусно разыгранную партию.

Эта мысль заставляла его нервничать, и однажды, потеряв самообладание, он сделал неверный ход.

Джованна, обеспокоенная быстрым продвижением войск Людовика Венгерского, призвала на помощь своих сторонников, она вызвала к себе также и Карла, понимая, что любой ценой должна привлечь его на свою сторону. Выслушав ее, он решил уступить за хорошую цену — титул герцога Калабрийского, дававший право на наследование короны. Собрав мощный отряд улан, он двинулся на Л'Акуилу, которая уже подняла венгерский флаг.

Но там он очень скоро понял, что этот ход был ошибочным. Карл узнал, что королева в панике бежала в Прованс, ища убежища в Авиньоне.

Карл решил немедленно исправить свою ошибку; он покинул Л'Акуилу и направился навстречу Людовику, чтобы заявить о верности ему и стать под его знамена.

В Фолиньо венгерский король был встречен папским легатом, который от имени Климента запретил ему под страхом отлучения захватывать ленные владения святой церкви.

— Когда я стану хозяином Неаполя, — решительно ответил Людовик, — я буду считать себя вассалом святейшего престола. А пока отчитываюсь только перед Богом и своей совестью.

И он двинулся дальше, неся черное знамя смерти.

Солдаты Людовика Венгерского убивали, насиловали, грабили, жгли. Казалось, их король решил отомстить за убийство брата всей этой мирной стране. Так он достиг Аверсы, где расположился вместе с отрядом в том самом монастыре святого Петра, где год назад был задушен Андре. И здесь же он встретился с Карлом, который пришел, чтобы заявить о своей верности. Король радушно принял его, да и как иначе можно было встретить единственного верного друга Андре в этой стране, где вокруг него были одни лишь враги? Не было сказано ни слова об опрометчивом походе Карла на Л'Акуилу. Как и надеялся Карл, это дело было предано забвению ради прошлого и настоящего.

Ночью они пировали в той самой трапезной, где пировал Андре в ту ночь, когда убийцы подстерегли его. Карл был почетным гостем. На другой день Людовик Венгерский собирался двинуться на Неаполь, и поэтому с рассветом все были уже на ногах.

Перед самым отъездом Людовик обратился к Карлу.

— Прежде чем выступить, — сказал он, — я хотел бы увидеть то место, где умер брат.

Карл попытался отговорить Людовика. Но тот настаивал.

— Отведи же меня туда, — потребовал он.

— Я точно не знаю, где это. Ведь меня здесь не было, — ответил Карл, испытывая некоторую тревогу то ли из-за мрачного выражения сурового лица Людовика, то ли из-за невнятного шепота своей нечистой совести.

— Мне известно, что вас тут не было, но вы наверняка должны знать это место — ведь его может указать любой

в этих краях. Насколько я знаю, вы же сами забрали тело брата. Отведите меня туда.

Карлу ничего не оставалось, как подчиниться. Вместе, рука об руку, поднялись они по лестнице к мрачной лоджии в сопровождении дюжины офицеров Людовика.

Они прошли по выложенному мозаикой полу. Над монастырским садом, залитым теперь солнечным светом, ощущался аромат цветущих в саду роз.

— Вот здесь спал король, а на том конце — королева, — сказал Карл. — Где-то здесь все и произошло, и здесь же они повесили его.

Людовик, мрачный, стоял в раздумье, сжимая рукой подбородок. Внезапно он резко повернулся к герцогу, стоявшему рядом. Выражение его лица изменилось, и губы искривились так, что обнажились, словно у рычащего пса, крепкие зубы.

— Предатель! — гневно воскликнул он. — Это ты, имеющий наглость прийти ко мне с улыбкой и лестью, подстрекая к мести, ты повинен в том, что здесь произошло!

— Я? — Карл пошатнулся, побледнев; ноги его стали ватными.

— Ты! — яростно воскликнул Людовик. — Он был бы жив, если бы не твои интриги и попытки лишить его королевской власти, помешать коронации.

— Это неправда! — закричал Карл. — Клевета! Бог свидетель!

— Лживый пес! Клятвопреступник! Ты отрицаешь, что при помощи своего драгоценного дядюшки кардинала Перигора хотел удержать папу от издания необходимой буллы?

— Да, я отрицаю это, но не потому, что так хочу, а потому, что булла была дарована.

— Твоя ложь только доказывает твою вину, — ответил король. Из кожаной сумки, висевшей на поясе, он вытащил пергамент и показал его герцогу, не выпуская из своих рук. Это было его собственное письмо, посланное кардиналу Перигору, в котором он просил его сделать все, чтобы папа не подписал буллу, разрешающую коронацию Андре.

Король смотрел на белое, искаженное страхом лицо Карла с мрачной, внушающей ужас улыбкой.

— Ну-ка, попробуй теперь отрицать, — насмешливо проговорил он. — Отрицай также, что, соблазнившись титулом герцога Калабрийского, ты предложил свои услуги

королеве и переметнулся на мою сторону, только когда почувствовал опасность. Предатель, ты думал использовать нас как ступеньки на пути к трону, так же, как пытался использовать моего брата, не остановившись даже перед его убийством.

— Нет, нет! Я к этому не причастен. Я был его другом...

— Лжец! — Людовик ударил его по лицу.

В этот миг офицеры схватили герцога, опасаясь, как бы он не ответил на нанесенное ему оскорбление.

— Самое время, — сказал им Людовик и сухо добавил: — Кончайте с ним.

Карл издал крик, очень похожий на крик Андре на том же самом месте перед лицом смерти. Меч венгра насквозь пронзил грудь негодяя.

Офицеры подняли его тело с мозаичного пола лоджии, поднесли к ограде, как когда-то убийцы подтащили тело Андре, и швырнули в монастырский сад, туда, куда год назад был сброшен Андре.

XI

НОЧЬ НЕНАВИСТИ

Убийство герцога Гандийского

Кардинал вице-канцлер взял пакет, протянутый ему белокурым пажом, внимательно осмотрел его со всех сторон, сохраняя выражение невозмутимого спокойствия на своем изящно вылепленном, почти аскетичном лице аристократа.

— Мой господин, его принес человек в маске, не пожелавший назвать себя. Он ждет внизу.

— Человек в маске? Какая таинственность!

В задумчивых карих глазах кардинала мелькнул веселый огонек, тонкие пальцы надломили восковую печать на конверте, из которого выпало золотое кольцо, прокатившееся по черно-пурпурному восточному ковру. Юноша нагнулся и подал его своему господину.

Рассматривая кольцо, кардинал увидел, что на нем выгравирован герб дома Сфорца: лев и цветок айвы. То есть его собственный герб. Выражение темных задумчивых

глаз кардинала внезапно изменилось, он пристально посмотрел на пажа.

— Ты видел герб? — спросил он, и обычно ровная интонация его голоса стала жесткой.

— Я ничего не видел, господин мой, только кольцо, ничего больше. Но и его я не рассматривал.

Кардинал продолжал испытующе смотреть на пажа.

— Иди, приведи этого человека, — наконец произнес он. Юноша ушел, но вскоре появился снова и, отодвинув в сторону ковер, маскировавший дверь, впустил человека среднего роста, закутанного в черный плащ. Лицо его от подбородка до лба было скрыто темной маской, на фоне которой ярко выделялась золотистая шевелюра.

Кардинал сделал знак, и юноша удалился. Тогда гость, подойдя поближе, сбросил плащ, под которым оказалась богатая одежда из лилового шелка; на украшенном бриллиантами поясе висели шпага и кинжал. Он сорвал маску, открывая красивое, хотя и безвольное лицо. Джованни Сфорца, властитель Пезаро и Котиньола, отвергнутый муж мадонны Лукреции, дочери папы Александра.

Кардинал мрачно, но без удивления смотрел на своего племянника. Вначале он ожидал увидеть всего лишь посланца хозяина кольца. Но, разглядев очертания фигуры и длинные золотистые волосы, он сразу же распознал в вошедшем Джованни, еще до того, как тот снял маску.

— Я всегда считал тебя немного не в своем уме. Но не настолько же, — мягко сказал кардинал. — Что привело тебя в Рим?

— Необходимость, мой господин, — ответил молодой тиран. — Необходимость защитить свою поруганную честь.

— А твоя жизнь?

— Жизнь без чести бессмысленна.

— Звучит благородно. Так учат в школе. Но, рассуждая здраво... — Кардинал пожал плечами.

Джованни, однако, оставил эти слова без внимания.

— Неужели вы считаете, господин мой, что я должен смириться с положением изгнанника, над которым все потешаются? Что я не вправе отомстить этому гнусному папе, из-за которого я сделался мишенью для насмешек и героем анекдотов по всей Италии? — Лицо Джованни выражало неприкрытую ненависть.

— Неужели мне надо, по-вашему, оставаться в Пезаро,

куда я бежал, спасаясь от покушений на мою жизнь, и не предъявлять счета?

— Что у тебя на уме? — спросил дядя и с оттенком иронии добавил: — Уж не собираешься ли ты убить Святого Отца?

— Убить? — Джованни горько усмехнулся. — Разве мертвые страдают?

— Возможно, в аду, — ответил кардинал.

— Возможно. Но мне нужно знать наверняка. Я хочу сам быть свидетелем страданий, которые прольют бальзам на мою израненную честь. Я нанесу ему такой же удар, какой он нанес мне — по его душе, не по телу. Я раню его в самое больное место.

Асканио Сфорца, выглядевший в своей пурпурной мантии еще более высоким и стройным, чем был от природы, медленно покачал головой.

— Это безумие! Тебе лучше уехать обратно в Пезаро. В Риме тебя подстерегает опасность.

— Поэтому-то я прикрыл лицо маской. И пришел к вам, мой господин, чтобы найти здесь убежище, пока...

— Здесь? — резко переспросил кардинал. — Ты, очевидно, думаешь, что я так же безумен, как ты. Неужели ты не понимаешь, что, как только просочится слух о твоём пребывании в Риме, тебя будут искать прежде всего здесь. Если ты сделал свой выбор, если решил мстить за прежние оскорбления и не допустить новых, то я, твой родственник, не буду отговаривать тебя. Но здесь, в моем дворце, ты не можешь оставаться ради своей собственной безопасности. Донести может хотя бы тот паж, который привел тебя сюда. Я не могу поручиться, что он не видел герба на твоём кольце. Надеюсь, что не видел. Но если это не так, то о твоём прибытии уже известно.

Джованни смутился.

— Но если не здесь, то где же в Риме я могу быть в безопасности?

— Я думаю, что нигде, — с иронией ответил Асканио. — Ты можешь рассчитывать на Пико, разве что. Ваша общая ненависть к папе должна связать вас крепкими узами.

Итак, жребий был брошен. Ведомый роком, властелин Пезаро разыскал графа Антонио-Марию Пико Мирандолу в его дворце у реки, где, как и предвидел Асканио, Джованни ждал сердечный прием.

Здесь он прожил до конца мая, лишь изредка выходя из дворца и всегда в маске — это ни у кого не вызывало

удивления: в пятнадцатом столетии люди в масках на вечерних улицах Рима были обычным явлением. В беседах с Пико он не раз обсуждал свои планы, развивая ту же мысль, которую высказал кардиналу вице-канцлеру.

— Он ведь тоже отец — этот Отец Отцов, — сказал он как-то. — Нежный, любящий отец, чья жизнь в его детях. Он живет ими и для них. Лиши его детей — и жизнь станет пустой, бессмысленной, а сам он превратится в живой труп. Вот — Джованни, его любимец, зеница ока, он сделал сына герцогом Гандийским, герцогом Бенневенто, принцем Сесса, властителем Теано и еще Бог знает кем. Вот кардинал Валенсии, вот Жофре, князь Скуиллачи, и, наконец, моя жена Лукреция, которую папа украл у меня. Ты видишь, как много уязвимых пят у нашего Ахилла. С кого же мы начнем — вот в чем вопрос.

— И каким образом, — напомнил Пико.

На эти два вопроса ответила сама судьба, и сделала это очень скоро.

Властитель Пезаро вместе с Пико и его дочерью Антонией 1 июня отправились на виноградники Пико за город, на правый берег Тибра. Вечером, когда они уже собрались возвращаться в Рим, к графу подошел управляющий. Недавно он вернулся из дальней поездки и должен был что-то сообщить хозяину.

Пико попросил своего гостя вместе с Антонией и сопровождающими, не дожидаясь его, двигаться в путь, добавив, что вскоре их догонит. Но управляющий задержал Пико дольше, чем тот рассчитывал, поэтому, хотя компания довольно медленно двигалась к городу, Пико еще не было с ними, когда они приблизились к реке. На узкой улочке перед мостом они неожиданно столкнулись с величественной кавалькадой. Дамы и кавалеры держали соколов на запястьях, их сопровождали собаки. Джованни и Антония были вынуждены уступить дорогу.

Джованни хорошо разглядел только одного человека в этой процессии — высокого, прекрасно сложенного красавца в зеленом плаще, украшенном плюмажем берете на золотисто-каштановых волосах. Молодой человек, во взгляде которого проглядывала дерзость, казалось, не замечал в этот миг никого, кроме монны Антонии, полулежащей в своем паланкине, кожаные занавески которого были раздвинуты.

Властителя Пезаро охватило внезапное волнение: этот красивый кавалер был не кто иной, как герцог Гандий-

ский, старший и самый любимый сын его святейшества. Он заметил, как глаза герцога скользнули по его рукам, держащим поводья, и как герцог обернулся в седле и дерзко уставился на Антонию, которая покраснела под его неотрывным взглядом. И когда наконец паланкин двинулся дальше, он увидел через плечо, как один из всадников, очевидно, слуга герцога, покинул кавалькаду и последовал за ними. Этот слуга упорно ехал по пятам до самого квартала Парионе, очевидно, чтобы разузнать, где проживает прекрасная дама.

Джованни ничего не сказал об этом вернувшемуся несколько позже Пико. Он сразу же решил воспользоваться создавшимся положением, но совсем не был уверен, что Пико позволит использовать свою дочь как приманку. На самом деле Джованни и сам еще не знал, отважится ли он на такое. Но наутро, случайно выглянув из окна и из чистого любопытства решив выяснить, что за конь переступает с ноги на ногу на улице перед домом, он увидел всадника в богато расшитом плаще и сразу же узнал герцога. Он понял, что сама Судьба бросает этот жребий.

Не замеченный всадником, Джованни быстро отошел от окна. Он действовал так быстро и точно, как будто давно ждал того, что случилось. Так вышло, что только он и Антония были сейчас в этой комнате на антресолях. Он повернулся к ней.

— Какой-то странный всадник здесь, внизу, он как будто ждет кого-то. Вы его не знаете?

Она быстро подошла к окну, и он невольно залюбовался ею. Прекрасная девушка, бледность шла ей, подчеркивая глубину ее темных задумчивых глаз. В длинные черные локоны юной красавицы была вплетена украшенная драгоценностями золотая нить.

Антония взглянула вниз. Пока она внимательно следила за движениями кавалера, тот поднял голову. Их глаза встретились, и девушка, слабо вскрикнув, отпрянула от окна.

— Кто это? — спросил Джованни.

— Это нахал, который пялил глаза на меня вчера вечером на улице. Лучше бы вы не просили меня выглядывать.

Пока она смотрела в окно, осторожно подошедший к ней сзади Джованни увидел на столике эбенового дерева, стоявшем посреди комнаты, вазу с розами. Тихонько оторвал он цветок и спрятал у себя за спиной. Как только

девушка отвернулась, он бросил цветок в окно. И, смеясь в глубине полной ненависти и презрения души при мысли о том, что герцог Гандийский прижимает эту розу к своей груди, он вслух смеялся над ее страхами, говоря об их беспочвенности.

Ночью в своей спальне Джованни тщательно и кропотливо подделывал почерк Антонии, пользуясь тем образцом, которым, не чувствуя подвоха, снабдила его сама девушка. Удовлетворенный, он лег спать, размышляя о том, что смерть человека должна соответствовать образу его жизни. Джованни Борджа, герцог Гандийский, всегда был очаровательным распутником, беззаботным сластолюбцем, в погоне за удовольствиями пренебрегавшим осторожностью, и это качество должно было привести его к гибели. Джованни Борджа был для своего отца дороже всего на свете. И, как только герцог сам, по собственной воле, засунет свою дурацкую голову в петлю, мститель с удовольствием затянет ее покрепче, воздавая за все зло, причиненное ему.

Наутро Сфорца бесстрашно явился в Ватикан, чтобы лично вручить поддельное письмо герцогу. Маска вызвала подозрения и страхи, и его спросили, кто он и откуда.

— Передайте, что прибыл некто, желающий остаться неизвестным, с письмом герцогу, которому его светлость будет чрезвычайно рад.

Служитель весьма неохотно отправился передать это сообщение. Вскоре Сфорца провели в великолепные покои, временно занимаемые герцогом Гандийским.

Герцог только что встал. С ним был его брат, молодой кардинал Валенсии, одетый в плотно облегающий черный костюм, подчеркивающий изящные классические пропорции его тела. Поверх одежд был накинут пурпурный шелковый плащ, напоминавший о его духовном сане.

Джованни отвесил низкий поклон и, стараясь говорить зычно и басовито, чтобы не быть узнанным по голосу, в одном предложении изложил цель своего прихода.

— От Дамы роз, — сказал он, протягивая письмо. Кардинал сначала изумился, затем разразился громким хохотом. Лицо герцога вспыхнуло, глаза блеснули. Он схватил письмо, сломал печать, быстро прочел его, схватил перо и сел писать. Кардинал некоторое время молча наблюдал за ним, не скрывая насмешку, затем подошел и положил руку на плечо герцога.

— Сколько тебя учиться, — сказал более изощренный

в интригах Цезаре. — Никогда не оставляй следов, если можешь пожалеть, что оставил их.

Герцог Гандийский посмотрел в прекрасное, юное, умное лицо брата.

— Ты прав, — сказал он, скомкав письмо, и в некотором смущении взглянул на посланца.

— Я доверенное лицо мадонны, — сказал человек в маске.

Герцог встал.

— Тогда скажите... скажите, что ее письмо доставило мне неземное блаженство и что я жду ее приказаний, чтобы явиться лично и выразить мои чувства. Но попросите ее поторопиться, ибо через две недели я уеду в Неаполь, а оттуда, возможно, сразу же возвращусь в Испанию.

— Мы устроим встречу, ваша светлость. Я сам сообщу вам, где и когда.

Герцог горячо благодарил его и при расставании в знак своего чрезвычайного благоволения подарил ему кошелек с пятьюдесятью дукатами, который Джованни спустя десять минут, проходя по мосту Святого Ангела², выбросил в Тибр.

Властитель Пезаро не торопился. Он понимал, что молчание и проволочки разожгут нетерпение герцога, а пылкие нетерпеливые юноши обычно забывают об осторожности. Тем временем Антония сообщила своему отцу, что величавый незнакомец, который так оскорбительно смотрел на нее в тот вечер, на следующее утро в течение часа маячил под ее окном. Пико рассказал об этом Джованни, и тот откровенно сказал:

— Это был мой распутный шурин, герцог Гандийский. Если бы он продолжал преследования, я должен был бы посоветовать вам присматривать за своей дочерью. Однако у него, несомненно, много других важных дел. Он собирается отправиться в Неаполь, сопровождая своего брата Цезаре, который, как папский легат, будет короновать Федерико Арагонского.

На этом разговор был окончен, и больше никто ничего не слышал об этом деле до ночи 14 июня, самого кануна отбытия братьев Борджа в Неаполь.

Закутанный в плащ, в маске, Джованни отправился в этот вечер после захода солнца в Ватикан, надеясь на прием у герцога. Однако ему ответили, что того нет, он отправился навестить свою мать, на вилле которой в

Трастевере останется ужинать. По-видимому, вернется он очень поздно.

Вначале Джованни испугался, что может опоздать, если отложит исполнение своего замысла до одиннадцати часов. Поэтому он сразу же отправился пешком на виллу мадонны Джованны де Каттаней. Он пришел в десять часов, и ему сообщили, что герцог все еще здесь и ужинает. Слуга пошел доложить герцогу, что его желает видеть человек в маске. Эта весть мгновенно привела Борджа в состояние сильного возбуждения. Он приказал немедленно привести этого человека.

Властителя Пезаро провели через весь дом в сад, к беседке, уютной виноградом, где на свежем воздухе был накрыт роскошный стол, освещенный алебастровыми лампами. За столом он увидел компанию знатных людей, своих свойственников. Здесь был герцог Гандийский, который торопливо поднялся ему навстречу; он увидел Чезаре, кардинала Валенсии, который должен был отправиться завтра в Неаполь как папский легат, на нем были одежды, расшитые золотом и драгоценностями, совершенно мирские. Был здесь и их младший брат Жофре, князь Скуиллачи, красивый юноша; рядом с ним сидела его жена, чуждая условностей донна Санча Арагонская, смуглая, с грубыми чертами лица, толстая, несмотря на молодость. Здесь же была прежняя жена Джованни, красивая златовласая Лукреция, невольная причина той ненависти, что бушевала в душе властителя Пезаро. Здесь также находилась их мать, знатная и красивая Джованна де Каттаней, от которой все Борджа унаследовали свои золотисто-каштановые волосы; и, наконец, здесь был их кузен Джованни Борджа, кардинал Монреале, тучный и багровый. Он сидел рядом с мадонной.

Все обернулись, чтобы взглянуть на незваного гостя в маске, который сумел привести в такое волнение их любимого герцога Гандийского.

— От Дамы роз, — тихо объявил герцогу Джованни.

— Да, да, — последовал нетерпеливый ответ. — Что вы можете сказать?

— Сегодня ночью ее отца не будет дома. Она будет ждать вашу светлость в полночь.

Герцог глубоко вздохнул.

— Силы небесные! Вы едва не опоздали. Я почти потерял надежду, мой друг, мой самый лучший друг. Сегодня ночью! — Он произнес это почти в исступле-

нии. — Подождите здесь. Вы сами проводите меня. Пойдемте отужинаем.

Хлопком в ладоши он вызвал слуг.

Подошли дворецкий и два мавританских раба в зеленых тюрбанах, на чье попечение передал герцог посетителя в маске. Однако Джованни не желал их услуг. Он не собирался ни есть, ни пить. Ненависть помогла ему запастись терпением на два долгих часа ожидания, пока его глупая жертва наслаждалась ужином.

Наконец, незадолго до полуночи, все покинули виллу — герцог, его брат Чезаре, их кузен Монреале, многочисленные слуги и свита. Они возвращались в Рим верхом, все Борджа были очень веселы. Рядом с ними шагал человек в маске.

Когда подъехали к мосту, где их пути должны были разойтись, здесь, напротив дворца кардинала вице-канцлера, герцог Гандийский натянул поводья. Он объявил, что дальше не поедет, оставил при себе одного слугу и попросил родных возвратиться в Ватикан и ждать его там.

В ответ донесся смех Чезаре, и кавалькада двинулась к папскому дворцу. Герцог обернулся к человеку в маске, предложил ему сесть на круп его лошади, и когда тот сел, медленно двинулись по направлению к Джудекке, сопровождаемые идущим рядом единственным слугой Борджа.

Как предложил Джованни, они направились не к парадному входу здания, а по узкой аллее к садовой калитке. Здесь спешили, бросив поводья слуге и наказав ему ждать. Джованни вынул ключ, открыл калитку и провел герцога в глубину темного сада. Каменная лестница вела к крытой галерее на антресолях, и Джованни, соблюдая осторожность, повел герцога по ней. Затем он достал другой ключ и открыл им дверь лоджии, ведущей к прихожей мадонны Антонии. Он придержал дверь для герцога, который, узрев впереди кромешную тьму, впал в некоторую нерешительность.

— Входите, — сказал Джованни. — Ступайте тихо. Мадонна ждет вас.

Забыв об осторожности, ничего не подозревающий герцог вошел в комнату и очутился в западне.

Джованни вошел следом за ним, закрыл дверь и запер ее. Герцог, стоявший в непроглядной тьме с бьющимся от волнения сердцем, внезапно почувствовал, как его заключают в объятия, однако вовсе не такие приятные,

как он ожидал. Сильные мужские руки обхватили его, мускулистая нога обвилась, как змея, вокруг ноги. Падая под тяжестью тела своего невидимого противника, герцог услышал громкий крик:

— Сеньор Мирандола! Ко мне! Помогите! Воры!

Внезапно открылась дверь. Мрак рассеялся, и скрученный по рукам и ногам герцог увидел лицо девушки, чья влекущая красота заставила его пойти на это рискованное приключение, смертельной опасности которого он все еще не сознавал. Однако, взглянув на лицо мужчины, боровшегося с ним и прижавшего его к полу, он, наконец, начал понимать или, по крайней мере, догадываться, что произошло. Ведь это лицо, уже не прикрытое маской, но обрамленное пышными золотистыми волосами и искаженное невыразимой ненавистью, было лицом Джованни Сфорца, властителя Пезаро, которого так страшно опозорило его семейство. Голос Джованни Сфорца произносил сейчас ему свой приговор:

— Благодаря тебе и твоим родственникам я превратился в посмешище. Ты и сам насмехался надо мной. Иди же смеяться в ад!

В руке Джованни сверкнул клинок. Герцог поднял руку, чтобы прикрыть грудь, но лезвие пронзило ее. Он издал крик, полный ужаса и боли. В смехе Джованни слышались нотки ненависти и торжества. Убийца ударил снова, на этот раз в плечо.

Пронзительный крик Антонии разнесся по всему дому. Затем раздался громкий ликующий голос Джованни:

— Пико! Пико! Сеньор Мирандола! Присмотрите за дочерью!

Раздались шаги и голоса, зажглись огни, осветившие комнату, и, словно в тумане, сгустившемся перед его глазами, первенец дома Борджа увидел бегущих мужчин, полуодетых, с оружием в руках. Однако для него уже не имело значения, что было у них на уме — убийство или спасение. Было слишком поздно. Десять раз клинок Джованни пронзал герцога, но тот сопротивлялся, и убийца, вынужденный крепко держать свою жертву, никак не мог поразить ее прямо в сердце. Поэтому, когда начали собираться люди, Джованни перерезал герцогу горло, завершив начатое.

Он поднялся, весь в крови. Вид его был настолько страшен, что Пико подбежал к Джованни, подумав, уж не ранен ли он. Но Джованни рассмеялся, и Пико

успокоился. Кинжалом, с которого капала кровь, мститель указал на распростертое тело.

— Это его кровь — грязная кровь Борджа!

Услышав это имя, Пико вздрогнул, и на лицах сопровождавших его слуг появилось выражение ужаса. Граф посмотрел на залитое кровью тело герцога, лежащего теперь так спокойно; невидящий взор остекленевших глаз был устремлен на украшенный фресками потолок, а сам герцог выглядел и роскошно, и жалко в своей расшитой золотом одежде из белого атласа, с бриллиантовым поясом, на котором висели перчатки, кошелек и сверкающий самоцветами кинжал, бесполезный теперь.

— Герцог Гандийский? — воскликнул граф. — Как он здесь оказался?

— Как?

Джованни показал окровавленной рукой на открытую дверь комнаты Антонии.

— Вот что было приманкой, мой господин. Выйдя подышать воздухом, я увидел, как он крался сюда, и принял его за вора, каковым он и был. Но только вором, крадущим честь. Достойный отпрыск своего семейства. Я последовал за ним, и вот он лежит здесь.

— Бог мой! — воскликнул Пико. Потом хрипло спросил: — А Антония?

Джованни резко ответил:

— Она все видела, но ничего не поняла.

И добавил уже другим тоном:

— А теперь, Пико, поднимайте весь город. Пусть все знают, что герцог Гандийский умер смертью вора. Я хочу, чтобы все видели, каково оно, отродье Борджа.

— Вы сошли с ума! — воскликнул Пико. — Думаете, я подставлю свою шею под нож?

— Вы поймали его здесь ночью, и у вас было полное право убить его.

Пико окинул лицо Джованни долгим пытливым взглядом. Действительно, все рассказанное им как будто полностью согласовалось с недавними событиями и жалобами Антонии. Но Пико знал о вражде между Сфорца и Борджа, и ему показалось подозрительным то обстоятельство, что Джованни оказался способен во всеоружии встретить «вора» и защитить честь дома Мирандола. Однако он не стал задавать никаких вопросов. Он был убежден, что любое событие надо принимать как должное и благодарить судьбу. Ну, а что касается предложения Джованни объявить Риму, что он осуществил свое право

убить этого Тарквиния³, то Мирандола не собирався следовать ему.

— Что сделано, то сделано, — многозначительно сказал он. — Удовлетворимся этим. Однако теперь нужно за-мести все следы.

— Вы будете хранить молчание? — воскликнул Джованни, явно разочарованный.

— Я не дурак, — ответил Пико.

— А эти ваши люди?

— Это мои верные друзья, которые помогут вам уничтожить все улики.

И он удалился, призывая дочь, отсутствие которой беспокоило его. Не получив ответа, Пико вошел к ней в комнату и увидел ее лежащей в обмороке на кровати. Ужасная сцена, свидетельницей которой стала девушка, оказалась слишком тяжелой для нее.

Сопровождаемый тремя слугами, тащившими тело, Джованни осторожно прошел через сад. Возле калитки он оставил слуг ждать, сказав, что пойдет посмотреть, нет ли кого на берегу. Затем открыл калитку и тихо подошел пажа:

— Подойди ко мне!

Паж тут же вынырнул из темноты и предстал перед ним. Джованни молниеносно вонзил свой кинжал в грудь юноши. Он сожалел, что вынужден так поступить, но избежать этого было невозможно: оставить слугу в живых значило бы уже на следующее утро попасть в руки папской стражи.

Паж с глухим стоном упал и затих. Джованни оттащил его в сторону, к стене, туда, где другие слуги не могли его увидеть, и, позвав их, приказал следовать за собой дальше.

Выйдя из сада, слуги увидели Джованни сидящим на прекрасном белом коне, том самом, на котором герцог Гандийский ехал навстречу своей смерти.

— Положите его на круп, — приказал Сфорца слугам.

Они повиновались. Процессия двинулась по тропинке к реке. Один слуга шел позади, следя за тем, чтобы тело не соскользнуло с крупа коня, другой впереди, оглядывая окрестности. У входа в аллею Джованни натянул поводья и остановился, чтобы шедший впереди слуга мог подняться на берег реки и осмотреться.

Слуга никого не заметил. Но один человек их все же видел. Это был Джорджо, торговец лесом, который лежал в своей пришвартованной к берегу лодке. Через три дня

он донес обо всем, чему стал свидетелем. Он рассказал, как увидел человека, вышедшего из аллеи и озиравшегося по сторонам; как этот человек исчез, а затем снова появился, но уже вместе с каким-то всадником с ношей и еще двумя людьми; как они сняли тело с крупа коня и под возгласы «раз-два!» бросили его в реку; как всадник спросил этих людей, далеко ли они бросили тело и попадет ли оно на середину русла. Как они ответили: «Да, синьор». Когда же торговца спросили, почему он не сразу сообщил об увиденном, он объяснил, что не усмотрел в случившемся ничего примечательного, поскольку за свою жизнь видел больше сотни трупов, сброшенных ночами в Тибр.

...Вернувшись к калитке сада, Джованни приказал слугам далее следовать без него. Ему надо было сделать еще кое-что. Когда слуги удалились, он спешил к телу пажа, которое оставил около стены. Надо было убрать и его. Обрезав стремя, Джованни привязал конец ремня к руке мертвеца, снова сел на коня и потащил труп за собой, но так, что при малейших признаках тревоги его можно было мгновенно оставить на месте. Он проехал совсем немного, до Пьяцца-делла-Джудекка. Здесь, в самом центре еврейского квартала, он оставил тело. Дальнейшие его действия нам почти неизвестны. Возможно, он решил вернуться в дом Пико делла Мирандола, но по дороге его что-то испугало. Это вполне естественно: ведь Джованни мог бояться, что не все улики уничтожены. Или кто-то видел герцога, подъезжавшего к дому. Так или иначе, Джованни развернул коня и поехал искать убежища у своего дяди, вице-канцлера.

Коня герцога он отпустил на какой-то темной улице, где тот и был найден спустя несколько часов. После этого по городу поползли слухи, которые еще более усилились, когда было обнаружено тело пажа. Тогда вооруженные солдаты принялись усердно прочесывать Рим, особенно район Джудекки. Поиски продолжались два дня, пока наконец не появился лодочник Джорджо, рассказавший о том, что видел. Когда убитый горем папа услышал об этом, он приказал тщательно обследовать дно реки. Несчастный герцог Гандийский был выловлен сетью, что дало повод бессердечному Саназаро сочинить ужасную эпиграмму, в которой папа сравнивался со Святым Петром, «ловцом душ».

Те, кто задумывался о мотивах убийства, сразу же называли Джованни Сфорца в качестве вероятного преступника. А он был уже далеко от Рима, во весь опор

несясь к себе, в Пезаро, в поисках убежища. Упоминали также имя кардинала Асканио Сфорца, который тоже бежал, поскольку боялся, что его паж видел вензель на кольце человека в маске. Даже охранная грамота папы, в которой тот выражал уверенность в невинности кардинала, не заставила его вернуться в Рим.

Впоследствии народная молва по очереди обвиняла многих; по сути дела, всех, кто в той или иной степени мог быть причастен к преступлению, при этом кое-кому приписывались самые фантастические и невероятные мотивы. Не сомневаясь в правдивости слухов о распутности и сластолюбии покойного герцога, власти однажды были столь близки к раскрытию подлинных обстоятельств его убийства, что подвергли обыску дом графа Пико Мирандолы. Пико обратился к папе, протестуя против измышлений, способных опорочить доброе имя его дочери.

Тайна так и осталась неразгаданной, и преступник не предстал перед судом. Мы знаем, что, убивая герцога Гандийского, полный ненависти Джованни Сфорца метил не в него самого, а в его отца. Его целью было нанести папе Александру страшную незаживающую рану, и, хотя его месть свершилась не полностью, поскольку Джованни не мог открыто объявить о ней, он, по крайней мере, был уверен, что нанес ужасный удар дому Борджа. Как и вся Италия, он слышал от людей, проходивших по мосту Святого Ангела, как папа, увидев тело своего сына, выловленное из Тибра, ревел от горя, будто раненый бык. Вопли его долетали от замка до моста. Джованни рассказали, как прежде красивый и полный энергии папа шел 19-го числа того же месяца на заседание консистории. Он брел шаткой походкой почти парализованного человека, горестно повторяя сквозь рыдания: «Даже если бы мы имели семь папских престолов, мы отдали бы их, чтобы вернуть герцога к жизни».

Казалось, Джованни мог быть удовлетворен. Но нет. Не так-то легко было унять жгучую ненависть к тем, кто унизил его. Он ждал удобного случая, чтобы нанести новый удар. Такая возможность представилась год спустя, когда Чезаре Борджа отказался от звания кардинала, поменяв его на светские должности и титул герцога Валентинуа. Именно тогда Джованни решил использовать смертоносное оружие клеветы. Он распустил слухи, будто именно Чезаре убил брата, побуждаемый честолюбием и другими мотивами, которые разделяли все члены семейства Борджа.

Когда люди достигают таких высот, как Чезаре Борджа, они неизбежно наживают врагов. Злобная клевета была принята за истину, несмотря на всю ее нелепость, и попала во все хроники. В течение четырехсот лет эта ложь присутствовала в исторических сочинениях, вызывая отвращение к самому имени Борджа. Никогда еще возмездие не было таким жестоким и долговечным. И только сейчас, в двадцатом столетии, беспристрастные историки разоблачили фальшь этого обвинения.

ХИ

НОЧЬ ПОБЕГА

Бегство Казановы из Пьомби

Влияние общества позволило Казанове в августе 1756 года покинуть отвратительную камеру в тюрьме Пьомби, в которой он провел тринадцать месяцев. Тюрьма называлась так потому, что размещалась она прямо под свинцовой крышей и была просто-напросто чердаком Дворца дождей.

Эта камера, куда лишь ненадолго проникал дневной свет, мало чем отличалась от собачьей конуры, а потолок в ней был таким низким, что высокий ростом Казанова мог стоять там, только согнувшись. Теперь же место его заточения было сравнительно просторным, воздух здесь был посвежее, и зарешеченное окно, из которого можно было видеть Лидо, давало достаточно света.

Тем не менее, он был сильно огорчен этим переселением, поскольку приготовления к побегу из прежней камеры уже близились к концу. Единственным лучиком надежды в этом море безысходности было то, что он не лишился инструмента, который был надежно спрятан под обивкой кресла, переехавшего вместе с Казановой в его нынешнее обиталище. Этот инструмент он изготовил сам из дверного засова длиной около двадцати дюймов, который нашел в куче ненужных вещей в углу чердака, где раз в день ему разрешали немного размяться. Используя в качестве точильного камня кусок черного мрамора, добытый там же, он превратил этот засов в подобие острого восьмигранного зубила или своеобразной пики.

Это орудие осталось у него, но теперь, когда подозрения тюремщика Лоренцо усилились и двое стражников ежедневно приходили простукивать пол и стены, воспользоваться им Казанова не мог. Правда, они не простукивали потолок, до которого можно было дотянуться рукой. Тем не менее, незаметно продолбить в нем дыру не было никакой возможности.

Вот почему Джакомо уже не чаял вырваться из тюрьмы, где он провел больше года без суда и даже без надежды, что суд состоится, и где, похоже, ему предстояло провести остаток своей жизни. Он даже не знал точно, почему его арестовали. Джакомо Казанова было известно лишь, что его считали смутьяном. Он «прославился» как распутник, игрок, был по уши в долгах. К тому же — это было уже серьезнее, — его обвинили в колдовстве, а он действительно этим занимался, играя на легковерии простаков. Он мог бы объяснить инквизиторам Светлейшей республики¹, что магические книги, которые у него нашли — «Ключица Соломона», «Зекор-бен» и другие — он собирал всего лишь как забавные примеры человеческого суеверия. Но вряд ли инквизиторы поверили бы ему — они воспринимали магию всерьез. Однако никаких объяснений не потребовалось; его просто бросили в мерзкую крысиную нору, крытую свинцом, где оставили до тех пор, пока один благородный друг не добился для него милостивого разрешения на перевод в более сносное помещение.

Казанова был человеком с железными нервами и железным здоровьем. Красив какой-то особой, дерзкой красотой. Ему едва исполнился двадцать один год, но выглядел он старше, ибо приобрел на жизненном пути авантюриста столько опыта, сколько большинство людей не наберет и за полвека.

Позже, благодаря той же поддержке, которая помогла ему перебраться в другую камеру, он получил еще одну привилегию, ценимую им превыше всего: книги. Желая приобрести труды Маффеи², он упросил своего надзирателя купить их, хотя они и не входили в список книг, разрешенных ему инквизиторами. Согласно венецианским обычаям, этот список составлялся в соответствии с рангом сословия, к которому принадлежал узник. Книги стоили недешево, и весь остаток от ежемесячных расходов становился собственностью тюремщика, поэтому Лоренцо, пусть и с неохотой, баловал Джакомо. Как-то он сказал,

что этажом выше сидит узник, у которого много книг, и он, без сомнения, был бы рад обмениваться ими.

Согласившись на это предложение, Казанова вручил Лоренцо экземпляр «Рационария» Пето³ и на следующее утро получил первый том Вольфа⁴. Внутри он обнаружил листок, содержащий в шести строфах парафраз эпиграммы Сенеки «*Calamitosus est animus futuri anxius*»^{*}. Он тут же понял, что нашел способ сообщения с тем, кто мог бы помочь ему совершить побег.

В ответ, будучи ученым плутом (он получил духовное образование), Казанова тоже написал шесть строф. Не имея пера, он заострил длинный ноготь на мизинце, расщепил его и получил то, что хотел. Вместо чернил он использовал сок тутовых ягод. Помимо стихов он написал перечень имевшихся у него книг, которые мог бы предоставить своему собрату-узнику. Он спрятал исписанный листок в корешок кожаного переплета томика, а на титульном листе, чтобы обратить на это внимание адресата, написал единственное латинское слово: «*Latet*»^{**}. Наутро Джакомо отдал книгу Лоренцо, сказав, что уже прочитал ее, и попросил второй том.

Второй том пришел на следующий день, и в корешке его было длинное письмо, несколько листов бумаги, перья и карандаш. Писавший сообщал, что его зовут Марино Бальби, что он монах, провел в этой тюрьме четыре года и делит камеру с товарищем по несчастью, графом Андреа Аскино. Так началась регулярная и обстоятельная переписка между заключенными, и вскоре Казанова, который никогда не полагался на авось, смог трезво оценивать характер Бальби. Послания монаха обнаружили всю его чувствительность, глупость, неблагодарность и неосторожность.

«Вне стен тюрьмы, — пишет Казанова в своих мемуарах, — я бы не стал иметь никаких дел с таким человеком. Но в Пьюмби мне приходилось извлекать пользу из всего, что было под рукой».

Он захотел убедиться, способен ли Бальби сделать для него то, чего Джакомо не мог сделать сам. Он задал этот вопрос в одном из писем.

Бальби ответил, что они с графом Аскино готовы сделать все возможное, чтобы покинуть эту тюрьму, но

* «Несчастлива душа, исполненная забот о будущем» (лат.).

** Сокрыто (лат.)

тут же добавил, что сделать ничего нельзя, потому что у них просто не хватает для этого изобретательности.

«Все, что от тебя требуется, — писал Казанова в ответ, — это пробить потолок моей камеры, дать мне возможность выбраться из нее, а потом уж поверь, я вытащу тебя из Пьюмби. Если ты готов сделать это, я дам тебе средства и укажу способ побега».

Это было решение, достойное игрока и авантюриста.

Он знал, что камера Бальби находится под самой свинцовой крышей, и надеялся, что, попав туда, быстро найдет способ вырваться наружу через кровлю. Камера Бальби соседствовала с узким коридором, скорее, даже шахтой для света и воздуха, которая проходила непосредственно над камерой Казановы. Как только Бальби ответил согласием, Казанова объяснил, что надо делать. Бальби должен пробить лаз в стене между своей камерой и шахтой, и затем выдолбить круглую дыру в полу — точно так же, как сделал Казанова в своей прежней камере, — с таким расчетом, чтобы покрытие потолка в камере Казановы осталось нетронутым. Покрытие может быть разрушено десятком ударов, но в последнюю очередь, когда придет время бежать.

Для начала он велел Бальби приобрести два-три десятка изображений святых и повесить их на стены камеры так, чтобы прикрыть то место, где будет лаз в стене.

Как только Бальби сообщил, что увесил свои стены образами, возникла новая сложность. Как же передать ему зубило? Сделать это было нелегко, а глупость монаха была столь велика, что даже его дурацкие предложения не могли проиллюстрировать всю ее чудовищность. Наконец Казанова придумал способ. Он уговорил Лоренцо купить большое, только что вышедшее издание Библии. В корешок этой огромной книги он и запрятал острое зубило. Так инструмент оказался у Бальби, который тут же приступил к работе.

Произошло это в начале октября. Восьмого числа Бальби написал, что после целой ночи упорной работы ему удалось вынуть один-единственный кирпич. Слабохарактерный монах был настолько обескуражен, что уже собирался бросить дальнейшие попытки, которые, как ему казалось, приведут только к суровому наказанию.

Казанова решительно ответил, что уверен в успехе, хотя у него было крайне мало оснований для такой уверенности. Он убедил монаха продолжать кропотливую работу, говоря, что дальше дело пойдет легче. Так оно

и оказалось, Бальби вскоре обнаружил, что кладка легко поддается разбору. Спустя неделю, рано утром Казанова услышал три легких удара у себя над головой — это был условный сигнал, который подтвердил, что их представления о планировке тюрьмы были верны.

Весь этот день Джакомо слышал, как Бальби работает прямо над ним, и весь следующий. А потом Бальби сообщил, что, поскольку пол всего в две доски толщиной, он рассчитывает закончить работу на другой день, оставив потолок нетронутым.

Но фортуна, казалось, потешалась над Джакомо, вознося его к высотам надежды и тут же низвергая в бездну отчаяния. Накануне побега из прежней камеры коварный случай нарушил его планы, и теперь, когда Казанова считал, что стоит на пороге свободы, злая судьба снова расстроила их.

Ранним утром у него перехватило дыхание и кровь застыла в жилах от звука открываемых засовов. Ему достало самообладания два раза постучать в потолок, что было сигналом тревоги, и Бальби мгновенно прекратил работу.

Вошли Лоренцо с двумя стражниками, которые вели мрачного, тощего, маленького человечка. На вид ему лет сорок-пятьдесят, одежда его была потрепана, а на голове красовался круглый черный парик. По решению суда он стал соседом Казановы по камере. Извинившись за то, что вынужден оставить этого негодяя в компании Казановы, Лоренцо удалился, и новичок, встав на колени и вытащив четки, начал молиться.

С отвращением и отчаянием Казанова рассматривал незваного гостя. Отвращение его усилилось, когда этот человек, которого звали Сорадичи, откровенно признался, что был шпионом на службе у Совета десяти⁵. Он горячо защищал свое поприще от нападок. И, по его мнению, был наказан несправедливо. Его бросили в тюрьму за то, что он поддался на подкуп и не выполнил свои обязанности.

Вы понимаете, что чувствовал Казанова — он не знал, долго ли это «чудовище», как он называл своего соседа, будет сидеть в его камере — еле сдерживаемое нетерпение, боязнь, что планы побега раскроются, причем риск возрастал с каждым днем задержки! Пока шпион спал, он написал Бальби, и их работа остановилась. Но ненадолго. Вскоре Казанова придумал, как использовать в своих целях слабости, обнаруженные в характере Сорадичи.

Шпион был до смешного суеверен. Он проводил в

молитве долгие часы, охотно говорил о своей огромной любви к Пречистой Деве и горячей вере в чудеса.

Казанова — великий обманщик — тут же решил устроить чудо для Сорадичи. Улучив момент, он торжественно сообщил шпиону о посетившем его во сне откровении. Набожность Сорадичи будет вознаграждена. Ему будет ниспослан ангел, дабы забрать его из тюрьмы на небо, а Казанова станет сопровождать их в полете.

Если Сорадичи и сомневался, то вскоре последовало подтверждение. Казанова предсказал тот час, когда ангел придет ломать стены тюрьмы, и именно в этот час сверху послышался шум, производимый ангелом — естественно, Бальби. Сорадичи впал в состояние слепого благоговения и страха одновременно.

Четыре часа спустя, однако, ангел прекратил свои труды, и Сорадичи охватили сомнения. Казанова объяснил ему, что ангелы, спускаясь на землю, иногда принимают человеческий облик и испытывают такие же трудности в работе, что и обычные люди. Он также предрек, что ангел вернется в последний день месяца, накануне дня Всех Святых, и тогда освободит их из заточения.

Итак, Казанова больше не боялся предательства со стороны окончательно одураченного Сорадичи, который проводил теперь все свое время в молитвах, плакал, калялся в грехах и возносил благодарность неиссякаемой милости Божьей. Для пущей уверенности Казанова произнес страшную клятву: если Сорадичи скажет хоть слово надзирателю и тем самым нарушит промысел Божий, он тут же собственноручно задушит шпиона.

Рано утром 31 октября Лоренцо, как всегда, заглянул к ним в камеру. После его ухода узники провели несколько долгих часов. Сорадичи был обуюн священным трепетом, Казанове не терпелось приступить к делу. Приблизительно в полдень наверху раздалась тяжелые удары, а потом, в облаке пыли от разбитой штукатурки и в лавине обломков досок посланник небес неловко опустился прямо на руки Казанове.

Сорадичи увидел, что облик этого создания, высокого, изможденного, бородатого, облаченного в грязную рубаху и кожаные штаны, был отнюдь не ангельский, а скорее, дьявольский.

Когда пришелец вытащил ножницы, чтобы шпион состриг Казанове бороду, которая, как и у ангела, отросла за время заточения, Сорадичи утратил последние иллюзии по поводу небесного происхождения Бальби. Несмотря на

все свое недоумение — шпион не догадывался о переписке между Бальби и Казановой, — он понял, что его надули.

Оставив Сорадици на попечение монаха, Казанова устремился сквозь пробитый потолок в камеру Бальби, где впервые увидел графа Аскино. Граф был довольно тучным человеком средних лет и не смог бы выполнить все те гимнастические упражнения, которые предстояло проделать беглецам. Впрочем, он сам это прекрасно понимал. Но Казанова приуныл.

— Если вы намерены, — сказал граф, пожимая руку Казанове, — проломить крышу и спуститься с нее, я не думаю, что это удастся вам без помощи крыльев. Я не могу составить вам компанию, — добавил он. — Останусь здесь и буду молиться за вас.

Казанова понял, что пытаться убедить графа — значит впустую тратить время, и покинул камеру. Приблизившись, насколько возможно, к краю чердака, он присел под скатом крыши. Попробовал своим зубилом балки, которые оказались настолько прогнившими, что едва не рассыпались от его прикосновения. Убедившись, что пробить дыру будет несложно, он вернулся к себе в камеру, где следующие четыре часа провел, изготавливая веревки. Он разодрал простыни, одеяла, покрывала, даже оболочку матраца, с предельной тщательностью связывая полосы. Наконец у него получилось около двухсот метров веревки, вполне годной для дела.

Казанова собрал в узел свой прекрасный камзол из тафты, в котором его арестовали, шелковый плащ, несколько пар носков, рубашки и носовые платки, затем вместе с Бальби и Сорадици, которого они насильно увели с собой, перебрался в другую камеру. Оставив монаха собирать пожитки, Казанова отправился разбирать крышу. Впотьмах он проделал дыру, в два раза большую, чем было необходимо, и расчистил доступ к свинцовым листам, которые устилали крышу. Не сумев приподнять лист одной рукой, он позвал на помощь Бальби, и вдвоем, при помощи зубила, которое Казанова вставил между краем листа и водосточным желобом, они смогли сорвать заклепки. Потом, упершись плечами в лист, они отогнули его край, открыв себе проход, и увидели небо, залитое ярким светом молодой луны.

Было рискованно выбираться сейчас на крышу, где их могли заметить, надо было ждать до полуночи, пока не зайдет луна. Они опустились обратно в камеру, где остались Сорадици и граф Аскино.

От Бальби Казанова знал, что Аскино, хотя ему и передавали в тюрьму достаточно денег, был очень скуп. Тем не менее, поскольку деньги были нужны, Казанова попросил у графа в долг тридцать золотых цехинов⁶. Аскино мягко ответил, что во-первых, им не нужны деньги для побега, во-вторых, у него большая семья, в-третьих, если Казанова погибнет, деньги пропадут, и в-четвертых, у него нет денег.

«Моя ответная речь, — пишет Казанова, — продолжалась полчася».

«Позвольте напомнить вам, — заявил он в конце своей проповеди, — о вашем обещании молиться за нас, и позвольте спросить, какой смысл молиться за то, чему вы сами никак не хотите способствовать?»

Старик был побежден красноречием Казановы и предложил ему два цехина, которые Казанова принял, ибо в его положении не следовало отказываться ни от чего.

После этого, пока они сидели и ждали захода луны, Казанова убедился в правильности своей оценки характера монаха. Бальби разразился оскорбительными упреками. Он обнаружил, что Казанова обманул его, уверяя, будто разработал план побега. Знай он, что это просто уловка игрока, ни за что не стал бы трудиться, чтобы выпустить его из камеры. Граф принялся советовать им вовсе бросить эту затею, обреченную на неудачу, и, заботясь о так неохотно отданных им цехинах, приводил пространные доводы. Подавляя в себе неприязнь, Казанова уверил их, что не имел возможности подробно изложить план побега, однако ничуть не сомневается в успехе.

В половине одиннадцатого он отправил Сорадичи, который все это время хранил молчание, взглянуть на небо. Шпион пробормотал, что через час-другой луна зайдет, но поднимается густой туман, из-за которого на крыше станет очень опасно.

— Туман — не масло, все в порядке, — сказал Казанова. — Пойдите увяжите в узел свои вещи. Пора выходить.

Но в этот миг Сорадичи рухнул в темноте на колени, схватил Казанову за руки и начал умолять оставить его молиться за их безопасность, ведь он уверен, что погибнет, если попытается пойти с ними.

Казанова охотно согласился, радуясь, что избавится от этого типа. В темноте он, как смог, написал письмо инквизиторам, в котором попрощался с ними и заявил, что, поскольку его бросили в тюрьму, не спрашивая его

желания, пусть не сетуют, что он уходит, не испросив их соизволения.

Повесив на шеи узлы с одеждой и веревки, Казанова и Бальби нахлобучили шляпы и пустились в свое опасное путешествие, оставив графа Аскино и Сорадичи бормотать молитвы.

Казанова полез первым. Он медленно карабкался вверх на четвереньках, просовывая зубило в стыки между свинцовыми листами и опираясь на него. Следуя за ним, Бальби крепко ухватился правой рукой за его пояс, так что Казанове приходилось тащить вверх по крутой, скользкой от тумана крыше и своего спутника.

На середине этого тяжелого подъема монах попросил приятеля остановиться. Он уронил узел с одеждой и считал, что тот не упал на землю, зацепившись за водосток. Однако монах не стал уточнять, кто же полезет за узлом. После всех глупостей, сотворенных этим человеком, Казанова пришел в такую ярость, что готов был пинком отправить его вслед за его вещичками. Но, взяв себя в руки, он ответил, что делу уже не поможешь, и продолжил подъем.

Наконец они добрались до конька крыши и уселись на него верхом, чтобы отдышаться и осмотреться. Перед ними были купола собора Святого Марка, который примыкал к Дворцу дождей.

Они сняли с себя узлы, и, конечно же, несчастный Бальби уронил свою шляпу, которая покатилась вниз вслед за его одеждой. Он закричал, что это дурной знак.

— Напротив, — терпеливо уверил его Казанова, — это знак святого покровительства. Если бы твой узел или шляпа упали налево, а не направо, они бы попали во внутренний двор, где их увидели бы стражники. Они бы поняли, что кто-то лезет по крыше, и, без сомнения, обнаружили бы нас. А шляпа твоя отправилась вслед за одеждой в канал, где никому не причинит вреда.

Попросив монаха дожидаться своего возвращения, Казанова в одиночку принялся осматривать крышу, по-прежнему сидя верхом на ее коньке. Целый час он ползал по огромной кровле, так и не придумав, к чему бы привязать веревку. В конце концов он понял, что выбор невелик: либо возвращаться обратно в камеру, либо броситься с крыши прямо в канал. Он уже почти отчаялся, как вдруг его внимание привлекло слуховое окно, расположенное на расстоянии примерно двух третей пути вниз по скату крыши со стороны канала. С величайшей осторожностью

он спустился вниз по мокрой скользкой поверхности и взгромоздился верхом на это окно. Круто подавшись вперед, он обнаружил, что оно забрано тонкой решеткой, и на некоторое время задумался.

В этот миг на звоннице пробило полночь. Звон напомнил Джакомо, что у него осталось всего лишь семь часов, чтобы преодолеть и это, и все остальные препятствия, которые встретятся на пути. Семь часов, по истечении которых он либо исчезнет из этой тюрьмы, либо окажется в гораздо более суровом заточении, чем прежде.

Лежа на животе и свесившись далеко вниз, так, чтобы видеть, что он делает, Казанова просунул конец зубила между прутьями решетки и, орудуя им как рычагом, давил до тех пор, пока хватало длины рук. После этого разломать решетку оказалось несложно.

Проделав все это, он повернулся и пополз обратно на вершину крыши, после чего быстро перебрался к тому месту, где оставил Бальби. Монах, впавший уже в состояние слепого отчаяния, ужаса и гнева, бросился к Казанове со страшными оскорблениями.

— Я уже ждал рассвета, — закончил он, — чтобы вернуться в камеру.

— А что же, по-вашему, могло со мной произойти? — спросил Казанова.

— Я подумал, что вы сорвались с крыши.

— Значит, те оскорбления, которыми вы осыпали меня, когда я вернулся, я должен понимать как разочарование по поводу того, что я не упал с крыши?

— Где вы были все это время? — угрюмо задал монах встречный вопрос.

— Пойдемте посмотрите.

И, подхватив свой узел, Казанова увлек Бальби вперед, к слуховому окну. Там Джакомо показал ему, чего он добился, и объяснил, как попасть на чердак. Насколько высоко от пола находилось окно, они не знали, высота могла оказаться значительной, и они не рискнули прыгать с подоконника. Одному из них будет несложно спустить другого с помощью веревки. Но пока неясно, как будет спускаться второй. Так рассуждал Казанова.

— В любом случае, первым лучше спуститься мне, — сказал Бальби без колебаний. Несомненно, он очень устал на этой скользкой крыше, где одного неверного шага ему хватило бы, чтобы отправиться следом за своими по-

житками. — Когда я окажусь внутри, вы придумаете, как последовать за мной.

Этот бездушный эгоизм привел Казанову в ярость — уже во второй раз с тех пор, как они покинули камеру. Но, как и прежде, Казанова мгновенно подавил ее и, не говоря ни слова, начал разматывать веревку. Надежно закрепив ее под мышками Бальби, он заставил монаха лечь ничком на крышу, ногами вниз, и, понемногу стравливая веревку, спустил его к слуховому окну. Затем он велел своему спутнику залезть в окно по пояс и ждать его, сидя на подоконнике. После того, как монах проделал, Казанова последовал за ним, осторожно соскочив на крышу слухового окна. Прочно уютившись там, он, опять же с помощью веревки, опустил Бальби внутрь — окно оказалось на высоте около пятнадцати метров над полом. Это развеяло всякие надежды Казановы на то, чтобы просто-напросто прыгнуть с подоконника вслед за монахом. Он не на шутку встревожился. Однако монах, безумно обрадовавшись, что слез наконец с этой проклятой крыши и опасность сломать шею миновала, с присущей ему глупостью крикнул Казанове, чтобы тот бросал ему веревку — он о ней позаботится.

«Нетрудно догадаться, — пишет Казанова, — что у меня хватило осторожности не последовать этому дурацкому совету».

Не зная, что с ним произойдет дальше, если он не отыщет какой-нибудь способ спуститься в окно, Джакомо опять взобрался на конек крыши и в отчаянии начал поиски сызнава. На этот раз ему повезло больше. Он обнаружил возле купола площадку, которую раньше не заметил, а на ней — корыто со штукатуркой, мастерок и лестницу футов в семьдесят длиной. Он понял, что надо делать дальше. Казанова привязал конец веревки к одной из перекладин лестницы, положил ее вдоль ската крыши и, по-прежнему сидя верхом на коньке, отправился обратно, таща с собой лестницу. Вскоре он добрался до слухового окна.

Но теперь предстояло просунуть лестницу в окно, и пришлось пожалеть о том, что он столь поспешно отказался от помощи своего спутника. Он развернул лестницу и спустил вниз по крыше, при этом один ее конец оказался на окне, а другой футов на двадцать высывался за край крыши. Казанова соскочил к слуховому окну и подтянул лестницу так, чтобы добраться

до восьмой перекладины. Сделав это, он крепко привязал к ней веревку и снова опустил лестницу вниз, намереваясь просунуть верхний ее конец в створ окна. Однако лестница не пролезала внутрь дальше пятой перекладины, упершись в крышу изнутри. Продвинуть лестницу дальше можно было единственным способом — приподняв нижний конец.

Джакомо понимал, что можно спуститься внутрь по веревке, привязав ее к лестнице, прижатой к оконной раме. Но в этом случае, увидев утром лестницу, их преследователи не только догадаются, каким способом был совершен побег, но и смогут обнаружить затаившихся беглецов: тогда Казанова еще не знал, сколько им придется прятаться на этом чердаке. Прodelав столь трудный и рискованный путь, затратив такие громадные усилия, он решил не полагаться больше на случай. Казанова осторожно сполз на животе к самому краю крыши и уперся ногами в мраморный водосток. Лестница одной из своих перекладин была зацеплена за подоконник.

Это было крайне опасное положение. Но терять ему было нечего; он приподнял конец лестницы на несколько дюймов и подтолкнул ее на фут или около чуть дальше в окно. При этом вес наружной ее части значительно уменьшился. Казанова был уверен, что, продвинув лестницу таким же образом внутрь еще на пару футов, он сможет спокойно вернуться к окну и там закончить эту операцию. Чтобы сделать это быстро, он приподнялся на колени.

Но в тот миг, когда Казанова толкнул лестницу, он поскользнулся и, отчаянно пытаясь за что-нибудь ухватиться, полетел с крыши. Он повис над бездной, судорожно уцепившись пальцами и локтями на край водостока, который оказался на уровне его груди.

Это было мгновение такого ужаса, какого он не испытывал потом ни разу за всю жизнь, полную опасностей и смертоносных передраг. Даже спустя полвека Казанова не мог писать об этом без содрогания.

Некоторое время он висел, тяжело дыша, а затем, как во сне, следуя одному лишь инстинкту самосохранения, подтянулся так, что его плечо оказалось на одной высоте с водостоком. Подтянувшись до пояса, он перебросил тело на крышу и медленно поднял правую ногу, зацепившись коленом за водосток. Дальше было проще, и вскоре он

уже лежал, дрожа и задыхаясь, на краю крыши. Он ждал, пока не успокоятся нервы и дыхание.

Тем временем лестница, продвинутая вперед мощным толчком, который чуть было не стоил Казанове жизни, проскользнула в окно еще на три фута и неподвижно зависла там. Отдохнув, Джакомо взял свое зубило, лежащее в водостоке, и с его помощью забрался вверх к слуховому окну. Без особых усилий он втолкнул в окно лестницу, которая благодаря собственному весу повернулась и стала в нужное положение.

Вскоре он очутился на чердаке, где его ждал Бальби; потом они, пробираясь ощупью в темноте, нашли дверь и попали в следующую комнату, где наткнулись на какую-то мебель. С трудом различая что-либо в ночном мраке, Казанова подошел к окну и открыл его. Он заглянул в темную бездну и, не зная точно своего местонахождения, решил не рисковать и отказался от попытки спуститься по веревке наружу. Казанова закрыл окно, вернулся в первую комнату и, подложив под голову моток веревки, прилег на пол в ожидании рассвета.

Он был сильно изнурен, причем не только последними двумя часами и смертельно опасным приключением на краю крыши, но и тем, что за последние двое суток очень мало ел и спал. Низость и эгоизм Бальби оставили у него неприятный осадок. Но приказав себе забыть об этом, Джакомо погрузился в глубокий сон.

Он проснулся три с половиной часа спустя от криков раздраженного монаха. Тряся его, Бальби возмущенно заявил, что так вот спать в их положении просто невозможно. Уже, мол, пробило пять часов.

Было все еще темно, но в предрассветном полумраке уже можно было различить окружающие предметы. Осмотревшись, Казанова обнаружил в комнате еще одну дверь напротив той, в которую они вошли. Она была заперта, но хилый замок не выдержал ударов зубила, и они вошли в маленькую комнатку, через которую попали в длинную галерею, уставленную полками, забитыми пергаментами. По-видимому, это были архивы. В конце этой галереи обнаружился короткий лестничный пролет, ниже — еще один, который привел их к застекленной двери. Открыв ее, они попали в комнату, которая, как мгновенно сообразил Казанова, была канцелярией дожа. Спуститься из ее окон по веревке было бы несложно, но

они тут же очутились бы в лабиринте двориков за собором Святого Марка, что их совсем не устраивало.

На столе Казанова нашел большое шило на длинной деревянной ручке. Им протыкали пергаменты, которые потом скреплялись шнурами со свинцовыми печатями республики. Джакомо открыл ящики стола, порывлся в них и нашел письмо наместника острова Корфу, просившего три тысячи цехинов на ремонт крепости. Он обшарил ящики, надеясь найти эти три тысячи, которые забрал бы без малейшего колебания. К его разочарованию, денег не было.

Покончив со столом, он подошел к двери и увидел, что она заперта на замок, который так просто не сломать. Открыть дверь можно было одним-единственным способом — выломать филенку, к чему он, не теряя ни секунды, и приступил. Бальби, вооружившись шилом, помогал ему, трясясь от страха при каждом громком ударе. Конечно, так шуметь здесь было опасно, но другого выхода не было — времени оставалось мало. Через полчаса филенка была выломана. Отверстие оказалось на высоте пяти футов от пола и было обрамлено острой щепой словно рядами оскаленных зубов.

Беглецы подтащили к двери пару табуретов, и, забравшись на них, Казанова велел Бальби лезть первым. Длинный тощий монах вытянул руки и просунул голову и плечи в отверстие. Казанова поднял его сначала за талию, потом за ноги и помог ему пролезть в соседнее помещение. Вслед он передал узлы с одеждой и веревками, поставил на два табурета еще один, забрался на него и просунулся по пояс в проделанную ими дыру. Бальби принял его на руки и протаскил сквозь нее. Это стоило Казанове разодранных штанов и кровоточащих царапин на ногах.

Они спустились на два лестничных пролета вниз и очутились в галерее, которая вела к массивным дверям в начале знаменитой Лестницы Гигантов. Однако эти двери — главный вход во дворец — были заперты, выломать их можно было бы только топором.

Со смирением, на взгляд Бальби, совершенно циничным, Казанова опустил на пол.

— Я сделал все, что мог, — произнес он. — Сейчас только небо или случай могут помочь нам. Я не знаю, может быть, сегодня, в праздник Всех Святых, во дворец

придут убирать. Как только кто-нибудь придет, я тотчас же кинусь в открытую дверь, и вам лучше бы последовать за мной. Если же никто не придет, я отсюда не двинусь, и, коли умру с голоду, так тому и быть.

Эта речь привела монаха в ярость. Он начал оскорблять Казанову страшными словами, называя его безумцем, совратителем, мошенником, лжецом. Казанова не стал унимать эту вспышку злобной глупости. Пробило шесть часов. Ровно час назад они покинули чердак.

Бальби в своем красном фланелевом жилете и светло-коричневых кожаных штанах вполне мог сойти за крестьянина, но Казанова в разодранной одежде, пропитанной кровью, разумеется, мог вызвать подозрение. Он разорвал носовой платок, перевязал раны и переоделся в свой летний камзол из легкого шелка, который, впрочем, в этот зимний день выглядел нелепо.

Как мог, он причесал свои густые темно-каштановые волосы, надел пару белых чулок и натянул на себя три кружевных рубашки. Свой прекрасный шелковый плащ он отдал Бальби, на котором тот смотрелся, как украденный, во всяком случае, явно с чужого плеча.

Нарядившись таким образом и украсив свою шляпу испанским гербом, он открыл окно и выглянул наружу. Его тотчас заметили какие-то бездельники во дворе, которые решили, что его по ошибке заперли там со вчерашнего вечера, и пошли сказать об этом привратнику. Между тем Казанова, встревоженный тем, что дал себя обнаружить, и еще не зная, как это поможет ему в дальнейшем, отошел от окна и сел подле разгневанного монаха, который разразился новыми оскорблениями в его адрес.

— Ни слова больше, — сказал ему Казанова, — просто делайте как я, иначе неминуемо погибнем мы оба.

Спрятав зубило под одеждой, но держа его наготове, Казанова стал рядом с дверью. Она открылась, и привратник, пришедший один и без оружия, остолбенело уставился на него.

Казанова без промедления воспользовался его оцепенением. Ни слова не говоря, он быстро шагнул через порог, в мгновение ока сбежал по Лестнице Гигантов, пересек маленький дворик, домчался до канала, впихнул Бальби, который следовал за ним по пятам, в первую попавшуюся гондолу и вскочил в нее сам.

— Едем в Фузине, и быстро, — приказал он. — Позови еще одного гребца.

Все было готово, и мгновение спустя гондола уже скользила по волнам канала. Одетый не по сезону, сопровождаемый Бальби, который выглядел еще более нелепо в пестром плаще и без шляпы, Джакомо решил, что его примут за шарлатана или астролога.

Гондола проследовала мимо здания таможни и вошла в канал Джудекка. На полпути Казанова высунул голову из маленькой кабинки и обратился к гондольеру на корме:

— Мы доберемся за час до Местре?

— Местре? — переспросил гондольер. — Вы же сказали, мы едем в Фузине.

— Нет, нет, я сказал, в Местре. По крайней мере, я собирался это сказать.

И гондола направилась в Местре, гондольер был готов везти его высочество хоть в Англию, если бы тот пожелал.

Солнце поднималось над горизонтом, и вода искрилась под его лучами. «Утро было чудесным», — пишет Казанова. И я подозреваю, что в жизни этого дерзкого, но изысканного мошенника не было более чудесного утра, чем это, потому что он вновь обрел свободу, которую ценил как никто другой в целом мире.

Мыслями он был уже далеко за границами Светлейшей республики, нетерпеливо стремился туда и вскоре оказался там, где хотел, несмотря на все превратности судьбы и приключения, которые, однако, составляют отдельный рассказ, ничего общего не имеющий с этой историей побега из Пьямби из цепких лап венецианской инквизиции.

ХIII

КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ

Убийство Густава III, короля шведского

Барон Бьелке выскочил из кареты, не дожидаясь, пока она остановится. Слуга не успел даже опустить подножку. С поспешностью, неприличной для столь значительной персоны, барон вошел в просторный вестибюль

дворца и сбивчиво, дрожа от волнения, спросил у первого попавшегося лакея:

— Его величество еще не уехал?

— Нет, господин.

Получив такой ответ, барон устало перевел дыхание, но волнение его еще не улеглось. Он сбросил тяжелую мантию из волчьего меха, в которую был облачен, и, оставив ее в руках лакея, быстро поднялся по широкой лестнице. Его фигура выглядела по-юношески изящной в черном камзоле. Направляясь в покои короля, барон миновал несколько приемных, и сидевшие там люди отметили бледность резких черт его лица, обрамленного золотисто-рыжим париком, и лихорадочный блеск глаз, не видевших ничего вокруг. Им было невдомек, что барон Бьелке, секретарь короля и его фаворит, держал в руках жизнь своего господина, или, что то же самое, нити заговора, целью которого было убийство короля.

Во многих отношениях Бьелке ничуть не превосходил прочих распутных любимцев Густава, который и сам был весьма безразличным. Единственным и бесценным его преимуществом был ум. Бьелке первым ощутил приближение грозы, которую столь неосмотрительно вызвал сам король. Здравый рассудок и интуиция подсказывали барону, что теперь, когда Франция бьется в судорогах кровавого восстания против тирании монарха и аристократии, продолжать злоупотреблять своей паразитической властью просто небезопасно. В воздухе витали идеи социализма. Они распространялись по всей Европе, и не только во Франции люди считали гнусным анахронизмом такое положение дел, когда подавляющее большинство народа должно своим трудом, потом и лишениями обеспечивать благоденствие высокомерного меньшинства.

В Швеции уже были крестьянские волнения, и барон рискнул предостеречь короля, поставив под угрозу свое положение фаворита. Густа III требовал от приближенных веселья и развлечений, а не государственной мудрости¹. Он не терпел напоминаний об ответственности, которую накладывает на человека титул монарха. Было принято считать, что король одарен выдающимся умом. Однако мудрость приписывалась столь многим государям, что в непреложности этого правила можно было усомниться, особенно когда внешние проявления мудрости были не слишком заметны. Если Густав III и обладал великим

умом, то он весьма успешно скрывал его под личиной легкомысленного чудаковатого весельчака.

Экстравагантность короля требовала чудовищных расходов, а ведь только сумасшедший мог столь расточительно тратить средства, добываемые тяжким трудом его обнищавших подданных. Отчаянное финансовое положение вынудило его пойти на вопиюще бесчестный шаг. Одним росчерком пера он на треть понизил стоимость ценных бумаг. Столь внезапная и значительная девальвация стала тяжелым испытанием для многих, а кое-кого попросту разорила. Зато король смог удовлетворить свои потребности в роскоши и обогатить своих алчных фаворитов, таких же мотов, как и он сам.

В королевстве зрела смута. Речь шла не о волнениях среди более или менее послушных крестьян, чью первую попытку восстания легко удалось подавить. Предпринятый королем шаг рассердил шведское дворянство. Огонь недовольства раздувал некий Юхан Якоб Анкарстрем. Ощувив фискальную подоплеку королевской несправедливости, он стал вдохновителем тайного заговора с целью убийства монарха. Бьелке раскрыл этот заговор. Он рискнул примкнуть к заговорщикам, завоевал их доверие. Они решили, что его помощь может оказаться поистине неоценимой благодаря близости барона к королю. Постоянно находясь в опасности, Бьелке мог рассчитывать только на свой ум. Он дождался момента, когда гром уже был готов грянуть, и только после этого занялся разоблачением, целью которого было не только спасти Густава, но и расставить сеть, в которую попались бы все заговорщики. Бьелке надеялся также показать королю, что тот находится на волосок от гибели и что, осознав грозящую ему опасность, сочтет за благо изменить в будущем свою политику.

Он уже дошел до двери последней приемной, когда на его плечо опустилась чья-то рука. Барона остановил паж, отпрыск одной из знатнейших шведских фамилий, сын ближайшего друга барона, светловолосый нахальный парень, которому секретарь позволял некоторую фамильярность в обращении с собой.

— Вы идете к королю, барон? — спросил юноша.

— Да, Карл. А в чем дело?

— Слуга только что принес для его величества письмо, благоухающее, как летняя роза. Вы не передадите его?

— Давай его сюда, нахал, — сказал Бьелке, и его бледное лицо на миг озарилось улыбкой.

Взяв письмо, он прошел в приемную, в которой никого не было, если не считать одного-единственного слуги. Тот с выражением величайшего почтения на лице посмотрел на барона.

— Его величество?.. — начал свой вопрос Бьелке.

— Одевается. Сообщить о вашем приходе, ваше превосходительство?

— Сделайте одолжение.

Слуга исчез, и Бьелке остался один. Дождаясь приглашения, он рассеянно мямлял в пальцах надушенное письмо, полученное от пажа. Повернув бумагу надписью кверху, барон перестал крутить ее в руках. Его взгляд из рассеянного сделался внимательным, меж глаз залегла складка, похожая на шрам. Барон на миг затаил дыхание, потом глубоко вздохнул. Подойдя к столу, на котором стоял массивный серебряный подсвечник с двумя десятиками свечей, он поднес письмо к свету.

Проведя рукой по глазам, барон еще раз всмотрелся в него. На бледных щеках фаворита заиграл лихорадочный румянец. Не обращая внимания на адрес, он дрожащими руками сломал печать и развернул письмо, адресованное королю. Он еще дочитывал текст, когда вернулся слуга с сообщением, что король желает принять барона прямо сейчас. Казалось, Бьелке не услышал его слов. Его внимание было приковано к письму. Барон усмехнулся, на лбу сверкнули бисеринки пота.

— Его величество... — начал было слуга, но внезапно умолк. — Вам плохо, ваша светлость?

— Плохо?

Бьелке поглядел на слугу остекленевшими глазами. Скомкав письмо в кулаке, он опустил руку в карман, чтобы успокоить растерянного слугу, попытался улыбнуться, но у него получилась лишь мрачная гримаса.

— Я не хочу заставлять его величество ждать, — пробормотал он и покачнулся, чтобы создать у слуги впечатление, будто секретарь его величества не вполне трезв.

Бьелке умел управлять своими чувствами, и, входя в гардеробную короля, он уже взял себя в руки и более не проявлял того волнения, которым был охвачен, когда прибыл во дворец.

Когда Бьелке вошел, Густав стоял у зеркала — высокий, худощавый красавец. Позади него, критически осматривая домино, накинутое на королевские плечи, стоял Франсуа — камердинер, которого Густав лет пять назад привез с собой, когда совершал увеселительную поездку в предреволюционный Париж, и которого очень ценил. На диване развалился, демонстрируя высшую степень развязности, какая только была позволена особо приближенным участникам королевских развлечений, барон Армфельт, который, как считали заговорщики, оказывал самое губительное влияние на короля — влияние, извратившее все помыслы Густава. Армфельт был с ног до головы затянут в белый сверкающий атлас.

Густав через плечо посмотрел на вошедшего.

— Бьелке! — воскликнул он. — А я думал, что вы уехали в деревню!

— Я даже представить себе не могу, — ответил барон, — что именно создало у вашего величества столь ошибочное впечатление.

Должно быть, он улыбнулся в душе, наблюдая, как эти слова смутили его величество.

Король тем не менее рассмеялся нарочито беззаботно.

— Я сделал этот вывод из вашего отсутствия при дворе в такую ночь! Что вас задержало? — И, не дожидаясь ответа, задал второй вопрос: — Что скажете о моем домино, барон?

На черном атласном фоне королевского домино переплетающимися красными и золотыми нитями были вышиты языки пламени. Работа была выполнена столь искусно, что, когда король повернулся, вышивка вспыхнула в свете свечей, как настоящее пламя.

— Ваше величество будет пользоваться большим успехом, — сказал Бьелке, испытывая удовольствие от жесткой шутки. Шутка и впрямь была стоящей, ибо он уже не собирался доводить до конца дела, ради которого так спешил во дворец.

— Верно! Я заслуживаю успеха! — ответил король беспечным тоном и вновь повернулся к зеркалу, поправляя мушку, посаженную на подбородок слева. — Мое домино бесподобно. Кстати, Франсуа тут ни при чем — расположение языков пламени придумал я сам. Мне пришлось немало потрудиться и поломать голову.

В этих словах Густава отразилась вся его сущность.

Король-повеса мог бы стать знаменитым церемониймейстером или оперным импресарио. Быть может, то, что судьба уготовила ему родиться наследником трона и стать монархом, стало его подлинным несчастьем. Подобно многим королям, которые плохо кончили, он родился не тем, кем следовало бы.

— Идею мне подсказал Гойя², — продолжал он. — На одной его картине я увидел чудесную накидку с драконами и факелами.

— Наряд выглядит несколько зловеще, — сказал Бьелке, насмешливо улыбаясь, — похож на одежду грешника, которого ожидает искупительная смерть.

Армфельт запротестовал, изобразив на лице притворный ужас, но Густав лишь цинично рассмеялся.

— О! Я считаю, что это более всего подходит мне. Такое просто не приходило мне в голову.

Нашупывая коробку с помадой, рука короля сдвинула с места несесер из красного сафьяна. С его крышки упал продолговатый конверт, привлечший внимание Густава.

— Что это? — король поднял конверт и прочел на нем: «Его величеству. Срочно и секретно».

— Что это, Франсуа? — голос короля прозвучал неожиданно резко. Камердинер бесшумно шагнул вперед. Армфельт поднялся с дивана. Он, как и Бьелке, был встревожен внезапным изменением тона короля и подошел поближе к своему господину.

— Как попало сюда это письмо?

На лице камердинера отразилось совершеннейшее изумление. Возможно, письмо принесли сюда час назад, когда его не было, в это время он заканчивал приготовление королевского костюма.

Трясущимися пальцами король сломал печать и развернул письмо. Затем, издав презрительное восклицание, передал его секретарю.

Бьелке сразу же узнал руку полковника Лиллехорна, одного из заговорщиков, которому накануне решительных событий изменила храбрость. Он писал:

«Ваше величество! Прислушайтесь к предупреждению человека, который, не будучи у вас на службе, не надеясь на ваше благоволение и осуждая ваши злодеяния, тем не менее желает предотвратить грозящую вам опасность. Вас собираются убить, и этот замысел уже был бы приведен в исполнение, не будь отменен бал, который должен был

состояться на прошлой неделе в Опере. То, что не удалось тогда, несомненно, будет осуществлено сегодня вечером. Оставайтесь дома и остерегайтесь появляться на балах и в общественных местах до конца года, пока угомонятся фанатики, жаждущие вашей крови».

— Вам знаком этот почерк? — спросил Густав.

Бьелке пожал плечами.

— Почерк, вероятно, изменен, — уклончиво ответил он.

— Вы прислушаетесь к предупреждению, ваше величество? — воскликнул Армфельт. Он прочитал письмо, склонившись над плечом секретаря, и его лицо заметно побледнело.

Густав презрительно рассмеялся.

— Воистину, я лишился бы всякой радости жизни, если бы слушал каждого паникера.

Однако по изменившемуся цвету его лица было видно, что король рассержен. Пренебрежительный тон анонимного послания задел его гораздо сильнее, чем сам смысл. Несколько мгновений он мял в пальцах ленту для волос, задумчиво выпятив нижнюю губу. Наконец, с досадой выругавшись, протянул ленту камердинеру.

— Перевяжите мне волосы, Франсуа, — сказал он, — и мы пойдем.

— Пойдем? — в ужасе воскликнул Армфельт. Его лицо так побледнело, что слилось с костюмом цвета слоновой кости.

— Неужели вы полагаете, что меня можно испугать настолько, что я забуду о развлечениях? — Однако следующий вопрос, заданный королем, говорил о том, что страх уже зацепил его. — Между прочим, Бьелке, почему вы отменили бал на прошлой неделе?

— Советники из Евле³ потребовали тогда у вашего величества срочной аудиенции, — напомнил ему Бьелке.

— Да, я помню, что это вы сказали в тот день. Но, приступив к делу, мы поняли, что оно не такое уж срочное. Быть может, у вас были другие причины, например, какие-нибудь подозрения?

Король устремил пристальный взгляд своих темно-синих глаз на бледное, похожее на маску, лицо секретаря. Серьезное, почти суровое выражение лица Бьелке сменялось улыбкой.

— Что я подозревал тогда, подозреваю и сейчас, —

ушел он от ответа, — а сейчас я подозреваю, что какой-нибудь ничтожный недруг желает напугать ваше величество.

— Напугать меня? — вспыхнул Густав. — Я что же, человек, которого легко напугать?

— Ах! Подумайте же, вы, мой король, и вы, Бьелке, — тонким голосом проговорил Армфельт, — быть может, это дружеские предостережение. Ваше величество, позвольте мне, вашему смиренному слуге, предложить вам не рисковать и отменить маскарад!

— И дать этому наглому анониму повод хвастаться, что он испугал короля? — рассмеялся Бьелке.

— Вы правы, барон. Письмо имеет целью превратить меня в посмешище.

— А если нет? — настаивал расстроенный Армфельт. Он принялся многословно уговаривать короля принять необходимые меры предосторожности, напоминая ему о врагах, которые вполне могли преследовать цели, указанные в анонимном письме. Его слова произвели на Густава впечатление.

— Если бы я обращал внимание на все предупреждения, — сказал он, — то лучше бы мне сразу уйти в монастырь. И все же... — и король, явно колеблясь, погрузился в размышления, взявшись рукой за подбородок. Его голова поникла, а тело неподвижно застыло.

Бьелке, который сейчас более всего желал того, что еще недавно так рвался предотвратить, нарушил молчание, чтобы не дать королю прислушаться к совету Армфельта.

— Ваше величество, — сказал он. — Вы можете избежать и насмешек, и опасности, да еще и посетить маскарад. Если заговор существует, то, будьте уверены, убийцы знают о том, в каком костюме вы там появитесь. Давайте мне ваше огненное домино, а сами наденьте простое черное.

Армфельт раскрыл рот от изумления, вызванного столь дерзким предложением, а Густав сделал вид, будто не расслышал его. Он продолжал стоять в той же напряженной позе, его взгляд был по-прежнему рассеян и задумчив. И, как бы выдавая свои мысли, он произнес одно имя. И голос его, в котором звучали вопросительные интонации, едва ли бы громче шепота:

— Анкарстрем?

Позже ему вновь довелось вспомнить об Анкарстреме

и навести о нем справки. Это оправдывает нас в попытке проследить мысли короля об этом человеке, мысли, вызванные угрызениями совести. У короля были причины бояться Юхана Якоба Анкарстрема больше, чем любого другого шведа, ибо Густав, совершивший за свою жизнь немало мерзких злодеяний по отношению ко многим людям, все же никого не оскорблял так глубоко, как этого гордого, умного аристократа. Король ненавидел Анкарстрема так, как только один человек может ненавидеть другого, оскорбленного им. Его ненависть усугублялась еще и тем обстоятельством, что Анкарстрем презирал короля, и это холодное, убийственное презрение сквозило в каждом его поступке.

Эта вражда продолжалась уже более двадцати лет. Она началась еще тогда, когда оба они были достаточно юны, Анкарстрем еще мальчик, Густав чуть старше, но уже порочен. Однажды в пылу ссоры он грязно оскорбил своего более молодого приятеля и получил в ответ пощечину. От неприятных последствий, которые мог повлечь за собой удар по лицу принца, Анкарстрема спасли только его молодость и признание всеми того факта, что Густав сам спровоцировал его. Но от мести короля его не могло спасти ничто. Густав затаил злобу и дожидался лишь удобного случая, чтобы расквитаться с человеком, который его ударил. Такая возможность предоставилась четыре года назад, в 1788 году, во время войны с Россией⁴. Анкарстрем командовал войсками, защищавшими остров Готланд. Войск явно не хватало, да и остров не был подготовлен к обороне — на нем не было укреплений. Чтобы удержать его, нужно было быть героем. К тому же оборона могла оказаться не только бессмысленной, но и гибельной, ибо упорство защитников наверняка повлекло бы за собой не только уничтожение гарнизона, но и мародерство, грабеж мирного населения.

В таких условиях Анкарстрем считал своим долгом сдаться превосходящим силам русских, сберегая тем самым жизнь и имущество жителей острова. Именно этот его поступок дал королю возможность удовлетворить свою жажду мести. Анкарстрема арестовали и предъявили ему обвинение в государственной измене. Было объявлено, что он призывал население Готланда не сопротивляться русским. Агенты короля подкупили свидетелей, давших ложные показания, и на основании их наговора Анкар-

стрема приговорили к двадцатилетнему заключению в крепости. Как очень скоро понял Густав, он зашел слишком далеко и навлек на себя всеобщую ненависть — это чувство, доселе тлевшее в душах подданных, после такого проявления несправедливости вспыхнуло ярким пламенем, и Густав поспешил — нет, не снять обвинение, брошенное Анкарстрему, но «простить» его мнимый проступок.

Когда Анкарстрем был доставлен в суд, где ему объявили о помиловании, он воспользовался этой возможностью и выступил с речью, в которой заклеил позором презируемого им короля.

— Мои бесчестные судьи, — заявил он громогласно, и эхо людской молвы донесло эти слова до самых окраин Швеции, — даже не сомневались в моей невинности. Моя вина была установлена на основании лжесвидетельства. Меня освободили, и я воспринимаю это как должное. Но лучше бы мне погибнуть из-за враждебности короля, чем жить обесчещенным его снисходительностью.

Когда Густаву передали эти слова, он стиснул зубы. Гнев его возрастал по мере того, как королю докладывали о неизменно радушном приеме, который Анкарстрем после освобождения встречал повсюду. Густав понял, что совершил грубый промах и в своем стремлении унижить Анкарстрема навредил лишь себе. «Простив» его, Густав не умерил общественного негодования. Да, пламя восстания было притушено. Но король не испытывал недостатка в свидетельствах того, что огонь этот, не заметный со стороны, продолжает гореть и распространяется как в среде вельмож, так и в народе.

Поэтому совсем не удивительно, что в тот миг, когда перед его глазами оказалось письмо с предостережением, король произнес имя Анкарстрема. Он думал об Анкарстреме, и страх перед ним постепенно заполнял сознание Густава. Он был достаточно силен, чтобы заставить короля прислушаться к предупреждению. Густав опустил в кресло.

— Я не пойду, — сказал он. Бьелке заметил, как побледнело лицо и затряслись руки короля.

Секретарь повторил свое предложение, на которое король в первый раз не обратил внимания. Густав с неожиданным пылом ухватился за эту возможность, нимало не заботясь о том, что сам Бьелке при этом

подвергнется опасности. Король захлопал в ладоши и вскочил на ноги. Если есть заговор, то его участников можно будет поймать в ловушку. Если заговора нет, то попытка напугать его провалится. Таким образом, он будет защищен как от насмешек врагов, так и от их кинжала. Даже Армфельт не возражал и не пытался отговорить короля. Ведь теперь риск перекладывался на плечи Бьелке, что вовсе не тревожило Армфельта. Наоборот, его это весьма устраивало — у него не было никаких причин любить барона, в котором он видел сильного соперника. Армфельт не станет проливать слез, если удар кинжала, предназначенный королю, поразит вместо него Бьелке.

Итак, облачившись в домино кающегося грешника, барон Бьелке уехал в Оперу. Через некоторое время король последовал за ним. Как только он вошел в театр, опираясь на руку графа Эссенского, он понял, что предостережение не было пустым, и, несмотря на принятые меры предосторожности, пожалел, что не прислушался к совету и не остался дома. Первое лицо, которое он увидел, входя в залитый светом салон (одно из немногих лиц без маски), было лицо Анкарстрема. Наверное, тот наблюдал за входной дверью.

Густав замер на месте. По его телу пробежал холодок. Внезапно что-то подсказало ему: быть беде. Один лишь облик Анкарстрема, его решительное надменное лицо, его гордая осанка говорили королю о многом. После памятного судебного разбирательства Анкарстрем не упускал возможности выказать свое презрение монарху. Его не видели ни на одном торжестве, которое должен был посетить Густав. Зачем же он пришел на этот бал, устроенный по личному пожеланию короля, если не для выполнения той злой задачи, о которой говорилось в письме?

Первым желанием короля было немедленно уйти. Его охватил тот странный, почти безрассудный страх, какого он до сих пор не испытывал, ибо король, хотя и совершал ошибки, никогда не страдал от недостатка храбрости. Но пока он колебался, мимо него прошествовал человек, облаченный в огненное домино, окруженный гуляками обоих полов. Король подумал, что, если Анкарстрем действительно собирается совершить злодеяние, то его внимание должен привлечь именно этот человек, перед которым почтительно расступались присутствующие, полагавшие, что это и есть король. Однако Анкарстрем

продолжал смотреть на настоящего Густава, и король почувствовал себя так, будто маска на его лице сделана из стекла.

Когда он уже собрался повернуться и уйти, в зал внезапно хлынула еще одна волна людей, немедленно поглотившая Густава и графа Эссенского. Проталкиваясь сквозь толпу, они потеряли друг друга из виду. Король очутился в самой гуще жизнерадостных юнцов, которые, приняв его за своего, увлекли за собой. Он пытался сопротивляться, но тщетно: с таким же успехом можно было бороться с бурным горным потоком. Идти против течения было совершенно невозможно. Короля едва не свалили с ног, и, чтобы спастись, он был вынужден покориться и следовать общему движению. Увлекаемый толпой, король прошел по амфитеатру, беспомощный, как пловец, попавший в мощный водоворот и боящийся утонуть.

Первым побуждением короля было сорвать маску и показать окружающим свое лицо, чтобы добиться почтительного отношения, приличествующего подданным. Однако поступить так значило бы подвергнуть себя опасности, в существовании которой он теперь уже был убежден. Ему оставалось лишь позволить толпе тащить себя вперед, дожидаясь возможности сбежать от этих сумасшедших.

Пол амфитеатра был соединен со сценой деревянной широкой лестницей. Людская волна подняла короля по этой лестнице на сцену, и там Густав наконец нашел себе убежище у одной из кулис. Тяжело дыша, он прижался к ней спиной, ожидая, что людской поток проследует дальше, однако толпа остановилась вместе с Густавом и кто-то тронул его за плечо. Повернув голову, он увидел неподвижное лицо Анкарстрема, стоявшего совсем рядом. В следующее мгновение Густав ощутил жгучую пронзительную боль в боку и почувствовал тошноту и слабость. Голоса зазвучали глухо, огни слились в дрожащую яркую полосу, а затем померкли.

В общем шуме звук выстрела слышали только те, кто был в непосредственной близости от короля. Внезапно небольшая группа людей в масках, оттеснив окружающих, бросилась врассыпную, и все увидели окровавленное тело, распростертое на сцене.

Раздались крики: «Пожар! Пожар!»

Это кричали заговорщики, чтобы посеять панику, в

которой они надеялись разойтись и затеряться в толпе. Паника, однако, продолжалась недолго. Ее практически мгновенно пресек граф Эссенский, который протиснулся на сцену, чтобы посмотреть, что там произошло. Склонившись над лежащим, он снял с его лица маску и понял, что его опасения подтвердились: он увидел мертвенно бледное лицо короля. Когда граф выпрямился, его лицо было таким же белым.

— Убийство! — закричал он. — Закрыть двери и поставить к ним охрану, чтобы никто не ушел из театра!

Офицеры охраны немедленно выполнили его приказ.

Телохранители короля, оказавшиеся в зале, подняли Густава и помогли уложить его на носилки.

К королю вернулось сознание, пока врач осматривал его рану, он все понял и настолько пришел в себя, что смог сам отдавать приказания. Велел запереть ворота города на три дня, он принес свои извинения присутствующему в Опере прусскому министру за то, что тот поневоле попал в изоляцию, объяснив, что его приказ соответствовал обстоятельствам.

— Ворота будут закрыты три дня, — сказал он, — и в течение этого времени вы не сможете сноситься со своим двором. Зато ваши сообщения будут более важными, ибо к тому времени станет ясно, выживу я или умру.

Следующий приказ, отданный королем прерывающимся из-за нарастающей боли голосом, был адресован дворцовому Бензелстьерне. Перед тем как покинуть зал, все присутствующие должны снять маски и записать в особой книге свои имена. После этого Густав велел доставить себя домой на носилках, на которых он лежал, чтобы избежать страданий, причиняемых ему малейшим движением.

Гренадеры понесли его на плечах, освещая путь факелами. Улицы были запружены народом: разнесся слух, что король погиб. Для наведения порядка были вызваны войска. Рядом с носилками шел Армфельт, облаченный в свой белый блестящий атласный костюм. Он оплакивал короля, а заодно и себя, ибо понимал, что держится на плаву лишь до тех пор, пока правит Густав. Сердце барона было переполнено горечью и ненавистью к людям, разрушившим его благополучие, и эта ненависть невероятным образом обострила его сообразительность.

Наконец король вновь оказался в своих покоях и стал

ждать врача, который должен был определить, насколько серьезна рана. Среди прочих в комнате оказался и Армфельт, продолжавший обдумывать то ужасное подозрение, которое зародилось в его голове.

Вошел герцог Карл, брат короля. Вместе с ним пришел Бензелстьерне, неся список присутствующих на балу.

Прежде чем приступить к чтению списка, король спросил:

— Скажите, нет ли там имени Анкарстрема?

— Он подписался последним, ваше величество, — ответил дворецкий.

Король мрачно усмехнулся.

— Скажите Лиллесперу, пусть арестует и допросит его!

Вперед выступил Армфельт.

— Есть еще один человек, которого надо арестовать! — с жаром воскликнул он и добавил: — Бьелке!

— Бьелке?

Король повторил это имя почти раздраженно: настолько нелепым показалось ему обвинение. Армфельт быстро заговорил:

— Именно он убедил вас пойти, хотя вы, получив предостережения, не хотели этого делать! И он уговорил вас, предложив поменяться одеждой. Если убийцы искали короля, то почему они пропустили человека, одетого в королевское домино, и обратили внимание на то, которое было на вас, хотя оно ничем не отличалось от десятков других? Потому что они знали о подмене! Но от кого? Кто еще знал о ней?

— Боже мой! — простонал король, которого в свое время предавали многие. На сей раз ему приходилось переживать предательство человека, которому он верил как самому себе.

Спустя час барона Бьелке арестовали у дверей его дома. Там его уже ждали люди Лиллеспера. Увидев их, барон повел себя спокойно. Они взяли его за руки и объявили арестованным.

— Этого и следовало ожидать, — сказал он. — Что ж, позвольте мне проститься с баронессой — и я в вашем распоряжении.

— Мне дано категорическое указание, — ответил ему старший офицер, — не спускать с вас глаз.

— Да? Неужели мне будет отказано в столь заурядной

просьбе? — в его голосе прозвучало внезапное раздражение и еще какие-то едва уловимые нотки.

— Таков приказ, барон!

Бьелке умолял дать ему пять минут, но офицер был непреклонен. Он был всего лишь машиной для исполнения приказов. Барон, молча протестуя, поднял вверх сжатые кулаки и затем медленно опустил их.

— Очень хорошо, — сказал он солдатам и позволил им отвести себя к карете, которая доставила его к ожидавшему его Лиллесперу.

В кабинете начальника полиции сидел арестованный Анкарстрем. Там же находился Армфельт, что-то яростно доказывавший ему. При появлении Бьелке он умолк.

— Вы причастны к этому злодеянию, Бьелке! — закричал он. — Если король не поправится...

— Он не поправится, — холодно произнес Анкарстрем. — Мой пистолет был заряжен отравленными пулями. Я сделал все, чтобы наверняка избавить страну от этого вероломного тирана.

Армфельт устал был на него яростными, налитыми кровью глазами и разразился проклятиями, поток которых иссяк лишь после того, как Лиллеспер приказал увести Анкарстрема. Когда приказ был выполнен, Лиллеспер повернулся к Бьелке.

— Мне очень неприятно, барон, что наша встреча происходит при таких обстоятельствах. Мне трудно поверить в то, в чем вас обвиняют. Возможно, барон Армфельт, объятый справедливым гневом и горем, был поспешен в своих выводах? Я надеюсь, вы сможете объясниться или, на худой конец, опровергнуть свою причастность к этому злодеянию.

Бьелке был бледен и напряжен.

— У меня есть объяснение, которое удовлетворит вас как человека чести, — спокойно сказал он, — но не как начальника королевской охраны. Я присоединился к заговорщикам, чтобы держать их в поле зрения и знать их намерения. Я пошел на это опасное дело из чувства любви и преданности к королю и преуспел. Вечером я пришел во дворец, обладая сведениями, которые могли не только спасти короля, но и дать ему возможность раз и навсегда покончить с заговором. Однако у дверей королевских покоев мне передали вот это письмо, адресованное лично королю. Прочтите его, Лиллеспер, и вы

совершенно ясно представите себе, кому вы служите, и поймете, как Густав, король шведский, отвечает на любовь и преданность. Прочтите и скажите, как бы вы действовали на моем месте.

И бросил письмо на стол, за которым сидел Лиллеспер.

Тот взял письмо и начал его читать. Потом еще раз взглянул на адрес и продолжил чтение. На его лице проступил неяркий румянец. Армфельт тоже читал, заглядывая через его плечо. Но это не беспокоило Бьелке: пусть весь мир узнает о подлости короля, в которой его избличало любовное письмо от супруги обесчещенного Густавом Бьелке.

Лиллеспер молчал, не решаясь поднять голову и встретиться взглядом с арестованным. Бесстыдный Армфельт шумно вздохнул:

— Так вы признаете свою вину? — спросил он.

— Я признаю, что отправил это чудовище на маскарад, где благословенная рука Анкарстрема выдала ему пропуск в мир иной, в котором он будет проклят!

— Пытка вытянет из тебя имена всех заговорщиков до единого!

— Пытка? — пренебрежительно усмехнулся Бьелке и пожал плечами. — Ваши люди, Лиллеспер, очень исполнительны и суровы. Они не позволили мне напоследок встретиться с баронессой, и она ускользнула от меня. Однако я подумал и решил, что лучшей мстью будет оставить ей жизнь. Пусть живет и помнит. А письмо теперь можно отдать королю. Пусть нежные слова скрасят последние часы его жизни.

Его лицо исказилось. «От гнева», — подумал Армфельт, наблюдавший за Бьелке. Но на самом деле от боли, вызванной ядом, разъедавшим его внутренности. Перед тем как войти в кабинет Лиллеспера, барон осушил маленькую склянку, которую полицейские нашли только после того, как он упал замертво.

Сразу после этого привели и обыскали Анкарстрема, чтобы пресечь возможную попытку избежать наказания подобным же образом. После окончания безрезультатного обыска Лиллеспер приказал не давать ему ни ножа, ни вилки, ни даже металлического гребешка, ничего, что могло бы помочь ему расстаться с жизнью.

— Не бойтесь, я не стану уклоняться от ответственности, — высокомерно заверил его Анкарстрем, в глазах

которого пылал фанатический огонь. — Я готов заплатить эту цену за избавление мира от чудовища, а моей страны — от лживого вероломного тирана. И я заплачу с удовольствием. — Он умолк, улыбнулся и извлек из-за обшлага обшитого галуном рукава хирургический ланцет. — Мне дали эту штуку, чтобы я мог вскрыть себе вены. Но я не хочу: по законам Господним и человеческим я должен принять смерть на эшафоте.

И, улыбаясь, положил ланцет на стол Лиллеспера.

Он был осужден, и казнь длилась три дня — с 19 по 21 августа. К нему были одна за другой применены самые жестокие пытки, предназначенные для цареубийц. Но он, вероятно, страдал не больше, чем его жертва, чья агония длилась тринадцать дней. Король умер жалкой смертью, сознавая, что заслужил эту участь, в то время как Анкарстрема поддерживал и возвышал его фанатизм.

Эшафот был воздвигнут на Стур Торгет*, напротив Стокгольмской оперы, где произошло убийство. Расчлененные останки Анкарстрема были вывезены в пригород и выставлены на всеобщее обозрение. Правую руку казненного положили под его голову. На следующее утро под рукой была найдена табличка с надписью:

«Благословенная рука, спасшая Отечество».

* Большая Рыночная площадь (шв.).

КАПРИЗЫ КЛИО

Часть вторая







I

ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ

Афонсу Энрикеш, первый король Португалии

В 1093 году мавры из династии Альморавидов под предводительством халифа Юсуфа¹ неудержимо хлынули на Иберийский полуостров, вновь овладев Лиссабоном и Сантареном на западе и распространив свои завоевания вплоть до реки Мондегу. Дабы воспрепятствовать восстановлению магометанского владычества, Альфонс VI Кастильский² призвал на помощь христианскую знать. Среди рыцарей, откликнувшихся на этот призыв, был граф Генрих Бургундский (внук Робера, первого графа Бургундского), которому Альфонс отдал в жены свою незаконнорожденную дочь Терезу вместе с приданым, состоявшим из графств Порту и Коимбра и титула графа Португальского.

Такова первая глава португальской истории.

Граф Генрих не жалел сил, защищая южные рубежи своей страны от нашествия мавров, и боролся с ними вплоть до своей смерти в 1114 году. Его вдова Тереза стала регентшей Португалии и правила государством до тех пор, пока ее сын Афонсу Энрикеш не достиг совершеннолетия. Эта в высшей степени энергичная, самолюбивая и находчивая женщина успешно боролась с маврами и закладывала тот фундамент, на котором сыну предстояло возвести Португальское королевство. Однако ее страстное увлечение одним из рыцарей, доном Фер-

нанду Перишом ди Трава, и те безмерно щедрые милости, которыми она осыпала его, привели к тому, что регентша нажила себе врагов в новом государстве, а отношения с сыном становились все прохладнее.

В 1127 году Альфонс VII Кастильский вторгся в Португалию, вынудив Терезу признать его своим сюзереном. Однако Афонсу Энрикеш, которому было тогда семнадцать лет и которого столичные жители объявили совершеннолетним и способным управлять государством, тотчас же отказался стать на капитулянтские позиции своей матери и уже через год собрал войско, чтобы выставить ее вместе с любовником вон из страны. Воинственная Тереза сопротивлялась до тех пор, пока не потерпела поражение в битве при Сан-Мамеди и не попала в плен.

Афонсу был еще почти мальчиком, хотя прошло уже четыре года с тех пор, как он четырнадцатилетним отроком бодрствовал со своим оружием в соборе Саморы, готовясь к почетному посвящению в рыцари, которое должен был произвести его двоюродный брат Альфонс VII Кастильский. И тем не менее в нем уже видели образец христианского рыцаря, достойного сына человека, посвятившего свою жизнь борьбе с неверными. Он был крепок, высок и обладал такой физической силой, что о нем и поныне вспоминают в Португалии — государстве, которое он, по сути дела, основал и первым правителем которого стал. Он значительно превосходил остальных рыцарей в умении владеть оружием и сидеть в седле, равно как и образованностью. Но его познания были довольно бессистемными, скорее вредными, чем полезными, и мы постараемся доказать это нашим рассказом. Во всяком случае, как полагали в XII столетии, рыцарям было вовсе необязательно и даже вредно знать то, что знал этот юноша. Но он, по крайней мере, был верен своему времени, сочетая в себе пылкую набожность со склонностью к плотским утехам и неудержимым высокомерием, чем поставил себя под угрозу отлучения от церкви уже в самом начале царствования.

Так получилось, что, заточив свою мать в узилище, Афонсу не угодил Риму. Донья Тереза имела влиятельных друзей в Ватикане, и те пустили в ход все свои связи, чтобы защитить ее. Его святейшество беззастенчиво проигнорировал скандально-провокационное поведение Терезы, равно как и то обстоятельство, что она вела себя неподобающим добродетельной матери образом; расценил действия португальского королевича заслуживающими вся-

кого порицания, нарушением сыновнего долга и приказал ему немедленно освободить донну Терезу из заключения.

Это повеление папы, подкрепленное угрозой отлучения от церкви в случае неповиновения, было доведено до сведения юного принца епископом Коимбрским, которого инфант³ считал своим другом.

Всегда вспыльчивый и порывистый, Афонсу Энрикеш залился краской гнева, выслушав это ультимативное требование. Его темные глаза, устремленные на пожилого священника, мрачно сверкнули.

— Стало быть, ты явился сюда убеждать меня выпустить на волю зачинщицу этой грызни, чтобы она вновь расхаживала по португальской земле? — спросил он. — Ты пришел уговаривать меня вновь отдать мой народ под гнет сеньора Травы? И ты сообщаемь мне, что неподчинение приказу, который лишает меня возможности честно исполнять мой долг перед страной, навлечет на меня проклятие Рима при твоём посредничестве? Все это говоришь мне ты?

Епископа охватило сильное волнение. Чувство долга по отношению к папскому престолу боролось в его душе с любовью к своему правителю. В смятении он потупил взор и, ломая руки, произнес дрожащим голосом:

— Разве у меня был какой-то выбор?

— Я поднял тебя из грязи! — В голосе принца нарастали грозные ноты. — Я своей рукой надел тебе на палец епископский перстень.

— Боже мой! Боже мой! Мог ли я забыть об этом? Я обязан тебе всем, что имею, за исключением души моей, которая принадлежит Господу, веры моей, которая принадлежит Христу, и моей преданности, которая суть собственность святого отца нашего, папы.

Принц молча смотрел на него, пытаясь совладать со своим страстным, вспыльчивым нравом. В конце концов он прорычал:

— Поди прочь!

Прелат склонил голову, не смея посмотреть в глаза повелителя.

— Храни тебя Господь, владыка, — чуть ли не рыдая, произнес он и вышел вон.

Епископ Коимбрский был взволнован. Он любил принца, которому был многим обязан, и понимал в глубине души, что Афонсу Энрикеш прав, но не мог изменить своему долгу перед Римом, долгу столь же непреложному, сколь и неприятному. Рано поутру Афонсу Энрикешу доложили, что к дверям собора прибит пергамент, сооб-

щающий о его отлучении от церкви, а епископ — то ли от страха, то ли от горя — покинул город и отправился в путь на север, к Порту.

Неверие в душе Афонсу Энрикеша быстро уступило место гневу. А затем почти так же быстро он принял решение — безрассудное и даже безумное, какого, собственно, и следовало ожидать от семнадцатилетнего юнца, держащего в руках бразды правления страной. Однако в этом решении, несмотря на его однозначность и полное пренебрежение законами церкви и общества, можно было заметить определенную логику, пусть и безнравственную.

Облачившись в латы и набросив на плечи отороченную золотом белую мантию, в сопровождении своего сводного брата Педру и двух рыцарей, Эмигиу Мониша и Санчо Нуньеса, Афонсу прискакал к собору. На огромных, окованных железом воротах, как ему и говорили, висел римский пергамент, предающий принца анафеме. Высокопарные, витиеватые латинские фразы были выведены на нем изящным, округлым почерком умелого церковного писца.

Он соскочил со своего громадного коня и, бряцая доспехами, взбежал по ступеням собора. Его спутники следовали за ним. Очевидцами последующих событий стали несколько зевак, застывших на месте, как только увидели своего принца.

Указ об отлучении еще не успел привлечь к себе чьего-либо внимания, поскольку в XII столетии искусство читать по-писаному представляло собой тайну, в которую посвящены были лишь очень немногие. Афонсу Энрикеш сорвал пергамент с гвоздя и смял его в кулаке, затем вошел в собор, но быстро вышел оттуда и направился в монастырь. Там, по его приказу, забили в колокола, созывая монахов.

Вскоре вокруг инфанта, стоявшего на залитом солнцем церковном дворе, стали собираться члены монашеского ордена — суровые, отчужденные, величественные, они неторопливо шествовали под украшенными лепным орнаментом сводами; одеяния их ниспадали до земли, руки, спрятанные в широкие рукава ряс, были сложены на груди. Выстроившись полукругом перед своим правителем, они невозмутимо ждали объявления его воли. Колокольный звон над головой стих.

Афонсу Энрикеш не стал попусту тратить слов.

— Я собрал вас, — возвестил он, — чтобы объявить, что вы обязаны избрать нового епископа.

По толпе священнослужителей пробежал ропот. Кано-

ники подозрительно и осуждающе смотрели на принца и косились друг на друга. Наконец один из них заговорил.

— *Habemus episcopum*, — мрачно промолвил он, и тут же раздалось несколько вторивших ему голосов:

— У нас есть епископ!

Глаза молодого правителя загорелись.

— Вы заблуждаетесь, — сказал он им. — У вас был епископ, но его больше здесь нет. Он бежал, покинув свой престол, после того, как обнаружил эту позорную писанину. — Принц поднял руку со смятым указом об отлучении. — Поскольку я — богобоязненный христианский рыцарь, то не признаю этой анафемы. Отлучивший меня от церкви епископ бежал, поэтому вы немедленно изберете нового, и он снимет с меня наложенное Римом наказание.

Безмолвные и бесстрастные, исполненные достоинства священнослужители, уверенные, что закон на их стороне, стояли перед своим правителем.

— Ну, так что же? — рявкнул молодой человек.

— У нас есть епископ! — повторил чей-то высокий голос.

— Аминь! — отозвался хор, и под сводами заходило гулкое эхо.

— Я же сказал вам, что ваш епископ бежал, — продолжал настаивать принц, и голос его дрожал от гнева. — И я заявляю, что он сюда не вернется, что нога его никогда впредь не ступит на улицы моего города Коимбры. Поэтому вы немедленно приступите к избранию его преемника.

— Повелитель, — холодно отвечал ему один из монахов, — избрание нового епископа незаконно и потому невозможно.

— Да как смете вы говорить мне такое? — взревел принц, взбешенный их холодным упорством. Он взмахнул рукой, яростным жестом приказывая им удалиться. — Прочь с глаз моих, вы — злобные спесивцы! Возвращайтесь в свои кельи и ждите моих повелений. Коль скоро вы, преисполнившись высокомерной и тупой гордыни, не желаете исполнять мою волю, я сам изберу вам нового епископа.

Афонсу был страшен в своем гневe, и монахи не осмелились сказать ему, что, даже будучи принцем, он не имеет права устраивать выборы епископа. С прежним бесстрашием поклонившись ему, они повернулись и удалились так же неспешно, как пришли. Нахмутив брови и сжав губы, Афонсу провожал их взглядом; Мониш и

Нуньес молча стояли у него за спиной. Внезапно взор темных настороженных глаз принца остановился на последней удаляющейся фигуре. Мрачное строгое шествие замыкал высокий худощавый молодой человек. Бронзовый цвет кожи и хищный ястребиный профиль свидетельствовали о том, что в жилах его течет мавританская кровь. И в мозгу мальчишки-принца тут же мелькнула злорадная мысль: а ведь этого человека можно превратить в оружие, которое поможет ему смирить гордыню других церковников. Он поднял руку и поманил монаха к себе.

— Как тебя звать? — спросил его принц.

— Меня называют Сулейманом, владыка, — был ответ, и это имя стало еще одним подтверждением мавританского происхождения молодого человека. Хотя нужды в таком подтверждении в общем-то не было.

Афонсу Энрикеш рассмеялся. Отличная будет шутка — поставить над этими высокомерными священниками, не пожелавшими сделать выбор, такого епископа, который лишь немногим лучше заурядного арапа!

— Дон Сулейман, — молвил принц, — нарекаю вас епископом Коимбрским вместо сбежавшего бунтовщика. Готовьтесь к праздничной мессе, которая состоится нынче же утром и во время которой вы объявите о моем освобождении от наказания.

Обращенный в христианство мавр отпрянул; его лицо цвета меди побледнело и приобрело болезненный, сероватый оттенок. Несколько замыкавших шествие священнослужителей обернулись и замерли за спиной мавра, вытаращив глаза. Услышанное потрясло их. Это было и впрямь нечто совершенно невероятное.

— О нет, мой государь! Нет, только не это! — запричитал дон Сулейман. Такая перспектива привела его в ужас, и от волнения он сбился на латынь. — *Domine pop sum dignus**, — вскричал он и ударил себя кулаком в грудь.

Но непреклонный Афонсу Энрикеш ответил на латынь монаха в свою очередь по латыни:

— *Dixi!* Я все сказал! — оборвал он монаха. — За неповиновение ты заплатишь мне жизнью.

И с этими словами принц, лязгая доспехами, вышел на улицу в сопровождении своих спутников и в твердом убеждении, что нынче утром он потрудился на славу.

Все последующие события разворачивались в полном

* Господи, не достоин я (лат.).

соответствии с опрометчивыми распоряжениями мальчишки и в вопиющем противоречии со всеми законами церкви. Дон Сулейман, облаченный в мантию и митру епископа, еще до полудня пропел «Kyrie Eleison»* в соборе Коимбры и объявил инфанту Португалии, смиренно и благочестиво преклонившему перед ним колена, об отпущении всех его грехов.

Афонсу Энрикеш был очень доволен собой. Он обратил все дело в шутку и всласть посмеялся вместе со своими приближенными.

Однако Эмигиу Монишу и самым почтенным членам совета было вовсе не до смеха. С благоговейным страхом наблюдали они, как разворачивается это почти святотатственное действие, умоляя монарха последовать их примеру и взглянуть на свое деяние трезвыми глазами.

— Клянусь мощами святого Иакова! — кричал он им в ответ. — Я не позволю попам запугивать принцев!

Такое высказывание в XII столетии можно было бы считать едва ли не революционным. Монахи Коимбры придерживались противоположного мнения, полагая, что принцам не пристало запугивать священников, и решили заставить Афонсу Энрикеша осознать это, жестоко проучив его. Они отправили в Рим подробный доклад о его бессовестной, своевольной и немыслимо кошунственной проделке и призвали Рим подвергнуть заслуженному духовному бичеванию этого заблудшего сына матери-церкви. Рим поспешил восстановить ее авторитет и отрядил к нашему непокорному мальчишке, правившему Португалией, своего легата⁴. Но ему пришлось проделать довольно длинный путь, а средства передвижения в те времена не могли обеспечить скорого прибытия на место, и поэтому папский легат появился в столице Афонсу Энрикеша лишь через два месяца после того, как дон Сулейман занял епископскую кафедру в Коимбре.

Гонцом, отправленным папой Гонорием Вторым, был блистательный кардинал Коррадо. Имея в своем распоряжении полный набор боевого апостольского вооружения, он должен был укротить мятежного португальского инфанта и принудить его к повиновению.

Глашатаем его приближения стала людская молва. Афонсу Энрикеша весть ничуть не расстроила. После отпущения грехов, полученного от матери-церкви столь

* Господи, помилуй (греч.) — начальные слова одноименной католической молитвы.

своеобразным способом, совесть его была чиста, и он с головой ушел в подготовку военной кампании против мавров, итогом которой должно было стать значительное расширение подвластных ему территорий. Поэтому гром, когда он, наконец, грянул, стал для Афонсу громом среди ясного неба.

Был летний вечер, и уже начинало смеркаться, когда легат въехал в Коимбру на носилках, что несли два шедших по бокам мула. Легата сопровождали его племянники, Джаннино и Пьерлуиджи да Коррадо (оба — римские патриции), и небольшая свита слуг. Выполняя священную миссию, кардинал не нуждался в вооруженной охране и мог путешествовать по населенным богобоязненными гражданами странам без всякой стражи.

Его отнесли в старый мавританский дворец, служивший инфанту резиденцией, где он и застал хозяина сидящим в окружении многочисленных приспешников в огромном колонном зале. На фоне военных трофеев, зловещего оружия и кольчуг сарацинского и европейского образца, которыми были увешаны все стены, шла веселая пирушка. В ней участвовали пестро разодетые знатные сеньоры и их расфуфыренные подруги. Облеченный с головы до пят в пурпурное одеяние, великий кардинал появился в зале в самый разгар веселья, причем о его прибытии даже не было объявлено.

Смех разом смолк. Притихшие гуляки замерли, уставясь вытаращенными глазами на внушительную фигуру незваного гостя. Легат и два юных римлянина медленно двинулись через зал. Тишину нарушало лишь мягкое постукивание башмаков да едва слышное шуршание шелковой мантии. Наконец кардинал приблизился к невысокому помосту, где в массивном резном кресле восседал португальский инфант. Афонсу Энрикеш смотрел на легата с подозрением: чутье подсказывало ему, что кардинал — союзник его матери и, следовательно, враг, явившийся сюда с новыми угрозами. Поэтому Афонсу не поднялся навстречу легату, желая этим подчеркнуть, что хозяин здесь он и никто другой.

— Милости прошу, сеньор кардинал, — приветствовал он легата. — Добро пожаловать в мою страну.

Возмущенный таким приемом, кардинал сдержанно поклонился в ответ. Во время его долгого путешествия по испанским землям принцы и знатные сеньоры валом валили к нему, чтобы облобызать кардинальскую длань и, преклонив колена, получить благословение его преос-

вященства. А этот безусый юнец с шелковистым пушком на упругих детских щечках даже не встал и приветствовал его, кардинала, не более почтительно, чем посланника какого-нибудь мелкого мирского князька!

— Я нахожусь здесь как представитель его святейшества, — объявил легат тоном сурового осуждения, — и прибыл прямо из Рима вместе с моими возлюбленными племянниками.

— Из Рима? — промолвил Афонсу Энрикеш. При своих длинных руках и ногах и могучем телосложении он умел, если желал, принимать проказливый вид. Так он и сделал и на этот раз. — Что ж, это внушает надежду, хотя до сих пор из Рима я не получал ничего хорошего. Его святейшество услышит о том, как я готовлюсь к войне с неверными, войне, которая позволит водрузить крест там, где ныне торчит полумесяц. Возможно, он пришлет мне в дар немного золота, чтобы помочь в этом святом деле.

Насмешка больно уколола легата. Его болезненно-желтоватое, аскетичное лицо побагровело.

— Я привез не золото, — отвечал кардинал. — Я пришел, дабы преподать вам урок веры, о которой вы, похоже, напрочь забыли. Я приехал, чтобы научить вас бласти своей христианский долг и потребовать немедленного исправления последствий ваших святотатственных деяний. Папа требует незамедлительно восстановить в прежнем положении епископа Коимбры, которого вы изгнали из города, угрожая насилием, и низложить священнослужителя, богохульно поставленного вами на место законно избранного епископа.

— И это все? — с угрожающим спокойствием проговорил юноша.

— Нет, — ответил легат, бесстрастный в сознании своей правоты. — Мы требуем также, чтобы вы тотчас освободили даму, вашу мать, которую вы несправедливо заточили в узилище и держите там.

— Это заточение отнюдь не несправедливо, а свидетельства тому — все здесь присутствующие, — отвечал инфант. — Возможно, Рим поверил лживым наветам. Донья Тереза вела распутную жизнь, и мой народ страдал во время ее несправедливого правления. Вместе с пресловутым сеньором Трава она разожгла пожар гражданской войны в подвластных ей землях. Узнай же от нас правду и поведай ее Риму. Тем самым ты совершишь достойное деяние.

Но легат был преисполнен упрямства и гордыни.

— Не такого ответа ждет от вас наш святой отец, — сказал он.

— Но таков ответ, который я посылаю ему.

— Берегись, безумный и мятежный юноша! — вспыхнул кардинал, не сдержав гнева. Голос его зазвучал громче: — Я прибыл сюда, имея в своем распоряжении оружие, мощи которого достанет, чтобы уничтожить тебя. Не злоупотребляй терпением матери-церкви, иначе вся сила ее гнева обрушится на твою голову.

Впад в неистовство, Афонсу Энрикеш вскочил на ноги. Душевное волнение исказило его черты, глаза загорелись.

— Прочь! Вон отсюда! — вскричал он. — Убирайтесь, сеньор, да побыстрее, иначе, видит Бог, я, не мешкая, присовокуплю новое святотатство ко всем тем, в которых вы меня обвиняете.

Легат плотнее закутался в широкую мантию. Он побледнел, но сохранил спокойствие и невозмутимость. Исполненный сурового достоинства, он поклонился рассерженному юноше и удалился с таким спокойным видом, что трудно было определить, кто же одержал верх в этом поединке. И если еще ночью Афонсу Энрикеш считал себя победителем, то утром его иллюзии рассыпались в прах.

Ни свет ни заря его разбудил камергер. Эмигиу Мониш требовал немедленной аудиенции. Афонсу Энрикеш сел на постели и велел впустить вельможу.

Пожилой рыцарь и верный спутник вошел к нему тяжелой поступью. Хмурое смуглое лицо; сурово сжатые губы, почти скрытые седой бородой, превратились в тонкие полоски.

— Да хранит тебя Господь, государь, — приветствовал инфанта Мониш таким мрачным тоном, что его слова прозвучали как благочестивое, но несбыточное пожелание.

— И тебя, Эмигиу, — ответил инфант. — Раненько же ты поднялся. Что тому причиной?

— Дурные вести, государь, — рыцарь пересек комнату, откинул задвижку на окне и распахнул его. — Слушай, — сказал он принцу.

Неподвижный утренний воздух был наполнен нарастающим звуком, похожим то ли на жужжание огромного улья, то ли на шум морских волн во время прилива. Но Афонсу Энрикеш тотчас же понял, что это ропот толпы.

— В чем дело? — спросил он, спуская с кровати мускулистые ноги.

— В том, государь, что папский легат исполнил все свои угрозы и сделал кое-что еще. Он наложил на город

проклятие и отлучил от церкви всю Коимбру. Храмы закрыты, и до тех пор, пока проклятие не будет снято, ни одному священнику не разрешается крестить, венчать, исповедовать и свершать иные таинства святой церкви. Народ объят ужасом и знает, что проклятие наложено из-за тебя. Теперь они собрались внизу у ворот храма и требуют встречи с тобой, чтобы умолить тебя освободить их от ужасов отлучения.

Афонсу Энрикеш уже поднялся на ноги. Он стоял, изумленно глядя на старого рыцаря; лицо его покрыла мертвенная бледность, сердце сжалось от страха. Оружие, которое обратила против него церковь, было неосязаемым, но разило сокрушительно и беспощадно.

— Боже мой! — застонал он. — Как же мне быть?

Мониш был очень серьезен и мрачен.

— Первым делом надо успокоить народ, — ответил он.

— Но как?

— Есть только один путь. Пообещай подчиниться воле папы, искупить свои грехи и снять проклятие отлучения с себя и своего города.

Бледные щеки юноши залились ярким румянцем.

— Что?! — вскричал он, и голос его был похож на рык. — Выпустить на волю мою мать, сместить Сулеймана, вновь призвать беглого изменника, проклявшего меня, и униженно выпрашивать прощения у этого чванливого итальянского церковника? Да пусть сгниют мои кости, да гореть мне веки вечные в адском пламени, если явлю я миру такую трусость! А ты, Эмигиу? Неужели ты и впрямь советуешь мне так поступить?

Волны гнева поднимались в душе принца, но тут Эмигиу повел рукой в сторону распахнутого окна и ответил:

— Ты слышишь глас народа. Знаешь ли ты какой-нибудь иной способ заставить его умолкнуть?

Афонсу Энрикеш присел на краю ложа и обхватил руками голову. Он потерпел полное поражение, он был разгромлен. И тем не менее...

Принц поднялся и хлопнул в ладоши, призывая камергера и пажей, чтобы те помогли ему одеться и вооружиться.

— Где квартирует легат? — спросил он Мониша.

— Кардинал покинул город, — отвечал рыцарь. — С первыми петухами он отправился в сторону Испании по дороге, что идет вдоль Мондегу, — так мне сообщила стража Речных ворот.

— Как случилось, что стража открыла их для него?

— Его полномочия, государь, и есть тот ключ, который открывает перед ним все двери в любое время дня и ночи. Стража не посмела схватить или задержать кардинала.

— Хм! — буркнул инфант. — Тогда мы отправимся в погоню.

Он торопливо оделся, пристегнул к доспехам свой громадный меч, и они пустились в путь.

Очутившись во дворе, он призвал к себе Санчо Нуньеса и подюжины стражников, сел на боевого коня и поскакал бок о бок с Эмигиу Монишем. Остальные следовали за ними чуть поодаль. Проехав по подъемному мосту, он оказался на площади, заполненной галдящей толпой жителей опального города.

Завидев Афонсу, толпа испустила громкий вопль. Люди молили своего правителя смириться над ними и избавить от проклятия. Потом наступила тишина: народ ждал, что скажет принц, чем утешит своих подданных.

Он натянул поводья и, встав на стременах, выпрямился в полный рост. Теперь это был не мальчик, но муж.

— Жители Коимбры! — обратился он к толпе. — Я отправляюсь в поход, чтобы добиться отмены отлучения от церкви, которому подвергся наш город. Вернусь я еще до захода солнца. До тех пор вы должны сохранять спокойствие.

Толпа ответила новым воплем, но теперь она восхваляла своего правителя как отца и защитника всех португальцев и призывала божественное благословение на его прекрасное чело.

Афонсу поехал вперед. Слева и справа от него скакали Мониш и Нуньес, а за ними — остальное блистательное воинство. Оставив позади город, кавалькада выбралась на дорогу, которой пользовался легат, покидая Коимбру. Путь лежал вдоль реки.

Все утро они резво скакали вперед. Инфант еще не ел сегодня, но он напрочь забыл и о голоде, и обо всем остальном, всецело сосредоточившись на своей цели. Он ехал молча, лицо его казалось окаменевшим, брови были нахмурены. Мониш все время тайком наблюдал за ним, гадал, какие мысли бродят в буйной голове юноши. И ему становилось страшно.

Незадолго до полудня они наконец нагнали легата. Принц заметил его мулов и носилки перед входом на постоялый двор в маленькой деревушке, лежавшей милях в десяти, за отрогами кряжа Буссако. Инфант резко осадил

коня и издал злобный сдвленный крик, будто дикий зверь, выследивший свою добычу.

Мониш протянул руку и положил ее на плечо принца.

— Мой государь! — в страхе воскликнул он. — Мой государь, что ты задумал?

Принц уставился в переносицу рыцаря, и его губы сложились в кривую усмешку.

— Я намерен молить кардинала Коррадо о сострадании, — насмешливо ответил он и с этими словами соскочил с коня, бросив поводья одному из своих закованных в броню всадников.

Бряцая доспехами, он вошел на постоянный двор в сопровождении Мониша и Нуньеса. Отшвырнув в сторону хозяина, который не знал, с кем имеет дело, и, конечно, не позволил бы даже столь благородному с виду господину нарушить покой своего почетного гостя, Афонсу широким шагом вошел в трапезную, где в обществе двух своих знатных племянников обедал кардинал Коррадо.

Увидев его, Джаннино и Пьерлуиджи мгновенно вскочили на ноги и схватились за рукоятки своих кинжалов, испугавшись, что принц может прибегнуть к насилию. Но кардинал Коррадо продолжал неподвижно сидеть на месте. Он поднял глаза, и на строгом аскетичном лице его заиграла какая-то невыразимо ласковая улыбка.

— Я надеялся, что ты последуешь за мной, сын мой, — молвил он. — Если ты принес мне покаяние, значит, Бог услышал мою молитву.

— Покаяние? — вскричал Афонсу Энрикеш. Зло расхохотавшись, он выхватил из ножен кинжал.

Санчо Нуньес в ужасе схватил принца за плечи, пытаясь его удержать.

— Мой государь! — срывающимся голосом закричал он. — Ты не посмеешь заклать помазанника Господа нашего! Это означало бы полное и безвозвратное самоуничтожение!

— Проклятие исчезнет, когда не станет того, чьи уста произнесли его, — ответил Афонсу. Горячая кровь не мешала этому юноше и пылкому разрубателю гордиевых узлов рассуждать довольно здраво. — А снять проклятие с моей Коимбры для меня важнее всего.

— И оно будет снято, сын мой, как только ты покаешься и выразишь готовность повиноваться воле его святейшества, как и подобает христианину, — ответил бесстрашный кардинал.

— Да наделит меня Господь терпением, чтобы разгова-

ривать с тобой! — воскликнул Афонсу Энрикеш. — Слушай же меня, господин кардинал. — Правитель Коимбры подался вперед, уперев ладони в рукоятку кинжала и вгоняя клинок на несколько дюймов в сосновую столешницу. — Я могу понять и снести твоё желание покарать меня при помощи орудий церкви за грехи, которые ты мне приписываешь. Быть может, тут есть некий резон. Но скажи, какой смысл наказывать целый город за проступок, который совершил — если вообще совершил — я один? И наказывать столь страшным проклятием, лишая преданных сынов матери-церкви всякого утешения. Зачем запрещать им отправлять священные обряды, зачем не допускать мужчин и женщин к алтарю их веры, обрекая на смерть без причастия и отпущения грехов, а значит, на вечные муки? Какая причина побуждает тебя к этому?

Снисходительная улыбка на лице кардинала сменилась лукавой ухмылочкой.

— Что ж, я отвечу тебе. Ужас заставит горожан взбунтоваться против тебя. Если, конечно, ты не избавишь их от проклятия. У меня, государь, есть отличное средство удержать тебя в узде. Либо ты покоришься, либо будешь уничтожен.

Афонсу Энрикеш на миг задумался над его словами.

— Да, это и впрямь достойный ответ, — произнес он наконец, и в голосе его зазвучала нарастающая нотка угрозы. — Но здесь уже политика, а не вера. А что делает принц, менее искушенный в государственных делах, чем его противники? Он прибегает к силе, сеньор кардинал. Вы вынуждаете меня к этому, а значит, вам и отвечать за последствия!

— О какой силе ты говоришь? — глумливо спросил легат. — Твое жалкое оружие, сеющее смерть, — ничто в сравнении с мощью стоящей за мной церкви. Ты угрожаешь мне гибелью? Думаешь, она страшит меня?

Внезапно кардинал поднялся на ноги и в порыве гнева распахнул свою пурпурную мантию.

— Рази же меня своим кинжалом! На мне нет кольчуги. Рази, коли посмеешь, и твой святотатственный удар погубит тебя. Погубит и в этом мире, и в загробном.

Инфант задумчиво взглянул на легата и медленно вложил кинжал в ножны. На лице его появилась тусклая улыбка. Он хлопнул в ладоши, и в комнату вошли сопровождавшие его латники.

— Схватите, двух этих римских щенков, — велел он

им, указывая на Джаннино и Пьерлуиджи. — Схватите и разделайтесь с ними. Быстро!

— Сеньор принц! — вскричал легат сразу и умоляюще, и испуганно, и возмущенно.

Нотки страха еще больше раззадорили Афонсу Энрикиша.

— Быстро! — снова воскликнул он, хотя в этом не было никакой нужды, ибо латники уже вцепились в племянников кардинала. Те ругались, кусались, отбивались ногами, но их в мгновение ока повалили на пол, обезоружили и связали. Латники взглянули на принца, ожидая дальнейших распоряжений. Стоявшие поодаль Мониш и Нуньес с тревогой наблюдали за происходящим. Кардинал, который так и не вышел из-за стола, стоял без кровинки в лице и сдавленным голосом вопрошал принца, какое еще бесчинство тот задумал. Легат умолял принца опомниться, грозил ужасными последствиями этого возмутительного поступка. И все это на одном дыхании.

Речь кардинала совершенно не тронула Афонсу Энрикеша. Он указал на окно, за которым посреди постоянного двора высился огромный дуб.

— Отведите их туда и повесьте безо всякого причащения, — повелел он.

Легат покачнулся и едва не упал ничком. Он схватился за стол, утратив дар речи от страха за этих двух молодых людей, которых берег как зеницу ока. А ведь только что он бесстрашно подставил под стальной клинок свою собственную грудь.

Двух миловидных итальянских юношей поволокли вон из комнаты. Они бились и извивались в руках своих пленителей.

Наконец легат, бывший на грани обморока, обрел дар речи.

— Сеньор принц! — выдохнул он. — Сеньор принц... ты не посмеешь совершить такую низость! Не посмеешь! Предупреждаю тебя, что... что... — кардинал так и не высказал вслух очередную угрозу. Этому помешал нараставший в его душе ужас.

— Смилуйся! — закричал он. — Смилуйся, государь! Ведь ты и сам надеешься на милосердие!

— Ну, и каково же оно, твое милосердие? Ты шляешься по свету, долдоня проповеди о милосердии, а как запахнет жареным, так сам выклянчиваешь его! Ну, хорошо!

— Но ведь это низость! Что сделали тебе эти несча-

стные дети? Какой причинили вред? Чем они виноваты, если я нанес тебе обиду, выполняя свой священный долг?

Инфант молниеносно ответил кардиналу в его же духе:

— А что сделали тебе мои подданные, жители Коимбры? Разве они повинны в том, что я обидел тебя? И тем не менее, желая помыкать мною, ты без колебаний пустил в ход оружие церкви, обратив его против народа. А я, чтобы приструнить тебя, столь же решительно поражаю своим оружием твоих племянников. Увидев их болтающимися в петле, ты поймешь то, чего не смог уяснить из моих слов. И низость моя — лишь ответ на твою собственную подлость. Уразумей это, быть может, сердце твое дрогнет, и ты смиришь свою чудовищную гордыню.

На улице под деревом, уже готовые исполнить приказ, суетились латники.

Кардинал, поглядев на них, болезненно поморщился и стал задыхаться.

— Не допусти этого! — Он умоляюще простер к принцу руки. — Сеньор принц, ты должен освободить моих племянников.

— Сеньор кардинал, вы должны снять проклятие с моих подданных.

— Если... если ты прежде выразишь готовность повиноваться. Мой долг... Святой престол... О Боже, неужели ничто не в силах тронуть твое сердце?

— Когда ваших племянников повесят, вы кое-что поймете. Собственное горе научит вас состраданию.

Голос инфанта звучал так холодно и твердо, что кардинал уже и не чаял добиться своей цели. Увидев, что на шею его горячо любимых племянников уже накинута петля, он тотчас же сдался.

— Останови их! — завопил легат. — Заставь их остановиться! Проклятие будет снято.

— Погодите! — крикнул инфант своим людям, вокруг которых уже собралась горстка трепещущих от страха селян. И обернулся к кардиналу Коррадо, опустившемуся на стул с видом человека, лишившегося последних сил. Он тяжело дышал, опершись о стол и обхватив ладонями голову.

— Выслушайте условия, которые вам надо принять, чтобы спасти им жизнь. Полное отпущение грехов и апостольское благословение для моих подданных и меня самого. Нынче же вечером. Я, со своей стороны, готов исполнить волю его святейшества и освободить из заточения мою мать, но при условии, что она тотчас же покинет Португалию и больше не вернется сюда. Что

касается изгнанного епископа и его преемника, то пусть все остается как есть. Однако вы можете успокоить свою совесть, лично подтвердив назначение дона Сулеймана. Вот так, сеньор. Мне кажется, что я достаточно великодушен. Освободив свою мать, я даю вам возможность ублажить Рим. Если все, что я намеревался здесь проделать, поможет вам усвоить свой урок, будьте довольны и не терзайтесь муками совести.

— Да будет так, — севшим голосом отвечал кардинал. — Я вернусь с тобой в Коимбру и исполню твою волю.

После этого Афонсу Энрикеш без всякого глумления, а вполне серьезно и искренне преклонил колена перед кардиналом, давая понять, что их ссора исчерпана, и попросил благословения, как и подобает верному и смиренному сыну святой церкви, каковым он себя считал.

II

ЛЖЕДИМИТРИЙ

Борис Годунов и самозванный сын Иоанна Грозного¹

Впервые Борис Годунов услышал о самозванце, сидя за ужином в огромной палате своего дворца в Кремле. Весть пришла, когда и без того было над чем поломать голову: несмотря на стол, и сервировкой, и яствами вполне достойный императора, за стенами дворца, на улицах Москвы, свирепствовал голод, до того истощивший горожан, что, займись они людоедством, никто, наверное, не стал бы вменять это им в вину.

В полном одиночестве, если не считать прислуживавшей за столом челяди, восседал Борис Годунов под чугунными лампадами, превращавшими крытый белой скатертью стол с золотыми ковшами и серебряными блюдами в сверкающий островок света среди мрака, в который был погружен огромный чертог. Воздух был напоен ароматом горящих сосновых поленьев: хотя был уже май, ночи стояли холодные, и в очаге постоянно поддерживали огонь.

К Борису приблизился его верный слуга Басманов. Именно он принес известие — одно из тех, что поначалу так потрясали царя. Казалось, Немесида наконец-то занесла над его грешной головой свой карающий меч.

Острые, болезненно-желтые скулы Басманова окрасились румянцем; в продолговатых глазах сверкали искорки возбуждения. Первым делом он велел челяди удалиться, потом подался вперед и, склонившись над Борисом, скороговоркой сообщил ему новость.

При первых же словах царь с гневом бросил свой нож на золотую тарелку, и его короткие сильные руки вцепились в резные подлокотники массивного золоченого кресла. Но он быстро овладел собой и, продолжая слушать боярина², мало-помалу приходил в насмешливое расположение духа. Презрительная ухмылка заиграла на его губах, полуприкрытых седеющей бородой.

А суть басмановского доклада сводилась к тому, что в Польше неведомо откуда объявился человек, называвший себя сыном Иоанна Васильевича и законным царем Руси, тем самым Димитрием, что скончался в Угличе двенадцать лет назад и останки которого покоились в Москве, в соборе Архангела Михаила. Человек этот нашел прибежище при дворе литовского магната Вишневецкого, и польская знать в один голос выражает ему почтение, спеша признать в нем законного сына Иоанна Грозного. Поговаривали даже, что он как две капли воды похож на покойного царя, если не считать смуглой кожи и черных волос, унаследованных им от вдовствующей царицы. Кроме того, на лице у него было две бородавки. Точно такие же, насколько помнили приближенные и слуги, обезображивали черты Димитрия, когда тот был ребенком.

Все это сообщил царю Басманов, добавив, что он отправил в Литву гонца для уточнения и подтверждения этой вести. На основании полученных им дополнительных сведений боярин избрал этим гонцом Смирного-Отрепьева².

Борис откинулся на спинку кресла, не отрывая взгляда от украшенного камнями кубка и машинально вертя его в пальцах. На круглом бледном лице царя теперь не было и тени улыбки, черты его застыли, на чело легла печать глубокого раздумья.

— Найди князя Шуйского, — молвил наконец Борис, — и пришли его ко мне.

А в ответ на сообщение боярина царь сказал лишь:

— Мы еще поговорим об этом, Басманов.

И с этими словами мановением руки отослал придворного.

Но как только боярин удалился, Борис тяжело поднялся на ноги и подошел к очагу. Царь понурил свою крупную голову, грузные плечи его поникли. Он был человеком

невысокого роста, коренастым, кривоногим и склонным к полноте⁴. Царь поставил на решетку очага обутую в отороченный горностаем красный кожаный сапог ногу и, облокотившись на резные украшения над ним, подпер ладонью лоб. Глаза его смотрели на огонь, словно пляшущие языки пламени напоминали ему о том давнем пышном зрелище, которое занимало теперь его мысли.

Девятнадцать лет пролетело с тех пор, как скончался Иоанн Грозный, оставивший после себя двух сыновей — Федора Иоанновича, который унаследовал престол, и царевича Дмитрия. Федор был хил и почти безумен. Он женился на сестре Бориса Годунова Ирине, благодаря чему Борис стал подлинным правителем Руси, той силой, которая поддерживала царский трон. Но его ненасытное честолюбие требовало большего. Он хотел носить венец и держать в руках скипетр, а этого можно было добиться, лишь истребив династию Рюриковичей, царствовавшую на Руси почти семь столетий. Между троном и Борисом стояли муж сестры и мальчик Дмитрий, отосланный вместе со своей матерью, вдовствующей царицей, в Углич.

Борис начал с последнего из них и сперва попробовал лишить его права престолонаследия, не прибегая к кровопролитию. Он попытался объявить Дмитрия незаконно-рожденным на том основании, что он был сыном Иоанна от пятой жены⁵ (ортодоксальная православная церковь признавала законными только первых трех жен), но эта попытка провалилась. Память об ужасном царе, страх перед ним еще были живы на суеверной Руси, и никто не посмел бы подвергнуть позору и бесчестию его сына. Поэтому Борис прибег к другому, гораздо более верному средству. Он послал в Углич своих людей, и вскоре оттуда пришла весть, что мальчик, играя ножом, в приступе падучей напоролся на клинок, пронзив себе горло. Однако эта версия не убедила жителей Москвы, поскольку почти одновременно в столицу пришло другое известие: Углич взбунтовался против посланцев Бориса. Горожане обвинили их в убийстве мальчика и прикончили на месте.

Возмездие Бориса было ужасным. Двести жителей злосчастного города были по его приказу преданы смерти, а остальных сослали за Урал. Царицу Марию Нагую, мать Дмитрия, тоже утверждавшую, что Борис велел убить мальчика, заточили в монастырь, где держали под усиленным наблюдением.

Все это произошло в 1591 году. В 1598 году умер сам Федор, причиной смерти которого явилась некая таинст-

венная болезнь. Борис расчистил себе путь к трону. Но, когда он восходил на престол, на нем уже лежал гнет проклятия собственной сестры. Вдова Федора смело бросила в лицо брату обвинение в том, что ради удовлетворения своего безжалостного честолюбия он отравил ее супруга, и страстно молила Бога обойтись с лиходеем так же, как сам он обходился с другими. После этого она удалилась в монастырь, дав обет никогда впредь не видаться со своим братом⁶.

О сестре и думал теперь царь, стоя в своих чертогах и глядя в пылающий очаг. Быть может, именно воспоминание о ее проклятии лишило его былой смелости и заставило трепетать от страха, хотя на то не было никаких явных причин? Уже пять лет царствовал он на Руси и за эти годы успел вцепиться в страну железной хваткой, ослабить которую было весьма непросто.

Долго стоял царь над очагом. Тут и застал его блистательный князь Шуйский, призванный Басмановым по монаршему повелению.

— Ты ездил в Углич, когда был зарезан цесаревич Димитрий, — молвил Борис. И голос его, и выражение лица казались совершенно спокойными и обыденными. — Ты своими глазами видел его тело. Как думаешь, мог ли ты ошибиться?

— Ошибиться? — Вопрос обескуражил боярина. Это был высокий мужчина, много моложе Бориса⁷, которому шел пятидесятый год. Со скуластой физиономии его не сходило сумрачное выражение, а во взгляде темных, близко поставленных глаз под густыми, сросшимися в линию бровями читалась какая-то зловещая угроза.

Чтобы объяснить смысл своего вопроса, Борис пересказал князю услышанное от Басманова. Василий Шуйский рассмеялся. Экий вздор! Димитрий мертв. Он сам держал на руках его тело, и никакой ошибки тут быть не может.

У Бориса помимо его воли вырвался вздох облегчения. Шуйский прав: весь рассказ Басманова — сущий вздор с первого до последнего слова. Бояться нечего. Глупо впадать в трепет, пусть даже и на какое-то мгновение.

И все-таки в последующие недели Борис часто задумывался над тем, что сказал ему Басманов. Главную причину для беспокойства царь видел в повальном паломничестве польской знати в Брагин⁸, ко двору магната Вишневецкого. Вельможи воздавали почести этому самому званому сыну Иоанна Грозного; в Москве тем временем

свиристествовал голод, а пустые желудки, как известно, не располагают к преданности. Кроме того, московская знать недолго любила своего царя: он правил чересчур сурово, ущемлял власть бояр, среди которых были люди вроде Василия Шуйского — слишком много знающие, алчные и честолюбивые, вполне способные употребить свою осведомленность ему во зло. Претендент на престол улучил очень благоприятный момент, сколь бы нелепы ни были его жульнические притязания. Поэтому Борис отправил к литовскому магнату гонца с предложением взятки за выдачу Лжедмитрия.

Но гонец вернулся с пустыми руками. Он слишком поздно прибыл в Брагин: самозванец уже покинул город и спокойно поселился в замке Юрия Мнишека, воеводы сandomирского, с дочерью которого, Мариной, он был обручен. Эта весть уже и сама по себе не сулила Борису ничего хорошего, но вскоре пришла и другая, еще более мрачная. Спустя несколько месяцев он получил известие, что Димитрий переехал в Краков, где Сигизмунд III Польский публично признал в нем сына Иоанна Васильевича, законного наследника русского венца⁹. Сообщили Борису и о фактах, на которых основывалось убеждение в законности требований Димитрия. Самозванец утверждал, что один из эмиссаров Бориса, посланных в Углич, чтобы убить его, подкупил лекаря царевича Семена. Тот сделал вид, будто согласен умертвить Димитрия: это был единственный способ спасти ему жизнь. Лекарь отыскал сына какого-то смерда, отдаленно похожего на царевича, облачил его в одежды, напоминавшие наряд молодого наследника, и перерезал мальчику горло. Те, кто нашел тело, решили, что убит Димитрий. Все это время лекарь прятал царевича, а потом тайно увез из Углича в монастырь, где Димитрий и получил образование.

Такова в двух словах история, с помощью которой претендент на русский престол убедил польский двор. Никто из знавших Димитрия мальчиком в Угличе не посмел разоблачить взрослого мужчину, чья наружность столь разительно напоминала облик Иоанна Грозного. Вскоре после того, как историю эту услышал Борис, ее узнала и вся Русь. И тогда Годунов понял, что настало время как-то опровергнуть ее.

Но как убедить москвичей? Одних заверений, пусть даже и царских, тут мало. И в конце концов Борис вспомнил о царице Марии, матери убиенного отрока. Он велел привезти ее в Москву из монастыря и поведал ей

о самозванце, претендовавшем на русский престол при поддержке польского короля.

Облаченная в черные одежды и постриженная в монахини по воле тирана, царица стояла перед Борисом и бесстрастно слушала его. Когда он умолк, слабая тень улыбки скользнула по ее лицу, успевшему огрубеть за двенадцать лет, которые прошли с того дня, когда ее мальчик был зарезан едва ли не на глазах у матери.

— Рассказ твой обстоятелен, — заметила Мария. — Возможно, и даже вероятно, что все это правда.

— Правда?! — прорычал царь, восседавший на троне. — Что ты мелешь? Ты сама видела мальчишку мертвым.

— Видела и знаю, кто его убил.

— Видела и признала в убиенном своего сына, коль скоро послала людей расправиться с теми, кто, по моему мнению, заклал его.

— Да, — отвечала царица. — Чего же ты теперь от меня хочешь?

— Чего я хочу? — Вопрос изумил и обескуражил Бориса. Уж не тронулась ли она умом в монастырской келье? — Я хочу, чтобы ты дала свое свидетельство и разоблачила этого молодца как самозванца. Тебе-то народ поверит.

— Ты думаешь? — В ее глазах мелькнуло любопытство.

— А как же? Или ты не мать Димитрия? И кому, как не матери, узнать собственного сына?

— Ты запомнил, что тогда ему было десять лет от роду. Совсем ребенок. А сейчас это взрослый двадцатирехлетний человек. Могу ли я сказать что-либо наверняка?

Царь грязно выругался.

— Ты видела его мертвым!

— И все же могла заблуждаться. Мне казалось, что я знаю твоих наймитов, убивших его. И тем не менее ты заставил меня поклясться под страхом смерти моих братьев, что я ошиблась. Возможно, я ошиблась даже еще больше, чем мы с тобой думали. Возможно, мой маленький Димитрий и вовсе не был предан закланию. Возможно, этот человек говорит правду.

— Возможно... — Царь осекся и взглянул на нее недоверчиво, настороженно и пытливо. — Что ты хочешь этим сказать? — резко спросил он.

Острые черты ее некогда милого, а теперь огрубевшего лица вновь тронула тусклая улыбка.

— Я хочу сказать, что, если бы вдруг сам Сатана вылез из преисподней и стал называть себя моим сыном, я должна была бы признать его тебе на погибель!

Годы раздумий о выпавших на ее долю испытаниях не прошли для царицы даром: боль и затаенная ненависть вырвались наружу. И ошеломленный царь испугался. Челюсть его безвольно отвисла, как у юродивого. Он смотрел на женщину вытаращенными, немигающими глазами.

— Ты говоришь, народ мне поверит, — продолжала царица. — Поверит, если мать узнает своего родного сына. Ну, коли так, часы твоего правления сочтены!

Глупо. Глупо было показывать царю оружие, которым она собиралась уничтожить его. Если поначалу он и растерялся, то теперь, получив сигнал о явной опасности, уже был во всеоружии. В итоге царица под бдительной охраной отправилась обратно в монастырь, где ее свободу ограничили еще больше, чем прежде.

Вера в Димитрия укоренялась и крепла на Руси. Борис был в отчаянии. Вероятно, зная все еще относилась к самозванцу скептически, но царь понимал, что не может полагаться на своих бояр, поскольку у них не было особых причин любить его. Возможно, Борис начал сознавать, что страх — не лучшее средство правления.

Наконец из Кракова возвратился Смирной-Отрепьев, посланный туда Басмановым, чтобы лично убедиться в правдивости ходивших среди бояр слухов о самозванце. Молва не обманула. Лжедимитрий оказался не кем иным, как его собственным племянником Гришкой Отрепьевым, монахом-расстригой, поддавшимся римской ереси, опустившимся и ставшим настоящим распутником. Теперь нетрудно понять, почему Басманов выбрал именно Смирнова-Отрепьева в качестве своего посланца.

Весть ободрила Бориса. Наконец-то он получил возможность на законном основании разоблачить и развенчать самозванца. Так он и сделал. Он отправил специального гонца к Сигизмунду III, наказав ему сорвать маску с юного выскочки и потребовать его выдворения из Польского королевства. Требование это поддержал патриарх Московский, торжественно отлучивший от церкви бывшего монаха Гришку Отрепьева, самозванно объявившего себя Димитрием Иоанновичем.

Однако разоблачение не принесло ожидаемых плодов. Вопреки надеждам Бориса оно никого не убедило. Ему докладывали, что царевич — истинный дворянин с изы-

сканными светскими манерами, образованный, владеющий польским и латынью не хуже, чем русским, искусный наездник и воин. Возникал вопрос: откуда у монаха-расстриги такие навыки и умения? Более того, хотя Борис вовремя спохватился и не дал царице Марии поддержать самозванца в отместку ему, он совсем забыл о двух ее братьях. У него не хватило прозорливости, и царь не смог предвидеть, что они, движимые такими же побуждениями, сделают то, что он не позволил сделать ей. Так и произошло: братья Нагие отправились в Краков, чтобы принародно признать Дмитрия как своего племянника и стать под его знамена.

Борис понимал, что на этот раз одно лишь красноречие его не спасет. Богиня возмездия уже обнажила свой меч, и царю придется заплатить за совершенные преступления. Оставалось только собрать войско и выступить навстречу самозванцу, который надвигался на Москву с казацкими и польскими дружинами.

Царь верно угадал, почему Нагие поддерживают Лжедмитрия. Братья тоже были в Угличе, тоже видели мертвого ребенка. Убийство совершилось едва ли не у них на глазах. Единственным мотивом их действий было стремление отомстить лиходею. Но мог ли Сигизмунд Польский действительно поддаться на обман? Мыслимо ли ввести в заблуждение воеводу сандомирского, чья дочь была помолвлена с авантюристом; магната Адама Вишневецкого, в доме которого впервые объявился Лжедмитрий; всю польскую знать, сбегавшуюся под его стяги? Или ими тоже движут некие подспудные побуждения, которых он, Борис, не в состоянии постичь?

Вот над чем ломал голову Годунов зимой 1604 года, когда посылал войско навстречу захватчику. Судьба отказала ему даже в удовольствии лично повести свои дружины: мучимый подагрой, он вынужден был остаться дома, в мрачных покоях Кремля. Тревога терзала душу царя, окруженного зловещими призраками прошлого, которые, казалось, возвещали о приближении часа расплаты.

Гнев царя разгорался все ярче и ярче по мере того, как ему докладывали, что русские города один за другим сдаются авантюристу. Не доверяя командовавшему войском Басманову, Борис послал Шуйского сменить его¹⁰. В январе 1605 года дружины сошлись в битве при Добрыничах, и Дмитрий, потерпев жестокое поражение, был вынужден отступить на Путивль¹¹. Он потерял всех своих пеших ратников, а каждого плененного русского, сражав-

шегоса на его стороне, безжалостно вешали по приказу Бориса.

Надежда оживала в его сердце, но шли месяцы, напряженность не разряжалась, и надежда эта вновь блекла, а застарелые язвы прошлого продолжали саднить, раздвигая душу и подрывая силы царя. Кошмар Лжедмитрия преследовал его, желание узнать, кто он такой, не давало покоя, но царь никак не мог разгадать эту головоломку. Наконец как-то апрельским вечером он послал за Смирным-Отрепьевым, чтобы снова порасспросить его о племяннике. На этот раз Отрепьев пришел, трепеща от страха: несладко быть дядькой человека, доставляющего столько треволнений великому правителю.

Борис вперил в Отрепьева испепеляющий взгляд своих налитых кровью глаз. Его круглое бледное лицо осунулось, щеки отвисли, а дородное тело царя утратило былую силу.

— Я призвал тебя для нового допроса, — сообщил царь. — Речь пойдет об этом нечестивце, твоём племяннике Гришке Отрепьеве, о монахе-расстриге, объявившем себя царем Московии. Уверен ли ты, раб, что не обознался? Уверен или нет?

Зловещая повадка царя, свирепое выражение его лица потрясли Отрепьева, но он нашел в себе силы ответить:

— Увы, государь, не мог я ошибиться. Я уверен.

Борис хмыкнул и раздраженно заерзал в кресле. Его наводящие ужас глаза недоверчиво смотрели на Отрепьева. Разум царя достиг того состояния, в котором человек уже никому и ничему не верит.

— Врешь, собака! — злобно зарычал Борис.

— Клянусь, государь!

— Врешь! — заорал царь. — И вот тебе доказательство. Признал бы его Сигизмунд Польский, будь он тем, кем ты его называешь? Разве не подтвердил бы Сигизмунд мою правоту, когда я разоблачил монаха-расстригу Гришку Отрепьева, будь я действительно прав?

— Братья Нагие, дядья мертвого Дмитрия... — начал было Отрепьев, но Борис вновь оборвал его.

— Они признали его после Сигизмунда и после того, как я послал обличительную грамоту, да и то не сразу, а спустя долгое время, — заявил царь и разразился проклятиями. — Я утверждаю, что ты лжешь! Как смеешь ты, раб, хитрить со мной? Хочешь, чтобы тебя вздернули на дыбу и разорвали на части, или добром правду скажешь?

— Государь! — вскричал Отрепьев. — Я верно служил тебе все эти годы.

— Говори правду, раб, если надеешься сохранить шкуру свою! — загремел царь. — Всю правду об этом твоём грязном племяннике, если он на самом деле племянник тебе!

И Отрепьев в великом страхе наконец-то выложил всю правду.

— Он мне не племянник, — признался боярин.

— Не племянник?! — в ярости взревел Борис. — Так ты посмел солгать мне?

Ноги Отрепьева подломились. Он в ужасе рухнул на колени перед разгневанным царем.

— Я не солгал... Не то, чтобы совсем уж солгал. Я сказал тебе полуправду, государь. Звать его Гришка Отрепьев. Под этим именем его знают все, и он на самом деле монах-расстрига и сын жены брата моего, как я и говорил.

— Но тогда... тогда... — Борис растерялся, и вдруг до него дошло. — А кто его отец?

— Штефан Баторий, король польский. Гришка Отрепьев — внебрачный сын короля Штефана.

У Бориса на миг перехватило дыхание.

— Это правда? — спросил он и сам же ответил себе: — Понятное дело, что правда. Хоть что-то прояснилось наконец... Наконец-то. Ступай...

Отрепьев, спотыкаясь, вышел вон. Он благодарил Бога за то, что так легко отделался. Боярину было невдомек, сколь мало значила для Бориса его ложь в сравнении с правдой, которую он все же поведал царю, правдой, пролившей ужасающий, ослепительный свет на мрачную тайну Лжедмитрия. Головоломка, так долго мучившая царя, наконец-то была решена.

Этот самозванный Димитрий, этот монах-расстрига был побочным сыном Штефана Батория, католика. Сигизмунд и воевода сандомирский вовсе не пребывали в заблуждении. И они, и другие высокопоставленные польские дворяне, вне всякого сомнения, прекрасно знали, кто он такой, и поддерживали его, выдавая за Димитрия Иоанновича, желая обмануть чернь и помочь самозванцу захватить русский престол. Тем самым они стремились внедрить в Московию правителя, который был бы поляком и католиком. Борис был наслышан о фанатичной набожности Сигизмунда, который, движимый благочестием, однажды пожертвовал шведским тронem, и прекрасно понимал смысл и суть этой интриги. Разве не говорили ему, что в Краков наведывался папский нунций? Разве

не поддерживал этот нунций притязаний самозванца? Почему же папу так интересует московский трон и престолонаследие на Руси? С чего бы вдруг римскому священнику помогать человеку, стремящемуся стать правителем православной страны?

Наконец Борис понял все. Рим. Рим затеял это дело, и подлинная цель интриги заключалась в насаждении католичества на Руси. Сигизмунд прибег к помощи папы, втянул его в заговор, ибо, будучи сам выборным королем Польши, видел в честолюбивом отпрыске Штефана Батория человека, способного низвергнуть его с польского трона¹². И вот, желая направить амбиции юнца в другое русло, он стал крестным отцом (если не изобретателем) всей этой затеи с самозванцем. Он-то, верно, и придумал выдать молодца за убиенного Димитрия.

И не было бы этих полных тревог месяцев, расскажи ему дурак Отрепьев все как есть с самого начала. Как просто было бы тогда вскрыть этот гнойник обмана. Ну, да лучше поздно, чем никогда. Завтра он обнародует правду, и ее узнает весь мир. А такая правда вполне может заставить призадуматься суеверных русских недоумков, приверженцев православия, поддержавших самозванца. Пусть увидят, в какую западню их хотели залучить.

Вечером в Кремле давали пир в честь чужеземных посланников, и Борис пришел к трапезе в гораздо лучшем, чем прежде, расположении духа. Он знал, что делать. Он был убежден, что теперь Лжедимитрий в его руках. Сегодня он объявит посланникам о том, о чем завтра возвестит на всю Русь. Расскажет им о сделанном открытии и поведает своим подданным об опасности, которой они подвергаются.

Пир уже подходил к концу, когда царь встал и обратился к гостям с просьбой выслушать важное известие. В молчании ждали они, когда заговорит правитель Руси, но он, так и не вымолвив ни слова, вновь опустился, даже упал в кресло и обмяк. Царь прерывисто дышал, его скрюченные пальцы судорожно хватали воздух, лицо стало темно-лиловым, и наконец из носа и рта обильно хлынула кровь.

Ему едва хватило времени, чтобы сорвать с себя роскошный царский наряд и облачиться в монашескую рясу. Приняв схиму в знак отказа от мирской суеты, Борис Годунов испустил дух¹³.

После смерти царя время от времени высказывались предположения, что он был отравлен. Кончина Бориса

несомненно была в высшей степени на руку Димитрию, но у нас нет оснований полагать, что она наступила не вследствие апоплексического удара, а по каким-то иным причинам.

Смерть Годунова позволила зловещему царедворцу Шуйскому вернуться в Москву и усадить на трон Федора, сына Бориса. Но царствовал этот шестнадцатилетний мальчик очень недолго. Басманов, вновь отправленный командовать войском, завидовал честолюбивому Шуйскому и боялся его. Поэтому он тотчас же переметнулся на сторону самозванца и объявил его русским царем¹⁴.

Дальнейшие события развивались крайне бурно. Басманов выступил в поход на Москву, триумфально вошел в город и объявил Димитрия царем, после чего народ взбунтовался против сына узурпатора Бориса. Кремль был взят штурмом, а мальчик и его мать — задушены¹⁵.

Василий Шуйский разделил бы их участь, если бы не купил себе жизнь ценой предательства. Он принародно объявил москвитянам, что мертвый мальчик, которого он видел в Угличе, был вовсе не Димитрием, а сыном крестьянина, убитым вместо царевича. После этого заявления все препятствия на пути самозванца были устранены, и он двинулся на Москву, чтобы занять трон. Однако прежде он открыл истинные побудительные причины своих действий, чем подтвердил верность суждений Бориса. Димитрий повелел схватить и лишить сана патриарха, который не признал его и отлучил от церкви. На его место обманщик посадил Игнатия, митрополита Рязанского, подозреваемого в принадлежности к католической общине¹⁶.

30 июня 1605 года Димитрий триумфально вступил в Москву. Он пал ниц перед усыпальницей Иоанна Грозного и навел на царицу Марию, которая после короткого совещания с глазу на глаз признала в Димитрии своего сына¹⁷.

Шуйский солгал, чтобы купить себе жизнь. И теперь Мария платила ту же цену за освобождение из монастыря, узницей которого была долгие годы, и за восстановление своей особы в приличествующем ей положении. В конце концов у нее были основания благодарить Димитрия, не только вернувшего ей отобранное, но и отомстившего ненавистному Борису Годунову.

В должное время Димитрий короновался¹⁸. Наконец-то этот поразительный авантюрист утвердился на русском

престоле. Его правой рукой стал Басманов, верный советник и помощник.

На первых порах все шло хорошо, и молодой царь снискал себе кое-какую популярность. Черты его смуглого лица были крупными и грубоватыми, зато в обращении царь оказался истым светским львом, изысканным и грациозным, и это помогло ему очень скоро завоевать сердца своих подданных. Кроме того, он был высок и статен, прекрасно держался в седле и владел оружием с подobaющим витязю искусством.

Но скоро все переменялось. Положение царя стало невыносимо, когда он понял, что служит двум господам сразу. С одной стороны — православная Русь и ее народ, правителем которого он был. С другой — поляки. Возводя его на престол, они назначили за свои услуги твердую цену, и вот пришло время платить. Димитрий сознавал, что расплата будет тяжелой и чреватой опасностями, а посему предпочел отречься от всяческих обязательств, как это заведено у правителей, достигших своих целей. Он либо вовсе игнорировал, либо уклончиво и невразумительно отвечал на многочисленные напоминания папского нунция, которому обещал когда-то насадить на Руси католичество.

Но вскоре он получил письмо от Сигизмунда, составленное в довольно недвусмысленных выражениях. Король Польши писал, что Борис, по дошедшим до него слухам, все еще жив и скрывается в Англии. К этому сообщению Сигизмунд присовокупил весьма прозрачный намек: затея вновь посадить беглеца на московский трон представляется ему очень заманчивой.

Угроза, заключенная в этом полном горькой иронии письме, заставила Димитрия осознать обязательства, принятые им на себя и прозорливо угаданные Борисом Годуновым. Первым делом он разрешил возвести иезуитский храм в священных стенах Кремля, чем вызвал великий скандал¹⁹. Вскоре последовали и другие поступки, свидетельствовавшие о том, что Димитрий — вовсе не верный сын православной церкви. Он пренебрегал народными молебнами и русскими обычаями, окружал себя польскими католиками, которым раздавал высокие посты и милости. Все это обижало и задевало россиян.

Кроме того, под рукой у интриганов всегда были люди, готовые поднять смуту и настроить народ против Димитрия. Злопамятные бояре очень скоро заподозрили, что, очевидно, их обвели вокруг пальца. И первым в списке обиженных стояло имя коварного предателя Шуйского, которому

вероломное лжесвидетельство не принесло ожидаемых благ. Более всего его возмущало, что его заклятый враг Басманов был наделен теперь властью, уступающей лишь власти самого царя²⁰. Поднаторевший в интригах Шуйский взялся за дело, как всегда, исподволь и втихомолку. Он подстрекал церковников; те, в свою очередь, накручивали чернь, и вскоре под внешне спокойной жизнью начал закипать котел народного недовольства.

Взрыв произошел в мае следующего года, когда дочь сандомирского воеводы Марина, избранница молодого царя, с большой помпой въехала в Москву. Ослепительное шествие и последовавший за ним пир не вызвали восторга у москвитян, увидевших, что их город отныне кишит польскими еретиками.

18 мая 1608 года состоялось великолепное свадебное торжество. И тут Шуйский запалил фитиль столь искусно подложенной им бомбы. Димитрий потребовал, чтобы перед стенами Москвы была возведена деревянная крепость. Он хотел развлечь свою невесту во время свадебного празднества, но Шуйский пустил слух, что крепость якобы будет использована для разрушения Москвы. Свадебные игрища — лишь ширма. На самом деле спрятавшиеся в крепости поляки сперва забросают город горящими головнями, а потом приступят к истреблению его жителей и вырежут всех.

Этого оказалось достаточно. Горожане, и так уже доведенные до белого каления, пришли в ярость. Они схватились за оружие и в ночь на 29 мая с кличем: «Смерть еретiku! Смерть самозванцу!» устремились на штурм Кремля, предводительствуемые архипредателем Шуйским.

Москвитяне ворвались во дворец и рекой хлынули по лестницам к царской опочивальне, заколов по дороге верного Басманова, который с мечом в руке преградил им путь, давая своему благодетелю возможность спастись бегством. Царь выпрыгнул с балкона, рухнул с десятиметровой высоты, сломав ногу, и теперь беспомощно лежал на земле. Он понимал, что враги прикончат его, как только найдут. И ему не пришлось долго ждать²¹. Он умер, твердо и бесстрашно заявив, что никогда не был Димитрием Иоанновичем.

А был он не кем иным, как монахом-расстригой Гришкой Отрепьевым. Бытовало мнение, что этот человек служил лишь орудием в руках католического духовенства, и злой рок уничтожил его потому, что он очень уж плох

играл свою роль. Но так ли это? Да, Отрепьев был орудием, но орудием Судьбы, а не церкви. И предназначение его состояло в том, чтобы заставить Бориса Годунова заплатить за ужасные и омерзительные преступления, которыми он запятнал свою душу, и отомстить за смерть жертв детоубийцы. Перевоплощение в одну из них помогло достигнуть этой цели. Отрепьев в облики Димитрия преследовал и травил Бориса с не меньшим успехом, чем это делал бы призрак убиенного в Угличе ребенка. И травля эта увенчалась гибелью злодея.

Вот такую роль отвела Судьба Лжедмитрию в таинственном хитросплетении человеческих деяний. Эту роль он сыграл, а все остальное уже не имело большого значения. Если вспомнить, каким человеком был Лжедмитрий и в каких исторических обстоятельствах он оказался, станет понятно, что его эфемерное самозванное правление никак не могло затянуться.

III

ПРЕКРАСНАЯ ДАМА

Из истории сеvilьской инквизиции

Дурные предчувствия, словно грозовые тучи, нависли над городом Севильей с самого начала 1481 года. Атмосфера стала сгущаться с октября предыдущего года, когда кардинал Испании Томас де Торквемада от имени монархов Фердинанда и Изабеллы назначил первых в Кастилии инквизиторов, велел им учредить в Севилье Святейший трибунал для искоренения вероотступничества, принявшего, как они полагали, угрожающие размеры в среде новых христиан, то есть совершивших обряд крещения евреев; эти новые христиане составляли значительную часть населения города.

Было издано много жестоких эдиктов, в частности, евреям предписывалось носить отличительный знак в виде круглого красного лоскутка, пришитого к плечу длинной хламиды, в каких они обычно ходили. Они могли проживать только внутри обнесенных стенами гетто, никогда не выходя за их пределы в ночное время. Им запрещалось заниматься врачебной практикой, быть аптекарями и содержателями гостиниц и постоялых дворов. Стремясь освободиться от этих ограничений, а также от

запретов на торговлю с христианами и сбросить непосильное бремя унижения, многие евреи совершали обряд крещения и принимали христианство. Но даже те новообращенные, которые искренне приняли христианство, не могли найти в новой вере желанного покоя. Обращение в христианство лишь немного притупило неприязнь к евреям, но совсем ее не погасило.

Этим объяснялась тревога, с которой новые христиане наблюдали мрачное, почти траурное шествие: впереди шли инквизиторы в белых мантиях и черных плащах с капюшонами, почти закрывающими лица; за ними следовали монастырские служки и босые монахи. Процессия возглавлялась монахом-доминиканцем, несущим белый крест. Все эти люди наводнили Севилью в последние дни декабря, направляясь к монастырю Святого Павла, чтобы основать там Святую палату инквизиции¹.

Опасение новых христиан, что именно они предназначены быть объектом особого внимания этого зловещего трибунала, вынудило несколько тысяч новообращенных покинуть город и искать убежища у феодалов, известных своей добротой: герцога Мединского, маркиза Кадисского и графа Аркоского.

Это массовое бегство привело к опубликованию 2 января нового эдикта. В нем не знающие жалости инквизиторы, отметив, что многие жители Севильи покинули город из страха быть наказанными за ересь, отдавали распоряжение всем дворянам принять меры для неукоснительного возвращения лиц обоего пола, нашедших убежище в их владениях или областях их юрисдикции, ареста беглецов и заключения их в тюрьму инквизиции в Севилье, конфискации их имущества и передачи его в распоряжение инквизиции. Объявлялось, что за укрытие беглецов последует отлучение виновных от церкви и другие наказания, вытекающие из закона о пособничестве еретикам.

Эдикт о наказании был вопиюще несправедлив, ибо до него не было указа о запрете на отъезд. Это усилило страх еще не уехавших новых христиан, число которых только в округе Севильи составляло около сотни тысяч, и многие из них, благодаря трудолюбию и одаренности, присущим этой расе, занимали довольно высокое положение. Этот эдикт встревожил также красивого молодого дона Родриго де Кардона, за всю свою пустую, бессмысленную, изнеженную и порочную жизнь ни разу не испытывавшего настоящей опасности. Нет, он не был

новообращенным. Он происходил по прямой линии от вестготов², людей чистой, красной кастильской крови, и не имел ни капли той темной нечистой жидкости, которая, как полагали многие, течет в еврейских жилах. Но случилось так, что он полюбил дочь имевшего миллионное состояние Диего де Сусана; девушку такой редкой красоты, что вся Севилья называла ее Прекрасной Дамой. Разумеется, любовная связь, открытая или тайная, не одобрялась святыми отцами. Но не только поэтому встречи любовников были тайными: больше всего они боялись гнева отца Изабеллы, Диего де Сусана. Дону Родриго всегда было досадно, что он не может открыто бахвалиться своей победой над красивой и богатой Изабеллой.

...Никогда еще не спешил любовник на свидание с чувством, более горьким, чем то, что охватило дону Родриго, когда он, плотно закутанный в плащ, подошел к дому Изабеллы темной январской ночью. Однако, преодолев садовую ограду и легкий подъем на балкон, он оказался рядом с ней, и восхищение заслонило собой все прочие его чувства. Она сообщила ему в записке, что отец уехал в Паласьос по торговым делам и должен был вернуться лишь на следующий день. Слуги уже спали, Родриго снял плащ и шляпу и непринужденно уселся на низкий мавританский диван, а Изабелла подала ему сарацинский кубок, наполненный добрым малагским вином. Стены были завешены гобеленами, пол покрывали дорогие восточные ковры. Высокая трехрожковая медная лампа, стоявшая на инкрустированном столе в мавританском стиле, была заправлена ароматным маслом и распространяла свет и приятный запах по всей комнате.

Дон Родриго потягивал вино, влюбленно следя за движениями Изабеллы, полными почти кошачьей грациозности; вино, ее красота и дурманищий аромат лампы привели его чувства в такое смятение, что на мгновение он забыл и про свою кастильскую родословную, и про чистую христианскую кровь, забыл, что она принадлежит к проклятому народу, распявшему Спасителя. Он помнил лишь, что перед ним — самая красивая женщина Севильи, дочь богатейшего человека, и в этот час своей слабости он решил воплотить в реальность то, что до сих пор было лишь игрой. Он исполнит свое обещание. Он возьмет ее в жены. Поддавшись внезапному порыву, он неожиданно спросил:

— Изабелла, когда ты выйдешь за меня замуж?

Она стояла перед ним, глядя на его слабовольное, красивое лицо, их пальцы переплелись. Она улыбнулась. Его вопрос не очень удивил или взволновал ее. Не подозревая о присущей ему подлости и охватившем его смятении, Изабелла сочла вполне естественным, что он просил ее назначить день свадьбы.

— Этот вопрос ты должен задать моему отцу, — ответила она.

— Я спрошу его завтра, когда он вернется, — сказал дон Родриго и притянул ее к себе.

Но ее отец был гораздо ближе, чем они думали. В эту самую минуту раздался звук осторожно отворяемой двери дома. Она побледнела и вскочила, высвободившись из его объятий. На мгновение напряженно застыв, девушка подбежала к двери и, приоткрыв ее, прислушалась.

С лестницы доносились звук шагов и приглушенные голоса. Это был ее отец и с ним еще несколько человек.

— Что, если они войдут? — прошептала она, еле живая от страха.

Кастилец в смятении поднялся с дивана, его обычно белое аристократическое лицо еще больше побледнело. У него не было иллюзий относительно того, что предпримет Диего де Сусан, обнаружив его здесь. Эти еврейские собаки крайне вспыльчивы и ревниво ограждают честь своих женщин. Дон Родриго живо представил свою красную чистую кровь на этом еврейском полу. У него не было с собой оружия, кроме тяжелого толедского кинжала за поясом, а Диего де Сусан был не один.

Положение, нелепое для испанского идадьго*. Еще больший урон мог быть нанесен его чести, однако в следующее мгновение девушка спроварила его в альков, расположенный в конце комнаты за гобеленами, что-то вроде маленького чулана. Она двинулась с проворством, которое в другое время вызвало бы его восхищение. Схватив его плащ и шляпу, она погасила лампу и укрылась вместе с ним в этом тесном убежище.

Тотчас же в комнате раздались шаги и голос ее отца:

— Здесь нас никто не потревожит. Это комната моей дочери. Если позволите, я спущусь вниз и приведу остальных наших друзей.

Друзья собирались, как показалось Родриго, еще целых полчаса, пока в комнате не набралось, должно быть,

* Дворянина (исп.).

человек двадцать. Приглушенный шум их голосов все усиливался, но ушей спрятавшейся пары достигали лишь отдельные слова, не дающие ключа к разгадке цели этого собрания.

Внезапно наступило молчание. И в этой тишине раздался громкий и ясный голос Диего де Сусана.

— Друзья мои, — произнес он. — Я собрал вас сюда для того, чтобы договориться о защите нас самих и всех новохристиан в Севилье от угрожающей нам опасности. Эдикт инквизиторов показал, как велика угроза. Ясно, что суд Святой палаты вряд ли будет справедливым. Абсолютно невиновный в любой момент может быть отдан в жестокие руки инквизиции. Поэтому именно нам необходимо срочно решить, как защитить себя и свою собственность от беспринципных действий этого трибунала. Вы — самые влиятельные новообращенные граждане Севильи. Вы не только богаты; в вас верят и вас уважают люди, которые, если понадобится, пойдут за вами. Если больше ничто не поможет, мы должны обратиться к оружию. Будучи сплоченными и решительными, мы одержим победу над инквизиторами.

Сидя в алькове, дон Родриго с ужасом слушал эту речь, проникнутую призывом к бунту не только против королевской четы, но и против самой церкви. К этому ужасу примешивался еще и страх. Если и раньше его положение было рискованным, то теперь опасность увеличилась десятикратно. Если бы обнаружилось, что он подслушалговор, его ждала бы немедленная смерть. Изабелла, понимая это, взяла его за руку и прижалась к нему в темноте.

Чем дальше, тем становилось страшнее. Призыв Сусана был встречен приглушенными аплодисментами, затем выступали другие, кое-кого называли по имени. Там присутствовали Мануэль Саули, богатейший после Сусана человек в Севилье, Торральба, управляющий Трианы, Хуан Аболафио, королевский откупщик, и другие. Все они были людьми состоятельными, а многие занимали высокие посты при королевском дворе. Но никто из них ни в чем не возражал Сусану, напротив, каждый стремился внести свой вклад в общее мнение. Было решено, что каждый возьмет на себя обязательство увеличить количество людей, оружия и денег для использования в случае необходимости. На этом собрание закончилось, и все разошлись. Сусан ушел вместе с остальными. И объявил, что ему предстоит еще работа, связанная с общим делом,

которую он должен выполнить этой ночью, воспользовавшись тем, что его считают уехавшим в Паласьос.

Когда все ушли и в доме снова стало тихо, Изабелла и ее любовник выбрались из своего убежища и при свете лампы, оставленной Сусаном горящей, испуганно посмотрели друг на друга. Дон Родриго был так потрясен услышанным, что еле сдерживал клацанье зубов.

— Да защитит нас Бог, — с трудом, задышавшись от волнения, произнес он. — Какое вероотступничество!

— Вероотступничество?! — воскликнула она.

Вероотступничество, или возвращение новых христиан в иудаизм, считалось грехом, искупаемым только сожжением на костре.

— Не было здесь вероотступничества. Ты что, с ума сошел, Родриго! Ты не слышал ни единого слова, направленного против веры.

— Не слышал? Я услышал об измене, достаточной, чтобы...

— Нет, не было и измены. Ты слышал, как честные, достойные люди обсуждали, как им защититься от угнетения, несправедливости и злой корысти, прикрываемых святыми одеждами веры.

Он искоса посмотрел на нее и презрительно усмехнулся.

— Конечно, ты хотела бы оправдать их, — сказал он. — Ты и сама из того же подлого племени. Но не думай обмануть меня, в чьих жилах течет истинно христианская кровь верного сына матери-церкви! Эти люди замышляют черное дело против святой инквизиции. Что это, как не повторное обращение в иудаизм, ведь все они евреи?

Губы ее побледнели, она взволнованно дышала, но все еще пыталась переубедить его.

— Они не евреи, ни один из них не еврей! Напротив, Перес сам служит в Святом ордене. Все они христиане и...

— Новоокрещенные, — прервал он, зло усмехаясь, — осквернившие это святое таинство ради мирских выгод. Евреями они родились, евреями и останутся даже под личиной притворного христианства и, как евреи, будут прокляты в свой последний час.

Он задышался от негодования. Лицо этого грязного распутника пылало священным гневом.

— Боже, прости меня, что я приходил сюда. И все же

я верю, что это по его воле я оказался здесь и услышал этот разговор. Позволь мне уйти.

С выражением крайнего омерзения он повернулся. Она схватила его за руку.

— Куда ты идешь? — резко спросила она. Он посмотрел ей в глаза, но увидел в них только страх. Он не заметил ненависти, в которую в эту минуту превратилась ее любовь, превратилась из-за страшных оскорблений, нанесенных ей, ее дому, ее народу. Она вдруг разгадала его намерения.

— Куда? — повторил он, пытаясь вырваться. — Туда, куда приказывает мне мой христианский долг.

Этого было достаточно. Не дав ему опомниться, она выхватила у него из-за пояса тяжелый толедский кинжал и, держа его наготове, встала между ним и дверью.

— Минутку, дон Родриго. Не пытайся уйти, или я, клянусь Богом, ударю и, возможно, убью тебя. Нам нужно поговорить до твоего ухода.

Изумленный, дрожащий, он застыл перед ней, и весь его наигранный религиозный пыл сразу же улетучился от страха при виде кинжала в слабой женской руке. Так за один вечер она постигла истинную сущность этого кастильского дворянина, любовью которого раньше гордилась. Это открытие должно было бы вызвать в ней презрение и ненависть к себе самой. Но в ту минуту она думала только о том, что из-за ее легкомыслия над отцом нависла смертельная опасность. Если отец погибнет из-за доноса этого негодяя, она будет считать себя отцеубийцей.

— Ты не подумал, что твой донос погубит моего отца? — сказала она тихо.

— Я должен считаться с моим христианским долгом, — ответил он, на сей раз не так уверенно.

— Возможно. Но ты должен противопоставить этому и другое. Разве у тебя нет долга возлюбленного, долга передо мной?

— Никакой мирской долг не может быть выше долга религиозного.

— Подожди. Имей терпение. Просто ты не все обдумал. Придя сюда тайно, ты причинил зло моему отцу. Ты не можешь отрицать этого. Мы вместе, ты и я, опозорили его. И теперь ты хочешь воспользоваться плодами этого греха, воспользоваться как вор, хочешь причинить ему еще большее зло?

— Что же мне, идти против своей совести? — спросил он угрюмо.

— Боюсь, что у тебя нет другого выхода.

— Погубить мою бессмертную душу? — он почти смеялся. — Ты зря стараешься.

— Но у меня для тебя есть нечто большее, чем слова. —левой рукой она вытянула из-за пазухи висящую у нее на шее изящную золотую цепочку и показала на маленький крест, усыпанный бриллиантами. Сняв цепочку через голову, она протянула ее ему.

— Возьми, — приказала она. — Возьми, я сказала. Теперь, держа в руке этот священный символ, торжественно поклянись, что ты не разгласишь ни слова из того, что услышал сегодня. Иначе ты умрешь, не получив отпущения грехов. Если ты не дашь клятву, я подниму слуг, и они поступят с тобой, как с проникшим в дом злодеем. — Затем, глядя на него от двери, она почти шепотом предостерегла его еще раз. — Живее! Решайся: предпочтешь ты умереть здесь без покаяния и погубить навеки свою бессмертную душу, побуждающую тебя к этому предательству, или дать клятву, которую я требую?

Он начал было спор, напоминающий проповедь, но она резко оборвала его:

— Я спрашиваю в последний раз: ты принял решение?

Разумеется, он выбрал долю труса, совершив насилие над своим чувствительным самолюбием: держа в руке крест, повторил за ней слова этой страшной клятвы, нарушение которой должно было навеки погубить его бессмертную душу. Думая, что нарушить такую клятву он не сможет, она вернула ему кинжал и позволила уйти, уверенная, что крепко связала его нерушимыми религиозными обетами.

И даже на следующее утро, когда ее отец и все, кто присутствовал на собрании в доме, были арестованы по приказу Святой палаты, она все еще не могла поверить в его клятвопреступление. Но все же в ее душу закралось сомнение, которое она должна была разрешить любой ценой. Девушка приказала подать носилки и отправилась в монастырь Святого Павла, где попросила встречи с приором³ фраем^{*} Альфонсо де Охеда.

Ее оставили ждать в квадратной, мрачной, плохо освещенной комнате, пропахшей плесенью. В комнате было только два стула и молитвенная скамейка. Единст-

* Монахом (исп.).

венным украшением служило большое темное распятие, висевшее на побеленной стене.

Вскоре сюда вошли два монаха-доминиканца. Один — среднего роста, с грубыми чертами лица и плотного телосложения, был непреклонный фанатик Охеда. Другой — высокий и худой, с глубоко посаженными блестящими черными глазами и мягкой печальной улыбкой, был духовник королевы, Томас де Торквемада, великий инквизитор Кастилии. Он подошел к ней, оставив Охеду позади, и остановился, глядя на нее с бесконечной добротой и состраданием.

— Ты дочь этого заблудшего человека, Диего де Сусана, — мягко произнес он. — Да поможет и укрепит Господь тебя, дитя мое, перед испытаниями, которые, может быть, предстоят тебе. Какой помощи ты ждешь от нас? Говори, дитя мое, не бойся.

— Святой отец, — запинаясь, проговорила она. — Я пришла молить вас о милости.

— Нет нужды молить, дитя мое. Разве могу я отказать в сострадании, я, сам нуждающийся в нем, будучи таким же грешником, как и все.

— Я пришла просить милосердия к моему отцу.

— Так я и думал. — Тень пробежала по его кроткому, грустному лицу. Выражение нежной грусти в его глазах, устремленных на нее, усилилось. — Если твой отец не повинен в том, что ему приписывают, то милосердный трибунал Святой палаты явит его невиновность свету и возрадуется. Если же он виновен — а все мы, если не укреплены Божьей милостью, можем впасть во грех, — то ему дадут возможность его искупления, и он может быть уверен в своем спасении.

Изабелла задрожала, услышав это. Она знала, какую милость проявляют инквизиторы. Милость настолько одухотворенную, что ей безразличны страдания людей, которые бывают ею осчастливлены.

— Мой отец не повинен в каком-либо прегрешении против веры, — сказала она.

— Ты так уверена? — прервав ее, прокаркал своим неприятным голосом Охеда. — Хорошенько подумай. И помни, что твой долг христианки превышает долг дочери.

Девушка чуть было прямо не потребовала назвать имя обвинителя своего отца, что, собственно, и было истинной целью ее визита, но успела сдержать свой порыв, понимая, что в этом деле необходима хитрость. Прямой вопрос мог

вообще закрыть возможность что-то узнать. Тогда она искусно выбрала направление атаки.

— Я уверена, — заявила она, — что он более пылкий и благочестивый христианин, хотя и новообращенный, чем его обвинитель.

Выражение задумчивости исчезло из глаз Торквемады. Глаза инквизитора стали пронзительными, как глаза ищейки, устремленные на след. Однако он покачал головой.

Охеда заспорил.

— В это я не могу поверить, — сказал он. — Донос был сделан из настолько чистых побуждений, что доносивший, не колеблясь, сознался в собственном грехе, вследствие которого он узнал о предательстве дона Диего и его сообщников.

Изабелла чуть было не вскрикнула от боли, услышав ответ на свой невысказанный вопрос. Но сдержала себя и, чтобы не оставалось ни малейшего сомнения, храбро продолжала бить в одну точку.

— Он сознался? — воскликнула она, сделав вид, что поражена услышанным.

Монах важно кивнул.

— Дон Родриго сознался? — настаивала она, как бы не веря.

Монах кивнул еще раз и внезапно спохватился.

— Дон Родриго? — переспросил он. — Кто сказал — дон Родриго?

Но было уже поздно. Его утвердительный кивок выдал правду, подтвердил ее наихудшие подозрения. Она покачнулась, комната поплыла у нее перед глазами, девушка почувствовала, что теряет сознание. Но внезапно слепая ненависть к этому клятвопреступнику охватила ее, придав силы. Если ее слабость и непокорность будут стоить отцу жизни, то именно она должна теперь отомстить за него, даже если это унизит ее и разобьет ей жизнь.

— И он сознался в своем собственном грехе? — медленно повторила Изабелла тем же задумчивым, недоверчивым тоном. — Отважился сознаться в том, что он сам вероотступник?

— Вероотступник? Дон Родриго? Этого не может быть!

— Но мне показалось, вы сказали, что он сознался.

— Да, но... но не в этом.

На ее бледных губах заиграла презрительная улыбка.

— Понимаю. Он не преступил пределов благоразумия в своей исповеди. И не упомянул о своем вероотступни-

честве. Он не рассказал вам, что этот донос он совершил, мстя мне за то, что я отказалась выйти за него замуж, узнав о его вероотступничестве и испугавшись наказания в этом и в будущем мире.

Охеда уставился на нее с нескрываемым изумлением.

Тогда заговорил Торквемада:

— Ты говоришь, что дон Родриго де Кардона — вероотступник? В это невозможно поверить.

— Я могу представить вам доказательства, которые должны убедить вас.

— Так представь их нам. Это твой священный долг, иначе ты сама станешь укрывательницей ереси и можешь быть подвергнута суровому наказанию.

Примерно через полчаса Изабелла покинула монастырь Святого Павла и направилась домой. В ее душе царил ад. Не было теперь у нее другой цели в жизни, кроме желания отомстить за своего отца, которому грозила гибель из-за ее легкомыслия.

Проезжая мимо Алькасара⁴, девушка заметила высокого стройного человека в черной одежде, в котором узнала своего возлюбленного. Она направила к нему паж, шедшего рядом с ее носилками, чтобы позвать к себе. После всего случившегося просьба эта немало удивила Родриго. К тому же, учитывая теперешнее положение ее отца, ему не очень-то хотелось, чтобы его видели в обществе Изабеллы де Сусан. Но все же он подошел, влекомый любопытством.

Ее приветствие еще больше удивило его.

— Ты, наверное, знаешь, у меня большая беда, Родриго, — грустно сказала она. — Ты слышал, что случилось с моим отцом?

Он внимательно посмотрел на нее, но не увидел ничего, кроме ее очарования, подчеркнутого печалью. Было ясно, что она не подозревает его в предательстве, как и не сознает того, что клятва, силой вырванная у него, более того, клятва, вероломная по отношению к святому долгу, не может считаться обязывающей.

— Я... я услышал об этом час назад, — соврал он неуверенно. — Я... я глубоко тебе сочувствую.

— Я заслуживаю сочувствия, — ответила Изабелла. — Его заслужили и мой бедный отец, и его друзья. Очевидно, среди тех, в кого он верил, был предатель, шпион, который сразу после встречи донес на них. Если бы у меня был список присутствовавших, то было бы легко выявить

предателя. Достаточно знать, кто там был и кто не был потом арестован.

Ее прекрасные грустные глаза внимательно смотрели на него.

— Но что станет теперь со мной, такой одинокой в этом мире? — спросила она его. — Мой отец был единственным моим другом.

Эта мольба быстро сделала свое дело: он увидел прекрасную возможность проявить великодушие, почти ничем не рискуя.

— Единственным другом? — спросил он, понизив голос. — Разве не было еще одного? И разве нет еще одного, Изабелла?

— Был... — тяжело вздохнув, ответила она. — Но после того, что произошло прошлой ночью, когда... Ты знаешь, о чем я. Тогда я потеряла голову от страха за моего бедного отца и потому не могла даже осознать ни всей мерзости его поступка, ни того, как прав был ты, когда хотел донести на него. Но все же мне приятно, что его взяли не по твоему доносу. Это сейчас мое единственное утешение.

В этот момент они достигли ее дома. Дон Родриго предложил ей руку, чтобы помочь спуститься с носилок, и попросил разрешения зайти вместе с ней в дом. Но девушка не впустила его.

— Не сейчас, хоть я и благодарна тебе, Родриго. Если ты захочешь прийти и утешить меня, то скоро сможешь это сделать. Я дам знать, когда буду готова принять тебя, конечно, если ты простишь меня...

— Не говори так, — попросил он. — Ты поступила благородно. Это я должен просить у тебя прощения.

— Ты великодушен и благороден, дон Родриго. Да хранит тебя Господь! — сказала она и ушла.

До встречи с ней он был удручен и почти несчастен, поняв, какую совершил ошибку. Предавая Сусана, он действовал отчасти в порыве гнева, отчасти — религиозного долга. Горько сожалея о потере, он корил себя за то, что не сумел сдержать гнева, у него зародилось сомнение, стоит ли так строго выполнять религиозный долг тому, кто хочет сам пробить себе дорогу в этом мире. Короче, его раздирали самые противоречивые чувства. Теперь, убедившись в ее неведении, он снова обрел надежду. Изабелла никогда ничего не узнает: Святая палата строго охраняла тайну доносов, чтобы не отпугнуть доносчиков, и никогда не устраивала очных ставок

обвинителя с обвиняемым, как это происходило в гражданских судах. Настроение дон Родриго после встречи с Изабеллой намного улучшилось.

На другой день он открыто нанес ей визит, но не был принят. Слуга сослался на ее нездоровье. Это вызвало в нем тревогу, несколько ослабив надежды, но вместе с тем усилило его устремления. На следующий день он получил от нее письмо, щедро вознаградившее его за все тревоги.

«Родриго, есть дело, о котором мы должны договориться как можно скорее. Если мой бедный отец будет обвинен в ереси и осужден, то его имущество будет конфисковано, ведь я, как дочь еретика, не могу его унаследовать. Меня это мало тревожит. Но я беспокоюсь о тебе, Родриго, так как, если вопреки всему случившемуся, ты все еще желаешь взять меня в жены, как ты предложил в понедельник, то я хотела бы принести тебе богатое приданое. Ведь наследство, которое Святая палата конфисковала бы у дочери еретика, не может быть в полной мере конфисковано у жены кастильского дворянина. Больше не скажу ничего. Тщательно обдумай все и реши так, как подсказывает тебе сердце. Я приму тебя завтра, если ты придешь ко мне».

Она предлагала ему хорошенько подумать. Но это дело не нуждалось в долгом обдумывании. Диего де Сусана наверняка отправят на костер. Его состояние оценивалось в десять миллионов мараведи. У Родриго появилась счастливая возможность сделать это состояние своим, если он женится на красавице Изабелле до вынесения приговора ее отцу. Святая палата может наложить штраф, но дальше этого не пойдет, поскольку дело касается чистокровного кастильского дворянина. Он восхищался ее проникательностью и удивлялся своей удаче. Все это также очень льстило его тщеславию.

Он написал ей три строчки, торжественно заявляя о своей вечной любви и решении жениться на ней завтра, и на следующий день явился к ней собственной персоной, чтобы выполнить это решение.

Изабелла приняла его в лучшей комнате дома, обставленной с такой роскошью, какой не мог бы похвастаться ни один другой дом Севильи. Она надела к этой встрече очаровательный экстравагантный наряд, подчеркивающий ее природную красоту. Приталенное платье с глубоким вырезом и тесно облегающим лифом было сшито из парчи, юбка, манжеты и вырез оторочены белым горностаевым мехом. Нежную шею украшало бесценное кольцо из

прозрачных бриллиантов, а в тяжелые косы цвета бронзы была вплетена нитка блестящих жемчужин.

Никогда еще дон Родриго не находил ее такой желанной, никогда прежде не чувствовал себя таким спокойным и счастливым. Кровь прилила к его оливкового цвета лицу, он заключил ее в объятия, целуя ее щеки, губы, шею.

— Моя жемчужина, моя прелесть, моя жена! — восторженно шептал он. Затем добавил нетерпеливо: — Священник! Где священник, что соединит нас?

Она только прижалась к его груди, и ее губы сложились в улыбку, которая сводила его с ума.

— Ты любишь меня, Родриго, несмотря ни на что?

— Люблю тебя! — Это был трепещущий, приглушенный, почти нечленораздельный возглас. — Больше жизни, больше, чем вечное блаженство.

Она вздохнула, глубоко удовлетворенная, и еще сильнее прильнула к нему.

— О, я счастлива! Счастлива, что твоя любовь ко мне действительно сильна. Однако хочу подвергнуть ее проверке.

— Какой проверке, любимая?

— Я хочу, чтобы эти брачные узы были настолько крепкими, чтобы ничто на свете, кроме смерти, не могло разорвать их.

— Но я хочу того же, — промолвил он, хорошо сознавая выгоду для себя этого брака.

— Хотя я и исповедую христианство, в моих жилах течет еврейская кровь, поэтому я желала бы скрепить узы брака так, чтобы это устроило и моего отца, когда он снова выйдет на свободу. Я верю, что он вернется, потому что он не погрешил против святой веры.

Изабелла умолкла, а он почувствовал беспокойство, несколько охладившее его пыл.

— Что ты имеешь в виду? — напряженно спросил он.

— Я хочу сказать... ты не будешь на меня сердиться? Я хочу, чтобы наш брак был освящен не только христианским священником, но сначала раввином в соответствии с иудейским обрядом.

Она почувствовала, что его руки словно обессилели, и он ослабил свои объятия, поэтому прижалась к нему еще крепче.

— Родриго! Родриго! Если ты воистину любишь меня, если действительно желаешь меня, ты не откажешь мне в этой просьбе; я клянусь тебе, что, как только мы

поженимся, ты больше никогда не услышишь ничего, что напомнило бы тебе о моем происхождении.

Он ужасно побледнел, губы его задрожали, и капли пота выступили на лбу.

— Боже мой! — простонал он. — Чего ты просишь? Я... я не могу. Это же святотатство, оскорбление веры.

Изабелла с гневом оттолкнула его.

— Ах вот как! Ты клянешься мне в любви, но хотя я готова пожертвовать всем ради тебя, не желаешь принести мне эту маленькую жертву и даже оскорбляешь веру моих предков. Я лучше думала о тебе, иначе не просила бы сегодня прийти сюда. Оставь меня.

Дрожащий, в полном смятении, охваченный бурей противоречивых чувств, он пытался защититься, оправдаться, пересудить ее. Его возбужденная речь лилась непрерывно, но впустую. Девушка оставалась холодной и равнодушной настолько, насколько раньше была нежной и страстной. Он доказал, чего стоит его любовь. Он может идти своей дорогой.

Для него принять ее предложение действительно означало бы осквернить веру. Однако от мечты стать обладателем десяти миллионов мараведи и несравненной красавицы-жены было не так-то легко отказаться. Он был достаточно алчен от природы и к тому же сильно нуждался в деньгах, потому готов был уже смириться с участием в отвратительном ему ритуале венчания, лишь бы осуществить эту свою мечту. Но, хотя сомнения христианина почти исчезли, оставался страх.

— Ты ничего не понимаешь, — воскликнул он. — Если бы стало известно, что я могу допустить возможность такой процедуры, Святая палата сочла бы это несомненно доказательством вероотступничества и послала бы меня на костер.

— Ну, если это единственное препятствие, то оно легко преодолимо, — холодно сказала она. — Кому на тебя доносить? Раввину, что ждет наверху, донос будет стоить собственной жизни, а кто еще будет об этом знать?

Он был побежден. Но теперь уже Изабелла решила поиграть им немного, заставляя его преодолевать неприязнь, возникшую в ней из-за его недавней нерешительности. Эта игра продолжалась до тех пор, пока он сам не начал настойчиво умолять ее о быстрейшем совершении еврейского обряда бракосочетания, вызывавшего в нем еще недавно такое отвращение.

Наконец она сдалась и провела его в свою комнату, где когда-то встречались заговорщики.

— Где же раввин? — спросил он нетерпеливо, оглядывая пустую комнату.

— Я позову его, если ты действительно уверен, что хочешь этого.

— Уверен? Разве я недостаточно ясно подтвердил это? Ты до сих пор сомневаешься во мне?

— Нет, — сказала девушка. Она была как бы безучастна ко всему, но на самом деле искусно управляла им. — Но я не хочу, чтобы люди думали, будто тебя к этому принудили.

Это были очень странные слова, но он не обратил внимания на них. Он вообще не отличался сметливостью.

— Я настаиваю, чтобы ты подтвердил, что сам желаешь, чтобы наш брак был заключен в соответствии с еврейскими традициями и по закону Моисея.

И он, подогреваемый нетерпением, желая быстрее покончить с этим делом, поспешно ответил:

— Конечно же, я заявляю, что я хочу, чтобы наш брак был заключен по еврейскому обычаю и в соответствии с законом Моисея. Ну а теперь, где же раввин? — Он услышал звук и заметил дрожание gobелена, маскировавшего дверь алькова.

— А! Он, наверное, здесь...

Он неожиданно замолк и отпрянул, как от удара, судорожно вскинув руки. Gobелен откинулся, и оттуда вышел не раввин, которого он ожидал увидеть, а высокий худой монах, слегка ссутулившийся в плечах, одетый в белую рясу и черный плащ ордена святого Доминика. Лицо его было спрятано под сенью черного капюшона. Позади него стояли два мирских брата этого ордена, вооруженные служители Святой палаты с белыми крестами на черных камзолах.

В ужасе от этого видения, вызванного, казалось, только что произнесенными им святотатственными словами, дон Родриго несколько мгновений стоял неподвижно в тупом изумлении, даже не пытаясь осознать смысл происходящего.

Монах откинул капюшон, и глазам Родриго открылось ласковое, проникнутое сочувствием, бесконечно грустное лицо Томаса де Торквемады. Грустью и состраданием был также проникнут голос этого глубоко искреннего и святого человека.

— Сын мой, мне сказали, что ты вероотступник.

Однако, чтобы поверить в такую невероятную для человека твоего происхождения вещь, я должен был лично убедиться в этом. О, мой бедный сын, по чьему злему умыслу ты так далеко отошел от пути истинного?

В чистых грустных глазах инквизитора блестели слезы. Его мягкий голос дрожал от скорбного сочувствия.

И тут ужас доня Родриго сменился гневом. Резким жестом он указал на Изабеллу.

— Вот эта женщина заколдовала, одурачила и совратила меня! Она заманила меня в ловушку, чтобы погубить.

— Верно, в ловушку. Она получила мое согласие на это, чтобы испытать твою веру, которая, как мне говорили, не тверда. Будь твое сердце свободно от ереси, ты никогда бы не попал в эту ловушку. Если бы у тебя была крепкая вера, сын мой, ничто не могло бы отвратить тебя от верности нашему Спасителю.

— Господи! Молю тебя, услышь меня, Господи! — Родриго упал на колени, подняв к небу сложенные в умоляющем жесте руки.

— Ты будешь услышан, сын мой. Святая палата никого не осуждает, не выслушав. Но на что ты можешь надеяться, взывая к Господу? Мне говорили, что ты ведешь беспорядочную жизнь повесы, и я страшился за тебя, узнав, как широко ты открыл злу врата своей души. Но, понимая, что годы и разум часто исправляют и искупают грехи молодости, я надеялся и молился за тебя. Но предположить, что ты станешь вероотступником, что твое супружество может быть скреплено нечистыми узами иудаизма... О! — Грустный голос прервался рыданием, и Торквемада закрыл свое бледное лицо длинными, истощенными, почти прозрачными руками.

— Молись теперь, дитя мое, о милости и силе Божьей, — сказал он. — Претерпи небольшое предстоящее тебе мирское страдание во искупление своей ошибки, и когда твое сердце преисполнится раскаянием, ты получишь спасение от Божественного милосердия, не имеющего границ. Я буду молиться за тебя. Больше я для тебя ничего не могу сделать. Уведите его.

6 февраля того же, 1481 года Севилья стала свидетелем первого аутодафе. Наказанию подверглись Диего де Сусан, другие заговорщики и дон Родриго де Кордова. Торжественная церемония проводилась относительно скромно, не с такой мрачной пышностью, как впоследствии. Но все основные элементы уже присутствовали.

Впереди процессии шел монах-доминиканец, несущий зеленый крест инквизиции, закутанный в траурное покрывало. За ним шли попарно члены братства Святого Павла-мученика, монастырские служки Святой палаты. Далее босиком, со свечами в руках — осужденные, одетые в рубище кающихся грешников позорного желтого цвета.

Окруженные стражами с алебардами, они прошли по улицам до кафедрального собора, где мрачный Охеда отслужил мессу и прочитал проповедь. После этого их увели за город на Табладские луга, где их уже ждали столбы и хворост.

Таким образом, доносчик был казнен той же смертью, что и его жертвы. Так Изабелла де Сусан, известная как «Прекрасная Дама», вероломно отомстила своему недостойному возлюбленному за его собственное вероломство, ставшее причиной гибели ее отца...

Когда все было кончено, она нашла убежище в монастыре. Но вскоре покинула его, не приняв пострига. Прошлое не давало ей покоя, и она вернулась в свет, пытаясь в его волнениях найти забвение, которого не дал ей монастырь и могла дать только смерть. В своем завещании она выразила желание, чтобы ее череп был повешен над входом в ее дом на калые* де Атаун как символ посмертного искупления грехов. И этот голый оскаленный через когда-то прекрасной головы висел там почти четыре сотни лет. Его видели еще легионы Бонапарта, разрушившие Святую палату инквизиции⁵.

IV

КОНДИТЕР ИЗ МАДРИГАЛЯ

Рассказ о Лжесебастьяне Португальском

Во всей скорбной и трагикомической летописи человеческих слабостей, именуемой Историей, нет повести печальнее, чем повесть о принцессе Анне, внебрачной дочери сиятельного Хуана Австрийского¹, побочного сына императора Карла V и, следовательно, сводного брата бессердечного Филиппа II, короля Испании. И не было

* Улице (исп.).

среди женщин голубых кровей другой, чья судьба зависела бы от обстоятельств ее рождения столь трагически.

Внебрачные сыновья королей еще могли чего-то добиться в жизни, и примером тому — ослепительная карьера родного отца Анны, но для внебрачных дочерей, особенно таких, кто, подобно ей, нес двойное бремя, — ибо принадлежал к младшей ветви родового древа, — надежды на счастье почти не было. Голубая кровь, разумеется, возвышает их, но обстоятельства рождения сводят на нет все преимущества высокого положения. Царственное происхождение предписывает им выходить замуж только за принцев, но те же обстоятельства рождения ставят препоны на этом пути. Ну а коль уж этим женщинам не находится подобающего места в обществе, целесообразнее всего, наверное, оградить их от него, пока их не затянула светская суета. А оградить от всех соблазнов можно, лишь заточив в монастырь, где они вели достойную, благочестивую, выхоленную жизнь.

Это и произошло с Анной. Шестилетней девочкой ее поместили в монастырь святого Бенедикта в Бургоне; по достижении отрочества перевезли в обитель Санта-Мария-ла-Реаль в Мадригале, где ей надлежало вскоре принять постриг. Но Анна не хотела такой жизни. Она была молода, в душе ее кипела жгучая жажда жизни, которую не могли притупить даже убогие условия существования. От нее скрывали, что она красива, но и это не помогло. Подходя к воротам обители, она бурно протестовала, призывая сопровождавшего епископа засвидетельствовать ее нежелание вступать в монастырь.

Но ее желание или нежелание были не в счет. Помимо воли Божьей, в Испании существовала лишь воля короля Филиппа. И все же, скорее дабы подсластить пилюлю, чем по долгу родства, его католическое величество даровал принцессе определенные привилегии, которых обычно не имеют члены религиозных сообществ: он приставил к ней двух фрейлин и двух слуг, а также позволил и после короткого годичного послушничества сохранить за собой титул «высочества». Анна знала себе цену и с ужасом понимала, что жизнь ее будет потрачена впустую. Впрочем, это относилось только к ее брэнной оболочке: она механически исполняла послушания, из коих состояла монотонная монастырская жизнь с однообразными днями, полными одинаковых часов, с утратившей всякий смысл сменой времен года, с отсутствием всяких временных вех,

кроме сна и бодрствования, еды и работы, молитв и размышлений. И так — до тех пор, пока жизнь не утратит смысл и не выхолостится вконец, превратившись в подготовку к смерти.

Хотя брэнной оболочкой Анны могли помыкать как угодно, дух ее не был сломлен. Возможно, вскоре ею овладела бы глухая апатия, возможно, мало-помалу эта безрадостная жизнь затянула бы ее. Но пока этого не произошло. Пока она тешила свою плененную, изголодавшуюся душу воспоминаниями о немногочисленных пестрых картинках вольной жизни, виденных ею когда-то за стенами обители. А если этих воспоминаний оказывалось мало, Anne помогал добрый друг, развлекавший ее рассказами о захватывающих приключениях, любовных похождениях и рыцарских подвигах, которые лишь распаляли ее воображение.

Друг этот, отец Мигел да Суза, португальский монах из ордена святого Августина, был образован и вежлив в обращении, немало поездил по свету и судил обо всем со знанием дела, как и подобает очевидцу событий. А больше всего он любил рассказывать о своем закадычном приятеле, последнем короле Португалии, романтике Себастьяне² — умном, галантном, неустрашимом белокуром юноше, который в двадцать четыре года от роду возглавил гибельный заморский поход против неверных и был разгромлен в битве при Эль-Ксар-эль-Кебире³ лет пятнадцать назад.

Он любил живописать ослепительное рыцарское шествие, которое видел на набережных Лиссабона, когда участники крестового похода, исполненные рвения, грузились на корабль: шеренги португальских рыцарей и оруженосцев; отряды немецких и итальянских наемников; наконец, сам молодой король в блистающих латах и с непокрытой головой — живое воплощение святого Михаила. Все это воинство торжественно всходило на борт корабля, отправлявшегося в Африку, а вокруг них бушевало море цветов и приветственных возгласов.

Анна слушала монаха, широко раскрыв глаза, боясь пропустить хоть одно слово этой поэмы. Уста ее раскрывались, стройное тело чуть наклонялось вперед, и Анна жадно ловила слова монаха, а когда он начинал рассказывать о том страшном дне при Эль-Ксар-эль-Кебире, темные горящие глаза девушки наполнялись слезами.

А монах был не дурак приврать. Послушать его, так выходило, что португальскую кавалерию погубила вовсе

не полководческая бездарность короля и не его безудержное тщеславие, из-за которого он не пожелал внять подсказкам советников. Нет, причиной поражения войска и падения самой Португалии, если верить рассказчику, были несметные полчища неверных. В качестве эффектной концовки монах приводил сцену отказа Себастьяна последовать рекомендации советников и спастись бегством, когда уже все было потеряно. Он рассказывал, как молодой король, только что бившийся с храбростью льва, а теперь сраженный горем, не пожелал пережить черный день поражения и в одиночку поскакал прямо в гущу сарацинских полчищ, чтобы принять свой последний бой и встретить смерть, как подобает рыцарю. С тех пор Себастьяна никто больше не видел.

Анна была готова вновь и вновь внимать этому повествованию, и с каждым разом оно все сильнее задевало струны ее души. Она забрасывала монаха вопросами о Себастьяне, приходившемся ей двоюродным братом; о том, как он жил, каким был в детстве, какие издавал указы, став королем Португалии. И все, что рассказывал ей Мигел да Суза, служило лишь одной цели: как можно глубже запечатлеть в девичьем сознании восхитительный образ царственного рыцаря. Если прежде эта пылкая девушка каждый день думала о нем, то теперь и ночи ее были полны видений: облаченная в латы фигура являлась к ней во сне — столь живая и реальная, что во время бодрствования девушка не могла отличить воспоминаний о своих сновидениях от воспоминаний о встрече с кем-то, виденным наяву. Она благоговейно повторяла слова, произносимые Себастьяном в ее снах; слова, так разительно совпадающие с чаяниями ее опустошенного, изголодавшегося сердца, и никак не могущие умиротворить и успокоить душу монахини.

Анна была влюблена — горячо, страстно, по уши влюблена в миф, в мысленный образ мужчины, плоть которого пятнадцать лет назад обратилась в прах. Она оплакивала его, как любящая вдова, денно и нощно молилась за упокой его души; в почти восторженном нетерпении ждала смерти, которая соединит ее с возлюбленным. Черпая радость в мысли о том, что она придет к нему девственницей, Анна наконец перестала сожалеть о своей участи, обрешей ее на вечное целомудрие.

И вот, в один прекрасный день ей в голову пришла дикая мысль, наполнившая ее странным возбуждением.

— А верно ли, что он погиб? — спросила Анна мона-

ха. — Что ни говори, а ведь никто не видел его смерти. По вашим словам, отец, тело, выданное нам Мулаи Ахмедом бен Мохаммедом, было обезображено до полной неузнаваемости. Не мог ли Себастьян все-таки остаться в живых?

На смуглом костистом лице отца Мигела появилось задумчивое выражение. Девушка в тревоге ждала, что он тотчас же отвергнет ее предположение. Но монах этого не сделал.

— Народ Португалии, — медленно произнес он, — свято верит в то, что Себастьян жив и когда-нибудь вернется домой как избавитель, чтобы освободить страну от испанского ига.

— Но тогда... тогда...

Монах задумчиво улыбнулся.

— Народ всегда верит в то, во что хочет верить.

— А вы? — спросила его девушка. — Вы сами в это верите?

Он не сразу ответил ей. Выражение его сурового лица стало еще сумрачнее, еще задумчивее. Монах отвернулся от девушки (во время этого разговора они стояли под украшенными резьбой и орнаментом сводами обители), и его сосредоточенный взгляд обратился на широкий квадрат монастырского двора, служившего одновременно и садом, и кладбищем. Там, как ни странно, кипела своя жизнь: жужжали пчелы, перелетая с цветка на цветок; три молодые и сильные монахини, засучив рукава, подвязав веревками полы своих черных одеяний и обнажив обутое в войлочные туфли ноги, сноровисто орудовали лопатами и мотыгами. Они копали свои будущие могилы. «Помни о смерти»... Под сенью сводов, на почтительном расстоянии от Анны и монаха стояли смиренные высококордные монахини, донья Мария де Градо и донья Луиса Ньето, приставленные королем Филиппом⁴ к племяннице для исполнения обязанностей, которые, с поправкой на монастырский быт, можно было назвать обязанностями камеристок.

Наконец отец Мигел, кажется, принял решение.

— Что ж, дочь моя, почему бы мне не ответить, если ты спрашиваешь? Когда я ехал в Лиссабон, чтобы произнести надгробную речь в соборе, как и пристало духовнику дона Себастьяна, одно высокопоставленное лицо предупредило меня, что я должен быть осторожен в высказываниях о доне Себастьяне, ибо он не только жив, но и намерен тайно присутствовать на отпевании.

Он заметил удивленный взгляд Анны, дрожание ее приоткрытых губ.

— Но это было пятнадцать лет назад, — добавил он. — И с тех пор — ни слуху, ни духу. Поначалу я думал, что такое возможно... Ходили вполне правдоподобные слухи... Но пятнадцать лет! — Монах со вздохом покачал головой.

— Какие.. какие слухи? — спросила Анна. Ее бил нервный озноб.

— Говорят, что на другой день после битвы, вечером, трое всадников подъехали к воротам укрепленного прибрежного города Асилы. Когда перепуганная стража отказалась впустить их, один из всадников объявил, что он — король Себастьян, и добился, чтобы им открыли ворота. Один из этих троих был закутан в плащ, скрывающий лицо, а двое других обращались с ним почтительно, будто с августейшей особой.

— Тогда почему... — начала было Анна.

— Но позднее, — прервал ее отец Мигел, — когда этот слух уже взбудоражил всю Португалию, последовало его опровержение: короля Себастьяна не было среди тех трех всадников, а затем выяснилось, что они попросту прибегли к уловке, чтобы получить приют в городе.

Анна вновь и вновь терзала монаха вопросами в надежде добиться признания, что опровержение слуха было фальшивым, что скрывающийся правитель просто хотел сохранить свое присутствие в тайне.

— Да, это возможно, — признал наконец он, — и многие полагают, что так оно и есть. Дон Себастьян был не только силен духом, но и очень шепетилен. Вероятно, позор поражения так угнетал его, что он предпочел скрыться, пожертвовав тронem, полагая, что он более его не достоин. Половина португальцев считает, что это так, и продолжает ждать и надеяться.

Уходя в тот день от Анны, отец Мигел уносил с собой убеждение, что нет во всей Португалии ни одного человека, который надеялся бы на то, что дон Себастьян жив, как надеялась она, и так же охотно, как Анна, признал бы короля, стоило тому вдруг объявиться в стране. Ему было о чем подумать: ведь Португалия жаждала своего Себастьяна, как раб жаждет свободы.

Мать Себастьяна была сестрой короля Филиппа, что и позволило последнему заявить о своих правах на престолонаследие и добиться португальского трона. Португалия изнемогала под властью этого чужеземного правителя, и

отец Мигел да Суза, истинный патриот, был едва ли не первым среди тех, кто мечтал освободить страну. Когда дон Антониу, сводный двоюродный брат Себастьяна, бывший некогда настоятелем монастыря Крату, поднял мятежный стяг, отец Мигел стал одним из самых ревностных сторонников этого честолюбивого и предпримчивого храбреца. В те дни отец Мигел был архиепископом, человеком, пользовавшимся репутацией высокоученого государственного деятеля и дипломата. Он занимал пост проповедника дона Себастьяна и духовника дона Антониу и обладал огромным влиянием в Португалии. Влияние свое он неустанно употреблял на пользу претенденту, которому был глубоко предан. После того, как сухопутное войско дона Антониу потерпело поражение от герцога Альбы, а его флот был разгромлен у Азорских островов маркизом Санта-Крус в 1582 году, отец Мигел оказался в большой опасности и опале как один из наиболее рьяных мятежников. Его схватили и надолго бросили в тюрьму. В конце концов, поскольку он, видимо, раскаялся в своих грехах, Филипп II, прекрасно знавший цену одаренному канонику и желавший приручить его, велел в расчете на благодарность освободить отца Мигела и сделать его викарием в Санта-Мария-ла-Реаль, где он теперь и исполнял обязанности исповедника, советника и доверенного лица принцессы Анны Австрийской.

Однако благодарного отношения отца Мигела не хватило, чтобы изменить сущность его натуры; он по-прежнему был предан претенденту, дону Антониу, в своем неумном честолии продолжавшему плести интриги в изгнании. Не хватило его и на то, чтобы притушить пламенный патриотизм монаха. Мечтой его жизни было видеть Португалию независимой и управляемой сыном ее народа. И вот, благодаря пылкой надежде Анны (надежде, которая с каждым днем крепла, превращаясь в убежденность), что Себастьян жив и когда-нибудь вернется, чтобы потребовать обратно свой венец, два этих человека продолжали все ближе сходитьсь друг с другом в тихой обители Мадригала, вокруг которой бурно кипела жизнь.

Но шли годы, молитвы Анны оставались без ответа, освободитель не появлялся, и ее надежды начали угасать. Она вновь начала подумывать о том, что сможет соединиться со своим неведомым возлюбленным лишь в лучшем из миров.

Как-то раз весенним вечером 1594 года — спустя четыре года после того, как Анна впервые услышала от

священника имя Себастьяна, — отец Мигел шагал по главной улице Мадригалья, городка, в котором он знал всех и каждого. И вдруг, к своему удивлению, каноник встретил незнакомца. Любой незнакомец наверняка привлек бы внимание отца Мигела, а этот и подавно: обликом своим он смутно напомнил священнику о каких-то давних событиях, напрочь стершихся из памяти. Потрепанное черное одеяние незнакомца выдавало в нем обыкновенного горожанина, но его осанка, взгляд, военная выправка и гордо вскинутая голова никак не вязались с простотой платья. От этого человека веяло отвагой и уверенностью в себе.

Мужчины остановились, изумленно глядя друг на друга; на устах незнакомца заиграла тусклая улыбка. Сейчас, в сумерках, возраст его определить было невозможно: ему могло быть и тридцать, и пятьдесят. Отец Мигел растерянно нахмурился, и тогда незнакомец снял с головы широкополую шляпу.

— Храни тебя Бог, отче, — произнес он.

— И тебя, сын мой, — отвечал священник, все еще ломая голову над вопросом, кто перед ним. — Кажется, я тебя знаю. Так ли это?

Незнакомец рассмеялся.

— Весь мир может забыть меня, только не ты, отче.

И тут отец Мигел охнул.

— Господи! — вскричал он и возложил длань свою на плечо молодого человека, вглядываясь в его смелые серые глаза. — Какими судьбами ты здесь?

— Я здешний кондитер.

— Кондитер? Ты?

— Надо же как-то жить, а поприще кондитера — честное поприще. Я был в Вальядолиде, когда услышал, что ты служишь викарием в здешнем монастыре. И вот, в память о старых и добрых счастливых временах решил навестить тебя, отче, и попросить о поддержке, — ответил незнакомец с непринужденной самоуверенностью и легкой насмешкой в голосе.

— Разумеется... — начал было священник, но осекся. — Где твоя лавка? — спросил он.

— Дальше по улице. Ты удостоишь меня своим посещением, отче?

Отец Мигел поклонился, и оба пошли своей дорогой.

В последующие три дня священник приходил в монастырь, только чтобы отслужить мессу. Но утром четвертого дня он отправился из ризницы прямо в гостиную и,

несмотря на ранний час, потребовал аудиенции у ее высочества.

— Госпожа, — сказал он ей, — у меня для тебя важная весть, которая преисполнит радостью твое сердце.

Анна взглянула на него и увидела лихорадочный блеск в его глубоко посаженных глазах, румянец возбуждения на острых скулах.

— Дон Себастьян жив, — продолжал тот. — Я видел его.

Несколько мгновений девушка смотрела на него, ничего не понимая, потом побледнела. Лицо ее стало белым, как плат монахини. Анна со стоном перевела дух, застыла и покачнулась. Чтобы не упасть, она ухватила за спинку кресла. Отец Мигел понял, что действовал слишком резко и огорошил ее. Он не понимал, насколько глубоко ее чувство к таинственному принцу, и теперь испугался, как бы она не упала в обморок, потрясенная известием, которое он так безрассудно выложил ей.

— Что ты сказал? О, повтори, что ты сказал! — простонала Анна, полуприкрыв веки.

Он повторил сказанное в более взвешенных и осторожных выражениях, пустив в ход весь магнетизм своей личности, чтобы успокоить смятенный разум Анны. Постепенно буря чувств в ее душе улеглась.

— Ты говоришь, что видел его? — спросила девушка. — О!

Румянец вновь залил ее щеки, глаза вспыхнули, лицо засияло.

— Где же он? — нетерпеливо спросила принцесса.

— Здесь, в Мадригале.

— В Мадригале? — Принцесса была само изумление. — Но почему в Мадригале?

— Он жил в Вальядолиде и там услышал, что я, его бывший духовник и советник, служу викарием в Санта-Мария-ла-Реаль. Себастьян приехал искать меня под чужим именем. Он называет себя Габриелем де Эспиносой и ведет кондитерское дело. Так будет, пока не кончится срок его епитимьи, тогда он сможет объявиться открыто и предстать перед своим народом, с нетерпением ждущим его.

Эта весть повергла Анну в растерянность, наполнила разум смятением, а душу превратила в поле битвы, на котором вели борьбу безумная надежда и благоговейный страх. Принц, о котором она мечтала, который четыре года жил в ее мыслях, которого она обожала всей своей

возвышенной, пылкой, изголодавшейся душой, вдруг обрел плоть и кровь. Он рядом, и она наконец-то сможет воочию увидеть его, живого, настоящего. Эта мысль приводила ее в панический ужас, и Анна не осмеливалась просить отца Мигела привести к ней дон Себастьяна. Но зато она засыпала священника вопросами и вытянула из него довольно складную историю.

После своего поражения и побега Себастьян дал обет над гробом Господним, поклявшись отказаться от королевских почестей, ибо считал себя недостойным их. В знак покаяния (полагая, что именно грех гордыни, в который он впал, стал причиной его неудач) он обязался скитаться по миру в облике смиренного простолюдина, зарабатывая хлеб насущный собственными руками, трудясь до седьмого пота, как и положено обыкновенному человеку, до тех пор, пока не искупит свою вину и не станет вновь достоин того положения, которое составляло его истинное предназначение по праву рождения.

Этот рассказ наполнил Анну таким состраданием и сочувствием, что она расплакалась. Ее кумир вознесся еще выше, чем в прежних, полных любви мечтах, особенно после того, как спустя несколько дней история его скитаний обросла подробностями. Она узнала о том, какие лишения терпел таинственный принц, какие тяготы и страдания выпали на долю странника. Наконец, через несколько недель после того, как Анне впервые сообщили потрясающую весть о его возвращении, в начале августа 1594 года, отец Мигел предложил ей то, чего она более всего жаждала, но о чем не смела просить.

— Я рассказал его величеству, как ты привержена его памяти, как предана была ему все эти годы, когда мы считали его умершим. Он глубоко тронут. Он умоляет тебя позволить ему прийти и пасть к твоим ногам.

Лицо Анны зарделось, потом его покрыла бледность. Принцесса едва слышно выговорила:

— Я согласна...

На другой день отец Мигел привел гостя в скромную монастырскую гостиную, где их ждала принцесса вместе со своими камеристками, старавшимися быть незаметными. Она увидела человека среднего роста, с лицом, исполненным достоинства, облаченного в гораздо менее потрепанное платье, чем то, в котором его впервые увидел сам отец Мигел.

У него были светло-каштановые волосы. Такой цвет вполне могли приобрести золотые локоны юноши, уплыв-

шего в Африку пятнадцать лет назад. Борода имела чуть более темный оттенок, а глаза были серые. Миловидное лицо. Но ничто, кроме цвета глаз и носа с горбинкой, не говорило о том, что его обладатель происходит из царствующего дома Габсбургов, представительницей которого была его мать.

Держа шляпу в руке, гость приблизился к Анне и преклонил колено.

— Я здесь и жду приказаний вашего высочества, — молвил он.

У девушки тряслись колени и дрожали губы, но она овладела собой.

— Вы — Габриель де Эспиноса, приехавший в Мадригаль, чтобы открыть кондитерское дело? — спросила она.

— И чтобы служить вашему высочеству.

— Тогда добро пожаловать, хотя я уверена, что в ремесле кондитера вы смыслите меньше, чем в любом другом.

Коленопреклоненный гость склонил свою красивую голову и глубоко вздохнул.

— Что ж, если в прошлом я лучше знал иные ремесла, стало быть, мне нет нужды теперь ограничивать себя моим нынешним поприщем.

Она знаком попросила его подняться. Эта встреча и разговор были недолгими: посетитель откланялся, дав обещание вскоре прийти опять и, заручившись ее согласием принять кондитерскую лавку под покровительство монастыря.

Впоследствии у этого человека вошло в привычку являться к утренней службе, которую отец Мигел отправлял в монастырской часовне, открытой для мирян. После службы кондитер навещал священника в ризнице, а затем шел вместе с ним в гостевую комнату, где его ждала принцесса, обычно сопровождаемая одной или двумя своими камеристками. Поначалу эти ежедневные свидания были недолгими, но постепенно становились все длиннее, и вскоре Анна уже просиживала с кондитером до самого обеда. Но очень скоро ей стало мало и этого, и она взяла со своего гостя обещание приходить по два раза на день.

Свидания царственной четы делались постепенно не только продолжительнее и содержательнее, но и интимнее. Постепенно Анна начала заводить разговоры о будущем Себастьяна, убеждая его открыться. Епитимья и так уже затянулась сверх всякой меры, да и каяться ему, по сути

дела, было не в чем, ибо судят Небеса не деяния, а побуждения души; душа же его, когда он начинал войну с неверными, была чиста, а намерения — благочестивы и возвышенны. Себастьян с кротким видом признавал, что это, возможно, воистину так. Однако и он, и отец Мигел держались мнения, что сейчас благоразумнее всего дожидаться кончины Филиппа II, которая, вероятно, близка, если учесть преклонные лета монарха, его дряхлость и немощность. В ином же случае ревнивый король может воспотривиться справедливым притязаниям Себастьяна.

Тем временем ежедневные визиты Эспиносы и его многочасовые свидания с Анной привели к неизбежному: и в стенах монастыря, и за его пределами запахло скандалом. Анна была монахиней, ей запрещалось встречаться с какими бы то ни было мужчинами, за исключением исповедника, и беседовать с ними иначе как через решетку в гостевой комнате обители. Но даже при наличии такой решетки столь длительные и регулярные встречи считались недопустимыми. А между тем при поддержке и попустительстве отца Мигела Анна и Эспиноса за несколько недель сблизились настолько, что девушка уже считала себя вправе думать о нем как о своем избавителе, который спасет ее от этого погребения заживо. Она полагала, что он вернет ей вожденную свободу и вольную жизнь, возложит на ее чело венец, как только настанет время заявить о его собственных правах на корону. Да, она монахиня, но что с того? Ее постригли против воли, послушничество длилось всего год, а пятилетний срок, отведенный для испытания, еще не истек. Поэтому Анна полагала, что ее вполне можно освободить от всех данных обетов.

Но никто не знал мыслей Анны, да и не интересовался ими, а посему скандал разрастался. В монастыре не нашлось смельчаков, чтобы упрекнуть царственную особу или навязать ей свои советы и мнения: ведь ей, помимо всего прочего, покровительствовал отец Мигел, духовный наставник обители. Однако в конце концов в монастырь пришло письмо от епископа ордена святого Августина. Тон послания был почтительно-суров, и в нем сообщалось, что частые посещения кондитера дают пищу для пересудов, и поэтому Анна проявила бы благоразумие, согласясь не подавать болес поводов для них. Этот совет наполнил ее гордую чувствительную душу жгучим стыдом. Принцесса тотчас же послала своего слугу Родероса за отцом Мигелем и передала священнику полученное письмо.

Черные глаза монаха пробежали текст, и в них появилось тревожное выражение.

— Этого следовало опасаться, — со вздохом проговорил он. — Тут есть только одно средство, если дело не дойдет до чего-либо более серьезного: дон Себастьян должен уехать.

— Уехать?! — У Анны перехватило дух от страха. — Куда?

— Куда угодно, лишь бы подальше от Мадригалья. И немедленно, самое позднее — завтра поутру, — ответил монах и добавил, заметив выражение ужаса на ее лице: — Ну а что еще можно придумать? Как знать, может, этот докучливый епископ уже поднял шум?

Анна подавила охватившие ее чувства.

— А я... я увижу его перед отъездом? — с мольбой в голосе спросила она.

— Не знаю. Наверное, это было бы слишком опрометчиво. Я должен поразмыслить.

В глубоком смятении он бросился прочь, оставив Анну, и девушке показалось, что жизнь покидает ее.

В тот сентябрьский вечер, потрясенная, она сидела в своих покоях, надеясь и не смея надеяться, что ей удастся еще раз хоть одним глазком взглянуть на Себастьяна. Было уже довольно поздно, когда к Анне пришла донья Мария де Градо с известием, что Эспиноса сейчас в келье отца Мигела. Испугавшись, что он уйдет тайком, так и не повидавшись с ней, и не обращая внимания на позднее время (шел девятый час, и начинало смеркаться), девушка немедленно послала Родероса к священнику с просьбой привести Эспиносу в гостевую комнату. Отец Мигел согласился, и влюбленные — а они уже были на этой стадии отношений — встретились вновь. Обоим было тяжело и больно, оба страдали.

— Боже мой! — вскричала принцесса, отбросив прочь всякую осторожность. — Боже мой! Что же вы решили?

— Решили, что завтра поутру я уезжаю, — отвечал Себастьян.

— Куда? — Он пожал плечами. — Сначала в Вальядолид, а потом... как будет угодно Всевышнему.

— Когда же я опять увижу вас?

— Когда... когда будет угодно Всевышнему.

— О, какой ужас! Если я потеряю вас... если никогда больше вас не увижу... — Она задыхалась, ломая руки.

— Ну что вы, госпожа, — ответил он. — Я вернусь за вами, когда придет время. Ко Дню Всех Святых⁵ или,

самое позднее, к Рождеству. И я привезу с собой человека, который поручится за меня.

— Какая нужда мне в поручениях за вас? — запротестовала девушка. — Мы принадлежим друг другу, вы и я. Но вы вольны странствовать по свету, а я беспомощно сижу в этой клетке...

— Да, но ведь в скором времени я освобожу вас, и тогда мы пойдем рука об руку, — он шагнул к столу, на котором стояли рог с чернилами, коробочка с песком, несколько перьев и лежала бумага. Взяв стило, он принялся писать с заметным усилием, ибо короли, как известно, не отличаются прилежанием в учении.

«Я, дон Себастьян, милостью Божией король Португалии, беру в жены светлейшую донну Анну Австрийскую, дочь светлейшего принца Хуана Австрийского, на основании разрешения, полученного от двух епископов».

Внизу он поставил подпись — такую же, какую во все века ставили португальские короли: El Rey (король).

— Вы удовлетворены, госпожа? — с мольбой спросил он, вручая ей бумагу.

— Как может эта записочка удовлетворить меня?

— Это — обязательство, которое я исполню, как только позволят Небеса.

Услышав это, Анна ударилась в слезы, а Себастьян пустился в увещевания и болтал до тех пор, пока отец Мигел не вынудил его удалиться, поскольку было уже поздно. Тогда принцесса забыла о своих собственных горестях и преисполнилась сочувствия к возлюбленному: нет, она и слышать ничего не желает, он обязан принять все ее достоинства — сто дукатов и украшения, в числе которых были золотые часики, усыпанные бриллиантами, и колечко с камеей, изображавшей короля Филиппа. Ну и, наконец, ее собственный портрет размером с игральную карту.

Пробило десять, и отец Мигел спешно спровадил Себастьяна, предварительно преклонив перед ним колена и приложившись к монаршей длани. Затем Себастьян пал на колена перед принцессой и облобызал ее руку. Оба обливались слезами. Наконец он ушел, и скорбящая Анна, опершись на руку доньи Марии де Градо, удалилась в свою келью, чтобы выплакаться и предаться молитвам.

Следующие несколько дней она ходила как во сне, бледная и безучастная ко всему, угнетенная сознанием своего одиночества, которое пыталась смягчить, посылая

Себастьяну письма в Вальядолид, куда он возвратился. Из всех этих писем сохранилось только два.

«Король и господин мой, — писала она в одном из них, — увь! Какие страдания приносит разлука! Мне так больно, что я умерла бы, если б не испытывала мимолетного облегчения от общения с Вашим Величеством посредством этих посланий. Сегодня я чувствую то же, что чувствовала в любой другой день с тех пор, как мы перестали проводить вместе счастливые и сладостные мгновения. Нынешняя разлука — кара Небес, столь суровая для меня, что я бы осмелилась назвать ее несправедливой, ибо я без всяких на то оснований лишена счастья, которого мне не хватало столько лет и которое я ныне купила ценой страданий и слез. Но, господин мой, я готова вновь пережить все обрушившиеся на меня горести и страдать опять, если это поможет мне уберечь Ваше Величество хотя бы от малой толики невзгод. Да внемлет Всевышний моим молитвам. Пусть положит Владыка мира конец несчастьям и нестерпимым мукам, которые приносит мне разлука с Вашим Величеством. Возможно ли жить после столь долгих страданий и боли?»

Я принадлежу Вам, господин мой, о чем Вы уже знаете. И верность, в коей поклялась я Вам, сохраню я и в жизни, и в смерти, ибо даже смерть не вырвет ее из души моей. И будет эта верность бессмертна в веках, как и сама душа...»

Так писала племянница короля Филиппа Испанского удалившемуся в Вальядолид кондитеру Габриелю Эспиносе. Чем занимался в эти дни он — нам неизвестно, известно лишь, что он не был стеснен в передвижениях: именно на городской улице настырная и вездесущая судьба свела его лицом к лицу с Грегорио Гонсалесом, человеком, у которого он работал поваренком, когда тот служил графу Ньеба.

Грегорио окликнул Эспиносу и в изумлении уставился на него: платье кондитера, хоть и было не первой свежести, отнюдь не походило на одеяние простолюдина.

— Кому же ты теперь служишь? — осведомился заинтересованный Грегорио, как только они обменялись приветствиями.

Эспиноса преодолел мимолетное замешательство и взял за руку своего бывшего сотоварища.

— Времена меняются, друг Грегорио. Я больше никому не служу. Теперь мне самому подавай слуг!

— Так что за положение ты сейчас занимаешь?

— Это не имеет значения, — высокомерно осадил его Эспиноса, и Грегорио почувствовал, что дальнейшие расспросы неуместны. Завернувшись в плащ, он пошел своей дорогой, а кондитер крикнул ему вслед: — Если тебе что-нибудь понадобится, буду рад по старой дружбе оказать тебе услугу!

Но Грегорио уже понял, что просто так расстаться с преуспевающим старым другом было бы глупо. Эспиноса должен непременно жить в одном доме с ним. Жена Грегорио будет очень рада возобновить знакомство и услышать из первых уст историю его новой благополучной жизни. Грегорио не желает слышать никаких отговорок. В конце концов Эспиноса, уступая настырности приятеля, отправился вместе с ним в убогий квартал, где было жилище Грегорио.

За грязным сосновым столом в жалкой каморке сидели трое: Эспиноса, Грегорио и его жена. Женщина не выказывала обещанной Грегорио радости по поводу нынешнего благополучия Эспиносы. Возможно, кондитер заметил ее злобную зависть. Вероятно, желая еще больше подогреть ее (а это лучший способ наказания завистников), кондитер предложил Грегорио просто-таки великолепную работу.

— Иди ко мне на службу, — сказал он. — Я дам тебе пятьдесят дукатов сразу и буду платить четыре дуката в месяц.

Они отнеслись к его богатству с заметным недоверием. Чтобы убедить их, Эспиноса достал и показал золотые часы (редчайшую вещь), усыпанные бриллиантами, дорогое кольцо и другие отнюдь не дешевые украшения. Парочка взирала на все это в полном смятении.

— Но разве не говорил ты мне, когда мы вместе служили в Мадриде, что прежде ты был простым кондитером в Оканье? — вырвалось у Грегорио.

Эспиноса усмехнулся.

— Мало ли королей и принцев были вынуждены скрываться под чужой личиной? — вкрадчиво проговорил он и, видя потрясение на физиономии супругов, решил играть дальше. Ничего святого для него больше не существовало. Он вытащил из кармана даже портрет милой одинокой царственной госпожи, томящейся в монастыре Мадригалья, и швырнул его через стол, заляпанный винными и масляными пятнами.

— Взгляните на эту прекрасную даму, самую красивую

в Испании, — сказал он хозяевам. — Может ли принц мечтать о более миловидной невесте?

— Но она облачена в одеяние монахини, — возразила жена Грегорио. — Как же она может выйти замуж?

— Королям закон не писан, — отрезал Эспиноса.

В конце концов он откланялся, но перед уходом призвал Грегорио поразмыслить над своим предложением. Он обещал снова прийти за ответом, а пока оставил ему адрес, по которому квартирует.

Хозяева сочли Эспиносу безумцем и посмеялись над ним, но недоверие жены Грегорио быстро сменилось злобной ревностью: ведь все, что Эспиноса рассказал с себе, могло в конце концов оказаться правдой. Именно злоба и определила ее дальнейшие поступки. Она отправилась к алькальду Вальядолида, дону Родриго де Сан-тильяну, и все ему выболтала.

Поздней ночью Эспиноса проснулся и увидел в своей комнате стражников алькальда. Эспиносу арестовали и поволокли к дону Родриго давать отчет в том, кто он такой и откуда взялись найденные при нем дорогостоящие вещицы, а в особенности кольцо с камеей, изображавшей короля Филиппа.

— Я — Габриель де Эспиноса, — твердо ответил алькальду пленник, — кондитер из Мадригалья.

— Тогда откуда ты взял эти украшения?

— Их передала мне для продажи донья Анна Австрийская. По этому делу я и прибыл в Вальядолид.

— Это — портрет донны Анны?

— Да.

— А этот локон? Он что, тоже с головы донны Анны? И если так, станешь ли ты утверждать, что и его тебе дали для продажи?

— А для чего еще?

Дон Родриго призадумался. Красть такие вещи бесполезно, а что до локона, то где этот парень найдет на него покупателя? Алькальд более пристально взгляделся в арестованного и заметил царственность осанки, спокойную уверенность, присущую обычно высокородным и достойным сеньорам. Отослав его в тюрьму, алькальд отправился в Мадригаль, чтобы обыскать дом Эспиносы.

Дон Родриго умел действовать быстро, но узник каким-то загадочным образом нашел возможность предостеречь отца Мигела, и тот ухитрился опередить алькальда. До приезда дона Родриго священник изъясил из дома Эспиносы шкатулку с бумагами и обратил их в пепел.

Но Эспиноса от природы был беспечен, и полиция алькальда нашла четыре письма, забытые на столе. Два из них были от Анны (я уже приводил отрывок из одного ее письма), а еще два — от самого отца Мигела.

Эти письма озадачили и сбили с толку дон Родриго де Сантильяна. Он был сообразительным и осведомленным человеком и знал, как настороженно относится кастильское правосудие к настойчивым проискам бывшего настоятеля Крату доня Антониу. Алькальд хорошо знал и о прошлом отца Мигела, его самоотверженном патриотизме и страстной преданности делу доня Антониу. А тут еще ему вспомнилось, с каким непоколебимым достоинством держался его узник. Словом, дон Родриго сделал пусть и поспешный, но вполне оправданный вывод: человек, попавший к нему в руки, которому принцесса Анна писала пылкие письма и которого называла «Ваше Величество», — не кто иной, как настоятель монастыря в Крату. Алькальд понял, что за всем этим стоит нечто серьезное и опасное. Приказав арестовать отца Мигела, он отправился в монастырь, чтобы встретиться с донной Анной. Действовал он искусно и в расчете на внезапность. Разговор начался с предъявления принцессе одного из найденных писем и вопроса: признает ли она свое авторство?

Поняв, что произошло, Анна на миг застыла, а потом выхватила письмо из рук алькальда и порвала его надвое. Она бы изорвала и вовсе листок в клочья, но дон Родриго проворно схватил девушку за запястья и держал, будто в тисках, на миг забыв о текущей в ее жилах голубой крови. Король Филипп был суровым правителем, беспощадным к смутьянам, и дон Родриго знал, что, если он позволит уничтожить столь важное письмо, прощения ему не будет.

Уступив его физическому и душевному превосходству, Анна отдала обрывки и признала, что письмо написала она.

— Как настоящее имя человека, называющего себя кондитером и состоящего с вами в таких вот отношениях? — осведомился присутствовавший при беседе судья.

— Дон Себастьян, король Португалии, — ответила девушка и присовокупила к этому признанию рассказ о побеге юноши из Эль-Ксар-эль-Кебира и его последующих странствиях в поисках искупления вины.

Дон Родриго отбыл, не зная, что ему думать и во что верить. Он был твердо убежден, что пришла пора поведать

обо всем королю Филиппу. Его католическое величество был глубоко возмущен. Он немедленно отправил в Мадригаль уполномоченного инквизиции с приказом тщательно разобраться в деле и повелел не выпускать Анну из кельи, а ее прислугу арестовать.

Для верности Эспиносу перевели из Вальядолида в тюрьму Медина-дель-Кампо, куда доставили в карете под усиленным конвоем.

— К чему везти простого кондитера с такими почестями? — шутливо спрашивал он своих стражей.

В карете вместе с Эспиносой ехал солдат по имени Серватос — человек, повидавший мир. Разговорившись с узником, он обнаружил, что тот одинаково свободно владеет как французским, так и немецким языками. Но стоило Серватосу обратиться к нему по-португальски, как пленник тотчас же заметно смутился и ответил, что не говорит на этом языке, хотя и бывал в Португалии.

Всю зиму продолжались допросы. Трое главных следственных сменяли друг друга, и разговоры с ними приводили к одним и тем же, уже начинавшим надоедать результатам. Уполномоченный инквизиции допрашивал принцессу и отца Мигела, дон Родриго занимался Эспиносой. Но из пленников так и не удалось вытянуть ничего такого, что помогло бы делу или рассеяло бы тайну.

Принцесса давала правдивые показания, но по мере того, как расспросы становились все более настойчивыми, а подчас и оскорбительными, к ее искренности начала примешиваться изрядная доля возмущения. Она настаивала на том, что дон Себастьян был не кем иным, как доном Себастьяном, и писала Эспиносе пылкие письма, призывая открыть свое подлинное имя, утверждая, что пришло время сбросить личину.

Но кондитера не трогали эти отчаянные призывы. Он твердил свое: «Я — Габриель де Эспиноса, кондитер из Мадригалья». Однако поведение этого человека и окутывавшая его атмосфера таинственности уже сами по себе опровергали это клятвенное заявление. Дон Родриго уже убедился, что арестованный никак не мог быть настоятелем монастыря в Крату. Он искусно лавировал, уклоняясь от каверзных вопросов опытного судьи, и проявлял большую осторожность, дабы не навредить своим товарищам по несчастью. Он отрицал, что когда-либо выдавал себя за дона Себастьяна, хотя и признавал, что отец Мигел и принцесса почему-то полагали, будто бы он и есть исчезнувший принц.

В ответ на вопрос о родителях Эспиноса сделал невинные глаза и заявил, что не знает ни того, ни другого. То же самое мог бы сказать и дон Себастьян, рожденный после смерти своего отца и брошенный матерью в раннем детстве.

Отец Мигел твердо заявил о своей убежденности в том, что дон Себастьян остался жив после африканского похода. Священник не сомневался: Эспиноса и есть пропавший король. Он утверждал, что действовал из благих побуждений и даже в помыслах своих не нарушал верности королю Испании.

Однажды поздним вечером, к тому времени, когда Эспиноса просидел в темнице около трех месяцев, его неожиданно разбудил алькальд. Узник тотчас же хотел встать, но дон Родриго остановил его.

— Не стоит. Это только помешает нам в том, что мы намерены сделать.

Фраза прозвучала зловеще, и узник, сидевший на постели с всклокоченными волосами, моргая от света факелов, тотчас же воспринял ее как угрозу пытки. Его лицо побелело.

— Это невозможно! — запротестовал он. — Король не мог приказать вам сделать такое! Его величество никогда не забудет, что я знатен. Он может потребовать казнить меня, но казнить достойно, а не замучить на дыбе! Если же вы хотите пустить в ход это орудие, чтобы заставить меня говорить, то мне нечего добавит к уже сказанному.

Суровое смуглое лицо алькальда растянулось в мрачной улыбке.

— Позволю себе заметить, что ты впадаешь в противоречия. То ты выдаешь себя за низкого простолюдина, то вдруг за высокородную особу. Послушать тебя сейчас — так можно подумать, что пытка оскорбит твое достоинство.

Внезапно дон Родриго осекся и вытаращил глаза. Потом он выхватил из рук стражника факел и поднес его поближе к лицу заключенного. Тот вконец перепугался: он сразу же понял, что заметил алькальда. При ярком освещении дон Родриго увидел, что корни волос на голове и в бороде пленника поседели. Ему стало окончательно ясно, что он имеет дело с подлейшей из афер. Этот малый пользовался красителями для волос, а где их возьмешь в тюрьме? Дон Родриго ушел, очень довольный итогами своего внезапного посещения.

Эспиноса тотчас же побрился. Но было слишком поздно: не прошло и нескольких недель, как его волосы

приобрели естественный цвет, и он предстал в своем истинном облики седовласого человека лет шестидесяти или около того.

Но даже пытка, которой его вскоре подвергли, не помогла внести ясность. И только отец Мигел, после многочисленных уверток и увиливаний, выложил наконец всю правду, которую знал он один. Но и тут не обошлось без дыбы.

Священник признался, что он, вдохновленный любовью к своей стране и страстным желанием освободить Португалию от испанского ига, никогда не оставлял надежды добиться всего этого на деле и помочь дону Антониу, настоятелю монастыря Крату, воссесть на трон своих предков. Он стал вынашивать замысел, толчком к которому послужила пылкая натура принцессы Анны и неприятие ею монашеской жизни. Но отцу Мигелу не хватало главного орудия — исполнителя его планов. И тут он, на свое счастье, встретил на улицах Мадригалья Эспиносу. Когда-то Эспиноса был солдатом и поездил по белу свету. Во время войны между Испанией и Португалией он сражался на стороне короля Филиппа и подружился с отцом Мигелом благодаря тому, что сумел уберечь монастырь от вторжения солдатни. Таким образом, священник не только завел новое знакомство, но и получил свидетельство находчивости и храбрости Эспиносы. Ростом он был с дона Себастьяна, и король вполне мог бы напоминать Эспиносу телосложением по прошествии стольких лет. Сходство с покойным монархом было просто сверхъестественным. Борода и шевелюра другого цвета? Ну, да это дело поправимое. Он вполне может сыграть роль Таинственного Принца, возвращения которого с таким терпением и уверенностью ждала Португалия. В те времена были и другие самозванцы, но они не обладали преимуществами, которыми обладал Эспиноса, и установить их происхождение не составляло труда. Помимо природного сходства, у Эспиносы было поручительство дона Мигела, поднаторевшего в такого рода делах лучше всех в мире, и племянницы короля Филиппа, на которой он должен был жениться, как только поднимет свое знамя. По замыслу всей троицы, устроив свои дела, надлежало отправиться в Париж, где самозванца признают живущие в изгнании друзья дона Антониу. Настоятель монастыря Крату тоже участвовал в заговоре. Оставаясь во Франции, дон Мигел мог через своих лазутчиков влиять на ход дел в Португалии, а в скором времени

отправился бы туда собственной персоной, чтобы организовать народное движение в поддержку всеми признанного претендента на престол. Все это давало ему основания надеяться на восстановление независимости Португалии. А когда цель будет достигнута, в Лиссабоне объявится дон Антониу, разоблачит самозванца и сам примет венец, став королем страны, вырванной из рук испанцев.

Таков был хитрый замысел священника. Его отличали ясность цели и полное пренебрежение к пустякам, каковыми отец Мигел считал судьбу принцессы и жизнь главного исполнителя коварного плана. Что такое судьба внебрачной дочери Хуана Австрийского и солдата удачи, ставшего кондитером? Что это в сравнении с освобождением королевства, избавлением населения от рабства, счастьем целого народа? Да ничто. Так думал отец Мигел, и его заговор вполне мог бы иметь успех, кабы не безмерное тщеславие Эспиносы, который не удержался от соблазна пустить пыль в глаза Гонсалесам в Вальядолиде. Тщеславие не покидало этого человека до самой смерти, которую он встретил в октябре 1595 года, ровно через год после ареста. До самого конца он изворачивался, избегая признаний, способных пролить свет на его личность и туманное происхождение.

— Если бы вы знали, кто я такой... — говорил он и тотчас же умолкал.

Приговорили его к повешению, утоплению и четвертованию. Участь свою этот человек принял спокойно и мужественно. Отец Мигел погиб той же смертью и столь же достойно, но прежде был лишен монашеского сана.

Что касается бедной принцессы Анны, раздавленной стыдом и унижением, то она понесла наказание еще в июле. Уполномоченный инквизиции вынес ей приговор, который был утвержден королем Филиппом. Девушку перевели в другой монастырь и заточили на четыре года в келью. Каждую пятницу ее сажали на хлеб и воду. Анну объявили недостойной и неспособной занимать какое-либо особое положение, и до истечения срока наказания с ней надлежало обращаться, как с самой заурадной монахиней. Цивильный лист ее был отменен, и она осталась без содержания. Лишили ее и всех почестей и льгот, пожалованных прежде королем Филиппом.

Слезливые просьбы о помиловании, которые Анна посылала своему дяде королю, сохранились до наших дней. Эти письма не тронули холодную, безжалостную душу Филиппа Испанского. Вся вина девушки состояла в том,

что она не вынесла навязанной ей аскетической жизни, и, повинаясь зову исстрадавшегося сердца, дала себя увлечь ролью защитницы и помощницы человека, в котором видела несчастного принца, окутанного романтическим ореолом. Да еще в желании переехать из монастыря во дворец.

Бедняжка несла свою кару почти полных четыре года. И страшнее всего для нее были вовсе не те тяготы и лишения, которым подверг ее король Филипп. Страдания истерзанного и униженного духа оказались куда ужаснее. Волна прекрасных надежд на миг вознесла ее над тоской и мраком, но Анна тотчас же оказалась низвергнутой в пучину черного отчаяния, к которому теперь прибавились невыразимый стыд и нестерпимые муки оскорбленной гордости.

V

КОНЕЦ ДАМСКОГО УГОДНИКА

Убийство Генриха IV

В 1609 году умер последний герцог Клеве¹, и король Генрих IV Французский и Наваррский влюбился в Шарлотту де Монморанси.

Сочетанию этих событий суждено было повлиять на судьбы Европы. Сами по себе они были незначительны: смерть пожилого человека — дело обычное, равно как и влюбленность Генриха Беарнского. Этот господин вел жизнь напряженную во всех отношениях, любовь же была его единственной отдушиной, и ни почтенный возраст (тогда ему было 58), ни ревность Марии Медичи, его многострадальной флорентийской супруги², не могли мешать Генриху следовать своим наклонностям.

Вряд ли на свете жил более неверный супруг, чем Генрих IV. Его любовные похождения были вызывающе дерзки, вкусы, когда дело касалось женщин, — всеобъемлющи, а числом незаконнорожденных детей его не превзошел даже собственный внук, английский «султан» Карл II³. Правда, Генрих отличался от последнего тем, что, потакавая своим слабостям, все же не был таким «азиатом». В сравнении с ним Карл — просто тупой распутник, превративший Уайтхолл в гарем. Генрих

предпочитал романтику, приключение и умел быть галантным во всех смыслах этого слова.

Однако в интрижке с Шарлоттой де Монморанси ему, вероятно, не удалось проявить свою галантность в полной мере и выжать из нее все возможное. Прежде всего, как я уже говорил, ему шел пятьдесят шестой год, а в таком возрасте трудно выказывать страсть к двадцатилетней девушке, не становясь при этом смешным. К несчастью для него, Шарлотта, видимо, так не считала. Напротив, ухаживания Генриха льстили ей и так вскружили прекрасную пустую голову, что девица начала отвечать на его страсть.

Семейство Монморанси желало бы выдать Шарлотту замуж за веселого и остроумного маршала де Бассомпьера⁴, и, хотя он вовсе не был увлечен ею, тем не менее считал эту партию вполне сносной. И охотно вступил бы в брак, не выкажи король своих устремлений самым откровенным и бесстыдным образом.

— Бассомпьер, я буду говорить с вами, как друг, — заявил Генрих. — Я влюблен, влюблен отчаянно, и моя возлюбленная — мадемуазель де Монморанси. Если вы женитесь на ней, я вас возненавижу. Если она меня полюбит, вы возненавидите меня. Разрыв дружеских отношений с вами принесет мне несчастье, ибо я люблю вас и искренне к вам привязан.

Этого оказалось достаточно, чтобы Бассомпьер оставил мысли о женитьбе, которая сулила ему либо нелепую участь самодовольного рогоносца, либо вражду с собственным правителем. Так он и сказал королю, поблагодарив за откровенность. После чего Генрих, пуше прежнего возлюбивший за здравый смысл Бассомпьера, раскрыл ему свои дальнейшие планы.

— Я подумываю выдать ее за своего племянника Конде⁵. Так она останется в нашей семье и будет мне утехой в старости, которая уже не за горами. Конде, у которого на уме одна охота, получит сто тысяч ливров годового дохода и сможет вволю поразвлечься на эти деньги.

Бассомпьер прекрасно понял, какую сделку задумал Генрих. А вот принц Конде, похоже, не был столь сообразительным. Несомненно, потому лишь, что взор его застило видение сокровища: ста тысяч ливров годового дохода. Он был так отчаянно беден, что и за половину этой суммы взял бы в жены хоть дочь самого Люцифера,

ни на миг не задумавшись о неудобствах, которыми чревата такая женитьба.

Свадьбу тихо отпраздновали в Шантильи в феврале 1609 года⁶. Тревоги и треволнения не заставили себя ждать. До принца наконец дошло, чего именно от него ждут. Он с негодованием восстал против такого положения дел. Да и королева была тщательно подготовлена Кончино Кончини и его женой, Леонорой Галигаи — парочкой честолюбивых авантюристов, прибывших с ее царственным поездом из Флоренции. Поняв, что из слабости короля можно извлечь выгоду, флорентийские супруги тотчас научили Марию Медичи, как себя вести.

Разразившийся вскоре скандал был ужасен. Впервые над отношениями Генриха и королевы нависла угроза окончательного разрыва. А потом, когда накликаемая Генрихом беда уже превращалась в катастрофу, грозившую погубить его самого, он получил письмо от Воселаса, своего посла в Мадриде. После прочтения письма раздражение в душе короля уступило место самым мрачным предчувствиям.

Когда несколько месяцев назад умер последний герцог Клеве («оставив свое наследство всему белому свету», как говорил сам Генрих), в дело вмешался император и, поправ права ряда германских князей, даровал владения покойного собственному племяннику, эрцгерцогу Леопольду. Это совершенно не отвечало политическим интересам Генриха, ставшего благодаря мудро направленным матримонимальным усилиям самым могущественным из европейских правителей и вовсе не собиравшегося покорно мириться с неудобными для него решениями. Он велел Воселасу подогревать разногласия, возникшие между Францией и австрийской короной из-за наследства Клеве. Вся Европа знала, что Генрих желал бы женить дофина на наследнице лотарингского престола, присоединив таким образом Лотарингию к Франции, и это было одной из причин, по которым он принял сторону германских князей.

Воселас сообщал Генриху, что определенные лица при испанском дворе (и прежде всего флорентийский посланник), действуя по указке кое-кого из членов семьи королевы Франции и других людей, имена которых Воселас назвать не осмелился, плетут интриги, дабы сорвать планы Генриха, связанные с австрийской короной, и принудить его к союзу с Испанией. Эти лица, полностью пренебрегая намерениями самого Генриха, зашли так

далеко, что предложили городскому совету Мадрида скрепить союз с Францией, женив дофина на инфанте.

Это письмо заставило Генриха ни свет ни заря опростоволоситься броситься в Арсенал, где размещалась резиденция первого министра государства, господина Сюлли. Максимилиан де Бетюн, герцог Сюлли, был не просто подданным короля, но и его ближайшим другом, хранителем ключей к сокровеннейшим тайникам души Генриха, и тот обращался к нему за советом не только в государственных, но и в сугубо личных, семейных делах. Нередко Сюлли выпадало улаживать ссоры между мужем и женой, то и дело возникавшие из-за непрекращающихся измен Генриха⁷.

Король вихрем ворвался в Арсенал и тотчас приказал всем покинуть комнату, оставшись наедине с только что пробудившимся герцогом, который встретил его в ночной сорочке и колпаке. Генрих сразу схватил быка за рога.

— Вы слышали, что обо мне говорят? — выпалил он.

Генрих стоял спиной к окну — стройный, прямой, чуть выше среднего роста. Он был одет, как солдат удачи: камзол, высокие сапоги серой кожи, серая же шляпа с вишневым страусиным пером. Лицо его было под стать общему облику: острые глаза, широкие брови, орлиный нос, борода торчком, жесткие усы с проседью. Король смахивал на сказочного героя, сатира, воителя и Полишинеля одновременно.

Высокий широкоплечий Сюлли даже в тапочках, сорочке и ночном колпаке, прикрывавшем его широкую лысину, умудрялся выглядеть, как живое воплощение респектабельности и достоинства. Он не стал делать вид, будто не понимает короля.

— О вас и принцессе Конде, сир? Вы это подразумеваете? — Он с серьезным видом покачал головой. — Эта история наполняет меня дурными предчувствиями, ибо я предвижу, что она чревата куда большими бедами, чем любое из ваших прежних увлечений.

— Значит, они убедили и вас, — в тоне Генриха слышалась чуть ли не горечь. — И тем не менее я клянусь, что все это очень преувеличено. Тут явно постарался этот пес Кончини. Если он не уважает меня, пусть хотя бы задумается о том, что возводит напраслину на столь прелестное, грациозное и смысленное дитя, на высокородную даму, имевшую таких предков!

В душе короля нарастала буря, и голос его угрожающе

задрожал, что не укрылось от чуткого слуха Сюлли. Генрих отошел от окна и упал в кресло.

— Кончини старается настроить королеву против меня, склонить к безрассудным решениям, которые помогут этой парочке осуществить собственные пагубные замыслы.

— Сир! — протестуяще воскликнул Сюлли. Генрих мрачно рассмеялся и протянул ему письмо Воселаса.

— Прочтите это.

Сюлли прочел. Письмо ошеломило его, и он вскричал:

— Должно быть, они безумцы!

— О нет, — отвечал король. — Они не безумцы. Они мыслят здраво и безнравственно, вот почему их планы будят во мне дурные предчувствия. Эти люди целеустремленно интригуют против решений, принятых мною, и знают, что я не откажусь от них, пока жив. Какой вывод вы делаете из этого, великий мастер?

— Какой вывод? — переспросил потрясенный Сюлли.

— Действуя подобным образом, — осмелившись действовать подобным образом, — они как бы исходят из убеждения, что мне осталось недолго жить, — пояснил король.

— Сир!

— А как еще все это истолковать? Зачем планировать события, которые не могут произойти до моей смерти?

Сюлли долго смотрел на своего властелина и растерянно молчал. Его верная гугенотская⁸ душа бунтовала; он не желал лгисто уверять короля, что все не так уж и плохо.

— Сир, — сказал наконец он, склонив свою красивую голову, — вам следует принять меры.

— Да, да, но только против кого? Кто эти люди, имена которых Воселас, как он пишет, не отваживается назвать? У вас есть какие-нибудь кандидатуры, кроме? — и тут Генрих умолк, и его передернуло от ужаса. Он боялся облечь свои мысли в слова. Наконец он резко взмахнул рукой и решил: — Кроме самой королевы?

Сюлли тихонько положил письмо на стол и сел. Подперев голову рукой, он посмотрел прямо в лицо Генриху.

— Сир, вы сами накликаете на себя эту беду. Вы слишком разозлили ее величество и вынудили действовать по указке этого негодяя Кончини. Все ваши увлечения расстраивали королевству, но ни одно из них не было чревато такими несчастьями, как увлечение принцессой Конде.

Сир, я это предвидел. Неужели вы так и не задумаетесь о вашем положении?

— Говорят вам, все это ложь! — взорвался Генрих, но непреклонный Сюлли лишь мрачно покачал головой.

— Во всяком случае, все очень преувеличено, — поправил себя Генрих. — Признаюсь вам, друг мой: любовь к ней — все равно что болезнь. Ее прекрасный образ преследует меня и днем и ночью. Я вздыхаю, страдаю и раздражаюсь, будто какой-то невинный двадцатилетний молодец. Я испытываю адские муки. И тем не менее... и тем не менее я клянусь вам, Сюлли, что подавлю эту страсть, даже если это убьет меня. Я буду гасить эти костры, хотя бы душа моя в итоге и превратилась в пепелище. Я не причиню ей вреда впредь, как не причинял раньше, клянусь. Все эти сплетни выдуманы Кончини, чтобы настроить мою жену против меня. Известно ли вам, сколь далеко он осмелился зайти вместе со своей благоверной? Они уговорили королеву не есть никакой пищи, кроме той, которая готовится на кухне, оборудованной в их собственных покоях. Из этого можно заключить, что они подозревают меня в намерении отравить жену.

— Так почему вы это терпите, сир? — угрюмо спросил Сюлли. — Отправьте эту парочку восвояси, пусть убиваются во Флоренцию со всеми пожитками. Избавьтесь от них!

Генрих возбужденно вскочил на ноги.

— Я уже подумываю об этом. Да, другого пути нет. Вы можете это устроить, Сюлли. Освободите разум королевы от гнета подозрений насчет принцессы Конде, убедите ее в моей искренности и твердом намерении покончить с волокитством. А она, со своей стороны, пусть пожертвует Кончини и подвергнет эту чету опале. Вы сделаете это, друг мой?

Исходя из своего прошлого опыта, Сюлли ничего другого и не ожидал. Он уже успел поднатореть в решении подобных задач, но никогда прежде положение не бывало таким сложным. Он поднялся.

— Ну, разумеется, сир. Однако ее величество может потребовать за эту жертву чего-то большего. Она может вновь поднять вопрос о своей коронации, которую вы так долго и, по ее мнению, беспричинно откладываете.

Лицо Генриха омрачилось. Он хмуро свел брови.

— Вы знаете, что я всегда подсознательно боялся этой коронации, великий мастер, — сказал король. — И страх

мой только увеличился после того, что я узнал из этого письма. Коль уж она, почти не обладая подлинной властью, отваживается на такое, стало быть, пойдет на все, если... — Тут король умолк и погрузился в размышления. — Если она этого потребует, мы, наверное, должны будем уступить, — проговорил он чуть погодя. — Но дайте ей понять, что стоит мне уличить ее в новых шашнях с Испанией, и чаша моего терпения переполнится. А в качестве противоядия против происков Мадрида можете обнародовать мое заявление о поддержке требований германских князей в вопросе о наследстве Клеве, и пусть весь мир узнает, что мы во всеоружии и готовы добиться этой цели.

Вероятно, он думал (и это подтвердилось впоследствии), что одной угрозы будет вполне достаточно, поскольку тогда в Европе не было силы, способной выстоять против его войск на поле битвы.

На этом король и министр расстались. Напоследок Сюлли еще раз напомнил Генриху, что тот больше не должен видаться с принцессой Конде.

— Клянусь вам, великий мастер, я сдержусь и буду уважать священные узы, которыми сам же связал своего племянника с Шарлоттой. Я заглушу эту страсть, — пообещал Генрих.

Впоследствии добрый Сюлли так прокомментировал это обещание:

«Я бы полностью полагался на его заверения, не зная, как легко обманываются нежные и страстные сердца, подобные его собственному сердцу». Воистину лишь настоящий друг мог найти такие слова, чтобы выразить свое полное неверие в обещания короля.

Тем не менее он приступил к решению трудной задачи и принялся мирить царственную чету, пустив в ход весь свой такт и все свое дипломатическое искусство. Он мог бы заключить хорошую сделку в интересах своего повелителя, но тот не нашел в себе сил поддержать Сюлли. Мария Медичи и слышать не желала об изгнании супругов Кончини, к которым была глубоко привязана. Королева совершенно справедливо утверждала, что ей нанесена тяжкая рана, и отказывалась даже думать о прощении мужа, иначе как при условии ее немедленной коронации (ведь она имеет на это полное право) и обещании короля прекратить выставлять себя на посмешище, приударя за принцессой Конде. Что касается содержания письма

Воселаса, то оно ей неизвестно, и она не потерпит дальнейших допросов в духе инквизиции.

Это никак не могло удовлетворить Генриха. Но король уступил. Муки совести превратили его в труса. Он так часто был несправедлив к жене, когда дело касалось их супружеских отношений, что был вынужден идти на уступки в чем-то другом. Эта слабость Генриха была своего рода проявлением его комплекса, связанного с королевой. В его отношении к ней чередовались доверие и подозрительность, уважение и безразличие, увлеченность и холодность. Порой королю приходило в голову вовсе избавиться от жены, а иногда он думал и говорил, что она — самый мудрый из членов его государственного совета. Даже получив доказательства ее вероломства, даже негодуя, он тем не менее признавал, что сам спровоцировал ее. И на этот раз король согласился мириться с Марией на ее условиях и поклялся себе, что порвет с Шарлоттой. Принимая в расчет последующие события, мы не имеем права предполагать, что Генрих был неискренен в своем намерении.

Но уже к маю того же года ход событий подтвердил верность суждений Сюлли. Двор выехал в Фонтенбло, и там прекрасная дурочка Шарлотта опрокинула своим тщеславием последний оплот Генриха — его благоразумие. Вероятно, она поощряла своего царственного возлюбленного к возобновлению ухаживаний. Но оба, похоже, позабыли о существовании ее супруга.

Генрих подарил Шарлотте украшения, которые обошлись ему в 18 тысяч ливров. Он купил их у ювелира Месье, и нетрудно представить себе, как судачили по этому поводу сердобольные придворные дамочки. При первых же признаках надвигающегося скандала принц Конде впал в страшный гнев и наговорил королю таких вещей, что тот не мог не почувствовать боли и досады. В свое время Генриху довелось общаться с множеством ревнивых мужей, но ни один из них не был столь нетерпим и непреклонен, как его собственный племянник, на которого король жаловался в письме к Сюлли: «Мой друг! Месье принц ведет себя как одержимый. Вы бы рассердились и испытали неловкость, услышав, что он мне говорит. В конце концов мое терпение иссякнет, но пока я должен разговаривать с ним строго, и не более того».

В делах же Генрих был куда строже к племяннику, чем в беседах с ним. Он велел Сюлли задержать выплату Конде последней четверти суммы, отпущенной на его

содержание, а также отказать кредиторам и поставщикам принца. Таким способом он, несомненно, хотел дать понять племяннику, что тот получает тысячи ливров в год вовсе не за красивые глаза.

«Если уж и это не удержит его в узде, — заключил Генрих свои сетования, — значит, придется изобрести какой-то другой способ, ибо все, что принц смеет мне говорить, больно ранит меня».

Генриху не удалось удержать племянника в узде. Принц тотчас же собрал пожитки и увез свою жену в загородный дом. Напрасно Генрих писал ему, что такое поведение позорит их обоих и что принцу крови полагается находиться не где-нибудь, а при дворе его повелителя.

Кончилось все тем, что безрассудный романтик Генрих принялся слоняться по ночам вокруг сельского особняка Конде. Его величество король Франции и Наварры, воля которого была законом для всей Европы, переодевшись крестьянином, дрожал от холода, скрючившись за сырыми заборами, по колено в мокрой траве.

Терзаясь любовной истомой, он часами не сводил глаз с освещенных окон жилища своей возлюбленной, впадая в восторженный экстаз. И все это, насколько мы можем судить, привело лишь к обострению ревматизма, должно быть, напомнившего Генриху, что для него пора амурных походов минувала.

Закоченевшие суставы подвели его, зато «не подкачала» королева. Разумеется, за Генрихом шпионили, как и всегда, когда он уклонялся от исполнения супружеского долга. Чета Кончини позаботилась приставить к королю соглядатаев. Посчитав, что плод созрел, они донесли обо всем ее величеству. Убедившись, что муж вновь обманул ее доверие, она пришла в такую ярость, что снова объявила ему войну. Несмотря на отчаянные усилия Сюлли, на этот раз удалось добиться лишь вооруженного перемирия, но не мира.

Настал ноябрь, и принц Конде принял отчаянное решение покинуть Францию вместе с женой, нарушив при этом свой верноподданнический долг и не позаботившись заручиться согласием короля. В последний вечер ноября, когда Генрих сидел за карточным столом в Лувре, шевалье⁹ дю Ге принес ему весть о побеге принца.

«Никогда в жизни не видел, чтобы человек настолько терял разум и впадал в такой неистовый раж», — говорил потом Бассомпьер, присутствовавший при этом.

Король швырнул свои карты на стол и вскочил, опрокинув стул.

— Все погибло! — завопил он. — Все пропало! Этот безумец увез жену. Возможно, он убьет ее!

Бледный и трясущийся Генрих повернулся к Бассомпьеру.

— Возьмите себе мой выигрыш и продолжайте игру, — попросил он, после чего вылетел из комнаты и отправил гонца в Арсенал, приказав ему привезти месье де Сюлли.

Сюлли тотчас же явился на зов, но в крайне дурном расположении духа, поскольку время было позднее, а министр с головой погряз в работе. Он застал короля в покоях королевы. Тот вышагивал из угла в угол, уронив голову на грудь и сцепив руки за спиной. Королева, неказистая угловатая женщина, сидела в сторонке в обществе нескольких фрейлин и кавалеров из своей свиты. Ее застывшее квадратное лицо было непроницаемо, а задумчивые глаза смотрели на короля.

— А, великий мастер! — приветствовал Генрих Сюлли, и голос его звучал хрипло и сдавленно. — Что вы на это скажете? Как мне теперь быть?

— Да никак, сир. — Сюлли был настолько же спокоен, насколько его повелитель возбужден.

— Никак? Тоже мне, совет!

— Это — лучший из всех возможных советов, сир. Об этом деле надо говорить как можно меньше и делать вид, будто для вас оно не чревато никакими последствиями и не причиняет вам ни малейшего беспокойства.

Королева злорадно откашлялась.

— Хороший совет, герцог, — согласилась она. — Если у Генриха достанет благоразумия последовать ему. — Голос ее звучал напряженно, почти угрожающе. — Однако во всем, что связано с этой историей, король и благоразумие, я думаю, давно распрощались друг с другом.

Король вспылил и в ярости покинул королеву, чтобы совершить самую безумную из своих проделок. Облечившись в камзол гонца и нацепив на глаз повязку для камуфляжа, он ринулся преследовать беглецов. Генрих знал, что они уехали по дороге на Ландреси, и этого ему было вполне достаточно. Он следовал за ними, меняя лошадей, теряя и вновь находя след, не останавливаясь ни на миг. Но так и не догнал до самой границы Фландрии.

Это был весьма романтический подвиг, и молодая дама, узнав о нем, всплакнула от радости и злости одновремен-

но. Она посылала королю страстные письма, в которых называла его своим рыцарем и умоляла, если он ее любит, приехать и спасти ее от участи рабыни презренного тирана. Эти жалобные мольбы стали последней каплей: Генрих вконец обезумел и не желал больше ничего видеть и слышать. Ему было безразлично и то, что жена его тоже льет слезы. Генриха не волновало, что это — слезы ярости, не одобренной никакими нежными чувствами.

Генрих первым делом отправил Праслена к эрцгерцогу с просьбой приказать принцу Конде покинуть его владения. А когда эрцгерцог с достоинством отказался взять на себя грех и совершить такое беззаконие, Генрих тайком отрядил Кэвре в Брюссель, чтобы выкрасть оттуда принцессу. Но Мария Медичи была начеку и сорвала этот замысел, послав маркизу Спиноле предостережение. В итоге принц Конде и его супруга для пушей безопасности поселились во дворце самого эрцгерцога.

Генрих потерпел полное поражение, но письма глупейшей из принцесс продолжали подхлестывать его, и король принял безрассудное решение вторгнуться с оружием в Нидерланды¹⁰, сделав таким образом первый шаг к исполнению своего замысла начать настоящую войну с Испанией, которая прежде велась скорее для виду. Герцогство Клеве послужило ему прекрасным предлогом. Он готов был предать огню всю Европу, лишь бы заполучить желанную женщину.

Генрих принял свое чудовищное решение в самом начале следующего года, и несколько месяцев Франция жужжала, как улей, готовясь к вторжению. Впрочем, это была не единственная причина переполоха. Генриху мешали проповедники, в один голос твердившие, что Клеве не стоит военных усилий, а война будет несправедливой: ведь католическая Франция будет защищать интересы протестантов от Испании — оплота католицизма. Такая точка зрения находила отклик в народе, а вскоре общая сумятица усугубилась из-за пророчеств, предрекавших королю скорую смерть.

Эти пророчества сыпались на Генриха со всех сторон. И Томазин, и астролог Ля Бросс предупреждали его о звездных знамениях, согласно которым месяц май будет полон опасностей для короля. Из Рима, от самого папы, пришло сообщение о готовящемся заговоре, в котором были замешаны самые высокопоставленные лица страны. Из Эмбрана, Байонны и Дуэ поступали сходные известия, а однажды утром в начале мая на алтаре храма Монтаржи

была найдена записка, сообщавшая о скорой гибели Генриха.

Но все это могло подождать. Пока же Генрих вел свои приготовления, не обращая внимания ни на предостережения, ни на пророчества. Против него уже составлялось столько заговоров, что он стал в этом отношении совершенно беспечен. Однако ни о каком из прежних злых умыслов его не предупреждали с такой настойчивостью, и ни один заговор еще не проводился в жизнь в столь благоприятных условиях, им самим же и созданных. На душе у короля было беспокойно, и главным источником беспокойства служила коронация королевы, подготовка к которой велась полным ходом.

Должны быть, Генрих знал, что, если ему и угрожает насильственная смерть, то скорее всего со стороны тех людей, чье влияние на королеву было почти безграничным, — четы Кончини и их тайного, но очевидного союзника, герцога Эпернонского. Стоит королю умереть, а королеве — стать единоличной регентшей на все время правления дофина¹, и эти люди превратятся в подлинных властителей Франции, что позволит им обогатиться и в полной мере утолить свое честолюбие. Генрих ясно видел, что единственный способ обеспечить собственную безопасность — противостоять коронации, назначенной на 13 мая. Мария Медичи настаивала, чтобы церемония состоялась до отъезда Генриха на театр военных действий, и это так угнетало короля, что наконец он приехал в Арсенал и излил душу Сюлли.

— О друг мой! — вскричал Генрих. — Не нравится мне эта коронация. Сердце подсказывает мне: она приведет к чему-то непоправимому и ужасному.

Он сел и принялся вертеть в стиснутых пальцах футляр с лупой для чтения, а Сюлли в немом удивлении взирал на короля, потрясенный этой вспышкой. Затем Генрих надолго задумался и наконец поднял глаза.

— Черт! — восторженно воскликнул король. — Они убьют меня в этом городе. Другой возможности у них нет. Все ясно. Эта проклятая коронация — моя погибель.

— Право же, сир!

— Думаете, я начитался гороскопов и наслушался предсказателей? Вот что я вам скажу, великий мастер: четыре с лишним месяца назад мы объявили о своем намерении начать войну, и вся Франция взбудоражена

нашими приготовлениями. Мы не делали из них тайны. Тем не менее в Испании никто не шевельнул и пальцем, чтобы дать нам отпор; там даже не точили шпаг. Из чего же исходит Испания? Из уверенности в том, что войны не будет? Несмотря на мои усиленные приготовления, на мою решимость, на объявление начала похода семнадцатого мая, на то, что мое войско уже в Шампани и укреплено такой мощной артиллерией, какой Франция еще не имела и, вероятно, не будет иметь. Откуда же такая уверенность в том, что им нет нужды готовиться к обороне? Из чего исходят они в своем предположении, что войны не будет? Я вас спрашиваю! Ведь они, должно быть, именно так и думают. Вот вам задачка, великий мастер, решите-ка ее!

Но прижатый к стенке Сюлли в ответ только ахнул и издал какое-то нечленораздельное восклицание.

— Значит, вы об этом не задумывались, не так ли? А между тем дело достаточно ясное: Испания рассчитывает на мою смерть. А кто здесь, во Франции, известны нам как друзья Испании? Кто интриговал с Испанией таким наглым образом и до такой степени, как никогда прежде на моем веку? Ха! Вот видите?

— Уму непостижимо, сир. Это слишком ужасно. Это невозможно! — вскричал честный и верный государственный муж. — Но если вы убеждены в своей правоте, надо расстроить эту коронацию, отменить поход и воздержаться от войны. Это ведь совсем не трудно, надо лишь захотеть.

— Да, все это так, — король поднялся и сжал плечо герцога своей сильной нервной ладонью. — Отменить коронацию раз и навсегда. Это удовлетворило бы меня. Я смог бы освободиться от дурных предчувствий и безбоязненно покинуть Париж.

— Очень хорошо. Я немедленно отправлю гонцов в Нотр-Дам и Сен-Дени¹² с приказом прекратить приготовления и отослать мастеровых.

— Э, нет, погодите. — Глаза короля, на миг озабившиеся надеждой, снова погасли, лоб озабоченно нахмурился. — Ну как же быть? Как быть? Я хочу этого, друг мой. Но как отнесется к такому шагу моя жена?

— Пусть относится как ей заблагорассудится. Не верю, что она будет продолжать упорствовать, когда узнает, что вас терзает предчувствие беды.

— Возможно, возможно... — ответил король, но голос его звучал уныло. — Попробуйте убедить ее, Сюлли. Я

не смогу сделать такое без ее согласия. Но вы сумеете уговорить ее. Отправляйтесь же к ней.

Сюлли прервал приготовления к коронации и стал добиваться приема у королевы. После этого он, по его словам, три дня всеми правдами и неправдами тшилсь тронуть ее душу. Но все его труды канули впустую: Мария Медичи осталась непреклонна. Все доводы Сюлли она парировала лишь одним своим доводом, но таким, на который ему нечего было ответить.

Если ее не коронуют как французскую королеву, на что она имеет полное право, она превратится в дутую фигуру, подчиненную регентскому совету в отсутствие короля. А такое положение недостойно ее и невыносимо для матери дофина.

И Генриху пришлось уступить. Совершенные им проступки сковали его по рукам, будто цепи, а главная из этих ошибок — война — была самым тяжким бременем, особенно теперь, когда он открыто признал, что вынашивает такие намерения.

Как-то раз ему выдалась возможность спросить папского нунция¹³, что думает Рим об этой войне.

— Люди, располагающие наидостовернейшими сведениями, — смело ответил ему нунций, — придерживаются мнения, что главным призом, ради которого будет вестись война, станет принцесса Конде, которую ваше величество желает вернуть во Францию.

Рассерженный дерзостью святого отца, Генрих в сердцах сделал заявление, только подтвердившее верность такого рода предположений.

— Господи, да! — вскричал он. — Да, я определенно хочу вернуть ее и верну, и никто не остановит меня, даже наместник Божий на Земле!

Произнеся эти слова, которые, как он знал, будут переданы королеве и ранят ее куда сильнее, чем все предыдущие события, Генрих доказал, что совсем потерял совесть. Он презрел все свои страхи, но теперь был бессилен повлиять на жену и удалить ее приближенных — заговорщиков, чьи происки подтверждались многочисленными доказательствами.

И вот 13 мая, в четверг, наконец-то состоялась коронация. Она была проведена в Сен-Дени с надлежащим блеском и помпезностью. По сценарию, празднества должны были длиться четыре дня и завершиться в воскресенье торжественным въездом королевы в Париж. В

понедельник король намеревался отбыть, чтобы возглавить свои войска, уже выходившие к границам.

Во всяком случае, так он предполагал. Но королева уже все поняла: признание Генрихом подлинных целей войны наполнило ее сердце лютой ненавистью к человеку, устроившему этот оскорбительный фарс с коронацией. Королева решила любой ценой помешать Генриху и послушалась Кончини, который нашептывал ей, что надо наконец отомстить, ответив вероломством на вероломство.

Кончини и его сообщники взялись за это с таким знанием дела, что еще за неделю до коронации в Льеже появился гонец, объявлявший налево и направо, что он везет германским князьям известие об убийстве Генриха. Одновременно сообщения о смерти короля вывешивались по всей Франции и Италии.

Тем временем Генрих, какими бы сомнениями ни терзалась его душа, внешне выглядел спокойно и пребывал в прекрасном расположении духа в продолжение всей церемонии коронации жены, а под конец поздравил ее, пожаловав шутливым титулом «госпожи регентши».

Этот приятный эпизод, возможно, тронул ее и заставил вспомнить о совести: той же ночью в покоях короля Мария внезапно пронзительно закричала, и, когда ее супруг в тревоге вскочил на ноги, она рассказала ему свой сон, в котором якобы видела Генриха зарезанным. Срывающимся голосом королева принялась сбивчиво молить короля поберечь себя в ближайшие дни. Она давно уже не бывала так нежна с ним, как в ту ночь. Наутро королева возобновила увещания, умоляя короля не покидать сегодня Лувр и твердя о своих роковых предчувствиях.

Генрих рассмеялся в ответ.

— Вы наслушались пророчеств Ля Бросса, — заявил он. — Ба! Да стоит ли верить такой чепухе?

Вскоре явился герцог Вандомский, побочный сын Генриха от маркизы де Верниль. Он пришел с такими же предостережениями и пустился в аналогичные увещания, но получил такой же ответ.

Накануне ночью Генриху не дали поспать, поэтому, сумрачный и невеселый, он прилег отдохнуть после обеда. Но сон не шел к нему, и король поднялся. Мрачный и угрюмый, бесцельно бродил он по дворцу и наконец вышел во двор. Здесь разводящий дворцового караула, у которого король спросил, сколько теперь времени, заметил вялость и бледность короля. Служака позволил себе вольность

предположить, что его величеству, возможно, станет лучше, если он подышит свежим воздухом.

Это случайное замечание решило судьбу Генриха. Его глаза благодарно блеснули.

— Добрый совет, — сказал он. — Вызовите мой экипаж. Я съезжу в Арсенал навестить герцога де Сюлли, которому неможется.

На мощеной площадке, за воротами, где лакеи обычно дожидались своих господ, сидел тощий человек лет тридцати, облаченный в темное одеяние, с отталкивающим злобным лицом. Физиономия однажды даже стала причиной его ареста, стража предположила, что человек с такой рожей обязательно должен быть злодеем.

Пока готовили экипаж, Генрих вновь вошел в Лувр и объявил королеве о своем намерении ехать, чем немало поразил ее. Она в испуге принялась уговаривать его отменить приказ и не покидать дворец.

— Я только туда и обратно, — пообещал король, смеясь над ее страхами. — Вы не успеете заметить, что я уехал, как я уже вернусь.

И он ушел. Чтобы уже не вернуться живым.

Генрих сидел в карете. Стояла прекрасная погода, все занавески были подняты, и король любовался городом, который принарядился, готовясь к воскресенью, когда королева должна была торжественно вступить в Париж. Справа от короля сидел герцог Эпернон, слева — герцог Монбазон и маркиз де ла Форс. Лаворден и Роквелар ехали в правом багажном отсеке, а неподалеку от левого, напротив Генриха, сидели Мирбо и дю Плесси Лианкур. Карету сопровождала лишь горстка всадников да несколько пехотинцев.

Экипаж свернул с улицы Сент-Оноре на узкую улочку Ферронери, где был вынужден остановиться: дорогу преградили две встречные повозки. Одна была нагружена сеном, вторая — бочонками с вином. Все пехотинцы, за исключением двух, шагали впереди. Один из оставшихся двоих отправился расчищать путь для королевской кареты, а другой воспользовался остановкой, чтобы поправить свою подвязку.

В этот миг, тенью скользнув между каретой и стенами лавок, на улице появился тот самый убогий отвратительный оборванец, что сидел час назад на мостовой возле Лувра. Став на спицу неподвижного колеса, он приподнялся, перегнулся через герцога Эпернонского и, выхватив из рукава прямой тонкий клинок, вонзил его в грудь

Генриха. Король, занятый чтением письма, вскрикнул и инстинктивно поднял руки, защищаясь от нападения. Этим движением он открыл для удара свое сердце. Убийца вновь пронзил его ножом, и на этот раз лезвие вошло по самую рукоять.

Генрих издал сдавленный кашляющий звук, обмяк, и изо рта у него потекла струйка крови.

Пророчества сбылись, небылица, рассказанная неделю назад проезжавшим через Льеж гонцом, обернулась явью, так же, как и слухи о смерти короля, уже давно ходившие по Антверпену, Брюсселю и другим городам и весям.

Убийца нанес еще и третий удар, но его отразил наконец-то очнувшийся Эпернон. После этого злодей отступил на шаг от кареты и остановился, не принимая никаких попыток бежать и даже избавиться от изобличавшего его кинжала. Сен-Мишель, один из сопровождавших короля знатных господ, ехавший за каретой, выхватил шпагу и наверняка заколол бы убийцу на месте, не удержи его от этого Эпернон. Пехотинцы схватили лиходея и передали его капитану стражи. Убийца оказался школьным учителем из Ангулема, города, расположенного на землях Эпернона. Звали его Равальяк.

Занавески кареты тотчас же задернули, экипаж развернули и погнали обратно в Лувр. Во избежание беспорядков толпе сообщили, что король лишь ранен.

Но Сен-Мишель отправился в Арсенал, увозя с собой нож, убивший его повелителя, и сообщил злую весть верному, преданному другу Генриха. Сюлли знал достаточно, чтобы сразу понять, откуда исходил удар. С сердцем, переполненным горем и яростью, он вскочил на коня, хоть и был болен, и, скликав своих людей, отправился в Лувр в сопровождении отряда из ста человек, к которому по пути присоединились еще столько же верных слуг короля. На улице Рю де ля Пурпуантье какой-то прохожий сунул в руку герцога записку. Она была нацарапана небрежно и наспех: «Месье, куда вы стремитесь? Дело сделано. Я видел его мертвое тело. Прорвавшись в Лувр, вы уже не выберетесь оттуда».

На подъездах к улице Святого Иннокентия Сюлли предостерегли еще раз: некий господин по имени дю Жон остановился и тихо пробормотал: «Господин герцог, от нашего недуга нет средства. Берегите себя, ибо этот страшный удар судьбы возымеет ужасные последствия».

На улице Сент-Оноре Сюлли бросили еще одну записку, сходную содержанием с первой. И хотя сомнения

герцога быстро сменялись уверенностью, он продолжал скакать в Лувр в сопровождении отряда владников, выросшего до трехсот человек. Но в конце улицы его остановил господин де Витри, который натянул поводья, заведя герцога.

— О, месье, куда вы направляетесь с таким эскортом? — спросил Витри вместо приветствия. — Вам позволяют войти в Лувр с двумя-тремя сопровождающими, не больше, а этого вам делать не следует, ибо заговор простирается гораздо дальше. Я видел нескольких человек, столь мало опечаленных понесенной потерей, что они не могут выказать даже притворной скорби. Возвращайтесь назад, месье, у вас и без поездки в Лувр достанет забот.

Горестно-возвышенный облик Витри подействовал на Сюлли, ибо вполне соответствовал его собственным мыслям. Герцог развернулся и отправился восвояси, однако вскоре его настиг гонец от королевы, которая слезно молила Сюлли немедленно приехать к ней в Лувр в сопровождении сколь можно малочисленной свиты. «Это предложение явиться туда одному и предать себя в руки врагов моих, которыми кишел Лувр, явно не имело целью рассеять мои подозрения», — напишет Сюлли позднее.

В довершение всего ему сообщили, что у ворот Арсенала уже ждет капитан стражи с отрядом солдат, в то время как другие отряды отправлены в Тампль¹⁴, где были пороховые погреба, и в казначейство.

— Передайте королеве, что я — ее верный слуга, — попросил герцог гонца, — и скажите, что впредь до получения дальнейших указаний я намерен прилежно исполнять свои прямые обязанности.

С этими словами Сюлли направился в Бастилию и обосновался там. Вскоре к нему ручьем потекли посланцы ее величества, умолявшие герцога прибыть в Лувр. Однако Сюлли, больной и измотанный всем пережитым, улегся в постель под благовидным предлогом: недомогание.

Тем не менее наутро он позволил уговорить себя откликнуться на призывы королевы: его заверили, что оснований для опасений нет. Более того, он мог чувствовать себя довольно спокойно под защитой парижан. Если в Лувре на него совершат покушение, это будет означать, что удар, убивший его повелителя, был нанесен вовсе не фанатиком-одиначкой, как ныне пытались представить дело. Стало быть, скорое и неотвратимое возмездие падет на головы злодеев, которые выдадут себя, доказав, что

фанатизм бедняги был коварно использован ими в собственных недобрых целях.

Вооружившись этой уверенностью, Сюлли отправился во дворец, и, мы знаем из его записок, сколь жгучее негодование охватило герцога, когда он заметил, какое самодовольство, злорадство и даже ликование царят в этой обители смерти. Однако сама королева, потрясенная случившимся и, возможно, терзаемая муками совести из-за того, что стала причиной трагедии, которую в самый последний миг пыталась предотвратить, ударилась в слезы при виде Сюлли и велела привести дофина, который бросился на шею герцогу.

— Сын мой, — сказала ему королева, — это господин Сюлли. Ты должен любить его, ибо он был одним из лучших и самых верных слуг короля, твоего отца. И я прошу его служить тебе так же, как он служил Генриху.

Наполненные столь важным смыслом слова могли бы убедить менее проницательного человека в беспочвенности его подозрений, однако последующие события очень быстро раскрыли бы ему глаза на истину. Кончины и их ставленникам не терпелось низвергнуть Сюлли, чтобы устроить последнюю помеху на пути к удовлетворению своего зловещего честолюбия. И они преуспели в этом¹⁵.

Политике, которую проводил при жизни король, очень скоро был положен конец. Сюлли стал свидетелем возрождения старых союзов и объединения французской и испанской корон. С курсом на умиротворение тоже было покончено. Протестантов уничтожили, собранные Генрихом богатства разбазарили, людей, не пожелавших жить под ярмом новоявленных фаворитов, предали опале. На склоне лет Сюлли наблюдал и быстрое вознесение к вершинам власти во Франции Кончино Кончини, этого флорентийского авантюриста, сумевшего коварно использовать к своей выгоде ревность королевы и неосмотрительность короля и получившего впоследствии титул маршала д'Анкр.

Что касается несчастного Равальяка, то его якобы подвергли пыткам и замучили насмерть, так и не вытянув имен сообщников. Деяние свое он объяснял стремлением предотвратить несправедливую войну против католицизма и папы. Разумеется, все это была липа; просто люди, орудием которых стал убийца, вероломно использовали его фанатизм, сыграли на нем и поставили себе на службу. Я использовал здесь слово «якобы» потому, что полные тексты протоколов допросов Равальяка обнаружить уже

не удастся. Кроме того, поговаривали, что на пороге смерти он, поняв, что предан теми, кому, по-видимому, доверял, изъявил желание исповедаться, однако нотариус Вуазен, исполнявший эту предсмертную волю, записал признание Равальяка таким неразборчивым почерком, что впоследствии его так и не смогли расшифровать.

Может быть, это правда, а может, и нет. Однако нам точно известно, что когда председатель судебной палаты решил расследовать заявление некоей госпожи д'Эскаман, обвинявшей в заговоре Эпернона, его высочайшим повелением вынудили отказаться от этого.

Такова история убийства Генриха IV, изложенная на основе источников, которые представляются мне ранее малоизученными. Эти источники наводят на целый ряд умозаключений, которые при всем их правдоподобии я бы не решился без колебаний назвать абсолютной истиной.

Если задаться вопросом, кто были те друзья, которые подсказали Равальяку столь гибельную линию поведения, то ответ мы получим в самой истории. Она учит нас, что, когда речь идет о действиях, приводящих к таким последствиям, непозволительно выдавать подозрения и домыслы за действительность. Даже пытавшие Равальяка судьи не посмели ничего сказать об этом деле и высказывали свое отношение к нему в основном при помощи жестов, выражавших ужас и недоумение.

VI

НЕЗАДАЧЛИВЫЙ ПОКЛОННИК

Убийство Эми Робсарт

Был пир, за ним — маскарад, а потом бал, на котором юная королева танцевала с лордом Дадли, слывшим самым миловидным мужчиной в Европе, хотя на деле он был самым тщеславным, ограниченным и беспринципным человеком, какого только можно сыскать. Не ощущалось недостатка в выражениях почтения и лстивых ухаживаниях, а скрытая враждебность кое-кого из гостей придавала приключению особую пикантность, возбуждая молодой, бесстрашный дух королевы. За все месяцы своего правления, с самой коронации, состоявшейся в январе прошлого года, она не чувствовала себя так по-королевски,

не осознавала столь явственно той власти и влияния, которые несло ей это высокое положение; никогда еще не была она настолько женственной и ни разу не ощущала с такой ясностью всей слабости, присущей ее полу. Все эти противоречивые чувства, смешавшись, действовали на разум королевы подобно терпкому вину, поэтому она, все крепче держась за локоть ведущего ее под руку облаченного в шелка кавалера, и одурманенная, меньше всего заботилась о том, что могут сказать или подумать о ней другие. А между тем скандальный шепоток уже распространился по Европе и поселялся в чертогах правителей. В конце концов лорд Дадли забыл обо всем, кроме этой властной белой ручки, лежащей на его рукаве; он горделиво шеголял перед придворными своим влиянием на королеву. Пусть скулят Норфолк и Сассекс, пусть Арундейл до крови кусает губы, а благоразумный Сесил взирает на них с холодным осуждением. Недолго им осталось корчить гримасы. Пусть отныне либо взвешивают свои слова, либо вовсе закроют рты: ведь он станет хозяином Англии. Каждый взгляд синих глаз, каждое пожатие прекрасной ладони сегодня убеждали его в том. Да и как иначе? Ведь королева томно и самозабвенно льнет к нему, ее теплое молодое тело согревает его. Вот они покидают ярко освещенный зал, наполненный звуками музыки, и вдвоем вступают в тихий полумрак галереи, ведущей на террасу.

— На воздух... давайте выйдем на воздух, Робин. Я хочу подышать, — жарко шепчет королева, увлекая его вперед.

Да, наверняка скоро он будет властвовать здесь. По сути дела, уже мог бы властвовать, если б не его женушка, этот камень преткновения на пути к утолению честолюбия, эта женщина, в полной мере проявляющая свои добродетели в Камнор-Плейс и продолжающая упорно и безрассудно цепляться за жизнь, несмотря на все его старания освободить ее от этого бремени.

В течение года с лишним имя лорда прочно связывалось в сознании света с королевой, причём сплетни задевали и ее женскую честь, и достоинство правительницы. Уже в октябре 1559 года Альварес де Куадра, испанский посол, писал на родину:

«Я узнал кое-что об отношениях королевы и лорда Роберта, и это совершенно невероятно!»

В те времена де Куадра был одним из десятка послов, добивавшихся руки королевы, и лорд Роберт, казалось, поддерживал его, отстаивая матримониальные интересы

инфанта Карла¹. Но это была лишь видимость, которая не могла обмануть проницательного испанца, нанявшего целый легион шпионов.

«Все заигрывания с нами, — писал Куадра, — все заигрывания со шведом и остальными — всего лишь отвлекающие маневры, имеющие целью чем-то занять врагов лорда Роберта до тех пор, пока он не свершит злодеяния над своей женой». А что это за злодеяство, послал объяснял в одном из своих предыдущих писем: «Я узнал от лица, обычно дающего мне верные сведения, что лорд Роберт подослал к супруге отравителей».

В действительности же произошло вот что: сэр Ричард Верни, верноподданный лорда Роберта Дадли, сообщил доктору Бейли из Нового колледжа в Оксфорде, что госпожа Дадли «занемогла и впала в хандру», и попросил какое-нибудь сильнодействующее средство. Однако врач был осведомлен не только в вопросах медицины. До него дошли отголоски сплетен о лорде Дадли и его стремлениях. Врач слышал, что какие бы заморские женихи ни добивались руки Елизаветы, она выйдет замуж только за «милорда», как теперь за глаза именовали Дадли. Более того, он слышал и о недомоганиях госпожи Дадли, хотя эти слухи ни разу ничем не подтверждались. Несколько месяцев назад ему сказали, что ее светлость страдает раком молочной железы и, вероятно, скоро умрет. Тем не менее доктор Бейли не без оснований полагал, что более здоровой женщины не найти во всем Беркшире.

Добрый эскулап обладал неплохими способностями к дедукции. Заключение, к которому он пришел, гласило, что если даму отравят, используя для этой цели присланный им яд, то его повесят как соучастника преступления или как козла отпущения. Поэтому он отказался выписать требуемый рецепт, не позаботившись о том, чтобы сохранить в тайне и заказ, и отказ.

Какое-то время лорд Роберт благоразумно выжидал. Да и время терпело: необходимость в срочном исполнении замысла уже давно миновала. Это год назад заморские женихи осаждали Елизавету Английскую, а теперь его светлость мог и подождать.

Но внезапно все переменялось, и дело вновь стало неотложным. Елизавета поддалась давлению сватов и почти согласилась стать супругой эрцгерцога Карла, пообещав испанскому послу в течение нескольких дней дать определенный ответ.

Лорд Роберт почувствовал, что земля уходит из-под

ног. Все его честолюбивые надежды грозили рухнуть. Ярость охватывала его, когда он видел, что физиономии Норфолка, Сассекса и остальных завистников и ненавистников становятся все насмешливее, ярость и ненависть к жене, которая, будь она неладна, все никак не отправится к праотцам. Не цепляйся она столь упорно за жизнь, он уже несколько месяцев был бы супругом королевы и не тяготился бы тревогой и ощущением опасности, которой чревата проволочка.

Нынче вечером та вольность, с которой королева продемонстрировала всему двору свою благосклонность к лорду Дадли, развеяла его недавние сомнения и страхи и утешила его непомерное тщеславие, поддержав уверенность, что ему нет нужды опасаться соперников. И... наполнила его душу бессильной яростью. Вот он, блистательный приз, до него рукой подать. Но руки-то связаны, и будут связаны, пока в Камноре живет та, другая женщина. Можно представить себе чувства лорда Дадли, когда он и королева украдкой, будто парочка самых заурядных любовников, покидали остальных гостей.

Держась за руки, они брели по выложенной камнем галерее, в которой под лампадой стоял, опираясь на пику, облаченный в багровый мундир с вышитой на спине золотой розой Тюдоров² часовой.

На высокой молодой королеве прекрасно смотрелось алое атласное платье с замысловатой серебряной вышивкой, отороченное по корсажу серебристым кружевом и усыпанное золотыми розочками. Глубокий вырез обнажал прелестную шею, украшенную ниткой жемчуга и рубинов и обрамленную похожим на раскрытый веер гипюровым воротником. В таком виде она и предстала перед часовым, когда он заметил отблеск света на ее золотистых волосах. Лампада горела за спиной стражника, и он видел, что даже в поступи королевы чувствуется своенравный вызов: Елизавета ступала, чуть приподнимаясь на носках, откинув назад голову, с улыбкой глядя в смуглое лицо своего спутника, облаченного с головы до пят в атлас цвета слоновой кости и шествующего с элегантною, какой не мог достичь кроме него ни один англичанин.

По каменной галерее они подошли к маленькой террасе; нависавшей над Прайви-Степс. За рекой лежали Ламбетские болота, сияла низкая ущербная луна. По Темзе, весело блестя огоньками, проплывала какая-то баржа, с середины реки доносился звон лютни и голос

поющего мальчика. На миг влюбленные застыли, очарованные прекрасным теплым сентябрьским вечером, так дивно соответствующим их настроению. Потом королева вздохнула и, теснее прильнув к высокой, крепкой фигуре лорда, повисла на его руке.

— Робин! Робин! — только и смогла выговорить она, но в голосе ее почувствовались страсть и томление, проскальзывали нотки восторга и боли.

Посчитав, что плод созрел, лорд обнял королеву одной рукой и привлек ее к себе. На миг ему показалось, что Елизавета сдалась: ее голова легла на его сильное, надежное плечо. Так женщина льнет к своему избраннику, своему повелителю. Но потом в ней проснулась королева, и природе пришлось уступить. Елизавета резко вырвалась из его объятий и отпрянула прочь, учащенно дыша.

— Бог свидетель, Робин, — проговорила она, — по-моему, прежде вы не допускали таких вольностей.

Однако лорд ничуть не смутился. Он привык к изменчивости ее настроений, к тому, что она жила как бы в двух ипостасях, унаследованных от упрямого отца и строптивой матери³. И был исполнен решимости любой ценой выжать из этого мгновения все, что можно. Ему не терпелось наконец-то избавиться от гнетущего напряжения.

— Вольности? Но ведь я поработен, а не волен. Поработен любовью и обожанием. Неужели вы отвергнете меня? Неужели?

— Не я, но судьба, — многозначительным тоном ответила Елизавета, и он понял, что она думает о хозяйке Камнора.

— Скоро судьба исправит собственные ошибки. Теперь уже очень скоро, — лорд взял ее за руку, и королева растаяла. Ее чопорность испарилась, и она не отняла ладонь. — А когда это случится, милая, я назову вас моей.

— Когда это случится, Робин? — едва ли не в страхе спросила королева. Казалось, внезапное ужасное подозрение овладело ее разумом. — Когда случится что? Что — это?

Он на миг замаялся, подбирая слова, а Елизавета пристально и пытливо вглядывалась в его лицо, блевшее в сумерках.

— Когда эта бедная больная душа успокоится навеки, — сказал лорд наконец и добавил: — Уже скоро.

— Ты и прежде говорил так, Робин. Но этого не случилось.

— Она вцепилась в жизнь с упорством, совершенно невероятным для человека в ее состоянии, — объяснил лорд, не осознавая зловещей двусмысленности своих слов. — Но конец близок, я знаю. Это вопрос нескольких дней.

— Дней? — королева содрогнулась и подошла к краю террасы. Лорд следовал за ней. Какое-то время Елизавета молча стояла на месте, глядя на темную маслянистую поверхность воды. — Ведь вы любили ее одну, Робин? — спросила она странным, неестественным голосом.

— Я любил лишь одну женщину, — отвечал безупречный дамский угодник.

— Но вы женились на ней и, говорят, по любви. Хорошо, пусть без любви, но это — брак. И вы можете так спокойно говорить о ее смерти? — Голос королевы звучал печально. Она пыталась понять лорда Роберта и таким образом заглушить свои давние сомнения на его счет.

— А кто виноват? Кто сделал меня таким? — он вновь смело обнял ее; стоя бок о бок, они смотрели сквозь сумрак вниз, на стремительные воды реки. Они-то и подсказали лорду образное сравнение. — Наша любовь — что бурный поток, — продолжал он. — Противиться ей — значит, попусту тратить силы. Короткая борьба, агония, а потом — гибель.

— Но если отдаться на волю волн, нас унесет.

— Унесет в страну счастья! — воскликнул Дадли и вновь запел свою старую песню: — Скажите, что, когда... что после всего я смогу назвать вас моей. Не лукавьте с собой, послушайте голоса природы, и вы достигнете счастья.

Елизавета взглянула на него снизу вверх. Лорд заметил, как взволнованно она дышит.

— Могу ли я верить тебе, Робин? Могу ли я верить тебе? Дай мне правдивый ответ, — взмолилась королева. Сейчас она была просто женщиной, восхитительной слабой женщиной.

— А какой ответ подсказывает ваше сердце? — произнес лорд, придвигаясь еще ближе и нависая над ней.

— По-моему, да. Могу. Во всяком случае, должна. Я не в силах ничего сделать с собой. В конце концов, я всего лишь женщина, — пробормотала она и вздохнула. —

Да будет так, как ты желаешь. Возвращайся ко мне свободным.

Дадли склонился над ней, промямлил что-то бессвязное, и королева подняла руку, чтобы погладить его по смуглой, поросшей бородой щеке.

— Я вознесу тебя к вершинам величия, недоступным ни одному мужчине в Англии, а ты подари мне счастье, какого не знает ни одна женщина.

Лорд схватил ладонь Елизаветы и страстно припал к ней губами. Его ликующая душа пела победную песнь. Пусть трепещут Норфолк, Сассекс, остальная постнорожая братия — скоро он будет подзывать их к себе свистом, будто собачек.

Влюбленные взялись за руки и вернулись на галерею, но тут вдруг лицом к лицу столкнулись с тощим прилизанным господином, который низко поклонился им. На его хитроватой, чисто выбритой монашеской физиономии играла улыбка. Мягким спокойным голосом, с заметным иностранным акцентом он объяснил, что не имел намерения мешать, а просто хотел выйти на прохладную террасу. Затем он вновь поклонился и пошел своей дорогой. Это был Альварес де Куадра, епископ Аквилский, испанский посол, с глазами, похожими на глаза Аргуса⁴.

Лицо юной королевы окаменело.

— Хотела бы я, чтобы мне так же верно служили за границей, как здесь служат испанскому королю, — сказала она громко, чтобы удаляющийся посланник расслышал эту сомнительную похвалу, а затем добавила, обращаясь только к милорду, затаив дыхание: — Шпион! Филипп Испанский еще услышит об этом!

— Он услышит и еще кое о чем. Какое это имеет значение? — со смехом спросил милорд.

Они в молчании прошли по галерее, мимо стоявшего на страже бдительного йомена⁵, и вступили в первый коридор. Вероятно, встреча с де Куадра и ответ милорда на комментарий королевы заставили ее спросить:

— А чем она больна, Робин?

— Недуг неизлечим, — ответил лорд, прекрасно понимая, к кому относится этот вопрос.

— Кажется... кажется, ты говорил, что конец близок. Он мгновенно уловил ее мысль.

— Да, действительно. Она вот-вот скончается, если уже не умерла.

Он лгал, ибо никогда еще Эми Дадли не чувствовала

себя настолько хорошо, как сейчас. И в то же время он говорил правду, потому что жизнь ее зависела от воли мужа, и можно было считать, что ее песенка спета. Лорд знал, что переживает решающие мгновения, от которых зависит его карьера. Час пробил. Стоит проявить слабость и нерешительность, и он упустит свой шанс безвозвратно. Настроения Елизаветы были столь же изменчивы, сколь упорны и постоянны были происки его врагов. Надо нанести удар как можно быстрее, пока королева не передумала. Надо вступить в брак с нею, неважно, тайный или открытый. Но сперва необходимо стряхнуть с себя сковывающее ярмо, избавиться от камнорской хозяйшки.

На основании доказательств, которые представляются мне убедительными, я полагаю, что лорд обдумывал этот шаг с чудовищным хладнокровием и безжалостностью, свойственными его эгоистической натуре. Высочка, правнук плотника, имевший лишь два поколения знатных предков (причем, и отец, и дед его кончили на плахе), он вдруг завладел королевой, жертвой плотской страсти, не желавшей видеть ничтожество, прячущееся в прекрасной телесной оболочке, и уже протянувшей руку, чтобы утвердить его на троне. Будучи тем, чем он был, Дадли клал жизнь своей жены на чашу зловещих весов собственного честолюбия. И тем не менее когда-то он любил ее, и любил более искренне, чем сейчас королеву.

Прошло около пяти лет с тех пор, как он восемнадцатилетним юношей взял в жены девятнадцатилетнюю дочь сэра Джона Робсарта. Она принесла ему значительное состояние и огромную преданную любовь. Благодаря этой любви она и согласилась сиднем сидеть в Камноре, пока он подвизался при дворе, и довольствоваться крохами внимания, которые он бросал ей при случае. Весь последний год, пока он замышлял ее убийство, Эми усердно пеклась об интересах Роберта и процветании поместья в Беркшире. Если он и задумывался об этом, то не позволял себе впасть в сентиментальную слабость, которая могла бы отвратить его от цели. Слишком многое было поставлено на карту. По сути дела, речь шла о королевском троне.

Поэтому наутро, после того, как Елизавета почти покорила ему, милорд заперся у себя вместе со своим верным оруженосцем Ричардом Верни. Сэр Ричард, подобно своему хозяину, был алчным, беспринципным и честолюбивым негодяем, готовым пойти сколь угодно далеко ради продвижения по службе и светского успеха,

которые сулило ему возвышение милорда. А милорд решил, что с верным слугой нужно быть полностью откровенным.

— Ты либо вознесешься, либо падешь со мною вместе, Ричард, — заявил он. — Так помоги же мне, и мы будем на коне. Когда я стану королем, а это произойдет уже скоро, держись поближе ко мне. А теперь — о деле. Ты уже догадался, что нам нужно.

Догадаться не составляло труда, особенно если учесть, что сэр Ричард уже глубоко увяз в этом деле. Так он и сказал.

Милорд заерзал в кресле и плотнее закутался в вышитый желтый атласный халат.

— Ты уже дважды подвел меня, Ричард, — проговорил он. — Ради Бога, не подкачай опять, иначе мы упустим последнюю возможность так же, как упустили предыдущие. В числе три есть некое волшебство. Смотри же, чтобы я выиграл от этого, иначе мне конец, да и тебе тоже.

— Я бы не потерпел неудачу, не будь этого подозрительного старого болвана Бейли, — пробурчал Верни. — Ваша светлость просили меня предусмотреть все.

— Да, да, и я вновь прошу тебя о том же. Моя жизнь зависит от тебя, не оставляй следов, по которым нас могли бы найти и изобличить. Бейли — не единственный медик в Оксфорде. Так что за дело, и быстро. Время — вот что главное в нашем предприятии. Испанец норовит опередить нас, и Сесил, и остальные поддерживают его перед королевой. Удача озолотит нас, но если ты дашь маху, не старайся больше искать моего общества.

Сэр Ричард с поклоном удалился, но в дверях милорд остановил его.

— Если ты дашь маху, на меня не надейся. Завтра двор выезжает в Виндзор. Не позднее, чем через неделю жду тебя там с вестями. — Он поднялся, невероятно высокий и статный в своей ночной сорочке из вышитого желтого атласа. Откинув свою красивую голову, подошел к приспешнику. — Ты не подкачаешь, Дик, — проговорил лорд, положив руку на плечо не менее опытного мерзавца, чем он сам. — Это слишком важно для меня, а значит, и для тебя.

— Я не подведу вас, милорд, — с жаром пообещал сэр Ричард.

На этом они и расстались.

Сэр Ричард знал, насколько важна удача, и понимал,

что дело не терпит отлагательства, не хуже, чем его светлость. Но между холодным, безжалостным расчетом на успех и самим этим успехом лежала пропасть, и, чтобы навести мосты, надо будет пустить в ход всю свою находчивость и изобретательность. Он нанес короткий визит леди Роберт и после посещения Камнора принялся с озабоченным видом распространяться о том, что хозяйка бледна и неважно выглядит (причем, кроме него, этого никто не заметил). Сэр Ричард не преминул заявить об этом миссис Баттелар и другим домочадцам ее светлости, не скупился он и на упреки в их адрес, ибо они, по его мнению, недостаточно заботятся о своей госпоже. Упреки рассердили миссис Баттелар.

— Ну-ну, сэр Ричард, стоит ли удивляться печали госпожи и ее дурному настроению? Знаете небось, какие слухи ходят о том, что вытворяет при дворе милорд, и о его отношениях с королевой. Может, ее светлость слишком горда, чтобы сетовать и плакаться, но от этого она, бедняжка, только еще больше страдает. Недавно до нее дошел даже слухок о разводе.

— Бабушкины сказки! — фыркнул сэр Ричард.

— Похоже на то, — согласилась миссис Баттелар. — И все же. Что ей, бедной, думать, если милорд и сам не приезжает в Камнор, и ее к себе не зовет?

Сэр Ричард обратил все в шутку и отправился в Оксфорд искать медика, более покладистого, чем доктор Бейли. Но доктор Бейли оказался слишком болтлив, поэтому попытки убедить двух других врачей в болезни ее светлости кончились ничем. Оба не поверили, что она «занемогла и опечалена» и нуждается в сильнодействующем зелье.

Каждый из врачей по очереди качал головой. «У нас нет лекарства от тоски», — благоразумно отвечали они. Судя по рассказам сэра Ричарда о состоянии ее светлости, она больна скорее душевно, нежели телесно. Да оно и неудивительно, если вспомнить, какие ходят слухи.

Сэр Ричард вернулся на свою оксфордскую квартиру, чувствуя себя наголову разбитым. Он потратил два драгоценных дня, лежа в постели и ломая голову в попытках решить, что ему делать. Он уже подумывал поискать врача в Абингдоне, но испугался провала. Боясь, что его поиски лишь умножат «следы», как выразился милорд, сэр Ричард решил добиваться цели другими способами. Ведь он был находчивым и изобретательным негодяем. Вскоре он составил план действий.

В пятницу сэр Ричард написал из Оксфорда леди Роберт, извещая ее, что имеет сообщение; касающееся его светлости и столь же срочное, сколь и секретное. Он хотел бы вновь посетить ее в Камноре, но не осмеливается открыто явиться туда. Он придет, если она пообещает удалить слуг. И пусть никто из них не знает о его приезде, иначе стремление услужить ей приведет его к гибели.

Письмо свое сэр Ричард отправил со слугой по имени Нанвик, наказав ему принести ответ. Записка оказалась на встревоженный разум ее светлости именно то действие, на которое рассчитывал негодяй. Ничто в облике сэра Ричарда не выдавало в нем злодея. Это был улыбчивый голубоглазый розовощекий человек, с приятными располагающими манерами. А во время своего последнего визита в Камнор он выказал такую участливую озабоченность, что ее светлость, изголодавшаяся по вниманию, была тронута до глубины души.

Хитро составленное письмо наполнило женщину смутной тревогой и беспокойством; она наслушалась дурных сплетен, которые подтверждались жестоким небрежением милорда, и поэтому ухватилась за возможность, как ей казалось, наконец-то узнать правду. Сэр Ричард Верни пользовался доверием милорда, часто бывал вместе с ним при дворе. Он наверняка знает правду, а его письмо — не что иное, как доказательство намерения рассказать все как есть.

И Эми Дадли черкнула ему ответ, пригласив приехать днем в воскресенье. Она устроит все так, чтобы в доме больше никого не было, и сэр Ричард может не опасаться лишних глаз.

Женщина исполнила свое обещание и в воскресный день отпустила всю челядь на ярмарку в Абингдон. Тех, кто не желал уходить, она выставляла насильно, особенно миссис Оддингсвелл, никак не желавшую оставлять хозяйку одну в пустом доме. Но в конце концов все до последнего человека ушли, и миледи стала с нетерпением поджидать своего тайного гостя. Он явился под вечер в сопровождении Нанвика, которого оставил стеречь лошадей под каштанами на подъездной аллее. Сам сэр Ричард направился к дому через сад, уже расцвеченный тусклыми красками осени.

Хозяйка дома нетерпеливо ждала его на крыльце.

— Как мило, что вы приехали, сэр Ричард, — любезно приветствовала она гостя.

— Я — преданный слуга вашей светлости, — с достоинством отвечал он, снимая украшенную пером шляпу и склоняясь в низком поклоне. — В ваших покоях наверху нам никто не помешает.

— Нам нигде не помешают: я одна в доме, как вы и просили.

— Это очень благоразумно... в высшей степени благоразумно, — сказал сэр Ричард. — Ведите же меня, ваша светлость.

Они поднялись по крутой винтовой лестнице, которой суждено было сыграть столь важную роль в разработанном негодяем плане. Пройдя через галерею на втором этаже, хозяйка и гость очутились в маленькой комнате с видом на сад. Это был будуар, уютная уединенная комнатка, где все говорило о практичности и трудолюбии Эми Робсарт. На дубовом столике у окна были разложены бумаги и учетные книги с записями, касающимися дел поместья — так хозяйка коротала время в ожидании сэра Ричарда. Она подвела его к столу и, присев в глубокое кресло, выжидательно взглянула на посетителя. Эми была бледна, под глазами ее залегли тени, а на лице полузабытой жены появилась сеточка морщин.

Глядя на свою несчастную жертву, сэр Ричард, должно быть, мысленно сравнивал ее с женщиной, которой, по замыслу милорда, предстояло занять ее место. Эми была высока и прекрасно сложена, хоть и сохраняла почти девичью хрупкость. Лицо ее в обрамлении светло-каштановых волос светилось нежностью, мягкие серые глаза смотрели печально, уголки губ были скорбно опущены.

Нетрудно было поверить, что пять лет назад сэр Роберт желал жениться на ней столь же пылко, как теперь хотел избавиться от нее. Тогда он подчинился настойчивому зову страсти, а теперь шел на поводу у столь же властного зова честолюбия. На самом деле, и в те времена, и ныне путеводным огнем ему служило безудержное себялюбие.

Увидев, как она расслаблена и доверчива, как дрожит от нетерпения, как хочет услышать обещанные новости о своем супруге, сэр Ричард, вероятно, испытал мимолетную жалость. Однако, подобно милорду, он был из тех людей, у которых самолюбие неизмеримо сильнее всех других чувств.

Ее взгляд, кроткий, как взгляд голубки, скользнул по его румяному лицу, которое сейчас было чуть бледнее обычного.

— Итак, что за вести вы принесли, сэр Ричард?

Он облокотился о стол, стоя спиной к окну.

— В двух словах они сводятся к тому, что милорд... — тут он осекся и сделал вид, будто прислушивается. — Что это? Вы что-нибудь слышали, миледи?

— Нет, а в чем дело? — На лице Эми отразилась тревога: такое обилие тайн явно беспокоило ее.

— Тс-с! Оставайтесь здесь, — велел сэр Ричард. — Если за нами шпионят...

Он умолк и проворно подкрался к двери. Прежде чем распахнуть ее, сэр Ричард немного помедлил и вновь произнес таким тоном, что женщине и в голову бы не пришло послушаться его:

— Оставайтесь на месте, миледи. Я сейчас вернусь.

Выйдя из комнаты, он прикрыл за собой дверь и приблизился к лестнице. Потом достал из кошелька кусок тонкой бечевки, один конец которой был прикреплен к маленькому шильцу, острому, как игла. Воткнув эту иглу в деревянную стену на уровне верхней ступеньки, сэр Ричард прикрепил второй конец бечевы к стойке перил примерно на фут выше ступени. Он столько раз продумывал эту операцию, что на ее выполнение ушло всего несколько секунд. В тусклом осеннем свете бечевку было совсем не видно.

Сэр Ричард вернулся к ее светлости, которая не пошевелилась за все время его отсутствия.

— Мы секретничаем, как заговорщики, — сказал он, — и поэтому легко впадаем в страх. Я должен был догадаться, что это сам милорд...

— Милорд?! — вскричала Эми, вскакивая на ноги. — Лорд Роберт?

— Не сомневайтесь, миледи. Собственно, он-то и хотел тайно встретиться с вами. Стоит королеве узнать об этом его желании, и Тауэр ему обеспечен. Вы и представить себе не можете, что приходится терпеть милорду из-за любви к вам. Королева...

— Так вы хотите сказать, что он — здесь? — Голос Эми срывался от возбуждения.

— Он внизу, миледи. Лорд Роберт в такой опасности, что не посмел бы показаться в Камноре, не будучи совершенно уверенным в том, что вы здесь одна.

— Он внизу! — воскликнула Эми, и румянец окрасил ее бледные щеки, радостный огонек сверкнул в печальных глазах. Теперь она видела в коварных словах Ричарда новый смысл, новое объяснение всему тому, что уже слышала о муже. — Он внизу! — повторила она. — О!

Эми повернулась и устремилась к двери. Сэр Ричард неподвижно стоял на месте, закусив нижнюю губу. Он смотрел, как она бежит прочь, лицо его покрыла неестественная бледность.

— Милорд! Робин! Робин! — услышал сэр Ричард крик Эми, бегущей по коридору. А потом раздался пронзительный вопль, эхо которого потрясло тихий дом. Мгновение спустя внизу послышался глухой удар, и снова наступила тишина.

Сэр Ричард стоял у стола, не в силах сдвинуться с места, кровь текла по его подбородку: услышав крик, он насквозь прокусил себе губу. Он долго стоял так, потрясенный, охваченный страхом. Потом все же взял себя в руки и сделал несколько шагов вперед, пошатываясь, будто пьяный. Подойдя к лестнице, он уже вполне овладел собой. Сэр Ричард дрожащими пальцами отвязал бечевку от стойки перил. Шильце уже выскочило из стены, когда Эми задела за шнур ногой. Убийца неспешно спустился по короткой винтовой лестнице, машинально сматывая шнурок и засовывая его вместе с шильцем обратно в кошелек. Его взгляд был прикован к серой массе, неподвижно лежавшей у подножия лестницы.

Наконец он подошел к телу, остановился и внимательно осмотрел его. Слава Богу, нужды прикасаться к Эми не было. Судя по тому, как была вывернута шея жертвы, замысел удался полностью. Лорд Роберт Дадли был теперь волен жениться на королеве.

Сэр Ричард перешагнул через скрюченный труп жертвы своего дьявольского честолюбия, пересек прихожую и вышел из дома, закрыв за собой дверь. Отличная работа, — подумал он. Прекрасно исполнено. Когда слуги, вернувшиеся с абингдонской ярмарки, найдут свою госпожу, они расскажут всей округе, что в их отсутствие Эми Робсарт упала с лестницы и сломала себе шею. Вот так. И делу конец.

Но это было далеко не конец. Сама судьба, вездесущая ироничная судьба приняла участие в этой зловещей игре.

Несколькими днями раньше двор выехал в Виндзор, куда в пятницу шестого сентября прибыл Альварес де Куадра, чтобы получить от королевы обещанный твердый ответ на брачное предложение Испании. То, что он видел вечером на террасе Уайтхолла⁶, обеспокоило посла, тем более, что он знал изменчивый нрав Елизаветы и не доверял ее обещаниям. Либо она просто дурачила его, либо вела себя совершенно неподобающим образом для

будущей жены инфанта. В любом случае, ее действия требовали объяснений. Де Куадра должен был знать, как обстоят дела. Ему не удалось получить аудиенцию до отъезда двора из Лондона, и он последовал за королевой в Виндзор, проклиная всех женщин и возлагая надежды на преимущества, которые дает салический закон⁷.

Атмосфера в Виндзоре была напряженная, только утром следующего дня послу удалось добиться приема у королевы, да и то лишь благодаря случаю, а не желанию Елизаветы, потому что встретились они на террасе, когда королева возвращалась с охоты. Она удалила свое окружение, включая и верного Роберта Дадли, и, оставшись наедине с де Куадра, выразила готовность выслушать его.

— Мадам, — начал посол, — я намерен написать своему повелителю и хотел бы знать, желает ли ваше величество сказать что-либо в дополнение к тому, что вы уже говорили о ваших намерениях, касающихся инфанта.

Королева нахмурила брови. Хитрый испанец загнал ее в угол.

— Вот что, сэр, — холодно проговорила она, — можете сообщить его величеству, что я приняла окончательное решение и не выйду замуж за инфанта.

Бледное лицо испанца залилось краской. Только железное самообладание удержало его от оскорбительных слов. И все же он заговорил очень жестко.

— Во время нашей последней беседы на эту тему, мадам, вы дали мне понять нечто совершенно иное.

В другое время Елизавета могла бы рассердиться и осадить его за такие речи, но так уж получилось, что в тот день она пребывала в наилучшем расположении духа и не была склонна раздражаться. Королева рассмеялась и взглянула на свое отражение в маленьком стальном зеркале, сняв его с пояса.

— Такое напоминание, милорд, можно счесть нарушением правил вежливости. Вероятно, вы слышали, что женщинам свойственна изменчивость настроений.

— В таком случае, мадам, — с горечью произнес посол, — я молю Бога, чтобы ваше настроение изменилось опять.

— Ваша молитва не будет услышана. На сей раз мое решение окончательно.

Де Куадра поклонился.

— Боюсь, что король, мой повелитель, будет очень недоволен этим.

Королева посмотрела ему в лицо. Глаза ее загорелись.

— Бог свидетель, я выйду замуж ради собственного счастья, а не для того, чтобы сделать приятное вашему повелителю.

— Значит, вы решили выйти замуж? — выпалил посол.

— Нравится вам это или нет, — насмешливо ответила королева. Веселость вновь взяла в ней верх над мимолетным раздражением.

— Вероятно, я должен радоваться тому, что радует вас, мадам, — произнес де Куадра холодным тоном, совершенно не вязавшимся с содержанием его высказывания. — Желание выйти замуж — вполне достаточная причина для такого поступка. Простите, ваше величество, я не расслышал, за кого.

— Я не называла никаких имен. Но такой проницательный человек, как вы, вполне мог бы догадаться, — ответила королева, застенчиво и одновременно дерзко глядя на посла поверх своего веера.

— Догадаться? Нет. Моя догадка может обидеть ваше величество.

— Каким же образом?

— Ну, скажем, если я введен в заблуждение тем, что вижу. Если я назову имя человека, который столь очевидно для всех пользуется вашей королевской благосклонностью.

— Вы имеете в виду лорда Роберта Дадли, — Елизавета слегка побледнела и часто задышала. — Почему же эта догадка должна обидеть меня?

— Потому что королева... мудрая королева никогда не свяжет себя узами с собственным подданным, особенно, если он уже женат.

Эти слова уязвили ее. Де Куадра ранил и гордость женщины, и достоинство королевы разом, но сделал это так ловко, что не дал повода выказать откровенную обиду. Елизавета закусил губу и подавила приступ гнева. Она рассмеялась, но смех ее прозвучал немного злорадно.

— Мне кажется, что в отношении супруги милорда Роберта вы недостаточно осведомлены, сэр. Госпожа Роберт Дадли либо мертва, либо на грани смерти, — сказала королева и, увидев на лице посла выражение крайнего недоумения, сочла беседу законченной и удалилась.

Но в самом скором времени Елизавета призадумалась, и ей стало немного не по себе. Тем же вечером она поделилась своими сомнениями с милордом Дадли, передав

ему слова де Куадра. Его светлость, не отличавшийся дальновидностью, расхохотался.

— Ничего, скоро он запоет по-другому, — заявил он.

Королева положила руки его на плечи и с обожанием посмотрела в его миловидное цыганское лицо. Он никогда не видел ее такой влюбленной, как в эти последние дни, с тех пор, как она покорила ему на террасе Уайтхолла. Никогда еще не было в ней столь много от женщины и столь мало от королевы.

— Вы уверены, Робин? Вы совершенно уверены в этом? — с жаром спросила она.

Лорд привлек ее к себе, и она покорно позволила заключить себя в объятия.

— Как же иначе, когда столько поставлено на карту, милая? — произнес он, и Елизавета сразу поверила ему, поверила потому, что хотела верить.

Это было в субботу вечером, а утром в понедельник пришло известие, доказывавшее, что его уверенность была вполне оправданна. Весть ту принес один из камнорских слуг, человек по имени Боуз, вместе с другими ходивший на ярмарку в Абингдон и обнаруживший труп своей госпожи у подножия винтовой лестницы. Все были убеждены, что с Эми Робсарт произошел несчастный случай.

Правда, милорд ждал несколько иных вестей. Его немного удивило, что несчастный случай, разрешивший все затруднения, произошел так кстати и избавил его от необходимости принимать меры, чреватые большей опасностью, и связывать себя преступными узами с сэром Ричардом Верни. Лорд понимал, что теперь подозрение может пасть на него самого, что его враги будут умело направлять это подозрение. Осознав это, сэр Роберт немедленно взялся за дело. Он тотчас же схватил перо и написал своему родственнику, сэру Томасу Блаунту, который как раз направлялся в Камнор. В письме сэр Роберт пересказал то, что узнал от Боуза, попросил Блаунта поручить судебному следователю провести самое строгое дознание и послать за сводным братом Эми Эпплярдом. «Прошу вас действовать, невзирая на чины и звания» — так заканчивалось это письмо, посланное лордом Блаунту с Боузом.

Прежде чем сэр Роберт принес королеве весть о несчастном случае, уничтожившем препятствия к их браку, появился сэр Ричард с рассказом о том, что произошло на самом деле. Он рассчитывал на похвалу и

признательность своего хозяина, но вместо этого поверг его в смятение, а потом выслушал немало сердитых упреков.

— Милорд, это неспраедливо, — сетовал верный прихвостень. — Зная, что деле не терпит отлагательства, я поступил единственно возможным образом, обставив все как несчастный случай.

— Моли Бога, чтобы суд присяжных счел это несчастным случаем, — отвечал Дадли. — Ибо, если вскрыется вся правда, последствия падут на твою голову. На меня не надейся, я заранее предупреждал тебя об этом. Не ищи у меня помощи.

— Я и не ишу, — сказал сэр Ричард, чувствуя презрение к жалкому эгоисту, трусу и подлецу, которому он служил. — Да и не будет в том нужды, ведь я не оставил следов.

— Надеюсь, что так, ибо знай: я приказал провести тщательное расследование, попросив забыть о чинах и званиях. И я буду стоять на своем.

— А если, несмотря на все это, меня не повесят? — спросил сэр Ричард, и на его побледневшем лице появилась злорадная гримаса.

— Возвращайся ко мне, когда дело закроют, и мы поговорим об этом.

Сэр Ричард вышел вон, обуреваемый яростью и омерзением, оставив милорда в гневе и страхе.

Чуть успокоившись, Дадли тщательно оделся и отправился к королеве, чтобы рассказать о несчастном случае, благодаря которому препятствия к их женитьбе оказались устранены. Тем же вечером ее величество холодно сообщила де Куадра, что госпожа Роберт Дадли сломала себе шею, упав с лестницы.

Испанец с непроницаемым лицом выслушал эту весть.

— Пророческий дар вашего величества заслуживает более широкого признания, — ответил он.

Королева на миг опешила от этих загадочных слов. Потом вдруг в голове ее зашевелилось какое-то тревожное воспоминание. Она отвела посла к окну, подальше от окружавших ее придворных, и на всякий случай обратилась к нему (как он сам сообщает) по-итальянски:

— Боюсь, что не понимаю вас, сэр. Не сообразовались ли вы выразиться яснее?

Она стояла прямо и неподвижно, глядя на него хмурым взглядом, унаследованным от отца. Но у де Куадра были

в запасе кое-какие козыри, и Елизавете пришлось бы потрудиться, чтобы сбить его с толку.

— Касательно пророческого дара? — спросил он. — Но разве ваше величество не предрекали гибели несчастной женщины всего за сутки до того, как это случилось? Не вы ли говорили, что она либо мертва, либо вот-вот умрет?

Он заметил, как Елизавета бледнеет, увидел страх в ее темных и обычно таких смелых глазах. Но мгновение спустя страх уступил место раздражению, свойственному ее вспыльчивой натуре.

— Что вы хотите этим сказать, черт возьми? — вскричала королева и продолжала, не дожидаясь ответа: — Бедняжка была больна и немощна и, должно быть, скоро зачахла бы. Дознание, несомненно, покажет, что несчастный случай, лишь упредивший естественный исход, объясняется состоянием ее здоровья.

Посол мягко покачал головой, наслаждаясь замешательством королевы, блаженствуя от того, что ему выдалась возможность больно ранить женщину, отвергнувшую его повелителя, наказать ту, чья вина была для него очевидна.

— Ваше величество, боюсь, вас неверно осведомили на этот счет. Несчастливая отличалась прекрасным здоровьем и прожила бы еще много лет. По крайней мере, так я понял слова сэра Уильяма Сесила, от которого обычно исходят самые достоверные сведения.

Королева стиснула руку посла.

— Так вы передали ему мои слова?

— Возможно, это было не совсем благоразумно. Но откуда я мог знать? — тут он на миг умолк. — Я лишь высказал ему досаду по поводу вашего решения, касающегося эрцгерцога, которое я вряд ли могу посчитать мудрым, если вы позволите мне такую дерзость.

Елизавета поняла, что ей предлагают сделку, и в ней тотчас же проснулась подозрительность.

— Вы превышаете ваши полномочия, милорд, — оборвала она посла и отвернулась.

Однако тем же вечером королева заперлась вдвоем с Дадли и стала придирчиво расспрашивать его обо всем происшедшем. Милорд был воплощенная страстность.

— Призываю небеса в свидетели! — воскликнул он, когда Елизавета прозрачно намекнула на то, что он помог своей жене отправиться на тот свет. — Я никоим образом не повинен в случившемся. Я просил Блаунта, отправившегося в Камнор, провести расследование, невзирая на

имена и звания. И если выяснится, что произошло нечто худшее, чем простое несчастье, убийца будет болтаться в петле.

Елизавета обняла его за шею и положила голову на плечо Роберта.

— О, Робин, Робин, мне так страшно, — жалобно проговорила она. Впервые на его памяти она была готова расплакаться.

Шли дни, и страхи понемногу развеивались. Наконец суд в Камноре, собравшийся с большим опозданием и постоянно побуждаемый милордом к новым изнурительным допросам, вынес вердикт: «найдена мертвой», что избавляло его светлость (который, как известно, был в Виндзоре, когда погибла его супруга) от всякой ответственности. Это известие придало храбрости и королеве, и милорду; теперь они уже не делали секрета из своего намерения вскоре вступить в брак.

Однако многим такое решение суда показалось неудовлетворительным. Оно не убедило людей, хорошо знавших милорда. Самыми знатными из этих людей были Арундейл (и сам претендовавший на руку королевы), Норфолк и Пемброк. А за ними стояло несметное множество простолюдинов. Неприязнь к лорду Дадли, уже давно тлевшая под спудом, наконец вспыхнула и вырвалась наружу, причем огонь раздували такие красноречивые проповедники, как Левер, со всех лондонских кафедр осудивший планируемую женитьбу и не скупившийся на мрачные намеки о действительной причине гибели Эми Дадли.

То, о чем дома говорилось лишь обвиняком, открыто обсуждалось за границей. В Париже Мария Стюарт⁸ рискнула вслух высказать жестокую догадку, которую Елизавета была вынуждена держать при себе: «Королева Англии, — заявила она, — хочет выйти замуж за своего конюха, убившего жену, чтобы освободить для него место».

Тем не менее Елизавета упорствовала в своем намерении стать женой Дадли, и это продолжалось до конца сентября, когда трезвомыслящий Сесил намекнул ей, что в стране тлеет огонек смуты.

Разумеется, королева гневно обрушилась на лорда, но тот упорно стоял на своем.

— Вы помните, что остается так называемый вопрос о пророчестве, как выражается епископ Аквилский, — говорил он ей.

— Боже мой! Неужели этот негодяй болтает языком?

— А чего еще можно было, ваше величество, ожидать

от человека, чьи выдумки идут от уязвленного самолюбия? Он уже растрезвонил на весь свет, что за день до того, как леди Роберт сломала себе шею, вы заявили, будто она или мертва, или вот-вот умрет. А исходя из этого, де Куадра утверждает, что ваше величество заранее знали о преступном замысле.

— Заранее знала о преступном замысле! — королева едва не задохнулась от гнева, а потом вдруг принялась ругаться так же неистово, как это делал старый король Гарри⁹ в припадках самой мрачной ярости.

— Мадам! — воскликнул Сесил, потрясенный ее горячностью. — Я лишь передаю вам то, что говорит посол. Это вовсе не мои слова.

— Но вы верите ему?

— Нет, мадам. Иначе сейчас меня не было бы здесь.

— А кто-нибудь из моих подданных верит?

— Они воздерживаются от суждений и выжидают, надеясь, что последующие события помогут им узнать правду.

— То есть?

— Если де Куадра и остальные правы в своих предположениях относительно ваших побуждений, существует опасность, что ваши подданные поверят им.

— Бога ради, выражайтесь яснее. Что это за предположения?

Сесил в полной мере внял этой просьбе.

— Они сводятся к тому, что милорд убил свою жену, чтобы вступить в брак с вашим величеством, и что ваше величество знали об этом, — смело ответил лорд и продолжал, не позволив королеве дать волю гневу: — Вы еще можете спасти свою честь, мадам. Она в опасности, но способ есть. Только один способ. Если вы оставите всякие мысли о браке с сэром Робертом, Англия поверит, что де Куадра и иже с ним — лжецы. Если же вы станете упорствовать в своем намерении, то подтвердите истинность его заявлений и собственными глазами увидите, что неизбежно последует за этим.

Да, она уже видело это. И боялась.

Спустя несколько часов после беседы с лордом Сесилом она сообщила ему, что не намерена выходить замуж за Дадли.

Страх помог ей сохранить честь, пожертвовав сердечной привязанностью и отказавшись от брака с единственным человеком, который мог бы стать ее мужем. Рана затянулась не скоро. Королева подумывала о браке, и ее

влюбленный взгляд то и дело обращался на очаровательного лорда Роберта, ставшего впоследствии графом Лестерским. Как-то раз, спустя лет шесть после смерти Эми, снова пошли разговоры о намерении Елизаветы выйти за него замуж, но эти разговоры привели к возрождению слухов о причинах гибели леди Роберт Дадли и быстро сошли на нет. И призрак несчастной убиенной женщины все время стоял между ними, не позволяя Елизавете утолить стремление сердца, а Роберту — честолюбие.

Вероятно, этим отчасти и объясняется полное горечи заявление Елизаветы, когда она узнала о том, что Мария Стюарт родила ребенка: «Шотландская королева дала жизнь законному сыну, а я так и осталась бесплодной!»

VII

СЭР ИУДА

История о том, как был предан сэр Уолтер Рэйли

Когда сэр Уолтер возвратился из своей злосчастной Экспедиции в Эльдорадо¹, в Плимуте его встречал сэр Льюис Стакли, что вполне естественно, поскольку сэр Льюис был не только вице-адмиралом Дсвона, но также лучшим другом и кровным родственником сэра Уолтера.

Если поначалу у сэра Уолтера и были сомнения, в каком качестве — родственника или вице-адмирала — встречает его сэр Льюис, то сердечность объятий и радушный прием в доме сэра Кристофера Хара, стоявшем неподалеку от порта, рассеяли эти сомнения и вновь воспламенили отчаявшуюся душу путешественника огнем надежды. Он видел, что сэр Льюис относится к нему прежде всего по-родственному, что было особенно важно в этот тяжкий период его наполненной событиями и встречами жизни, когда он более всего нуждался в поддержке родственника и дружеском совете.

Вы, несомненно, знаете историю сэра Уолтера. Его личность стала одним из ярчайших украшений эпохи царствования королевы Елизаветы и могла бы придать еще больший блеск правлению короля Якова, не будь Его Свинячество (титул, которым наградила Якова его королева²) столь малодушен и сумей он оценить огромные достоинства этой личности. Придворный, философ, в

равной мере и мыслитель, и человек действия, Рэйли был одновременно и замечательным писателем, и одним из самых великих мореплавателей своего века — последним оставшимся в живых представителем блистательной плеяды людей, к которой принадлежали также Фрэнсис Дрейк, Фробишер и Хокинс³ и которая принесла Англии господство на морях, сведя на нет мощь и уязвив гордыню испанской нации. Имя Рэйли, как и имя Дрейка, гремело на весь мир к чести и славе Англии; его ненавидели и страшились король Филипп и все его подданные. А вот король шотландский, человек нечистоплотный и порочный, сделал вид, что ему незнакомо это великое имя, которое будет жить, пока жива Англия.

Когда блистательный придворный предстал перед королем (а в свои пятьдесят лет сэра Уолтер был еще красив, статен и одевался с большой изысканностью), Яков искоса взглянул на него и осведомился у своих приближенных, кто это такой. Получив ответ, король-остряк буркнул:

— Я что-то слушал о тебе.

Яков частенько прибежал к неправильным оборотам речи, стремясь таким образом прослыть остроумным человеком. Острота короля не сулила ничего хорошего. И действительно, вскоре Уолтер, этот великий человек-герой, был арестован по ложному обвинению в государственной измене, подвергнут оскорблениям со стороны продажных судей и, несмотря на то, что его остроумие и чистосердечие не оставили камня на камне от предъявленного ему обвинения, приговорен к смерти⁴. Король решился на это, однако пойти до конца и привести приговор в исполнение он не посмел. Тогда у сэра Уолтера было в Англии много друзей, да и блистательные подвиги его были слишком свежи в памяти народа. Казнь героя могла стать чреватой серьезными последствиями для самого короля Якова. К тому же король достиг по крайней мере одной из своих целей: по приговору суда обширные владения сэра Уолтера были конфискованы, и эту землю, украденную у человека, бывшего гордостью Англии, Яков намеревался отдать в дар одному из тех людишек, что составляли ее позор.

— Я обещал эту землю Карру, я обещал! — нагло и раздраженно отвечал Яков тем, кто возражал против конфискации.

В течение тринадцати лет, с 1603 года, когда был вынесен смертный приговор, сэра Уолтера содержали в Тауэре. После короткого строгого одиночного заключения он стал пользоваться некоторой свободой: его посещали

любимая супруга и друзья, среди которых был и Генрих, принц Уэльский, решительно и однозначно заявивший, что ни один человек на свете, кроме его презренного папаша, не стал бы держать в клетке такую птицу. Сэр Уолтер коротал время, занимаясь наукой и литературой, кропотливо доводя до совершенства свои очерки и создавая очень значительный труд «История мира». Но к нему уже исподволь подкрадывалась старость. Нисколько не приутишив огонек предприимчивости в душе этого искателя приключений, она тем не менее заставила его осознать, что жизнь проходит, и вселила чувство тревожного нетерпения. Именно это чувство и вынудило сэра Уолтера наконец предпринять попытку обрести свободу. Не надеясь на милосердие Якова, Рэйли решил сыграть на его корыстолюбии.

На протяжении всей своей жизни, с того дня, когда он обратил на себя внимание королевы, бросив к ее ногам свой плащ, будто ковер, сэр Уолтер наряду с достоинством мудреца и величием героя сохранял черты искателя приключений — ловкость и умение пользоваться удачным стечением обстоятельств. Удачное стечение обстоятельств заключалось сейчас в оскудении королевской казны, о чем ему обиняком сообщил при посещении министр Уинвуд. Сэр Уолтер тотчас же заявил, что ему известен золотой рудник в Гвиане, которую называли испанским Эльдorado⁵.

Вернувшись в 1595 году из экспедиции в Гвиану, сэр Уолтер так писал об этой стране: «Здесь простой солдат будет сражаться за золото, а не за жалкие гроши, вознаграждая себя золотыми слитками шириной в полфута, тогда как в других войнах он гибнет всего лишь за довольствие да нищенское жалованье. Те командиры, которые бьются за честь и достаток, найдут здесь больше богатых и красивых городов, храмов, украшенных золотыми статуями, гробниц, наполненных драгоценностями, чем нашли в свое время Кортес в Мексике и Писарро в Перу».

Уинвуд напомнил Рэйли, что многочисленные экспедиции, отправлявшиеся впоследствии на поиски золота, не сумели ничего обнаружить.

— Это потому, — возразил сэр Уолтер, — что авантюристы ничего не знали о стране и о том, как заручиться доверием туземцев. Будь мне позволено поехать туда, я бы подарил Англии Гвиану в том же качестве, в каком Испания получила Перу.

Эти слова, переданные нуждавшемуся в деньгах Якову, распалили алчность короля. Когда же Рэйли добавил, что готов передать пятую часть всех богатств короне, не требуя при этом ни финансовой поддержки, ни помощи снаряжением, его тотчас же освободили из узилища и разрешили готовиться к походу.

Друзья не отказали Уолтеру Рэйли в помощи, и в марте 1618 года он отправился на поиски Эльдорадо, возглавив эскадру из четырнадцати кораблей с прекрасно подобранными командами и всем необходимым для долгого плавания. Граф Арундейл и граф Пемброк поручились, что Рэйли возвратится в Англию.

Судьба оказалась неблагоприятна к нему с самого начала. Несчастья преследовали экспедицию. Гондомар, испанский посол в Уайтхолле, прослышал, что затевается какое-то дело, и предупредил своего короля. Испанские корабли заняли такие позиции, чтобы не дать сэру Уолтеру выполнить свое обещание не вступать ни в какое противодействие с силами короля Филиппа.

Столкновение произошло недалеко от городка Маноа, который испанцы считали ключом к стране, в которую пытались проникнуть англичане. Среди убитых были губернатор Маноа, брат Гондомара и старший сын сэра Уолтера.

К Рэйли, ждавшему против устья Ориноко, вернулись его отступающие, разбитые наголову силы. Страшные вести о случившемся означали, что экспедиция потерпела полный провал. Впав едва ли не в исступление, расстроенный гибелью сына, сэр Уолтер обрушился на своих капитанов с такими резкими упреками, что начальник экспедиции Кемис, запершись в своей каюте, застрелился из карманного пистолета. Вспыхнул бунт, и капитан Уитни, которому Рэйли доверял больше, чем всем остальным, направил свой корабль к берегам Англии. С ним ушли еще шесть судов флотилии, к тому времени успевшей уменьшиться до двенадцати единиц. Сломленный случившимся, сэр Уолтер медленно пошел вслед за ними с оставшимися верными ему пятью кораблями. Что проку спешить? Ведь в Англии его ждет опала, а может быть, и гибель. Он знал, в какой зависимости от Испании находился Яков, делавший ставку на бракосочетание своего наследника с испанской принцессой; знал также и то, как люто ненавидят его в Испании и с каким красноречием будет обвинять его Гондомар, движимый желанием отомстить за смерть своего брата.

Сэр Уолтер ждал самого худшего, и поэтому так обрадовался, когда, возвратившись, увидел рядом с собой кровного родственника, на чьи совет и помощь он сможет опереться в этот самый черный час своей жизни. Сидя поздним вечером в библиотеке дома сэра Кристофера Хара, Рэйли подробно поведал кузену о своих злоключениях и поделился дурными предчувствиями.

— Я в растерянности, — посетовал он.

Стакли в задумчивости потеревил свою бородку. Ему почти нечего было сказать кузену в утешение. Наконец он проговорил:

— Никто не ожидал, что ты вернешься, Уолтер.

— Не ожидал? — склоненная голова Рэйли резко откинулась назад, в глазах, так и не потускневших с годами, сверкнули огоньки негодования. — Разве совершил я в жизни своей хоть один поступок, дающий основания полагать, будто я способен пренебречь словом чести? Я прекрасно сознавал, что могу подвергнуться опасности, а капитан Кинг вполне мог направить корабль к берегам Франции, где я нашел бы радушный прием и пристанище. Но согласиться на это означало бы предать милордов Арундейла и Пемброка, которые поручились королю, что я вернусь. Жизнью я еще дорожу, хотя мне трижды по двадцать, и даже больше, но честь все-таки дороже.

Он умолк, а чуть погодя спросил кузена:

— Что король намерен сделать со мной?

— Ну, кто может знать, что на уме у короля? И все же я не думаю, что твои дела совсем уж плохи. У тебя много друзей, первым среди которых, хотя надо признаться, и самым бедным, я считаю себя. Отдохни немного, а потом мы, не торопясь, двинемся в Лондон, останавливаясь по пути в домах твоих друзей, и попытаемся заручиться их поддержкой.

Рэйли посоветовался с капитаном Кингом, грубовато-добродушным рыжебородым моряком, преданным ему душой и телом.

— Это предложение сэра Льюиса, — молвил отважный морской волк. — А сэр Льюис — вице-адмирал Девона, не так ли? Не поручили ли ему часом эскортировать вас в Лондон?

На капитана явно не действовало обаяние дружелюбного Стакли. Сэр Уолтер вознегодовал. Он никогда не был слишком высокого мнения о своем родственнике и в прошлом не поддерживал с ним тесной дружбы. Тем не менее, он был далек от того, чтобы разделить подозрения

капитана. Дабы убедить Кинга, что он несправедлив к сэру Льюису, Рэйли в присутствии капитала задал своему родственнику прямой вопрос.

— Нет, — отвечал сэр Льюис, — мне не поручали конвоировать тебя. Но как вице-адмирал, я могу в любой момент получить такое указание. Думаю, такой приказ вряд ли поступит. Однако, — поспешно добавил он, — если это произойдет, ты можешь рассчитывать на мою дружбу. Прежде всего я — твой родственник, а уж потом вице-адмирал.

Красивое мужественное лицо сэра Уолтера осветилось улыбкой, и он с признательностью пожал руку своему кузену. Созерцавший эту сцену капитан Кинг пробурчал что-то невнятное и пожал плечами.

Следуя совету кузена, сэр Уолтер отправился с ним в Лондон. Их сопровождали капитан Кинг, слуга Котерел и француз по имени Манури, впервые появившийся в плимутском доме днем раньше. Стакли объяснил, что Манури — очень даровитый эскулап, который лечит его от весьма банального, но очень неприятного недуга.

Продвигаясь вперед без особой спешки, как и советовал сэр Льюис, они в конце концов достигли Брентфорда. Если бы это зависело только от него, сэр Уолтер плыл бы еще медленнее, поскольку, по мере приближения к столице, его дурные предчувствия усиливались. Он делился ими с Кингом, и прямодушный капитан даже не пытался рассеять его сомнения.

— Вас, будто овцу, ведут на заклание, — говорил он. — И вы, точно овца, идете. Вам надо было высадиться во Франции, где у вас друзья. Даже сейчас еще не поздно сделать это. Еще можно достать корабль...

— И пустить ко дну мою честь, — резко возразил сэр Уолтер на такой совет.

Однако на постоялом дворе в Брентфорде Рэйли посетил человек, давший ему сходный совет. Человеком этим был де Шени, секретарь французского посольства. В ответ на сердечное приветствие Рэйли француз выразил глубокое беспокойство по поводу его ареста.

— Ваш вывод слишком поспешен, — смеясь, ответил ему сэр Уолтер.

— Месье, это отнюдь не мои домыслы. Я лишь передаю вам полученные мною сведения.

— Это ложные сведения, сэр. Я не пленник. Во всяком случае, пока, — сказал Рэйли со вздохом. — Я направляюсь в Лондон по собственной воле, с моим другом и

родственником Стакли, чтобы представить королю отчет о моем плавании.

— По собственной воле? Вы едете по собственной воле? Так вы не пленник? Ха! — в коротком смешке де Шени прозвучала горькая ирония. — Это смешно! Милорд герцог Бэкингемский написал от имени своего короля послу Гондомару, что вы арестованы и будете выданы испанской короне. Гондомар должен довести до сведения Бэкингема волю короля Филиппа: желает ли он, чтобы вас выслали в Испанию, где вы предстанете перед судом его католического величества, или же хочет, чтобы вы были подвергнуты наказанию здесь? А Тауэр уже снова готов принять вас. И вы еще утверждаете, что не пленник! Вы по собственной воле направляетесь в Лондон! Сэр Уолтер, не обманывайте себя! Стоит вам прибыть в Лондон, и все будет кончено.

Эти вести развеяли последние иллюзии сэра Уолтера, но он в отчаянии продолжал цепляться за их осколки. Секретарь посольства, должно быть, ошибается.

— Это вы ошибаетесь, сэр Уолтер, доверившись окружающим вас людям, — стоял на своем француз.

— Вы имеете в виду Стакли? — спросил сэр Уолтер, возмущенный этим намском.

— Сэр Льюис — ваш родственник, — де Шени пожал плечами. — Вашу семью вы должны знать лучше, чем я. Но кто этот Манури, сопровождающий вас? Откуда он? Что вы знаете о нем?

Сэр Уолтер признался, что не знает ничего.

— Зато я многое знаю, — сказал француз. — Он темная личность. Шпион, который без колебаний продаст своих друзей. И я знаю, что десять дней назад ему были переданы бумаги с приказом Тайного совета о вашем аресте. Предназначены эти бумаги лично для него, или он должен кому-то передать их — не так уж важно. Важно то, что приказ существует. Ордер на ваш арест есть, и он в руках одного из сопровождающих вас людей. Мне к этому добавить нечего. Как я уже сказал, вам лучше знать свое собственное семейство. Однако я уверен, что вас заточат в Тауэр, а потом казнят. Но я не только поставил диагноз, я принес и лекарство. Посол поручил мне предложить в ваше распоряжение французское парусное судно и охрану, которая в целости доставит вас к коменданту Кале. Во Франции вы найдете покой и почет, вполне вами заслуженные.

Сэр Уолтер вскочил со стула и попытался горячо возразить.

— Это невозможно! — воскликнул он. — Невозможно. Я дал слово вернуться, а милорды Арундсйл и Пемброк поручились за меня. Я не могу допустить, чтобы они пострадали.

— Им ничто не грозит, — заверил его де Шени. Он и правда был хорошо осведомлен. — Король Яков уступил требованиям Испании отчасти из страха, отчасти из желания женить своего сына, принца Карла, на испанской дофине. А посему он не совершит ничего такого, что могло бы повредить его добрым отношениям с королем Филиппом. Но, с другой стороны, у вас есть друзья, которых его величество тоже побаивается. Бежав, вы разрешите все его затруднения. Я не думаю, что бегству будут препятствовать, иначе вам не дали бы сейчас плыть без охраны и не оставили бы при вас шпагу.

Немало встревоженный услышанным, сэр Уолтер тем не менее твердо и упорно держался той линии поведения, которую считал единственно возможной для человека чести. Поэтому свой разговор с де Шени он завершил просьбой передать благодарность королю Франции и отказом от его предложения. Затем он позвал к себе капитана Кинга. Вдвоем они обсудили предложение секретаря. При этом Кинг согласился с намеком де Шени на то, что у сэра Льюиса есть ордер на арест. Сэр Уолтер тотчас же послал за кузеном и напрямик обвинил его в неискренности. Сэр Льюис так же открыто признал, что ордер на арест действительно у него на руках, а в ответ на брошенное ему Кингом обвинение в двуличии выказал не гнев, а глубокую печаль. Он опустил на стул, обхватив голову руками.

— Что я мог сделать? Что я мог сделать? — повторял он. — Ордер привезли за минуту до нашего отплытия. Сначала я хотел сказать тебе, но потом убедил себя, что, сделав это, лишь напрасно тебя встревожу, поскольку все равно не смогу предложить никакой помощи.

Сэр Уолтер понял, что это значило.

— Но разве ты не говорил, — спросил он, — что прежде всего ты — мой родственник и только потом вице-адмирал?

— Да, так оно и есть. И хотя, позволив тебе бежать, я потерял бы должность вице-адмирала, стоившую мне шестьсот фунтов, я без колебания сделал бы это, если бы не Манури, который не сводит глаз с нас обоих. В конце

концов он все равно помешал бы нам. Вот почему я полагал, что вряд ли стоит тревожить тебя, коль скоро я все равно не могу предложить никакого выхода.

— У француза есть глотка, а глотку можно перерезать, — заявил прямодушный Кинг.

— Да, можно. Но потом тех, кто это сделает, могут повесить, — отвечал сэр Льюис, продолжая оправдывать свое поведение с такой железной логикой и очевидной искренностью, что сумел убедить сэра Уолтера. Однако Рэйли в не меньшей степени был убежден и в том, что ему угрожает гибель. Он силился что-нибудь придумать и, как всегда в минуты крайней опасности, нашел выход. Основным препятствием был Манури. В свое время он знал немало шпионов, лишенных всяких нравственных принципов и готовых ради золота на что угодно. И он не встречал среди них ни одного, которого нельзя было бы перекупить. Поэтому в тот же вечер он пожелал остаться наедине с Манури в отведенной ему наверху комнате, где им никто не мог помешать. Не отрывая взгляда от глаз Манури, сэр Уолтер положил на стол сжатый кулак и внезапно разжал его, ослепив француза блеском лежащего в ладони бриллианта.

— Скажите, Манури, за мою выдачу вам заплатили так же много?

Загорелое лицо Манури немного побледнело. Это был смуглый худощавый и стройный человек, отличавшийся резкими чертами лица. Он посмотрел на зловеще улыбающегося сэра Уолтера, затем снова перевел взгляд на бриллиант, который в пламени свечи играл всеми цветами радуги. Довольно точно оценив его стоимость, шпион покачал головой. Он уже оправился от потрясения, вызванного вопросом сэра Уолтера.

— Пожалуй, что наполовину меньше, — признался он без стыда.

— Тогда, быть может, служение мне вы сочтете более выгодным? — спросил сэр Уолтер. — Этот бриллиант — тому порукой.

Глаза шпиона алчно сверкнули. Он облизал губы.

— Но каким образом? — спросил он.

— Буду краток. Я понимаю, что почти угодил в расставленные сети. Мне нужно время для устройства побега, но его уже почти не останется. Вы знаете толк в зельях, как сказал мне мой родственник. Можете ли вы дать мне такое снадобье, которое введет в заблуждение врачей, и они решат, будто я при смерти?

Манури призадумался.

— Наверное... наверное, смогу, — сказал он после короткого молчания.

— И сохранить мне верность за, скажем, два таких камня?

Продажный плут разинул рот от изумления. Это была не просто щедрость, а расточительность. Наконец Манури овладел собой и поклялся все исполнить.

— Вот, возьмите, — сэр Уолтер пододвинул драгоценный камень поближе к французу, который проворно взял его.

— Считайте это задатком. Второй получите, когда мы их околпачим.

Наутро выяснилось, что сэр Уолтер не может продолжать путь. Когда Котерел пришел помочь ему одеться, он увидел, что хозяина непрерывно рвет и шатает, как пьяного. Слуга побегал за сэром Льюисом, и, вернувшись к Рэйли, они застали того на четвереньках, грызущим на полу тростниковую циновку. Лицо его приобрело синевато-лиловый оттенок и было перекошено до неузнаваемости, на лбу блестела испарина.

Стакли, очень встревоженный, велел Котерелу вновь уложить хозяина в постель и поставить ему припарки, что и было сделано. Однако и на другой день никакого улучшения не наступило, а на третий дело приняло еще более угрожающий оборот. Кожа на лбу, руках и груди сэра Уолтера воспалилась, покрывшись ужасными багровыми пятнами. Так подействовала совершенно безвредная во всех других отношениях мазь, которую сэр Уолтер получил от французского лекаря.

Увидев кузена обезображенным и неподвижно лежащим на кровати, Стакли пришел в ужас. Вице-адмиралу и прежде доводилось видеть страшные проявления бубонной чумы. Не мог он ошибиться и теперь. Он постарался как можно быстрее удалиться, чтобы не дышать отравленным воздухом комнаты своего родственника, и вызвал врачей, в надежде выслушать их диагноз и предписания. Врачи — их было трое — пришли, но не выказали никакого желания приближаться к больному. Взглянув на него издали, они сразу же сделали вывод, что у несчастного исключительно заразная бубонная форма чумы.

Один из них настолько расхрабрился, что решил проверить пульс метавшегося в бреду больного. Слабость пульса подтвердила диагноз. Более того, рука сэра Уолтера распухла и была холодна. Разумеется, лекарю было

невдомек, что Рэйли туго обвязал предплечье шнурком от своего кинжала.

Поставив диагноз, врачи удалились, после чего сэр Льюис послал донесение о болезни Тайному совету. Вечером того же дня капитан Кинг, глубоко огорченный известием, пришел проведать своего хозяина. В комнату его впустил Манури, который, как лекарь, ухаживал за больным. К изумлению моряка, он застал сэра Уолтера сидящим на кровати и исследующим при помощи ручного зеркала свое лицо, ужасный вид которого не поддавался описанию. При этом он улыбался как человек, вполне довольный своей наружностью. Никаких признаков лихорадочного безумия не было и в помине. В смеющихся глазах сверкали ум и лукавство.

— А, Кинг! — радостно приветствовал Рэйли капитана. — Пророк Давид изображал безумие, «пуская слюну по бороде своей», чтобы только не попасть в руки врагов. И Брут, и другие знаменитые люди опускались до хитростей.

И хотя сэр Уолтер смеялся, было ясно, что он ищет оправдания своему не очень-то достойному поведению.

— Хитрость, — промолвил пораженный Кинг. — Так это хитрость?

— Да. Преграда на пути моих врагов, которые уstraшаются приблизиться ко мне.

Кинг присел у ложа своего господина.

— Лучшей преградой, сэр Уолтер, было бы море, разделяющее Англию и Францию. Стоило вам последовать моему совету, и ноги вашей уже не было бы на этой неблагоприятной земле.

— Это упущение еще можно исправить, — сказал сэр Уолтер.

Чувствуя приближение опасности, он вновь и вновь обдумывал слова де Шени, утверждавшего, что милордам Арундейлу и Пемброку ничто не угрожает в случае его побега, и пришел к выводу, что де Шени был прав и нарушение слова — не такой уж большой грех при данных обстоятельствах. И вот теперь, когда было уже слишком поздно, Рэйли уступил настояниям капитана Кинга и дал согласие на побег во Францию. Кинг должен был, не теряя времени, заняться поисками корабля. Однако вскоре выяснилось, что нужда в большой спешке отпала, поскольку в Брентфорд пришло распоряжение короля доставить сэра Уолтера в его собственный лондонский дом. Весть принес Стакли, добавив, что видит в этом знак королев-

ского благоволения. Однако сэр Уолтер не обманывался. Он понимал, что истинная причина такого распоряжения заключается в страхе перед бубонной чумой, которую он мог занести в Тауэр.

Итак, путешествие было продолжено, и сэра Уолтера привезли в Лондон, в его собственный дом, где и оставили на попечение любящего друга и родственника. Поскольку Манури сыграл свою роль и цель была достигнута, сэр Уолтер исполнил свое обещание, пожаловав французу второй бриллиант. На другой день Манури исчез, он был уволен со службы за помощь, оказанную сэру Уолтеру.

Стакли сам сообщил об этом Рэйли. Хорошо осведомленный и очень обиженный Стакли, пришедший к сэру Уолтеру, чтобы узнать, чем же он обманул его рыцарское доверие настолько, что кузен стал предпринимать шаги к побегу за его спиной. Неужели сэр Уолтер совсем не верит ему?

Рэйли глубоко задумался. Глядя на тощую лукавую физиономию Стакли, он размышлял о недоверии, которое неизменно испытывал к нему Кинг, вспоминал о постоянной нужде родственника в деньгах, возвращался мысленно к событиям прежних лет, проливавшим истинный свет на поступки и характер вице-адмирала. Наконец он понял, насколько двуличен и лицемерен этот человек. Поэтому сэр Уолтер решил держать себя с ним точно так же, как прежде держался с Манури. Малый корыстолюбив, а значит, продажен. Если он настолько подл, чтобы продать родственника, то его можно перекупить, и тогда он продаст с потрохами тех, кто купил его раньше.

— Нет, нет, — непринужденно бросил сэр Уолтер. — Это не потому, что я не верю тебе, друг мой. Но ты — на службе, и, зная о твоей кристальной честности, я боялся поставить тебя в двойственное положение, посвятив в дела, одно только знание о которых вынудило бы тебя сделать выбор между мной и твоим служебным долгом.

В ответ Стакли разразился проклятиями. Из его жалоб выходило, что он — самый злосчастный человек на свете, а все потому, что на его плечи легло такое бремя. А ведь он небогат, об этом кузен не должен был бы забывать. Разумеется, он не использует добытые сведения, чтобы помешать побегу сэру Уолтера во Францию. Но если побег осуществится, он наверняка потеряет свою должность вице-адмирала и шестьсот фунтов, которые за нее выложил.

— О, не беспокойся, ты не будешь в убытке, — заверил

его сэр Уолтер. — Я этого не допущу. Клянусь честью. Льюис, ты получишь тысячу фунтов от моей жены, как только я благополучно высажусь во Франции или Голландии. А пока, в качестве задатка, вот тебе ценная безделка, — и он протянул сэру Льюису драгоценный камень, крупный рубин, инкрустированный бриллиантами.

Уверившись в том, что его финансовое положение не ухудшится, сэр Льюис выразил готовность всецело и беззаветно погрузиться в планы сэра Уолтера и оказать ему помощь.

Правда, помощь эта влетала в копеечку: надо было подкупать то одного, то другого, оплачивать расходы здесь и там. Естественно, издержки покрывал сэр Уолтер. Кроме того, ему приходилось время от времени делать подарки Стакли, тот явно ждал их. И сэр Уолтер не мог ему отказать. Теперь он не сомневался в правоте Кинга и понимал, что имеет дело с мошенником, который норовит вытянуть из него за свои услуги как можно больше. Но его радовала та проницательность, с какой он разгадал характер своего кузена, и Рэйли не скупился на подачки, благодаря которым мог избежать казни.

В Лондоне его вновь навестил де Шени и опять предложил от имени посла корабль для бегства за границу, равно как и другую необходимую помощь. Но приготовления к побегу были уже завершены. Слуга Котерел сообщил сэру Уолтеру, что верный им боцман, находящийся сейчас в Лондоне, владеет кечем, двухмачтовым парусным судном, которое стоит на якоре в Тилбери; оно превосходно снаряжено для такого рода предприятия и находится в полном распоряжении сэра Уолтера. При согласии капитана Кинга было решено воспользоваться этой возможностью, и Котерел велел боцману готовить судно к немедленному выходу в море.

Поэтому, а также желая избежать ненужной компроматации французского посла, сэр Уолтер с благодарностью отклонил предложение.

И вот наконец настал июльский вечер, назначенный для бегства. Рэйли, уже некоторое время не пользовавшийся мазью француза и успевший почти полностью восстановить свой обычный облик, укрыв длинные седые волосы испанской шляпой и спрятав лицо в складках плаща, подошел к причалу Уоппинг-Стэйрс — зловещему месту казни пиратов и мародеров. Его сопровождали Котерел, несший саквояж с одеждой, и сэр Льюис с сыном. Исключительно из заботы о своем дорогом друге и

родственнике отец и сын Стакли не могли покинуть его до тех пор, пока он в полной безопасности не отправится в путь. На верхней ступеньке трапа они встретили капитана Кинга. Внизу, как и было условлено, их ждала шлюпка с сидевшим у руля боцманом.

Кинг приветствовал их с заметным облегчением.

— Вы, верно, опасались, что мы не придем, — сказал Стакли с усмешкой, намекая на недоверие, не раз высказываемое ему капитаном. — Полагаю, теперь вам следует отдать мне должное и признать, что я вел себя как честный человек.

Бескомпромиссный Кинг молча взглянул на него и пожал плечами: он не любил пустых слов.

— Надеюсь, вы останетесь таким и впредь, — холодно ответил он.

Они спустились по скользким ступеням вниз к шлюпке. Боцман оттолкнулся, и суденышко пошло прочь от берега, увлекаемое морским отливом.

Спустя минуту бдительный Кинг заметил еще одну шлюпку, вышедшую на воду ярдах в двухстах выше по течению реки. Вначале гребцы в ней вроде бы боролись с течением, направляясь к мосту, но потом шлюпка резко развернулась и устремилась за ними. Кинг тотчас же указал сэру Уолтеру на преследователей.

— Что это? — резко спросил Рэйли. — Неужели нас предали?

Лодочники, напуганные этими словами, почти перестали грести.

— Поворачивайте назад, — велел им сэр Уолтер. — Я не желаю понапрасну подвергать опасности своих друзей. Едем обратно домой.

— Нет, погодите, — мрачно отозвался Стакли, наблюдая за преследовавшей их шлюпкой. — Им нас не настигнуть, даже если ты и прав в своих предположениях. Хотя, по-моему, для опасений нет никаких оснований. Вперед! — Он выхватил пистолет и закричал на лодочников: — На весла! Навались, собаки, или я разряжу в вас мой пистолет.

Гребцы налегли на весла, и шлюпка понеслась вперед. Однако сэр Уолтер все еще был полон дурных предчувствий. Он сомневался, разумно ли идти прежним курсом теперь, когда их высладили?

— Кто сказал, что нас преследуют? — раздраженно воскликнул сэр Льюис. — Здесь не какая-нибудь захудалая речушка, кузен, а большая водная дорога, которой

пользуется весь мир. Надо ли полагать, что любая идущая в кильватере лодка непременно гонится за нами? Черт возьми, если пугаться собственной тени — нечего браться за дело! Нет ничего хуже, чем спасать друга, который переполнен страхом и сомнениями!

Сэр Уолтер воздал Стакли должное за его выдержку, и даже Кинг пришел к убеждению, что несправедливо подозревал его. Между тем лодочники, подгоняемые Стакли, гребли изо всех сил, и шлюпка быстро мчалась вперед, к начинавшему темнеть в сумерках морю. На лодку, шедшую следом за ними, почти перестали обращать внимание. К концу отлива они достигли Гринвича, но тут лодочники снова бросили свое дело: теперь им надо было преодолевать приливное течение, да и устали они, подгоняемые Стакли, сверх всякой меры. Поэтому гребцы заявили, что до утра им в Грейвзэнд не попасть. Последовало короткое совещание. Наконец сэр Уолтер приказал высадить его на берег в Перфлите.

— Это самое разумное, что можно предпринять, — промолвил боцман. — В Перфлите мы сможем достать лошадей и доехать до Тилбери.

Стакли был того же мнения, но более практичный капитан Кинг с ними не согласился.

— Это бессмысленно, — сказал он. — В такой поздний час мы вряд ли найдем лошадей.

Оглянувшись, сэр Уолтер увидел сквозь призрачную опаловую дымку заката вторую шлюпку, приближавшуюся к ним с подветренной стороны. Слышался нестройный гул голосов.

— О черт! Нас предали! — воскликнул Рэйли с горечью.

Стакли крепко выругался. Сэр Уолтер повернулся к нему.

— Высаживаемся на берег, — коротко бросил он, — и возвращаемся домой.

— Да, наверное, так будет лучше. Сегодня уже ничего не сделаешь, а если меня схватят вместе с тобой, то мне не поздоровится. — В голосе его слышалось уныние, физиономия вытянулась и побледнела.

— Ты скажешь, что только делал вид, будто помогаешь мне, а на самом деле хотел конфисковать мою частную переписку, — предложил находчивый сэр Уолтер.

— Сказать-то я могу. Но кто поверит мне? Ведь не поверят!

Его мрачная подавленность усилилась до отчаяния.

Рэйли, глядя на Стакли, испытывал сильные угрызения совести. Его благородное сердце было сейчас больше обеспокоено опасным положением его друзей, чем своей собственной судьбой. Он захотел как-то загладить свою вину перед Стакли, но не имел другого способа помочь ему, как наделить его той же силой, какую он использовал ранее — силой золота. Он засунул руку во внутренний карман и вытащил оттуда горсть драгоценных камней, которые протянул своему родственнику.

— Мужайся, — убеждал он его. — Мы еще сможем одержать верх, и все кончится хорошо, по крайней мере для тебя. Ты не пострадаешь из-за дружбы со мной.

В ответ на эти слова Стакли обнял Рэйли, сказав, что любит его и будет продолжать ему служить.

Наконец они пристали к берегу чуть ниже Гринвичского моста, и почти в ту же минуту другая шлюпка причалила немного выше. Из шлюпки выскочили люди с очевидным намерением отрезать им путь к отступлению.

— Слишком поздно, — сказал Рэйли почти бесстрастно. — Кости выпали и показали, что игра проиграна, Льюис! Тебе следует объяснить свое присутствие так, как я советовал.

— Да, сейчас нет другого выбора, — согласился сэр Льюис. — И вы в том же положении, капитан Кинг. Вы должны признаться, что присоединились ко мне, чтобы предать сэра Уолтера. Я поддержу вас. Если мы поддержим друг друга...

— Лучше пусть меня поджарят в аду, чем я поставлю на себя клеймо предателя, — прорычал в ярости капитан. — Если бы вы, сэр Льюис, были честным человеком, вы бы поняли, что я имею в виду.

— Ладно! Хватит! — сказал Стакли злобно. Его сын и двое гребцов встали рядом с ним, как бы приготовившись к драке. — Ну, если так, капитан, я именем короля беру вас под арест по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

Капитан сделал шаг назад, на мгновение застыв от изумления. Опомившись, он схватился за пистолет, собираясь наконец сделать то, что, как он понимал, должен был сделать уже давно.

Но его сразу схватили. Только тогда сэр Уолтер понял, что произошло, и вместе с пониманием пришла ярость. Старый искатель приключений сбросил плащ и выхватил рапиру, чтобы проткнуть ею своего дорогого друга и родственника. Но опоздал. Чьи-то руки схватили его. Его крепко держали люди со шлюпки, предводительствуемые

мистером Уильямом Хербертом, который, как он знал, был кузеном Стакли. Мистер Херберт в соответствии с этикетом предложил ему сдать шпагу.

Но он взял себя в руки, подавил ярость. Холодно посмотрел на своего родственника, лицо которого на фоне ранней летней утренней зари казалось особенно бледным и злым.

— Сэр Льюис, — и это было все, что он сказал, — эти действия не делают вам чести.

У него больше не осталось иллюзий. Он понял теперь все до конца. Его дорогой друг и кузен все время обманывал его, желая сначала выманить у него все драгоценности, а потом, как пустую скорлупу, бросить палачу. Манури, конечно, тоже участвовал в заговоре. Он служил и нашим, и вашим, и даже собственный слуга сэра Уолтера Котерел был заодно с ними.

Но только на суде сэр Уолтер осознал всю низость Стакли, только там выяснилось, что этот негодяй был снабжен официальным документом, освобождающим его от ответственности за участие в планах побега. Это помогло ему с большим успехом уличить и предать сэра Уолтера. На суде выяснилось также, что корабль, на котором сэр Уолтер прибыл из путешествия, и еще многое, должно быть передано этому корыстолюбивому Иуде как дополнительное вознаграждение.

Если раньше, чтобы не попасть в руки врагов, сэр Уолтер вынужден был прибегать к уловкам, недостойным великого человека, то теперь, когда никакой надежды уже не оставалось, он проявил чрезвычайное достоинство и бодрость духа. С таким спокойствием, самообладанием и искусством защищался он от обвинения в пиратстве, на котором настаивала Испания, и так умело расположил общественное мнение в свою пользу, что судьи были вынуждены отказать от этого обвинения и не могли найти никакого другого способа выдать его голову королю Якову, кроме как обратиться снова к смертному приговору, вынесенному ему тринадцать лет тому назад. На основании этого приговора они распорядились произвести казню.

Никогда еще ни один человек, любящий жизнь так горячо, как любил ее сэр Уолтер, не встречал смерть настолько беспечно. Готовясь к эшафоту, он оделся с обычным для себя изяществом. Он надел гофрированный воротник-жабо и отороченный черным бархатом халат поверх атласного камзола цвета своих волос, черный с

отделкой жилет, черные, скроенные из тафты панталоны и шелковые чулки пепельного цвета. Голову его украшала шляпа с плюмажем, закрывавшая седые волосы с надетым на них отороченным шелком ночном колпаком. По пути на эшафот он одарил этим колпаком какого-то лысого старика, пришедшего бросить на него последний взгляд, заметив при этом, что он пригодится старику больше, чем ему самому. Когда он снял колпак, все увидели, что его волосы не завиты, как обычно. Это было предметом особой озабоченности его парикмахера в тюрьме Гейтхауз в Вестминстере. Однако сэр Уолтер отделался от парикмахера шуткой.

— Пусть ее причешут те, кому она достанется, — сказал он о собственной голове.

Прощаясь с друзьями, окружившими его со словами, что ему предстоит длинный путь, он попросил дать ему топор. Взяв его, он провел пальцами по лезвию и улыбнулся.

— Острое лекарство, — сказал он, — но хорошо вылечивает от всех болезней.

Когда вскоре палач попросил его повернуть голову на восток, он сказал: «Неважно, как поставлена у человека голова, лишь бы сердце лежало правильно».

Так закончилась жизнь одного из величайших героев Англии, его смерть — постыдное пятно на постыдном царствовании малодушного, трусливого короля Якова, нечистого телом и душой, пожертвовавшего сэром Уолтером, чтобы угодить испанскому королю.

Один из свидетелей смерти сэра Уолтера, претерпевший за свои слова — а люди всегда, должно быть, страдают за свою приверженность Правде, — сказал, что у Англии не осталось другой такой головы для эшафота.

Что же до Стакли, то жажда обладания, которая сделала из него Иуду, предопределила, в силу высшей справедливости, так редко осуществляющейся в отношении мошенников, его скорое крушение. Он был уличен в изготовлении фальшивых монет. Вместе с ним был схвачен и слепой исполнитель его воли Манури, ради своего спасения согласившийся стать главным свидетелем обвинения. Сэр Льюис был приговорен к смерти, но спасся, купив себе прощение ценой всего своего несправедливо нажитого богатства. Он стал банкротом, лишившись состояния, как раньше лишился чести.

Но еще прежде, чем это случилось, сэр Льюис за свою роль в уничтожении сэра Уолтера стал объектом всеобщего

презрения и получил прозвище Сэр Иуда. В Уайтхолле к нему относились с оскорбительным пренебрежением, но самое страшное оскорбление ему нанес лорд-адмирал, который, увидев пришедшего к нему для служебного отчета Стакли, воскликнул:

— Подлый тип, презреннее которого нет на свете, как ты смел явиться сюда?

Для человека чести после этого был только один выход. Но Сэр Иуда не был человеком чести. Он пришел с жалобой к королю.

Яков злобно посмотрел на него.

— Чего ты ждешь от меня? Ты хочешь, чтобы я его повесил? Клянусь, если мне вешать всех, кто с ненавистью говорит о тебе, то в стране не хватит деревьев.

VIII

ЕГО ДЕРЗОСТЬ ГЕРЦОГ БЭКИНГЕМСКИЙ, или

Как Джордж Вильерс добивался благосклонности
Анны Австрийской

Этот человек был воплощенная дерзость. С того дня, когда он, младший сын сэра Джорджа Вильерса Бруксбайского, сумел привлечь своей необычайной красотой внимание короля Якова (известного пристрастием к миловидным юношам) и добиться должности виночерпия его величества, карьера Джорджа Вильерса являла собой цепь событий, каждое из которых свидетельствовало о его злобной и непрерывно растущей надменности — следствии тщеславия и легкомыслия, свойственных его натуре. Едва заручившись прочной королевской благосклонностью, он отличился тем, что влепил пощечину оскорбившему его знатному господину¹. Произошло это в присутствии повелителя и, следовательно, было расценено как проявление вопиющего неуважения к царственной особе. По закону этот поступок должен был караться отсечением кисти руки, нанесшей удар, однако сентиментальный король полагал, что такого симпатичного юношу нельзя подвергать столь суровому наказанию.

Позднее, при Карле I, влияние Джорджа Вильерса на волю и разум короля сделалось еще больше, чем было при Якове, и нетрудно доказать, что в основном его выходки привели Карла на ступени эшафота в Уайтхолле.

Карл был подлинным мучеником и стал им главным образом из-за безрассудного, безответственного и нахального тщеславия Вильерса — этого потомка заурядных сельских сквайров, наделенного одной лишь смазливой физиономией, которая и помогла ему, став герцогом Бэкингемским, вознестись до положения первого английского дворянина.

Власть затуманила его рассудок, будто хмельное вино, и так сильно, что, по словам Джона Чемберлена, в скором времени в поведении Вильерса стали заметны признаки безумия, по которым современные психологи легко определили бы у него манию величия. Он утратил чувство соразмерности, перестал уважать всех и вся. И английское правительство, и чванливый испанский двор в равной мере служили этому выскочке мишенью для насмешек во время его позорной псевдоромантической мадридской эскапады. Но венец короля наглецов был возложен на его чело после трагикомического приключения, второй акт которого разыгрался как-то июньским вечером в садах Амьена на берегу реки Соммы.

За три недели до этих событий — точнее говоря, 14 мая 1625 года — Бэкингем прибыл в Париж в качестве чрезвычайного и полномочного посла, которому надлежало сопровождать в Англию сестру французского короля, Генриетту-Марию, тремя днями ранее вышедшую замуж за короля Карла. Герцогу представился очень удобный случай: он получил прекрасную возможность дать волю своему безумному тщеславию и всецело предаться страсти к роскоши и великолепию. Пышность королевского двора Франции вошла в поговорку, и герцог счел своим долгом затмить его блеск. Когда Бэкингем впервые появился в Лувре, он буквально сиял. На герцоге было белое одеяние из атласа и бархата; короткий плащ испанского покроя сплошь усыпали бриллианты общей стоимостью в десять тысяч фунтов; перо пристегнуто к шляпе громадной алмазной брошью, рукоятка шпаги искрилась от бриллиантов, даже кованые золотые шпоры — и те украшали алмазы, а на груди сияли высшие ордена Англии, Испании и Франции. Во время второго визита Бэкингем облачился в костюм лилового атласа с нарочито небрежным жемчужным шитьем. При ходьбе жемчужины рассыпались, подобно каплям дождя, и герцог не заботился о том, чтобы подбирать упавшие, оставляя их в дар пажам и разной придворной мелюзге.

Поезд и свита Бэкингема были под стать его собствен-

ному великолепию: кареты обиты бархатом и покрыты позолотой, а в свите насчитывалось человек семьсот. Тут были музыканты, лодочники, тридцать главных йоменов², придворные камергеры, множество поваров и конюших, дюжина пажей, две дюжины лаксеев, шестеро всадников эскорта и два десятка знатных господ, каждого из которых также сопровождали слуги. Все они вышагивали как на параде — эти спутники сиятельной звезды первой величины.

Честолюбие Бэкингема было удовлетворено. Париж, до сих пор диктовавший моду миру, ошеломленно взирал на сверкающее великолепие посольства.

Любой другой человек, без меры увлекшийся созданием собственного образа, наверняка выглядел бы на месте Бэкингема нелепо, но дерзкая самоуверенность герцога уберегла его от этой напасти. Крайне довольный собой, он понимал, что играет свою роль наилучшим образом, и продолжал делать это с беззаботным видом, словно вся эта дорогостоящая показуха — нечто само собой разумеющееся. Он держался запанибрата с принцами и даже с угрюмым Людовиком XIII, а на свежую красу юной королевы, ослепленный собственным триумфом, взирал всего лишь со снисходительным одобрением.

Анна Австрийская, которой шел двадцать четвертый год, слыла одной из первых красавиц Европы. Она была высокой, статной, изящной и грациозной женщиной с белокурыми волосами и бледной кожей, а задумчивый взгляд придавал ее прекрасным глазам неизъяснимую прелесть. Брак с молодым королем Франции, так и не принеший ей детей, продолжался десять лет, и вряд ли его можно было назвать удачным. Угрюмый, молчаливый, подозрительный и упрямый в своих заблуждениях, Людовик XIII держался с супругой отчужденно, отгородившись от нее стеной холодности, граничившей с неприязнью.

Говорят, что вскоре после того, как Анна стала королевой Франции, ее всей душой полюбил кардинал Ришелье. С девичьей беспечностью она поощряла его ухаживания, дразнила, а потом выставила воздыхателя на посмешище. Этого гордый дух кардинала простить не смог. Ришелье возненавидел Анну и мстительно преследовал ее. Какова бы ни была причина, сам этот факт не подлежит сомнению. Именно Ришелье бесчисленными намеками отравил сознание короля, настроив его против жены и

так и не позволив Людовику преодолеть пропасть, отделившую его от Анны.

При виде ослепительного милорда Бэкингема молодая, обойденная вниманием мужа супруга чуть прищурила глаза, и в них загорелся огонек восхищения. Должно быть, посол показался ей персонажем романтической истории, сказочным принцем.

Герцог заметил взгляд королевы, выдавший ее с головой, и его надменное тщеславие вспыхнуло с новой чудовищной силой. Пояс его честолюбия уже украшал немало скальпов, а теперь он присовокупит к своим завоеваниям любовь прекрасной юной королевы. Возможно, эта дикая мысль подогревалась сознанием опасности, с которой связано приключение такого рода. И он очертя голову кинулся в эту авантюру. Все восемь дней, проведенных герцогом в Париже, он нагло и открыто ухлестывал за королевой, демонстрируя полное пренебрежение к придворным и самому королю. В Лувре, во дворцах Шеврез и Гизов, в Люксембургском дворце, где размещался двор королевы-матери, — везде Бэкингом неотлучно сопровождал королеву. Ришелье, чья гордыня и самолюбие были задеты ухаживаниями герцога, презирал его как выскочку и, возможно, был даже оскорблен тем, что такого пустозвона прислали вести переговоры с государственным деятелем его масштаба (помимо сватовства у Бэкингема были в Париже и другие дела). Кардинал дал понять королю, что обращение герцога с королевой лишено должного почтения, а она, в свою очередь, ведет себя несколько неосмотрительно, принимая его у себя. Продолговатая физиономия короля вытянулась еще больше, а мрачные глаза сделались еще мрачнее. Но гнев монарха вместо того, чтобы устроить Бэкингема, только пуще прежнего распалил тщеславие герцога, подхлестнув его к новым дерзостям.

Второго июня блистательный эскорт из четырех тысяч знатных французских господ и дам, а также Бэкингем и его свита покинули Париж, чтобы сопровождать Генриетту-Марию, теперь уже королеву английскую, на первом этапе ее пути к новому дому. Король Людовик не участвовал в проводах; еще раньше он отбыл вместе с Ришелье в Фонтенбло, предоставив супруге и королевеве-матери попрощаться со своей сестрой.

Во время путешествия Бэкингом не упускал случая оказать тот или иной знак внимания Анне Австрийской. Долг предписывал ему ехать рядом с каретой Генриетты-

Мари, но Его Дерзость герцог Бэкингемский презирал долг и никогда не заботился о том, чтобы не обидеть и не оскорбить кого-нибудь своим поведением.

Ну а потом в эту игру вмешался сам дьявол.

В Амьене королева-мать занедужила, и двору пришлось сделать остановку на несколько дней, чтобы дать ее величеству возможность отдохнуть. Пока Амьен, удостоенный присутствия трех королей сразу, наслаждался оказанной честью, герцог де Шеврез³ устраивал увеселения в своем замке. Бэкингем тоже был там и на балу, последовавшем за пиршеством, танцевал с французской королевой.

После бала царственный поезд вернулся в резиденцию двора в епископском дворце. Прохладным вечером в пышный сад дворца вышла прогуляться перед сном небольшая компания. Бэкингем шествовал рядом с королевой. Заботы об Анне Австрийской были возложены на хозяйку дома, красивую и умную госпожу Мари де Роан, герцогиню Шеврез⁴, и ее егеря, месье де Путанжа. Мадам де Шеврез сопровождал очаровательный хлыщ, лорд Холланд, один из ставленников Бэкингема, и между молодыми людьми уже возникло какое-то мимолетное чувство. Месье де Путанж шел под руку с мадам де Вернье, в которую был тогда по уши влюблен. Вокруг этой группы по обширному саду разгуливали другие придворные.

То ли мадам де Шеврез и месье де Путанж были слишком увлечены своими собеседниками и собеседницами, то ли тихий свежий вечер и собственные переживания заставили их с пониманием отнестись к романтической эскападе, которую высокая гостья уже почти желала предпринять, — неизвестно. Во всяком случае, хозяева, похоже, позабыли, что она — королева, и с сочувствием вспомнили о том, что Анна — женщина, которую сопровождает самый блистательный кавалер на свете. В итоге они совершили непростительную ошибку, отстав от гостьи и потеряв ее из виду, когда Анна свернула в аллею над рекой.

Не успел Бэкингем осознать, что остался наедине с королевой и что сумерки и деревья — его верные союзники, скрывающие их от посторонних глаз, как кровь ударила ему в голову, и он принял дерзкое решение: он завоюет свою милую даму, завоюет здесь и сейчас. Ведь она так благосклонна к нему! И со столь явным удовольствием принимает его комплименты!

— Какой мягкий вечер, — со вздохом проговорил он. — Какой прелестный вечер...

— Да, право, — согласилась королева. — И как тихо. Только река нежно журчит...

— Река! — воскликнул герцог совсем другим тоном. — Какое же это нежное журчание? Река смеется, и смех ее язвителен. Это злая река.

— Злая? — опешила Анна.

Герцог остановился. Теперь они стояли бок о бок.

— Злая, — повторил он. — Злая и жестокая. Она питает море, которое вскоре разлучит меня с вами. И она потешается надо мной, злорадно смеется над той болью, которую мне вот-вот суждено испытать.

Королева растерялась. Дабы скрыть смущение, она засмеялась, но смех получился деланным. Она не знала, как воспринимать его слова, не знала, оскорбиться ей или обрадоваться этому дерзновенному посягательству на ее царственную неприступность и отчужденность от мира, в которых она жила до сих пор и, как учили ее испанские предки, должна была пребывать до самой смерти.

— О, господин посол.. но ведь вы еще приедете к нам, и, возможно, довольно скоро.

Он ответил ей тотчас же вопросом. Голос его дрожал, а губы были совсем рядом с ее лицом, так близко, что Анна чувствовала на щеке дыхание герцога.

— Вы этого хотите, мадам? Желаете ли вы этого? Умоляю вас, сжальтесь надо мной и скажите, что хотите этого! Тогда я приеду к вам, даже если ради этого мне придется повергнуть в руины половину мира.

Этот образчик слишком уж лихого ухажерства, облеченный в чересчур грубую, прямолинейную словесную форму, заставил королеву отпрянуть в страхе и раздражении, хотя раздражение, возможно, было лишь мимолетным и проистекало скорее всего из воспитания. Тем не менее Анна ответила ему тоном, полным ледяного достоинства, каким и должна была говорить испанская принцесса и французская королева:

— Вы забываетесь, месье. Королеве Франции не пристало внимать таким речам. По-моему, вы лишились рассудка.

— Да, я лишился рассудка! — выпалил герцог. — Я обезумел от любви — настолько, что забыл о том, что вы — королева, а я — посол. Посол — еще и мужчина, а королева — женщина, и это — наше подлинное естество. Это, а не титулы, при помощи которых Судьба

пытается заставить нас забыть о нашей истинной сущности. А между тем мое настоящее «я» любит вас, любит столь пылко и неодолимо, что совершенно не представляет себе, как можно не ответить взаимностью на такую любовь!

Это внезапное признание немного сбило королеву с толку. Да, герцог был прав: она — женщина. Пусть королева, но при этом — еще и полуброшенная жена, которой просто пользовались по мере надобности, не даря и толики тепла. И никто никогда не говорил ей ничего похожего, ни один человек ни разу не признавался ей, что само ее существование может так много значить для него, что само ее женское естество обладает волшебной способностью пробуждать страсть и преданность. И вот теперь герцог — такой великолепный, самоуверенный, не знающий себе равных — у ее ног и принадлежит ей. Это немного растрогало ее — женщину, почти не знавшую, что такое настоящий мужчина. Анне пришлось сделать над собой усилие, чтобы дать ему отпор, но отпор этот был не слишком убедителен.

— Тише, месье, умоляю вас! Вы не должны так говорить со мной. Это... это ранит меня!

О, это роковое слово! Анна хотела сказать, что Бэкингом ранит ее царственное достоинство, за которое она теперь цеплялась, как утопающий за соломинку. Но тщеславный герцог, разумеется, неверно истолковал ее слова.

— Ранит! — вскричал он, и восторженные нотки в его голосе, должно быть, насторожили королеву. — Потому что вы противитесь. Потому что боретесь со своим истинным естеством. Анна! — Он обнял ее и с силой привлек к себе. — Анна!

Это едва ли не грубое прикосновение повергло женщину в ужас и рассердило ее. Гордость Анны восстала — неистово и яростно. Громкий пронзительный крик вырвался из ее уст, разорвав тишину ночного сада. Он привел герцога в чувство. Ощущение было такое, словно его подняли высоко в воздух, а потом бросили о землю.

Бэкингом отпрянул, издав какое-то нечленораздельное восклицание. Мгновение спустя появился встревоженный месье Путанж. Когда он подбежал, держа ладонь на рукояти шпаги, королеву и герцога уже разделяла аллея. Бэкингом стоял прямо и горделиво; Анна дрожала и задыхалась, прижав руку к груди, как человек, пытающийся унять одышку.

— Мадам! Мадам! — вскричал Путанж голосом, полным тревоги и раскаяния, и бросился вперед.

Теперь он стоял между ними, переводя взгляд с королевы на герцога. Анна не произнесла ни слова, Бэкингом тоже молчал. Путанж совсем растерялся.

— Вы кричали, мадам, — напомнил он королеве. Бэкингом, вполне вероятно, подумал в тот миг, что сейчас шпага месье де Путанжа пронзит его внутренности. Должно быть, он сознавал, что его жизнь зависит от ответа Анны.

— Я позвала вас, только и всего, — молвила королева, всеми силами стараясь заставить свой голос звучать спокойно. — Должна признаться, что растерялась, оставшись наедине с господином послом. Не допускайте такого впредь, месье де Путанж!

Придворный молча поклонился. Его занемевшие пальцы отпустили рукоять шпаги, и он облегченно вздохнул. Он не обманывался относительно того, что здесь произошло, но никаких осложнений не предвиделось, и это радовало Путанжа. Вскоре к ним присоединились остальные гуляющие, и компания больше не распадалась, пока Бэкингом и лорд Холланд не откланялись.

Наутро проводжавшие сочли свой долг исполненным. Немного отъехав от Амьена, французский двор простился с Генриеттой-Марией, вверив ее заботам Бэкингема и его свиты, которым надлежало в целости и сохранности доставить английскую королеву к Карлу.

Подавленный и полный раскаяния, Бэкингом подошел к карете, в которой сидела Анна Австрийская в обществе одной лишь принцессы де Конти.

— Мадам, — молвил герцог, — я пришел проститься.

— Счастливого пути, господин посол, — ответила королева, и в голосе ее слышались теплота и нежность. Анна словно бы хотела показать этим, что не сердится на герцога.

— И попросить у вас прощения, мадам, — добавил Бэкингом тоном ниже.

— О, месье, не будем больше об этом, умоляю вас, — королева потупилась; руки ее дрожали, щеки то бледнели, то заливались румянцем.

Герцог отбросил занавеску и просунул голову в окно кареты, чтобы никто из стоявших снаружи не мог видеть его лица. Взглянув на Бэкингема, Анна заметила слезы в его глазах.

— Не поймите меня превратно, мадам. Я прошу

прощения только за то, что испугал вас и поставил в неловкое положение. Что касается произнесенных мною слов, то извиняться за них бессмысленно: я не мог не сказать их, точно так же, как не могу не дышать. Я подчинился инстинкту, который сильнее воли к жизни. Я лишь выразил чувства, владеющие всем моим существом, и они будут владеть им до конца моих дней. Прощайте, мадам! Если вам понадобится слуга, готовый умереть за вас, вы знаете, где его найти.

Он поцеловал край ее накидки, прижал тыльную сторону ладони к глазам и исчез, прежде чем королева успела вымолвить хоть слово в ответ.

Анна сидела бледная и задумчивая, и принцесса де Конти, исподтишка наблюдавшая за ней, заметила, что глаза ее увлажнились.

«Я могу поручиться за добродетель королевы, — говорила принцесса впоследствии, — но вовсе не уверена в твердости ее сердца: ведь слезы герцога, несомненно, тронули ее душу».

Но это еще не конец истории. На подступах к Кале Бэкингема встретил гонец из Уайтхолла, привезший ему распоряжения касательно переговоров, которые герцог был уполномочен провести во Франции. Ему надлежало условиться о союзе против Испании, но переговоры с Людовиком и Ришелье уже зашли в тупик, вероятно, из-за неудачно выбранного посланника. Распоряжения запоздали и были уже бесполезны, но оченьгодились Бэкингема в качестве предлога для возвращения в Амьен. Тут он добился аудиенции у королевы-матери и лично вручил ей совершенно ненужное послание к королю. Выполнив это «химическое поручение», как назвала его госпожа де Мотвиль⁵, герцог приступил к главному делу, ради которого и воспользовался предлогом для возвращения в Амьен. Он принялся добиваться приема у Анны Австрийской.

Было раннее утро, и королева еще не поднималась, но утренние приемы при французском дворе уже начались (члены королевской фамилии устраивали их, оставаясь в постели). Поэтому вряд ли стоит удивляться тому, что герцога допустили пред очи королевы. Та была одна, если не считать камеристки, госпожи де Лануа, которая была стара, благоразумна и добродетельна. Поэтому нетрудно представить себе возмущение этой дамы, когда она увидела герцога, стремительно вошедшего в комнату и рухнувшего

на колени у королевского ложа. Приподняв край покрывала, Бэкингом припал к нему губами.

Если молодая королева выглядела смущенной и взволнованной, то госпожа де Лануа являла собой образчик ледяного достоинства.

— Господин герцог, — проговорила она, — во Франции не принято преклонять колена, обращаясь к королеве.

— Мне нет дела до французских обычаев, мадам, — резковато отвечал Бэкингом. — Я — не француз.

— Это очень заметно, месье, — прошептала графиня. — И тем не менее я надеюсь, что, находясь во Франции, месье окажет нам любезность следовать обычаям этой страны. Позвольте мне распорядиться, чтобы господину герцогу принесли кресло.

— Мне не нужно кресло, мадам.

Графиня возвела очи горе, словно говоря: «Ну чего еще ждать от иностранцев?», и отступилась, позволив ему и дальше стоять на коленях. Правда, на всякий случай она стала в изголовье королевы.

Это не смутило герцога. Госпожа де Лануа была для него лишь частью интерьера. Бэкингом всецело сосредоточился на достижении своей цели. Государственные дела, рассказывал он королеве, вынудили его вернуться в Амьен. Немыслимо, чтобы, будучи совсем рядом с ее величеством, он не преклонил колена у царственных ног и не усладил свой взгляд созерцанием несравненного совершенства той, чей милый образ неотступно стоял перед его мысленным взором. Единственная отрада его жизни — быть преданным рабом ее величества.

Все это, и не только это, герцог выпалил единым духом. А королева, утратившая от растерянности и раздражения дар речи, лишь молча смотрела на него.

Это была не только невиданная дерзость, но и непростительное безрассудство. Не будь госпожа Лануа благоразумнейшей женщиной, двор наверняка в самом скором времени бурлил бы от сплетен, и ушей короля, несомненно, достигла бы очень интересная история, которая, безусловно, бросила бы тень на королеву. Но самонадеянный и тщеславный Бэкингом, похоже, нимало не заботился об этом. Похоже, что он хотел потешить самолюбие, связав свое имя с именем королевы узами скандала.

Наконец Анна обрела голос.

— Господин герцог, — смущенно пробормотала она, — не следовало, да и просто не стоило просить меня об

аудиенции только ради того, чтобы сказать все, что вы сказали. Я разрешаю вам удалиться.

Бэкингом заметил в глазах королевы растерянность. Вероятно, он объяснил эту растерянность присутствием в комнате третьего лица, женщины, на которую сам не обращал никакого внимания. Он снова поцеловал покрывало, тяжело поднялся на ноги и побрел к двери. С порога Бэкингом метнул на королеву дерзкий пламенный взгляд и, прижав руку к сердцу, трагически воскликнул:

— Прощайте же, мадам!

Госпожа де Лануа проявила сдержанность и не рассказывала о том, что произошло во время встречи королевы с герцогом. Но самого факта утреннего приема в опочивальне оказалось достаточно, чтобы у сплетников развязались языки. Отголоски сплетен долетели до короля, которому не преминули сообщить и о происшествии в саду, поэтому весть о возвращении Бэкингема в Лондон обрадовала Людовика. Но Ришелье, злобно ненавидевший Анну, всячески подогревал подозрительность короля.

— Почему она вскрикнула, сир? — вопрошал он. — Что такого сделал месье де Бэкингом, если она вскрикнула?

— Сие мне неизвестно, — отвечал король, — но коль скоро Анна закричала, она ни в чем не виновата.

В те дни Ришелье не развивал эту тему, но и не забывал о ней. У него были свои люди в Лондоне и других городах, и кардинал хотел, чтобы они подробно докладывали ему о действиях Бэкингема и мельчайших событиях его личной жизни. Но и Бэкингом оставил во Франции двух надежных агентов, наказав им не позволять королеве забывать о нем, поскольку намеревался под тем или иным предлогом вскоре вернуться в Париж и покорить Анну. Этими агентами были лорд Холланд и Бальтазар Жеррье⁶. Следует предположить, что они успешно отстаивали интересы герцога, а из последовавших событий можно сделать вывод, что ее величество охотно слушала рассказы об этом удивительном романтическом герое, оставившем яркий след на серой тропе ее жизни, озарив мимолетным сполохом своего пламенного сияния. Одинокая королева с нежностью и сожалением думала о нем, и к этому сожалению примешивалась толика жалости к себе самой — женщине, которой выпала такая безотрадная доля. Он был далеко, за морем; быть может, она больше никогда не увидит его, так почему бы ей не позволить

себе немного романтической нежности? Вреда от этого не будет.

И вот, в один прекрасный день, спустя много месяцев после отъезда Бэкингема, королева слезно попросила Жербье (если верить Ларошфуко?) съездить в Лондон и вручить герцогу безделку, которая напоминала бы ему о ней, — алмазные подвески. Жербье доставил в Англию этот знак любви (а подарок был именно знаком любви и ничем иным) и передал его герцогу.

Это событие вскружило Бэкингему голову, и желание видеть Анну стало настолько неодолимым, что он тотчас же сообщил во Францию о своем скором приезде туда в качестве посла английского короля для обсуждения ряда вопросов, связанных с Испанией. Но Ришелье уже прослышал от французского посланника в Лондоне, что в Йоркхаусе, резиденции Бэкингема, на стенах в великом множестве висят портреты королевы Франции. Кардинал считал своим долгом сообщить об этом королю. Людовик рассердился, но отнюдь не на королеву. Поверив в ее виновность, он позволил бы слишком глубоко уязвить свою мрачную гордыню. Поэтому он посчитал обилие картин одним из проявлений фанфаронства Бэкингема, формой хвастливого самовыражения, пустым бахвальством, свойственным людям, одержимым манией величия.

В итоге английскому королю сообщили, что присутствие герцога Бэкингема во Франции в качестве посла к его наихристианнейшему величеству крайне нежелательно по причинам, хорошо ему известным. Прознав об этом, тщеславный Бэкингем во всеуслышание объявил о причине, «хорошо ему известной», и громогласно поклялся поехать во Францию и встретиться с королевой, независимо от того, согласится на это французский король или нет. Его заявления были обычным порядком доведены до сведения Ришелье и переданы им королю Людовику. Но его наихристианнейшее величество просто фыркнул, посчитав все это очередным пустым бахвальством, и выкинул историю из головы.

Ришелье был обескуражен такой реакцией подозрительного по натуре короля. Она настолько раздражала и злила его, что, принимая во внимание неугасимую неприязнь кардинала к Анне Австрийской, легко поверить, что он не жалел сил, лишь бы добыть нечто похожее на доказательство и убедить Людовика, что королева вовсе не так уж невинна, как тот упорно считает.

Случилось так, что один из лондонских агентов

Ришелье сообщил ему (в числе других сведений о личной жизни герцога), что у Бэкингема есть тайный заклятый враг — графиня Карлейл. Между нею и герцогом существовали некогда нежные отношения, но длились эти отношения недолго, потому что Бэкингом вдруг ни с того ни с сего прервал их. Опираясь на эти сведения, Ришелье решил вступить в переписку с госпожой Карлейл и в письмах своих так ловко обработал графиню, что она вскоре (как нам поведал Ларошфуко), сама того не понимая, стала наиболее ценным шпионом его преосвященства из всех тех, кого он приставил к Бэкингему. Ришелье сообщил ей, что прежде всего его интересуют сведения, способные пролить истинный свет на отношения герцога и французской королевы, и убедил графиню сообщать ему каждую, даже самую незначительную, подробность, поскольку мелочей в таком деле не бывает. Злость графини на Бэкингема только усиливалась из-за того, что ее приходилось подавлять, ибо из опасений за свое доброе имя госпожа Карлейл не осмеливалась дать ей волю. Эта злость превратила знатную даму в послушное орудие Ришелье, и она исправно собирала для герцога всевозможные сплетни. Но это были лишь пустые пересуды.

И вот, в один прекрасный день к графине попали действительно ценные сведения. Когда она передала их Ришелье, у того заколотилось сердце. Из достовернейших источников графине стало известно, что алмазные подвески, которые герцог последнее время носит, не снимая, были посланы ему в знак любви королевой Франции с ее личным гонцом. Это известие могло уничтожить королеву. Ришелье призадумался. Сумей он завладеть подвесками, и дело сделано. Все остальное — пустяки. Тогда упрямой, тупой вере короля в безразличие его жены к этому хвастливому расфуфыренному английскому выскочке будет положен конец — и какой! Ришелье затаился на время и послал письмо графине.

Вскоре в Йоркхаусе давали пышный бал, который удостоили своим присутствием король Карл и его молодая супруга. Госпожа Карлейл тоже посетила бал, и Бэкингом танцевал с ней. Женщина она была красивая, образованная и смышленная, а тем вечером и вовсе сумела очаровать его светлостью так, что он, вероятно, корил себя за то, что обошелся с ней слишком легкомысленно. А графиня всеми силами давала герцогу понять, что их отношения возобновятся, как будто никакой размолвки и не было.

стоит только ему этого пожелать. Она была весела, шаловлива, кокетлива и неотразима. Настолько неотразима, что очень скоро герцог, поддавшись ее чарам, покинул своих гостей и, предложив даме опереться на его руку, вышел с нею в сад. Они уединились в тени возле запруды, которую по заказу Бэкингема только что соорудил зодчий Иниго Джонс⁸. Миледи томно льнула к Бэкингему, позволила обнять себя за плечи и на миг тесно прильнула к нему. Герцог пылко обнял госпожу Карлейл, и тут она, прежде такая покладистая, вдруг принялась яростно сопротивляться, проявляя уже неподдельное женское упрямство. Началась возня. Наконец графиня вырвалась из рук герцога и стремглав помчалась через лужайку к огромному дому, сиявшему всеми окнами. Его светлость пустился следом за ней, не зная, смеяться ему или злиться.

Он не сумел догнать беглянку и возвратился к гостям, чувствуя себя одураченным. Бэкингем внимательно рассматривал госпожу Карлейл, но нигде не видел ее. Наконец он принялся наводить справки, и ему сказали, что графиня велела подать свой экипаж и покинула Йоркхаус тотчас же по возвращении из сада.

Она расстроилась, вот и укатила, решил Бэкингем. Но это было странно. Возникало противоречие: получалось, что госпожа Карлейл обиделась на герцога за то, к чему сама столь явно склоняла его. Ну да, она всегда была строптивой, упрямой кокеткой! Сказав себе это, Бэкингем выкинул графиню из головы и перестал думать о ней.

Но вскоре, когда гости разъехались и огни в громадном особняке погасли, Бэкингем вновь принялся размышлять о происшедшем. В глубоком раздумье сидел он у себя в спальне, теребя пальцами каштановую бородку. В конце концов он пожал плечами, хохотнул и встал, чтобы разоблачиться ко сну. И тут у него вырвался крик, на который примчался из соседней комнаты камердинер. Ленточка с алмазными подвесками исчезла.

Обнаружив пропажу, герцог, при всем своем безрассудстве и безразличии, тотчас же почувствовал недоброе. Он побледнел и застыл, глядя в одну точку, на лбу выступила испарина. Это была не какая-нибудь заурядная кража. В этот вечер он навесил на себя десяток куда более дорогих украшений, каждое из которых было гораздо легче снять. Тут явно постарался какой-то французский лазутчик. Да герцог и не скрывал, откуда получил эти подвески.

И тут вдруг его озарило, будто вспышкой. Он понял,

почему госпожа Карлейл вела себя столь странно и непоследовательно. Эта шлюха околпачила его. Ленточку украла она. Герцог снова сел и закрыл лицо руками. Скоро все события выстроились в его сознании в единую цепь.

Он быстро выработал план действий, которые следует предпринять, чтобы сберечь честь французской королевы. Герцог был фактическим правителем Англии, облеченным почти неограниченной властью. И сегодня ночью он пустит в ход всю свою власть без остатка, чтобы остановить собственных врагов и врагов королевы, сколь бы изощренны и искусны те ни были. Пострадает немало невинных людей, тысячи англичан увидят, что их права и свободы растоптаны. Но какое это имеет значение? Его светлости герцогу Бэкингему необходимо исправить свою оплошность.

— Бумагу и чернила, — приказал он камердинеру. — А потом позовите сюда господина Жербье. Разбудите Лейси и Тома, незамедлительно пришлите их ко мне. Объявите, что мне понадобятся гонцы. Распорядитесь, чтобы они собрались в путь и сидели в седле не позднее чем через полчаса.

Растерянный камердинер отправился исполнять поручение, а герцог взялся за перо и принялся писать. Наутро английские купцы узнали, что порты Британии закрыты по велению короля, как сообщил его министр, герцог Бэкингом, и что принимаются (а в южных портах уже приняты) меры по задержанию у берегов острова всех судов, больших и малых. Суда должны стоять в портах вплоть до объявления воли его величества. Уж не война ли? — спрашивал растерянный народ. Узнай простой люд правду, растерянность его, вероятно, еще более усугубилась бы, хотя и приобрела бы несколько иной оттенок. Гонцы неслись во весь опор (наверняка гораздо быстрее, чем любой посланец, ищущий убежища во Франции), и блокада портов соответственно была осуществлена очень быстро. И вот все ворота Англии на замке; алмазные подвески, от которых зависит честь французской королевы, никуда не денутся.

Тем временем один из ювелиров в поте лица заменял украденные камни новыми, столь искусно подделывая их, что никто не смог бы отличить копию от оригинала. Этой работой руководил сам Бэкингом и Жербье. Вскоре она была закончена, и из устья Темзы выскользнул корабль, имевший разрешение бдительных блюстителей королев-

ских указов на выход в море. Он взял курс на Кале, где уже начинали вслух высказывать недоумение в связи с тем, что английские суда вдруг перестали заходить в порт. В Кале с корабля сошел Жербье. Он поскакал прямо в Париж, везя французской королеве поддельные подвески взамен тех, которые она послала Бэкингему?

Через двадцать четыре часа с английских портов была снята блокада, и торговля вновь стала свободной и беспрепятственной. Но именно этих двадцати четырех часов не хватило Ришелье и его агенту, графине Карлейл. Его высокопреосвященству оставалось лишь горевать об упущенной возможности, упущенной только потому, что какой-то английский выскочка был наделен неограниченной властью в своей стране.

Но и это еще не конец истории. Пылкий и безрассудный Бэкингем теперь хотел любой ценой добраться до предмета своего вожделения. Он вознамерился ехать во Францию, чтобы встретиться с королевой. Поскольку путь в эту страну был ему заказан, герцог решил вломиться туда силой, пройдя кровавой дорогой войны. Пусть страна лежит в руинах, прозябая в разоре и нищете, пусть льется кровь. В конце концов его пошлют туда вести мирные переговоры, и он не упустит эту возможность. Вероятно, между Англией и Францией существовали трения, однако их вполне можно было уладить путем переговоров. Но ради свидания с королевой...

Поводом к войне (весьма надуманным) стали протестанты Ла-Рошели, поднявшие мятеж против своего короля. К ним на подмогу и отплыл Бэкингем во главе английских экспедиционных сил. Судьба уготовила этому воинству злоключения и разгром. Его потрепанные остатки с позором возвратились в Англию, народ которой возненавидел герцога пуше прежнего. И это еще мягко сказано.

Бэкингем отправился искать утешения к людям, понастоящему любившим его, — к королю и его прекрасной супруге. Но поражение не сбило с него спесь и не убавило решимости добиться своей цели. Он принялся открыто снаряжать новую экспедиционную армию, нисколько не заботясь о том, что враждебный ему и полный ненависти многострадальный народ уже ропшет и вот-вот поднимет бунт. Какое ему дело до воли народа? Он хочет завоевать любимую женщину, и плевать ему на то, что в Европе по его вине вспыхнет пожар войны, прольются реки крови, будут впустую растрочены огромные богатства.

Теперь Бэкингема ненавидели уже отнюдь не безмол-

вно, как раньше. Друзья герцога, опасавшиеся, что скоро народ перейдет от слов к делу, призывали Бэкингема принять меры предосторожности и советовали носить для безопасности кольчугу. Но герцог, по-прежнему самоуверенный и язвительный, лишь злорадно потешался над ними.

— Какая в том нужда? — презрительно отвечал он доброхотам. — Римского духа больше нет!

Но тут он заблуждался. Как-то утром, после завтрака, когда Бэкингом выходил из портсмутской резиденции на Хай-стрит, откуда руководил последними приготовлениями к своей крайне непопулярной в народе экспедиции, к нему приблизился Джон Фелтон. Этот человек добровольно вызвался сыграть роль орудия народного мщения. Подойдя к Бэкингеми, Фелтон по самую рукоятку всадил ему в грудь кинжал¹⁰, благочестиво воскликнув при этом:

— Да сжалится Господь над душою твоей!

Принимая во внимание все обстоятельства дела, вероятно, следует признать, что убийца (а вместе с ним и народ) имел все основания обратиться к Богу с этой мольбой.

IX

ТРОПОЮ ИЗГОЯ

Падение лорда Кларендона

Плотно закутавшись в плащ, чтобы уберечься от ледяного дыхания зимней ночи, грузный господин в летах осторожно спускался по мокрым и скользким ступеням пристани. Мертвенно-белый свет рожка отражался в мутной зеленой воде, бликами играл на морских водорослях. Тяжело опираясь на протянутую матросом руку, старик сошел в поджидавшую его шлюпку, которая подпрыгивала на высоких темных волнах. Отпорный крюк чиркнул по камню, суденышко отвалило от пристани. Весла погрузились в воду, и шлюпка скользнула во тьму, держа курс на два огромных кормовых огня, мерно раскачивавшихся на фоне черного покрова ночи. Сидевший на корме почтенный господин обернулся, чтобы бросить последний взгляд на Англию, которую так любил, которой служил и которой управлял. Но увидел он только фонарь да еще круг тусклого света на сходящих причала.

Он вздохнул и снова повернулся лицом к двум огням, плясавшим на невидимом во тьме корпусе корабля, которому предстояло везти Эдуарда Хайда, графа Кларендона¹ и в недавнем прошлом лорда-канцлера, в далекое изгнание.

Эдуард Хайд вспоминал это прошлое так же, как умирающий оглядывается на вереницу прожитых лет. Карьера его погибла, и он мог спокойно окинуть мысленным взором тридцать лет преданного служения родине и великие свершения, эпоха которых началась для него еще в годы царствования Карла I, когда Эдуард учился в Темпле².

Он верно служил королю Карлу, столь верно, что, когда злая судьба вынудила роялистов предпринять шаги по спасению принца Уэльского от Кромвеля, именно Эдуарду Хайду поручили направить мальчика на тропу странствий. Так что у графа уже был опыт изгоя, он познал эту горькую долю в дни, когда Карл II был бедным, бездомным, отверженным скитальцем. Менее стойкий и преданный человек, возможно, бросил бы службу, не сулившую никакого дохода, тем более что Эдуард Хайд не был обделен талантами. Но он верно служил Стюартам, неустанно и упорно отстаивал их интересы и в конце концов, пустив в ход все свое мастерство государственного деятеля, добился восстановления этой династии в правах на английский престол. И чем вознаградили его царственные особы за верность и самоотверженный труд в изгнании? Яков Стюарт, герцог Йоркский, обесчестил дочь лорда Кларендона. Поистине королевская награда!

Хайд не сложил руки и после того, как сделал возможной Реставрацию; именно он взял на себя трудную задачу соединения новой и старой политических линий в смутные времена. А когда выяснилось, что события развиваются совсем не так, как того желает Англия, Хайду пришлось стать козлом отпущения. На него, как на главу администрации, взвалили ответственность даже за те действия правительства, против которых он горячо, но тщетно возражал в Совете. Даже в том, что Карл продал Дюнкерк французам и промотал полученные деньги, обвинили Хайда. А заодно и в бездетности королевы. Причина последнего обвинения заключалась в том, что герцог Йоркский искупил свою вину перед дочерью Хайда, женившись на ней. Герцог был наследником престола, и народ, всегда готовый поверить в самую невероятную чушь, был убежден, что Хайд, желавший посадить на

трон своих внуков, специально женил Карла на бесплодной женщине.

Когда поднявшиеся вверх по Темзе голландцы сожгли свои корабли в Чатеме и лондонцы уже слышали вражескую канонаду, народ объявил Хайда предателем. Повергнутая в ужас толпа слепо жаждала крови и не желала считаться с доводами разума. Чернь побила окна в доме Хайда, разорила его сад и соорудила виселицу перед воротами роскошного особняка на северной стороне Пиккадилли.

Эдуард Хайд, граф Кларендон и лорд-канцлер Англии, умел завоевать любовь своих приближенных, но не обладал качествами, необходимыми, чтобы снискать дешевую популярность у толпы. Да он и не жаждал этой популярности. Он был человеком строгих нравов, серьезным и рассудительным, и поэтому его ненавидели придворные повесы Карла. Его набожность и принципиальность привели к тому, что пуритане начали подозревать Хайда в фанатизме, а приверженность к единоначалию в политике бесила членов палаты общин, которые все как один терпеть его не могли. Да и как иначе? Ведь времена самодержавия прошли.

И все же Хайд мог бы противостоять всеобщей неприязни, прояви Карл хотя бы толику той верности и преданности дружбе, какую в свое время проявил лорд Кларендон по отношению к нему. Правда, какое-то время король продолжал называть себя другом графа. Возможно, они оставались бы друзьями до конца, не вмешайся в эту историю женщины. Как утверждает Ивлин, описавшая эти события в дневнике, падение этого человека было делом рук «шутов и дамочек для увеселений».

История падения Кларендона очень запутана, и ее не найти в школьных учебниках. По сути дела, история эта одновременно служит историей женитьбы короля Карла и жизнеописанием Катарины Браганса³, этой несчастной маленькой безобразной королевы, на долю которой выпало ровно столько страданий, сколько выпадает их женщине, ставшей женой «султана» в стране, обычаи и нравы которой не предусматривают существования гарема.

Если Кларендон и не был вдохновителем этого брака, то он, во всяком случае, одобрил матримониальное предложение португальцев, хотевших заключить союз с Англией для защиты от хищнических посягательств Испании. На него произвело впечатление предложенное приданое — 500 тысяч фунтов стерлингов наличными,

Танжер, позволявший англичанам господствовать на Средиземном море, и Бомбей⁴. Хайд еще не мог предвидеть, что обладание Бомбеем и свобода торговли в Восточной Индии, которую Португалия до сих пор ревниво сохраняла за собой, сделают Англию способной стать великой Британской империей. Но и одних коммерческих преимуществ было вполне достаточно, чтобы сделать этот брак желательным для Англии.

Катарина Браганса отплыла в Англию, и 19 мая 1662 года Карл в сопровождении блистательной свиты встретил свою невесту в Портсмуте. Король был на редкость представительным мужчиной, высоким (шесть футов роста), худощавым, элегантным и энергичным. Непривлекательность искаженных, грубоватых черт его лица сглаживалась блеском выпуклых прищуренных темных глаз и пленительной улыбкой. И облик, и повадка короля были грациозны, речь правильна, а обворожительная изысканность манер свидетельствовала о сибаритском добродушии.

Но его изысканность и добродушие улетучились, едва король увидел свою будущую супругу. Двадцатичетырехлетняя Катарина была до нелепости мала ростом, с непропорционально вытянутым туловищем и коротенькими ножками. В своей старомодной диковинной юбке она казалась коленопреклоненной, когда стояла рядом с Карлом. Цвет лица у нее был болезненно-желтый, и прекрасных глаз оказалось явно недостаточно, чтобы скрасить вопиющую непривлекательность. Черные волосы Катарины были уложены самым нелепым образом: взбиты в высокую копну и украшены по бокам головы бантами, похожими на маленькие крылья.

Вряд ли стоит удивляться тому, что веселый король, привередливый сластолюбец и тонкий ценитель женской красоты, шагавший навстречу невесте, вдруг будто споткнулся и на миг замер, как вкопанный.

— Господи! — поморщившись, бросил он стоявшему рядом Этериджу. — Они привезли мне летучую мышь, а не женщину!

Однако лишенная очарования девушка привезла хорошее приданое, а Карл отчаянно нуждался в деньгах.

— Я полагаю, — сказал он чуть погодя Кларендону, — мне придется проглотить эту черную корку. Иначе как съест варенье, которым она намазана?

Серьезные глаза лорда-канцлера смотрели на короля почти сурово, когда он холодным деловитым тоном

перечислял блага, которые принесет этот брак. Он не осмеливался упрекнуть своего господина за грубые шутки, но не желал и смеяться вместе с ним. Кларендон был слишком честен, чтобы заниматься подхалимажем.

К Катарине немедленно приставили, по словам Граммона, шестерых страшилищ, которые называли себя фрейлинами, и гувернантку, оказавшуюся сущим чудовищем. В сопровождении этой свиты она отправилась в Хэмптон-Корт, где и прошел медовый месяц. Здесь несчастная женщина, по уши влюбленная в статного, длинноногого и худого, как щепка, мужа, какое-то время прожила в обманчивом раю. Но разочарование не заставило себя ждать. Благодаря приданому Катарина стала королевой Англии, но вскоре поняла, что занимает положение жены лишь *«de jure»**. Между тем Карл развлекался, как хотел, с женами *«de facto»***, и его нынешняя супруга «де-факто», владычица сердца короля и первая дама его гарема, была прекрасной мегерой по имени Барбара, женой покладистого Роджера Палмера, графа Каслмэна.

Как это бывает в таких случаях, нашлось немало доброхотов, которые, руководствуясь любовью к охваченной иллюзиями королеве и заботой о ней, постыдились сорвать шторы с ее глаз. Они сообщили Катарине об отношениях его величества с миледи Каслмэн — отношениях, зародившихся еще в те времена, когда Карл был бездомным скитальцем. Судя по всему, известие глубоко взволновало бедняжку, но настоящая беда еще ждала ее впереди. Приехав в Уайтхолл, она увидела список своих фрейлин, и первым в нем стояло имя госпожи Каслмэн. Гордость несчастной маленькой женщины восстала против такого оскорбления. Катарина вымарала Барбару из списка и повелела никогда не допускать фаворитку короля к своей особе.

Но королева не приняла в расчет Карла. При всем своем дружелюбии, при всей светской изысканности и веселости, король был не лишен цинизма. Карл сам привел свою смазливую фаворитку к королеве и представил ее супруге в присутствии всех придворных, которые, несмотря на собственное распутство, в изумлении взирали на это издевательство над достоинством царственной особы.

Последствия его превзошли самые мрачные ожидания.

* Юридически (лат.).

** Фактически (лат.).

Катарина застыла, будто ее ударили. Ее лицо делалось все бледнее, пока не приобрело серый цвет; черты его исказились; глаза наполнились слезами горькой обиды и уязвленной гордости. А потом из ее носа внезапно хлынула кровь; не вынеся горя, королева упала в обморок, и португальские придворные дамы подхватили ее обмякшее тело.

Поднялся переполох. Воспользовавшись им, Карл ретировался и уволок за собой любовницу. Он понимал, что в случае промедления даже умение с легкостью выходить сухим из воды не поможет ему сохранить достоинство.

Ставить такой эксперимент повторно, разумеется, было нельзя. Однако поскольку король возжелал, чтобы графиня Каслмэн была возведена в ранг одной из фрейлин королевы (или, вернее, потому, что этого возжелала ее светлость, а Карл в руках ее светлости становился податливым, как воск), ему пришлось бы втолковывать жене, что, по его мнению, хорошо для супруги короля, а что плохо. Убеждать Катарину должен был Кларендон: Карл решил возложить эту задачу на него. Но канцлер, столь долго и исправно игравший роль Ментора при Телемахе⁵, счел нужным объяснить с королем и наставить его на путь истинный в морали, как прежде наставлял в политике.

Кларендон отклонил предложение стать посредником и даже пытался убедить его величество в том, что избранная им линия поведения попросту непристойна.

— Сир, кому же, как не ее величеству, решать, кто из фрейлин будет прислуживать ей в опочивальне, а кто нет, — говорил Кларендон королю. — И, признаться, в данном случае я вовсе не удивлен ее решением.

— И тем не менее, милорд, заявляю вам, что это ее решение будет отменено.

— Кем, сир? — очень серьезно спросил короля канцлер.

— Ее величеством, разумеется.

— Под давлением, которое, по замыслу вашего величества, должен оказать на королеву я, — отвечал Кларендон тоном наставника, каким привык разговаривать с королем, когда тот еще был ребенком. — В те времена, когда страсти не затмевали ваш разум, сир, вы сами осуждали действия, на которых теперь настаиваете. Не вы ли, сир, горячо порицали своего кузена, короля Людовика⁶, за то, что он навязал королеве мадемуазель

де Лавальер? Вы, разумеется, помните, каких вещей наговорили тогда королю Людовику.

Карл не забывал своих нелестных замечаний, которые теперь были вполне применимы к нему самому. Король почувствовал, что ему объявили шах, и закусил губу.

Но в скором времени (несомненно, вняв настырным увещеваниям миледи Каслмэн) он возобновил наступление и отправил канцлеру письмо с требованиями безоговорочного повиновения.

«Пустите в ход все свое искусство, — писал Карл, — дабы добиться того, чего, я уверен, требует моя честь. И кто бы ни выступал недругом миледи Каслмэн в означенном деле, человек этот станет моим врагом на всю жизнь. В этом я клянусь и даю слово».

Милорд Кларендон не тешил себя иллюзиями относительно рода людского. Он имел возможность изучить этот мир в самых разных проявлениях и знал его до тонкостей. Тем не менее письмо короля стало для него горькой пилюлей. Всем, что имел Карл, включая его нынешнее положение, он был обязан Кларендону. И тем не менее не постеснялся написать эту обидную фразу: «Кто бы ни выступал недругом миледи Каслмэн в означенном деле, человек этот станет моим врагом на всю жизнь».

Все прошлые заслуги Кларендона утратят смысл и значение, если он откажется исполнить нынешнее недостойное требование Карла. Стоит злобной распутнице вымолвить одно-единственное слово, и все его свершения и труды на благо короля немедленно будут преданы забвению.

Кларендон проглотил обиду и попросил аудиенции у королевы, дабы выполнить миссию, которую он всецело осуждал. Он пустил в ход доводы, неубедительность которых была столь же очевидна для Катарины, как и для него самого.

Плодовитый автор увлекательных светских хроник мистер Пепис обескураженно пишет в своем дневнике, что уже наутро весь двор обсуждал сцену, разыгравшуюся накануне ночью в королевских покоях. Их величества так бушевали, что крики были слышны в соседних помещениях.

Можно понять несчастную маленькую женщину, страдавшую от оскорбления, брошенного ей Карлом устами лорда Кларендона. Можно понять нападки, с которыми она обрушилась на царственного супруга, обвиняя его не

только в отсутствии любви, но и в неуважении к своей особе, проявлять которое он был просто обязан. ^ Карл ради исполнения умысла, внушенного ему прекрасной мегерой, от которой он не в силах был отказаться, забыл о своем дружелюбии и набросился на жену с криками. В конце концов он пригрозил ей еще большим позором: он отправит Катарину обратно в Португалию, если она не смирится с тем положением, которое предлагает ей он здесь, в Англии.

То ли угроза возымела действие, то ли какие-то иные доводы, но Карл добился своего. Катарина Браганса смирила гордыню и подчинилась. И подчинение это было полным и безоговорочным. Миледи Каслмэн не только вошла в опочивальню королевы как фрейлина, но и в самом скором времени добилась расположения Катарины, чем вызвала всеобщее недоумение и дала пищу пересудам.

Фаворитка одержала триумфальную победу, которая добавила ей наглости. Особенно ярко эта наглость проявилась в неприязни к канцлеру, точка зрения которого была известна Барбаре со слов короля. Вполне понятно, что она возненавидела Кларендона. Это естественно для женщин такого пошиба. Исполненный холодного презрения, Кларендон не обращал внимания на неприязнь фаворитки. В итоге ненависть ее только возрастала. И, разумеется, нашлись те, кто разделял эту ее ненависть. Безнравственные придворные, чья неприязнь к суровому лорду-канцлеру подогревалась его презрением к ним. И вот придворные сговорились низвергнуть графа Кларендона с его пьедестала.

Кларендон имел влияние на короля, и все попытки подорвать это влияние оказались тщетными: Карл понимал, сколь ценен для него лорд-канцлер. Понимал он также, чем вдохновляются происки врагов. Тогда придворный сброд принялся старательно и коварно обрабатывать толпу, создавая определенное общественное мнение, которое правильнее было бы назвать общественной слепотой. Необразованная чернь — самая плодородная почва для семян скандала, и это понимают все, кто стремится уязвить великого человека. Наверняка и миледи, и двор в значительной степени повинны в появлении на воротах дома Кларендона провокационной листовки, в которой его обвиняли в конфузах с Дюнкерком, Танжером и в бесплодии королевы.

Ее светлость графиня Каслмэн вполне могла счесть непопулярность Кларендона свидетельством своего триум-

фа. И триумф этот полностью соответствовал тому, чего она желала. Но Карл был тем, чем он был, и, следовательно, частые (пусть и мимолетные) приступы ревности и беспокойства отравляли графине жизнь, постоянно напоминая ей о непрочности положения королевской фаворитки, женщины, которая всецело зависит от капризов и блажи человека, обеспечившего ей это положение.

И вот настал ее черный день. День, когда Барбара вдруг поняла, что ее влиянию на царственного любовника пришел конец, когда и мольбы, и упреки не могли более тронуть его душу. Отчасти виной тому было ее собственное неблагодарное. Но в гораздо большей степени — девушка, шестнадцатилетнее дитя, милое, свежее, золотоволосое создание, еще игравшее в куклы, но уже обладавшее острым живым умом, образованностью и ясностью мысли, не избалованное ни августейшим вниманием, ни сознанием того, что превращается в лакомый кусочек.

Созданием этим была мисс Фрэнсис Стюарт, дочь лорда Блэнтайра, только что прибывшая ко двору и ставшая фрейлиной ее величества. Загляните в дневники восторженного Пеписа, и вы узнаете, сколь глубоко поразила его красота этой девушки. Как-то раз он увидел ее в парке, гарцующей на лошади рядом с королем в сопровождении целого сонма дам, среди которых была и миледи Каслмэн, утратившая, по словам Пеписа, «всякую веселость». Был в истории такой миг, когда мисс Стюарт едва не стала королевой Англии. И хотя ей не удалось достичь таких высот, профиль ее был запечатлен на английских монетах и красуется на них поныне (смотрится, надо сказать, лучше, чем лик любой законной королевы) в образе Британии, символической женщины, олицетворяющей страну. Именно мисс Стюарт послужила моделью художнику.

Карл, не таясь, домогался ее. В таких делах он никогда не заботился о соблюдении внешних приличий. Король был настолько настырен, что всякий, кто добивался аудиенции у него зимой 1666 года, обычно спрашивал, приходя в Уайтхолл, где находится его величество — наверху или внизу. «Внизу» означало — в покоях мисс Стюарт на первом этаже дворца, где Карл был всегда. А поскольку двор всегда следует за монархом и смеется, когда улыбается король, милое дитя вскоре оказалось чем-то вроде владычицы придворных, валом валивших в ее чертоги. Дамы и кавалеры приходили туда

пофлиртовать и посплетничать, поиграть в карты или просто засвидетельствовать почтение.

Как-то январским вечером за огромным столом в роскошной гостиной мисс Стюарт собралась компания щеголей в шуршащем атласе и пышных париках и дам с завитыми волосами и обнаженными плечами. Общество тешилось игрой в бассет⁷. Оживленная беседа то и дело прерывалась взрывами смеха; белые, усыпанные перстнями руки тянулись за картами или к кучкам золота, то и дело перемещавшимся по столу в зависимости от превратностей изменчивой карточной фортуны.

Миледи Каслмэн, сидевшая между Этериджем и Рочестером, играла молча. Взгляд ее был мрачен, губы плотно сжаты. Нынче вечером она проиграла около полутора тысяч фунтов, но Барбара была вообще расточительна, азартна и легко расставалась с деньгами. Ей случалось проигрывать и в десять раз больше, не утрачивая при этом способности улыбаться. Так что причиной ее дурного настроения была вовсе не игра. Барбара небрежно бросала карты, ей никак не удавалось сосредоточиться, и прекрасные грустные глаза графини неотрывно глядели в противоположный конец длинной комнаты. Там за маленьким столиком в окружении полудюжины повес сидела мисс Стюарт, занятая карточной игрой совсем другого сорта. Девушка никогда не играла на деньги, и карты были нужны ей, только чтобы строить из них домики. Сейчас она была занята возведением карточного замка, в чем ей помогали кавалеры. За строительством внимательно наблюдал его светлость герцог Бэкингем, большой искусник по части любого зодчества на зыбкой почве.

В сторонке, ближе к очагу, стояло огромное кресло из золоченой кожи, в котором развалился король, праздно следивший за маленькой компанией. По его смуглому угрюмому лицу блуждала слабая, невыразительная улыбка. Одной рукой монарх рассеянно поглаживал маленького спаниеля, свернувшегося клубочком у него на коленях. Чернокожий мальчик в ярком, украшенном перьями тюрбане и длинном багровом камзоле, расшитом золотом (в комнате было трое или четверо слуг-африканцев), подал королю кубок молока с вином и пряностями на золотом подносе.

Король поднялся, оттолкнул негритенка и, зажав под мышкой спаниеля, двинулся через комнату к столу мисс Стюарт. Кавалеры поспешно ретировались, заметив приближение короля, как удирают шакалы, когда к ним

подходит лев. Последним с видимой неохотой ушел его светлость герцог Ричмонд, расфуфыренный, неказистый человечек хрупкого телосложения.

Карл стоял и смотрел на мисс Стюарт. Их разделял стол, на котором высился карточный замок.

Дама пригласила его величество полюбоваться творением милорда Бэкингема. Ф-ф-ф-ф! — дунул его величество, и сооружение с шелестом превратилось в груды карт.

— Символ королевского могущества? — с дерзким вызовом проговорила девица. — Разрушение дается вам легче, чем созидание, сир.

— Ну, вы чудачка! Бросаете мне вызов? Что ж, я с легкостью докажу, что вы заблуждаетесь.

— Пожалуйста, доказывайте. Вот карты.

— Карты! Фи! Пусть Бэкингем тешится карточными замками. Не такой замок построю я для вас, если прикажете.

— Я прикажу его королевскому величеству? Бог мой! Да это едва ли не государственная измена.

— Не больше, чем та, которую вы совершаете, захватив вашего короля в рабство, — глаза его странно блеснули. — Так что, построить вам замок, дитя мое?

Девица взглянула на него и отвернулась. Ее веки задрожали, из уст вырвался вздох. Она была смущена и взволнована.

— Замок, который ваше величество возведет для кого-либо, кроме королевы, должно быть, окажется тюрьмой.

Фрэнсис поднялась и, устремив взор в дальний конец комнаты, перехватила негодующий взгляд прекрасных глаз отверженной фаворитки.

— У миледи Каслмэн такой вид, словно судьба не благоволит к ней, — сказала девушка так простодушно, что Карл не понял, есть ли в ее словах тайный подтекст. — Может быть, пойдем посмотрим, как у нее идет игра? — добавила Фрэнсис, забыв об этикете, и король вновь усомнился, а не намеренно ли она пренебрегает приличиями?

Он, разумеется, уступил. Он всегда вел себя так с красотками, в особенности с теми, которыми пока не обладал. Но подчеркнутая учтивость, с которой он вел Фрэнсис через залу, была не более чем маской, под которой король скрывал досаду: так уж получалось, что он все время уступал мисс Стюарт, и это злило его. Она

умела обмануть его своим трижды проклятым напускным добродушием, своими внешне простыми высказываниями, которые намертво врезались в его разум и причиняли танталовы муки. «Замок, который ваше величество возведет для кого-либо, кроме королевы, должно быть, окажется тюрьмой». Что же она хотела этим сказать? Может быть, она позволит возвести для себя замок лишь после того, как он сделает ее королевой? Мысль эта преследовала Карла, не выходила у него из головы, терзала разум. Он знал о существовании партии, враждебной герцогу Йоркскому и Кларендону. Партия эта боялась, что герцог унаследует престол, а после него на трон сядет внук Кларендона, поскольку Катарина Браганса бесплодна. Следовательно, эта партия очень желала бы развода Карла.

В существовании этой партии, по иронии судьбы, была в значительной степени повинна миледи Каслмэн. Она ненавидела Кларендона и вслепую искала оружие, которым могла поразить канцлера. В ходе этих поисков она если и не выдумала, то, во всяком случае, помогла распространить глупое клеветническое утверждение, что-де Кларендон нарочно выбрал Карлу в жены бесплодную женщину, дабы обеспечить детям своей дочери престолонаследие. Но Барбара никогда не думала, что эта клевета рикошетом ударит по ней самой. Именно это и произошло. Фаворитка и предположить не могла, что партия, навязывающая королю развод, возникнет как раз в миг его страстного увлечения неприступной и простодушно-хитрой Фрэнсис Стюарт.

Дерзкий и бесстрашный Бэкингем ловко добился роли рупора этой партии. Предложение развестись ошеломило Карла: он и сам, вероятно, втайне испытывал такой соблазн, и вот теперь его мечта оказалась облеченной в слова. Король хмуρο взглянул на Бэкингема.

— Не зря я свято верил, что ты — самый большой хитрец в Англии, — заявил он.

Дерзкий щеголь расшаркался.

— Думаю, что для вашего подданного я достаточно сообразителен, сир.

Карл, которого всегда было легче убедить доброй шуткой, чем серьезным доводом, засмеялся своим мягким бархатистым смехом. Но тут же опять вздохнул и задумчиво нахмурился.

— Грешно было бы делать бедняжку несчастной только

потому, что она — моя жена и не может иметь от меня детей. Это не ее вина.

Он был плохим мужем, но лениво-добродушный нрав не позволял королю осуществить свои желания ценой боли и горя, причиняемых королеве. Чтобы такое стало возможным, петлю искушения надо было затянуть еще на пару узлов. И это, сама того не ведая, сделала Фрэнсис Стюарт. Не зная, как избавиться от назойливых домогательств Карла, она в конце концов объявила о своем намерении удалиться от двора, дабы освободиться от обуревавших ее соблазнов и положить конец неудобствам, которые она невольно создает королеве своим присутствием. К этому заявлению Фрэнсис присовокупила еще одно: она так отчаянно нуждается, что готова выйти замуж за любого джентльмена, имеющего полторы тысячи фунтов годового дохода и готового оказать ей такую честь.

Карл, разумеется, перепугался. Он пытался подкупить Фрэнсис посулами любых владений и титулов, каких ей угодно будет пожелать. Все это предлагалось ей с такой же легкостью, с какой прежде король бросал ей на колени драгоценные украшения или надевал на шейку жемчужные ожерелья стоимостью в тысячи фунтов. Но посулы не возымели действия, и Карл, доведенный чуть ли не до отчаяния этой безупречной добродетелью, теперь мог пойти на поводу у настырных шептунов, призывавших его к разводу и повторному браку. Мог бы, не приложив миледи Каслмэн руку к этому делу.

Ее светлость, очутившаяся благодаря увлечению короля мисс Стюарт в холодной, удушливой атмосфере пренебрежения, граничившего с позором, наверняка с горечью поняла, что желание потешить свою ненависть к канцлеру обернулось во вред ей самой. В час черного отчаяния, когда надежда почти умерла, фаворитка вдруг сделала одно открытие. Точнее, его сделал королевский паж, неприметный господин Чиффинч, лорд-хранитель лестницы черного хода и верховный евнух королевского гарема.

На заявление мисс Стюарт о готовности выйти замуж за любого джентльмена, имеющего полторы тысячи годового дохода, пылко откликнулся герцог Ричмонд, давно влюбленный в нее. Он зачастил к мисс Стюарт, но ходил к ней тайком, опасаясь вызвать недовольство короля.

Узнав об этом от Чиффинча, своего надежного информатора, миледи Каслмэн почувствовала, что настал удобный момент. Она воспользовалась им холодным вечером

в конце февраля 1667 года. Пришедший к мисс Стюарт с визитом Карл спустился вниз довольно поздно, когда, по его расчетам, она должна была пребывать в одиночестве. Но служанка сообщила королю, что госпожа не принимает, поскольку головная боль вынуждает ее оставаться в опочивальне.

Его величество вернулся наверх в очень скверном расположении духа и застал в своих покоях исполненную враждебности миледи Каслмэн, которую Чиффинч провел по черной лестнице.

— Надеюсь, мне будет позволено засвидетельствовать почтение вашему величеству, — насмешливо проговорила Барбара. — Ведь этот ангелочек Стюарт запретила вам видаться со мной в моем жилище. Я пришла выразить свое соболезнование по поводу всех тех огорчений и расстройств, которые приносит вам невиданное доселе целомудрие жестокосердной Стюарт.

— Шутить изволите, мадам? — ледяным тоном молвил Карл.

— Отнюдь, — парировала гостя. — Я не намерена бросать вам упреков, позорящих меня. И уж тем более не склонна прощать себе ничем не оправданной слабости, коль скоро ваше постоянство и верность лишают меня всяческой поддержки и защиты.

Ее светлость умела изощренно издеваться над людьми.

— В таком случае позвольте спросить, зачем вы пожаловали?

— Чтобы раскрыть вам глаза, ибо мне невыносимо видеть, как вы становитесь посмешищем собственного двора!

— Мадам!

— О, конечно, вы не знаете, что над вами потешаются, что Стюарт напропалую дурачит вас, не знаете, что она, отказываясь пустить вас к себе, придумывает всяческие отговорки. Ей якобы нездоровится! А между тем сейчас в ее покоях торчит герцог Ричмонд.

— Это ложь! — с негодованием воскликнул король.

— Я и не прошу вас верить мне на слово. Идемте со мной, и я спасу вас от нелепой роли жертвы обмана, которую отвела вам эта вероломная кокетка.

Барбара взяла упирающегося монарха за руку и молча повела его тем же путем, каким он недавно вернулся в свои покои. Король шел неохотно, но женщина не обращала на это внимания. Перед дверью в апартаменты

своей соперницы она оставила Карла одного, но задержалась в конце галереи, дабы убедиться, что он вошел к Фрэнсис.

Там его встретили несколько фрейлин мисс Стюарт. Они вежливо и с должным почтением преградили ему путь, а одна из девушек полупшепотом сообщила, что с тех пор, как король ушел, их хозяйке стало значительно хуже, но сейчас, благодарение Богу, она уже в постели и крепко спит.

— Я должен воочию убедиться в этом, — отвечал король. Одна из женщин прижалась спиной к двери, ведущей во внутренние комнаты, но его величество бесцеремонно схватил ее за плечи и отпихнул в сторону.

Он распахнул дверь и вошел в ярко освещенную спальню. Мисс Стюарт возлежала на кровати под балдахином. Но, вопреки тому, что ему сообщили, вовсе не спала, тем более «крепко». Она полусидела на подушках, и вид у нее был отнюдь не болезненный. Наоборот, было заметно, что она пышет здоровьем. Она была очень хороша в прозрачной ночной сорочке, а ее золотые локоны рассыпались и ниспадали на плечи.

И она была не одна. Рядом, опираясь на подушки, сидел человек, которого можно было бы принять за личного врача. Но только с первого взгляда. Это был, конечно же, герцог Ричмонд.

Смуглое лицо короля пошло пятнами. Те, кто хорошо знал его величество, могли бы подумать, что сейчас он удалится, отпустив одно из тех полных едкой издевки и обидного цинизма замечаний, которые привык время от времени бросать своим приближенным. Но король был слишком взбешен, чтобы паясничать, и полностью утратил самообладание. История не сохранила для нас слов, произнесенных Карлом в тот миг. Мы знаем лишь, что он высказал свое негодование в таких выражениях, каких от него еще никто не слышал, и что герцог Ричмонд, испугавшись королевского гнева, не вымолвил ни слова в ответ. Окна спальни выходили на Темзу, и король обратил свой взор туда же. Ричмонд был хил и тщедушен, а Карл — силен и вспыльчив. Герцог понял, что лучше отступить через дверь, пока его величество не выкинул его в окно. Он ретировался, оставив даму один на один с разгневанным монархом.

Дальнейшие события развивались не совсем так, как хотелось Карлу. Мисс Стюарт была рассержена не меньше,

чем он, и, вопреки ожиданиям короля, вовсе не собиралась оправдываться.

— Не соблаговолит ли ваше величество более вразумительно объяснить мне, на каком основании я должна выслушивать все эти упреки? — с вызовом спросила она, и вопрос этот разом охладил его гневный пыл. Король мгновенно преобразился. Он устался на девушку, не зная, что сказать.

— Если мне возбраняется принимать у себя такого знатного господина, как герцог Ричмонд, который приходит ко мне с самыми честными и серьезными намерениями, значит, я — рабыня в собственной стране. Не припомню, чтобы я давала какие-либо обязательства, препятствующие мне отдать свою руку тому, кого я сочту достойным этого. Но раз мне не позволено поступать так во владениях вашего величества, знайте, что не найдется на свете силы, способной помешать мне возвратиться во Францию и удалиться в монастырь, чтобы вкушать душевный покой, в котором мне отказано при вашем дворе!

Она расплакалась, и король вконец смутился. Преклонив колена, он принялся вымаливать у нее прощение за нанесенную обиду. Но девица была не расположена прощать.

— Если ваше величество великодушно согласится отставить меня в покое, — заявила она, — это даст ему возможность не нанести затянувшимся пребыванием здесь новую обиду — на сей раз тем, кто заботливо провожал его сегодня в мои покои.

Это была стрела, пущенная наугад, но так ловко, что угодила в цель. Карл поднялся, залившись краской. Поклявшись никогда впредь не вступать в разговоры с этой дамочкой, он побрел вон из комнаты.

Однако по прошествии некоторого времени к нему вернулась способность рассуждать. Он был огорчен и чувствовал себя обиженным, но, должно быть, понимал, что у него нет на это никаких оснований. А его поведение в покоях мисс Стюарт было и вовсе нелепым. Девушка не желает быть игрушкой в руках мужчины, кем бы он ни был. И она права. Так или иначе, но эти рассуждения, должно быть, охладили пыл короля. Нет, думал он, невозможно, чтобы Фрэнсис полюбила своего худосочного поклонника, этого невзрачного и неумного Ричмонда. Если она терпит его ухаживания, то лишь затем, чтобы избежать настырных преследований короля. Но Карлу

казалась невыносимой сама мысль о том, что мисс Стюарт может выйти замуж — за Ричмонда или за кого-нибудь другого. Вероятно, именно эта мысль развеяла последние сомнения Карла в целесообразности развода.

Наутро он первым делом отказал Ричмонду от двора, но тот не стал дожидаться августейшего повеления, и отправленному королем гонцу сообщили, что герцог уже уехал.

Затем Карл решил посоветоваться с канцлером. Обычно серьезный Кларендон был в тот день чуть ли не суров. Он разговаривал с королем тоном наставника (ведь лорд и был наставником Карла последние двадцать пять лет), почти так же, как говорил с ним, когда Карл вознамерился сделать Барбару Каслмэн фрейлиной королевы, с той лишь разницей, что теперь граф был еще более непреклонен. И монарху это не понравилось. Как и в прошлый раз, он решил поступить по-своему, наперекор канцлеру.

Но сейчас Кларендон не хотел рисковать. Он слишком боялся последствий и был преисполнен решимости приложить все усилия, чтобы избавить Карла от скандала и уберечь без того уже глубоко оскорбленную королеву. Канцлер решил действовать тайно и перехитрить короля. Он стал покровителем влюбленного герцога Ричмонда и мисс Стюарт. В результате этого покровительства пару недель спустя темной ночью леди Фрэнсис тайком выбралась из Уайтхолла и направилась в трактир «Медведь», стоявший возле Бриджфута в Вестминстере. Здесь ее поджидал Ричмонд с каретой. При тайном пособничестве лорда-канцлера влюбленные улизнули в Кент, где и сочетались браком.

Разбитый наголову и униженный Карл ругался на чем свет стоит. Только месяца через полтора он наконец узнал, кто помог обстригать это дельце. И узнал, вне всякого сомнения, от миледи Каслмэн.

Отчуждение, возникшее между ее светлостью и королем в те дни, когда он напропалую волочился за мисс Стюарт, в конце концов сгладилось, и миледи торжествовала, вновь добившись любви его величества. Ей бы следовало поблагодарить за это лорда-канцлера, но мстительная Барбара помнила только зло. Она еще не воздала Кларендону за прежние обиды. И вот — наконец-то! — ей предоставилась возможность свести с ним счеты. Кларендона со всех сторон осаждали недруги, но граф по-прежнему верил своему королю, которому он так преданно служил, и

прочно стоял на ногах, будто старый дуб, выдерживавший и более яростные бури. Канцлеру и в голову не приходило, что какая-то злобная женщина способна вершить его судьбу. А между тем эта женщина уже решила пустить в ход свою власть. Но все ее усилия пропадали зря, и тогда Барбара поведала королю о той роли, которую Кларендон сыграл в побеге мисс Стюарт. Опасаясь, что Карл примет во внимание благородные побуждения графа и простит его, фаворитка выставила канцлера в очень невыгодном свете, обвинив его в своекорыстном стремлении возвести на престол детей своей дочери и герцога Йоркского.

Это был конец. Карл лишил Кларендона своего покровительства и бросил его на растерзание волкам. Король послал к канцлеру герцога Албемарля с приказом сдать дела и печать, но гордый старик отказался вручить печать кому-либо, кроме самого короля. Он надеялся, что личная встреча с Карлом поможет тому вспомнить все, что связывало их в прошлом. Поэтому граф собственной персоной явился в Уайтхолл, чтобы сдать на милость монарха. Он вошел к королю твердой, решительной поступью, с высоко поднятой головой, не обращая внимания на свору враждебных ему придворных, «в особенности — на шутов и дамочек для увеселений», как пишет Ивлин.

Исход опозоренного и обесчещенного графа из дворца очень ярко описан Пеписом в его дневниках:

«В понедельник утром, когда он вышел от короля, миледи Каслмэн еще нежилась в постели (хотя время близилось к полудню). Прямо в ночной сорочке выскочила она на забранный решетками балкон, нависавший над садом Уайтхолла, и служанка принесла ей туда халат. Графиня стояла, глядя вслед уходящему старику и повторяя про себя: «Слава Богу!», а уайтхоллские шеголи, многие из которых явились сюда специально, чтобы поглазеть, как изгоняют канцлера, перебивая друг друга, что-то говорили ей в этой птичьей клетке. Был среди них и Блэндфорд, назвавший графиню «перелетной птичкой».

Павший духом, разочарованный Кларендон оставался в своем прекрасном доме на Пиккадилли до тех пор, пока парламент не обвинил его в государственной измене. Это обвинение заставило его вспомнить об участии, постигшей Страффорда⁹, и лорд вновь ступил на тропу изгоя, которой ему суждено было идти до конца своих дней.

Время вознаградило его по заслугам: две его внучки, Мария и Анна, стали королевами Англии, и царствование обеих было на редкость успешным.

Х

ГАННОВЕРСКАЯ ТРАГЕДИЯ¹

Граф Филипп Кёнигсмарк и принцесса Софи Доротея

Граф Филипп Кёнигсмарк слыл чуть ли не голово-резом во всей Европе, и особенно в Англии, где молва приписывала ему и его брату убийство мистера Тинна. Однако семнадцатое столетие не требовало от солдат удачи чрезмерной щепетильности и нравственной чистоты, поэтому прощало графу Филиппу Христоферу Кёнигсмарку некоторый недостаток добродетели, высоко ценя его красоту, изящество, остроумие и удаль. Ганноверский двор, польщенный его присутствием, оказывал графу самый теплый прием. Филиппа удерживали при дворе и должности полковника гвардии курфюрства, и глубокая, но зародившаяся под несчастливой звездой привязанность к принцессе Софи Доротее, супруге наследника, ставшего впоследствии королем Англии Георгом I.

Они знали друг друга с детства. Кёнигсмарк был наперсником ее детских игр при дворе отца Софи — герцога Брауншвейгского, куда его часто привозили. В юности он объездил весь мир, стремясь получить как можно более широкое образование, какое только доступно человеку его положения и способностей. Филипп сражался с быками в Мадриде и с неверными в заморских странах. Он искал приключений везде, где только возможно, и в конце концов молва окутала его ореолом романтики. Когда Филипп снова встретился с Софи, он казался ей ослепительно-яркой личностью, резко выделявшейся на скучном фоне грубого ганноверского двора. В этом прекрасно образованном, самоуверенном и грациозном светском льве Софи с трудом узнала товарища своих детских игр.

Филипп тоже отметил, что Софи очень изменилась. Вместо милой девочки, какой он ее помнил (она вышла замуж в 16 лет, в 1682 году), граф увидел зрелую женщину, в которой за 10 лет супружества воплотились все щедрые посулы ее девичества. Однако краса ее была окутана облаком печальной задумчивости, не присущей

ей прежде. Судя по этой печали, не все в жизни Софи сложилось удачно. Свойственная ей веселость не исчезла, но приобрела некий оттенок горечи, легкая насмешливость уступила место холодному язвительному остро словию, которым она беспечно наносила людям многочисленные обиды.

Кёнигсмарк замечал эти перемены и хорошо сознавал их причины. Он знал о любви Софи к ее кузену, герцогу Вольфенбюттельскому, мешавшей династическим амбициям семейства. Ради объединения княжества Люнебургского ее выдали за не любимого ею принца Георга, который и сам не питал к жене особых чувств. Но принц был волен развлекаться, как хотел. Насколько известно, он отдавал предпочтение уродливым женщинам и забавлялся с ними так открыто и вульгарно, что холодность, которую чувствовала к супругу Софи, вступая в брак, переросла в презрение и даже омерзение.

Так и жила эта злосчастная чета: презрение — с ее и холодная неприязнь — с его стороны, причем неприязнь эту всецело разделял и отец принца, курфюрст² Эрнст Август. Кроме того, ее постоянно подогревала графиня фон Платтен. Госпожа фон Платтен, жена первого министра государства, была «официальной» любовницей Эрнста Августа (при молчаливом согласии своего ничтожного супруга, видевшего в этом залог своей успешной карьеры). Она была неуклюжей, уродливой и тщеславной толстухой. Казалось, злоба прочно поселилась в жирных складках ее размалеванной физиономии, выглядывала из ее узеньких глазок. Но курфюрст Эрнст любил ее. По-видимому, пристрастие его сына к уродливым женщинам было наследственным.

Между графиней и Софи возникла непримиримая вражда. Принцесса смертельно оскорбила фаворитку своего свекра. Она не только не заботилась о том, чтобы скрыть омерзение, которое вызывала в ней эта отвратительная женщина, но, напротив, выражала его столь явно и язвительно, что мадам Платтен сделалась посмешищем двора. Отголоски этих плохо скрываемых насмешек достигали ушей графини, а та прекрасно понимала, откуда дует ветер.

И вот в эту атмосферу, насыщенную взаимной враждой, вторгается изысканный, романтический Кёнигсмарк.

С его появлением этот мрачный и злобный фарс превратился в подлинную трагедию.

Началось все с того, что графиня фон Платтен

влюбилась в Кёнигсмарка. Он не сразу осознал это, хотя, видит Бог, не страдал недостатком тщеславия. Быть может, именно чрезмерное самомнение и помешало ему поначалу увидеть эту сногшибательную истину. Но со временем он все понял. Когда до Филиппа дошел подлинный смысл плотоядных взглядов, которые бросала на него эта накрашенная ведьма, он почувствовал, как по спине пробежал холодок. Но граф лицемерно скрыл свою неприязнь к воздыхательнице. В конце концов, он ведь был продувным малым и надеялся применить свои таланты и знание света при ганновском дворе, чтобы добиться более высокого положения. Филипп понимал, что фаворитка курфюрста может быть ему полезна, а искатели приключений, как известно, не очень разборчивы в выборе путей, ведущих к вершине. Вот он и флиртовал, весьма искусно, с влюбленной в него графиней, но только до тех пор, пока она была ему нужна, а враждебность ее могла быть чревата опасностью. Получив должность полковника гвардии курфюрста и заручившись тесной дружбой принца Карла-младшего, сына курфюрста, Филипп укрепил свое положение при дворе и сбросил маску. Он открыто разделял враждебное отношение Софи к госпоже фон Платтен, а вскоре, во время посещения польского двора, подвыпив, рассказал своим собутыльникам забавную историю о любовных домогательствах этой дамы.

Рассказ вызвал неудержимый хохот распутной компании. Но кто-то донес об этом графине, и можно представить себе, какая буря чувств обуяла ее. Гнев госпожи Платтен усугублялся еще и тем, что его приходилось скрывать. Разумеется, она не могла потребовать от своего любовника, курфюрста, чтобы он отомстил за нее. Уж кто-кто, а Эрнст должен был оставаться в неведении. Но не только поэтому решила она отсрочить возмездие. Сперва надо было тщательно, до мелочей, все продумать. Ну а уж... тогда. Тогда этот не в меру самонадеянный хлыщ горько поплатится за нанесенную ей обиду.

Возможность нанести удар предоставилась графине довольно скоро, и в значительной степени благодаря новому проявлению ненависти госпожи фон Платтен к Софи. Она свела принца Георга с Мелузиной Шуленбург³. Мелузина, ставшая спустя несколько лет герцогиней Кендал, еще не достигла тогда той крайней степени худобы и безобразия, из-за которых впоследствии стала в Англии притчей во языцех. Но и в юности она не отличалась

привлекательностью. Впрочем, обольстить принца Георга было нетрудно.

Тупой распутник, не ведавший благородства, склонный к чревоугодию, обильным возлияниям и сквернословию, он нашел в Мелузине фон Шуленбург идеальную партнершу. Введение ее в роль титулованной наложницы состоялось на балу, который принц Георг давал в Херренхаузене и на котором присутствовала принцесса Софи.

Она привыкла к грубому распутству своего тупоумного муженька и была безучастна к его похождениям, но такое публичное оскорбление переполнило чашу ее терпения. На другой день она покинула Херренхаузен, найдя прибежище у своего отца в Целле.

Однако отец принял ее прохладно, отчитав за своеволие и легкомыслие, не соответствующие, по его мнению, ее достойному и высокому положению. Он посоветовал ей впредь проявлять больше благоразумия и смирения, как и подобает замужней женщине, и отправил восвояси.

Георг встретил жену крайне неприязненно: на сей раз она проштрафилась куда больше обычного, выказав непростительное неуважение к его особе. Пусть уразумеет, что своим нынешним положением она обязана супругу. И он будет признателен ей, если она хорошенько взвесит свое поведение к его возвращению из Берлина, куда он вскоре намерен отбыть. Георг предупредил Софи, что более не собирается сносить от нее подобных выходов.

Все это он произнес с гримасой холодной ненависти на дряблой жабьей физиономии, с трудом удерживая в равновесии свою неуклюжую приземистую фигуру, сиюсья придать ей некоторую осанку.

Вскоре он отправился в Берлин, увозя с собой ненависть к жене, оставляя дома смятение и еще большую ненависть ее к себе. Повергнутая в отчаяние Софи пыталась найти верного друга, который мог бы дать ей столь необходимую сейчас поддержку, избавил бы ее от невыносимой участи. И вот, волею судеб в эту тяжелую минуту рядом с ней очутился друг детских лет, друг преданный, как она полагала (и это действительно было так), изысканный, дерзкий Кёнигсмарк, златокудрый, прекраснотелый, с загадочными голубыми глазами...

Как-то летним днем, прогуливаясь с ним вдоль аккуратно подстриженной живой изгороди английского парка, окружавшего замок Херренхаузен, такой же неказистый и приземистый, как его строители и обитатели, она излила

Филиппу душу и, страстно желая сострадания, рассказала ему обо всем, что прежде, страшась позора, скрывала от посторонних. Софи не утаила ничего; она сетовала на свою несчастливую жизнь с грубым супругом, говорила о бесчисленных унижениях и оскорблениях, о боли, которую она раньше стоически прятала в тайниках души; призналась даже в том, что иногда Георг бил ее. Кёнигсмарк то краснел, то бледнел, менялся в лице, и эти превращения отражали охватившие его бурные чувства. Его бездонные глаза цвета сапфира гневно засверкали, когда любимая женщина под занавес поведала ему о перенесенных побоях.

— Довольно, госпожа! — воскликнул он. — Я клянусь вам, что он будет наказан, да услышит меня Господь!

— Наказан... — машинально повторила Софи, остановившись и глядя на Филиппа с грустной, недоверчивой улыбкой. — Друг мой, я ищу не кары для него, а избавления для себя.

— Одно другому не помеха, — горячо отвечал он, похлопывая ладонью по рукоятке шпаги. — Вы избавитесь от этого грубияна, как только я настигну его. Нынче же вечером я последую за ним в Берлин.

— Что вы намерены сделать? Что все это значит? — спросила она.

— Я проткну его насквозь своей шпагой и сделаю вас вдовой, госпожа.

Софи покачала головой.

— Принцы не дерутся на дуэли, — с презрением сказала она.

— Я нанесу Георгу такое оскорбление, что у него не будет выбора, разве что он и вправду не знает ни стыда, ни совести. Я улучу такую минуту, когда вино придаст ему достаточно храбрости, чтобы принять вызов. А если ничего не выйдет и он спрячется за свой титул, — что ж, есть и другие способы покончить с ним.

Быть может, в этот миг Филипп вспомнил о мистере Тинне.

У бедняжки Софи потеплело на душе: ведь это из-за нее граф проявляет такое пылкое безрассудство и романтическое негодование. А она уже давно холодна, как лед, не жаждет любви и нуждается лишь в сострадании. Поддавшись внезапному порыву, она стиснула руку Филиппа.

— Друг мой, друг мой! — дрожащим голосом вскричала она. — Вы сошли с ума. Вы прекрасны в своем безрас-

судстве, но все же это — безрассудство. Вы подумали, что станет с вами, если вы действительно это сделаете?

Он отмахнулся от ее доводов презрительным, почти сердитым жестом.

— Разве дело в этом? Меня больше волнует, что станет с вами. Я рожден, чтобы служить вам, моя принцесса, и вот это время наступило... — Филипп улыбнулся, пожал плечами, потом выразительным движением воздел руки к небу и вновь уронил их. В этом человеке как-то разом уживались и дворянин, и сказочный герой, и странствующий рыцарь.

Она подошла к нему, положила руки на голубые отвороты его мундира и нежно заглянула в его прекрасные глаза. Возможно, впервые в жизни она была близка к тому, чтобы поцеловать мужчину, но только как любимого брата, в знак глубокой благодарности за его преданность ей, не имевшей по-настоящему верных друзей.

— Знай вы, какой бальзам на мою израненную душу пролили этим доказательством вашей дружбы, вы бы поняли, что я не нахожу слов, чтобы выразить мою признательность, — сказала она. — Я в замешательстве и не знаю, как вас благодарить.

— Не надо благодарности, — отвечал Филипп. — Я сам полон признательности к вам за то, что вы обратились ко мне в час нужды. Единственное, о чем я вас прошу, — это позволить мне действовать по собственному усмотрению.

Софи покачала головой. Она заметила, что его взгляд становится все более встревоженным. Филипп хотел было возразить подруге, но она опередила его.

— Окажите мне услугу, если на то будет ваша воля. Видит Бог, мне нужна помощь верного друга. Но форму этой услуги я должна избрать сама. Только так и никак иначе.

— Но каким же образом могу я помочь вам? — нетерпеливо спросил граф.

— Я хочу бежать из этого ужасного города, покинуть Ганновер и никогда не возвращаться сюда.

— Бежать? Но куда?

— Не все ли равно? Куда-нибудь, лишь бы подальше от этого ненавистного двора. Куда угодно. Ведь мой отец отказал мне в приюте, на который я так надеялась. Я бы уже давно бежала, не будь у меня детей. Два моих малыша — ради них я терпела так долго. Но всякому терпению приходит конец. Увезите меня отсюда, Кёнигс-

марк, — она опять взяла его за отвороты мундира. — Если вы действительно хотите мне помочь, то посодействуйте моему побегу.

Он взял ее ладони и прижал их к своей груди. Румянец заиграл на его щеках. В его глазах, глядевших прямо в ее полные боли глаза, вспыхнул огонек вожделения. Страсть быстро охватывает чувствительные романтические натуры, и ради нее они готовы на самые рискованные приключения.

— Моя принцесса, пока ваш Кёнигсмарк жив, вы можете рассчитывать на него.

Он отнял ее руки от своей груди, но не выпустил их. Граф так низко склонился к ладоням Софи, что его длинные, густые золотистые локоны образовали как бы завесу, под прикрытием которой он прижался губами к ее пальцам. Софи не противилась этому: его безграничная преданность заслуживала такой скромной награды.

— Еще раз благодарю, — прошептала она. — А сейчас я должна подумать. Пока я не знаю, где смогу найти надежное убежище.

Эти слова несколько охладили пыл графа. А ведь он был готов умчать ее прочь на своем скакуне и где-нибудь в далекой стране шпагой завоевать для нее королевство. Ее рассудительная речь развеяла его мечты: Филипп понял, что Софи вовсе не обязательно должна избрать именно его своим покровителем.

Так или иначе, но воплощение замысла было отложено на неопределенный срок.

И граф, и Софи проявили крайнюю неосмотрительность. Они должны были помнить, что принцессе не подобает вести долгих разговоров, держась за лацканы мундира собеседника, позволяя ему касаться себя, целовать руки. Да еще против дворцовых окон. У одного из этих окон притаилась ревниво наблюдавшая за парочкой графиня фон Платтен, не допускавшая и мысли, что беседа молодых людей носит вполне целомудренный характер. Ведь она люто враждовала с обоими, не так ли? Разве не злословила принцесса на ее счет, разве Кёнигсмарк не отверг предложенную графиней любовь и не предал всю эту историю огласке самым беспардонным образом ради того только, чтобы скабрезно позабавить компанию распутных гуляк?

Тем же вечером графиня разыскала своего любовника, курфюрста.

— Ваш сын уехал в Пруссию, — сказала она. — Кто же заботится о чести принца в его отсутствие?

— О чести Георга? — повторил курфюрст, вытаращив глаза на графиню. Вопреки ожиданиям, он не расхохотался при упоминании о необходимости заботиться о том, что не так-то легко обнаружить. Эрнст не был наделен чувством юмора, что становилось ясно с первого же взгляда. Это был низкорослый, заплывший жиром человек; узкий лоб и широкие скулы придавали его голове сходство с грушей.

— Что вы хотите этим сказать, черт побери? — спросил он.

— Только одно: у этого заезжего хлыща Кёнигсмарка и Софи чересчур уж близкие отношения.

— Софи? — густые брови курфюрста взлетели чуть ли не к челке тяжелого пышного парика, изрезанная морщинами злая физиономия сложилась в презрительную гримасу. — Эта бледная простушка? Ба! Какая чушь!

Добродетельность принцессы всегда лишь усугубляла пренебрежение Георга.

— Такие вот простушки могут быть весьма коварны, — отвечала графиня, наученная собственным житейским опытом. — Выслушайте меня.

И она поведала ему обо всем, что видела днем, не преминув расцветить свой рассказ всевозможными подробностями.

Злоба еще больше исказила физиономию курфюрста. Он всегда недолюбливал Софи, а после ее недавнего побега в Целле стал относиться к ней и того хуже. Распутник по натуре, отец такого же распутника, он, разумеется, считал неверность невестки непростительным грехом.

Он тяжело поднялся с глубокого кресла и резко спросил:

— Как далеко у них зашло?

Благоразумие предостерегло графиню от высказываний, правдивость которых могла не подтвердиться впоследствии. К тому же, она чувствовала, что в спешке нет никакой необходимости. Немного кропотливой, терпеливой слежки, и она добудет улики против этой парочки. Довольно и того, что она уже сказала. Графиня пообещала курфюрсту лично блюсти интересы его сына, и вновь он не увидел ничего забавного в том, что заботы о чести отпрыска приняли на себя его, курфюрста, любовница.

Графиня рьяно взялась за эту близкую ее сердцу работу, хотя доброе имя Георга интересовало ее меньше

всего. Ей хотелось обесчестить Софи и погубить Кёнигсмарка. Она усердно занялась слежкой сама, да и другим поручила шпионить и доносить. Почти каждый день графиня приносила курфюрсту сплетни о тайных свиданиях, рукопожатиях, шушуканьях попавшей под подозрение парочки. Курфюрст был вне себя от злости и рвался в бой, но коварная графиня продолжала сдерживать его раж. Улик пока не хватало. Стоит обвинениям не подтвердиться, и возможность примерно покарать подозреваемых будет упущена, а обвинители сами окажутся под ударом, особенно если на защиту дочери встанет ее отец, герцог Брауншвейгский. Поэтому следовало выждать еще немного, пока не появятся несомненные доказательства любовной связи.

И вот настал день, когда графиня поспешила к курфюрсту с вестью о том, что Кёнигсмарк и принцесса уединились в садовом павильоне. Надо поторопиться, тогда он увидит все своими глазами и сможет действовать. Графиня упивалась предвкушением триумфа. Будь эта встреча и совершенно невинной (а графиня, будучи тем, чем она была, и повидав всякое, не могла себе этого представить), назначить ее, даже с точки зрения снисходительного наблюдателя, было непростительной неосмотрительностью со стороны принцессы. Впрочем, на снисходительность наблюдателей Софи рассчитывать не приходилось.

Красный от возбуждения курфюрст опрометью бросился к павильону в сопровождении госпожи фон Платтен. Но, несмотря на усердие своей осведомительницы, он опоздал. Софи побывала в павильоне, но ее беседа с Кёнигсмарком была очень короткой. Принцессе надо было сообщить графу, что она все обдумала. Она намеревалась искать убежища при дворе своего кузена, герцога Вольфенбютельского, который наверняка в память о том, что связывало их в прошлом, не откажет ей в приюте и защите. От Кёнигсмарка требовалось, чтобы он сопровождал ее ко двору кузена.

Кёнигсмарк был готов отправиться немедленно. С Ганновером он расставался без сожаления. А в Вольфенбюттеле его растущая романтическая страсть к Софи, быть может, и найдет какое-то выражение — после того, как он верно послужит ей. Пусть она отдаст необходимые распоряжения и сообщит ему, когда будет готова отправиться в путь. Но надо быть поосторожнее: за ними шпионят. Чрезмерное рвение госпожи фон Платтен в

какой-то мере ей же вышло боком. Ощущение постоянной слежки вынудило друзей назначить эту рискованную встречу в уединенном павильоне, но это же ощущение побудило графа задержаться там после ухода Софи. Их не должны были видеть выходящими вместе.

Молодой человек в одиночестве сидел перед окном, подперев голову руками, и его красиво очерченные губы чуть улыбались, а глаза мечтательно смотрели вдаль. И тут вдруг в беседку вломился Эрнст Август, сопровождаемый замешкавшейся на пороге графиней фон Платтен. Злость и быстрый бег сделали лицо курфюрста багровым, как при апоплексическом ударе; он пыхтел и задыхался от ярости.

— Где принцесса? — выпалил Эрнст.

Граф заметил маячившую за спиной курфюрста госпожу фон Платтен и нутром почуял опасность, но напустил на себя простодушно-удивленный вид.

— Ваше высочество ищет ее? Может быть, я сумею помочь вам в этом?

Эрнст Август на миг смешался, потом зыркнул через плечо на графиню.

— Мне сказали, что ее высочество здесь, — заявил он.

— Очевидно, вам предоставили ложные сведения, — невозмутимо отвечал Кёнигсмарк.

И он жестом пригласил курфюрста самому убедиться в этом.

— Давно вы здесь? — разочарованный курфюрст избегал прямого вопроса, который так и вертелся у него на языке.

— Около получаса.

— И все это время вы не видели принцессу?

— Принцессу? — Кёнигсмарк недоуменно нахмурился. — Мне трудно вас понять, ваше высочество.

Курфюрст шагнул вперед и наступил на что-то мягкое. Он посмотрел вниз, наклонился и поднял женскую перчатку.

— Что это? — воскликнул он. — Чья эта перчатка?

Если у Кёнигсмарка и сжалось сердце (а было от чего), виду он не подал. Граф улыбнулся и едва не расхохотался.

— Ваше высочество изволит потешаться надо мной, задавая вопросы, на которые может ответить только ясновидец.

Курфюрст не сводил с него тяжелого недоверчивого взгляда. В этот миг послышались торопливые шаги, и в

дверях беседки показалась служанка, одна из фрейлин Софи.

— Что вам нужно? — рявкнул на нее курфюрст.

— Взять перчатку ее высочества, которую она недавно обронила здесь, — пугливо отвечала девушка, раскрыв, сама того не ведая, тот секрет, ради сохранения которого была столь поспешно послана сюда.

Курфюрст швырнул ей перчатку и злобно ухмыльнулся. Когда девушка убежала, он снова повернулся к Кёнигсмарку.

— А вы ловко изворачивались, — с усмешкой сказал он. — Слишком уж ловко для честного человека. Ну-ка, рассказывайте без утайки, что же все-таки делала здесь принцесса Софи в вашем обществе?

Кёнигсмарк горделиво выпрямился и произнес, глядя прямо в пышущее гневом лицо курфюрста:

— Ваше высочество полагает, что принцесса была здесь со мной, а перечить принцу не положено, даже если он оскорбляет женщину, чья безупречная чистота выше его понимания. Но ваше высочество напрасно считает, что я смогу принять хоть малейшее участие в этом оскорблении, снизойдя до ответа на его вопрос.

— Это ваше последнее слово? — Курфюрст трясся от еле сдерживаемого гнева.

— Ваше высочество полагает, что я должен что-то добавить?

Выпуклые глаза Эрнста сузились, толстая нижняя губа выпятилась в злобейшей гримасе.

— Вы освобождаетесь, граф, от службы в гвардии курфюрста, и поскольку это — единственное, что связывало вас с Ганновером, мы не видим причины для продления вашего пребывания здесь.

Кёнигсмарк отвесил чопорный поклон.

— Мое пребывание здесь, ваше высочество, закончится, как только я сделаю необходимые приготовления к отъезду. Самое большее — через неделю.

— Вам дается три дня, граф. — Курфюрст повернулся и заковылял прочь.

Только после его ухода Кёнигсмарк наконец смог вздохнуть полной грудью. Трех дней вполне хватит и принцессе. Все прекрасно.

Курфюрст тоже полагал, что все прошло очень хорошо. Он уволил этого возмутителя спокойствия, предотвратил скандал и отвел беду от своей невестки. Лишь госпожа фон Платтен считала, что все идет из рук вон плохо:

она жаждала вовсе не такого результата. Она грезила о скандале, который навеки погубит обоих ее врагов, Софи и Кёнигсмарка. А теперь они избежали гибели. И то, что графиня, как она полагала, разлучила два любящих сердца, само по себе не могло утолить переполнявшую ее ненависть. Поэтому она направила всю мощь своего злого гения на разработку нового замысла, который приведет к желанному итогу. Замысел этот был чреват определенным риском. Рассчитывая, что сумеет выкрутиться в случае провала, графиня смело взялась за дело, почти уверенная в успехе.

На другой день она послала Кёнигсмарку короткую поддельную записку от имени Софи. В ней содержалась настоятельная просьба прийти нынче же в девять часов вечера в покои принцессы. Угрозами и подкупом она вынудила фрейлину Софи (ту самую, что приходила за перчаткой) передать это послание.

Но случилось так, что Кёнигсмарк через верную фрейлину Софи, госпожу де Кнезебек, посвященную в их тайну, тем же утром послал принцессе записку, в которой кратко сообщал о необходимости срочного отъезда и просил завершить приготовления с таким расчетом, чтобы можно было покинуть двор курфюрста следующим же утром. Граф счел принесенное ему послание ответом Софи и ничуть не усомнился в его подлинности, поскольку почерк принцессы был ему незнаком. Он был обескуражен опрометчивостью, с которой Софи призывала его, но не испытывал ни малейших колебаний. Осмотрительность не была присуща его натуре. Граф верил, что боги покровительствуют смельчакам.

Тем временем госпожа фон Платтен осыпала своего любовника упреками за то, что он так мягко обошелся с датчанином.

— В чем дело? — отвечал ей курфюрст. — Завтра он уберется на все четыре стороны, и мы освободимся от него. Разве этого мало?

— Мало — не мало, да только вдруг будет уже поздно?

— На что это вы намекаете? — раздраженно спросил он.

— Буду откровенна и расскажу все, что знаю. Вот как обстоят дела. Кёнигсмарк встречается с принцессой Софи этой ночью, в десять часов. И где бы вы думали? В личных покоях ее высочества!

Курфюрст с проклятиями вскочил на ноги.

— Это неправда! — вскричал он. — Быть того не может!

— Ну, тогда я умолкаю, — госпожа фон Платтен поджала тонкие губы.

— Нет, говорите! Как вы это узнали?

— Этого я вам сказать не могу, не выдав чужую тайну. Достаточно того, что я об этом знаю. Ну, а теперь подумайте сами, сполна ли вы воздали за поруганную честь вашего сына, ограничившись высылкой этого негодяя.

— Боже, если бы я только знал! — Эадыхаясь от гнева, курфюрст подошел к двери и кликнул слуг.

— Истину установить нетрудно, — сказала дама. — Укройте в Рыцарском зале и дождитесь появления графа. Но лучше идти не одному, так как он очень опасен. Ведь Филипп — убийца.

Пока курфюрст по совету графини собирал своих людей, Кёнигсмарк впустую тратил время, томясь в приемной в ожидании Софи. Госпожа де Кнезбек пошла доложить о нем принцессе, которая уже легла. Неожиданное сообщение о приходе графа встревожило и испугало ее. Софи была потрясена его безрассудством: взять и прийти сюда, да еще после вчерашних событий! Если об этом посещении станет известно, последствия будут ужасны.

Принцесса поднялась и с помощью молодой фрейлины стала готовиться принять графа. Она спешила, но все равно драгоценные минуты утекали впустую. Наконец Софи вышла. Для проформы ее сопровождала фрейлина.

— Что случилось? Что привело вас ко мне в такой час?

— Что меня привело? — переспросил обескураженный таким приемом граф. — Ваше повеление. Ваша записка.

— Моя записка? Какая записка?

Внезапно Филипп осознал, что попал в западню и теперь обречен. Он достал предательскую записку и протянул принцессе.

— Что это значит? — Она провела бледной рукой по глазам, как бы стараясь снять пелену, застилающую взор. — Записка не моя. Как вы могли подумать, что я настолько безрассудна, чтобы позвать вас сюда в такой поздний час? Как вы могли помыслить?

— Да, вы правы, — сказал он и улыбнулся — вероятно, чтобы уменьшить ее тревогу, но улыбка получилась скорее горькой, чем радостной. — Это, несомненно, дело

рук нашего «друга», госпожи фон Платтен. Мне лучше поскорее убраться отсюда. Что до остального, моя карета будет ждать вас завтра с полудня до заката возле церкви на рыночной площади Ганновера. Я буду в ней. Надеюсь доставить вас в Вольфенбюттель в целости и сохранности.

— Я приду, приду. Но сейчас удалитесь. О, удалитесь же!

Он посмотрел на Софи долгим прощальным взглядом, взял ее руку, склонился над ней и поцеловал. Он прекрасно понимал, что может с ним случиться.

Граф вышел, пересек приемную, спустился по узкой лестнице и открыл тяжелую дверь в Рыцарский зал. Войдя, он притворил за собой дверь и с минуту оглядывал огромное помещение. Если он опоздал и засады уже не избежать, то напасть на него должны именно здесь. Но все было тихо. Одинокая лампа, стоявшая на столе посреди просторного зала, отбрасывала тусклый неверный свет, но и его хватило, чтобы убедиться: графа никто не поджидает. Филипп облегченно вздохнул, закутался в плащ и быстро пошел дальше.

Но стоило ему двинуться вперед, как от камина отделились четыре похожие на тени фигуры. Внезапно тени превратились в вооруженных воинов и бросились на него.

Граф услышал шум, обернулся и, скинув плащ, молниеносно выхватил шпагу, проделав это с ловкостью и проворством человека, который вот уже десять лет ходит рука об руку с опасностью и привык полагаться только на свой клинок. Это движение решило его участь. Нападающим было приказано взять графа живым или мертвым. И они, зная о его умении владеть оружием, не желали рисковать. В тот миг, когда Филипп изготовился к защите, один из атакующих легко ранил его алебардой в голову, а второй рассек ему грудь. Граф рухнул, кашляя и задыхаясь; кровь окропила его прекрасные золотистые волосы, обогрела бесценные брабантские кружева на воротнике, но правая рука Филиппа продолжала отчаянно сжимать бесполезную теперь шпагу.

Убийцы сгрудились вокруг графа, занеся над ним свои алебарды, чтобы принудить его сдаться. Внезапно рядом с одним из налетчиков возникла фигура графини фон Платтен, выплывшая, казалось, прямо из тьмы. За ней маячил нескладный, коренастый курфюрст. Кёнигсмарк едва дышал.

— Я убит, — прохрипел он. — Но прежде, чем пред-

стать перед Создателем, я клянусь, что принцесса Софи ни в чем не повинна, ваше высочество.

— Не повинна?! — сиплым голосом вскричал курфюрст. — Что же вы делали в ее покоех?

— То была ловушка, расставленная нам мстительной ведьмой, которая...

Каблук мстительной ведьмы опустился на губы умирающего, прервав его речь. Затем графа прикончили, осыпали известью и зарыли под полом Рыцарского зала, под тем самым местом, где он был повержен и где еще долго потом виднелись следы его крови.

Так плачевно завершил свой жизненный путь блистательный Кёнигсмарк, жертва собственного неукротимого романтизма.

Что касается Софи, то лучше бы ей той ночью разделить судьбу своего друга. Наутро ее заключили под стражу, спешно вызвав из Берлина принца Георга. На основании свидетельств он сделал вывод, что честь его не пострадала и, не желая лишней огласки, вполне удовлетворился тем, что стал поддерживать с принцессой прежние отношения. Однако Софи непреклонно требовала сурового и справедливого суда.

— Если я виновата, то недостойна вас, — заявляла она принцу. — А если нет, то вы недостойны меня.

Говорить больше было не о чем. Для развода был созван церковный суд. Поскольку, несмотря на все старания, не обнаружилось ни одного доказательства супружеской измены Софи, суд вынес решение о разводе по причине неисполнения ею супружеских обязанностей⁴.

Софи пыталась возражать против столь вопиющего беззакония, но тщетно. Ее увезли в мрачный замок Ален, где она еще тридцать два года влачила жалкое безотрадное существование.

Софи умерла в ноябре 1726 года. Говорят, что, лежа на смертном одре, она отправила с доверенным гонцом письмо своему бывшему супругу Георгу I, ставшему королем Англии. Спустя семь месяцев, когда король пересекал границу Германии, следуя в милый его сердцу Ганновер, это письмо было подброшено ему в карету.

Письмо содержало предсмертное заявление Софи о своей невиновности, а также торжественный призыв: покойная повелевала королю Георгу еще до истечения года предстать рядом с ней перед судом Господа и ответить в ее присутствии за все те гонения, которым он подверг ее, за погубленную жизнь и жалкую смерть.

Король Георг откликнулся на этот призыв немедленно. Прочитав письмо, он тут же свалился от кровоизлияния в мозг и днем позже, 9 июня 1727 года, испустил дух в своей карете по пути в Оснабрюкк.

XI

ТИРАНОУБИЙСТВО

Шарлотта Корде и Жан-Поль Марат

Адам Люкс влюбился в Шарлотту Корде, не перемолвившись с нею даже словом, не обменявшись взглядом. Ее везли на телеге к эшафоту, и в этот миг сердце молодого человека, стоящего в толпе зевак, внезапно поразила платоническая, но гибельная страсть.

Тираноубийца до конца осталась в неведении о его существовании и, уж конечно, не могла подозревать, что стала предметом чистейшей, самозабвенной любви и причиной еще одной смерти.

Роман этот — безусловно, самый странный из всех романов, попавших в анналы истории. Его вызвал к жизни дух бунтарства, ветер безумств, и своеобразный пафос революционных времен не оставляет места расхожим сетованиям на судьбу («как все могло бы сложиться, не вмешайся старуха с косой»). Адам Люкс полюбил Шарлотту потому, что она умерла, и умер из-за того, что полюбил. Каждый из них прошел по-своему величественный путь, но равно бессмысленными, с нашей точки зрения, были и спокойная жертва, принесенная девушкой на алтарь Республики, и восторженное мученичество Люкса на алтаре Любви.

К этому, собственно, почти нечего добавить, за исключением некоторых подробностей, каковыми мы и рискуем еще ненадолго занять внимание читателей.

Монастырская воспитанница Мари-Шарлотта Корде д'Арман была дочерью безземельного нормандского дворянина, хотя и знатного по рождению, но в силу несчастливой судьбы и стесненных условий настроенного против закона о майорате (или права первородства)¹ — главной причины неравенства, вызвавшего во Франции столь бедственные потрясения. Подобно многим людям его круга со сходными жизненными обстоятельствами, он оказался

в числе первых новообращенных республиканской веры — незамутненной идеи конституционного правительства из народа и для народа: пришла пора избавиться от паразитизма дряхлой монархии и господства изнеженных аристократов.

Шарлотта прониклась высокими республиканскими идеалами месье де Корде, во имя которых вскоре пожертвует жизнью; она с ликованием встретила час пробуждения, когда дети Франции восстали ото сна и свергли наглуго горстку «братьев-соотечественников», сковавшую народ всековыми цепями рабства.

Изначальную жестокость Революции Шарлотта считала преходящей. Ужасные, но неизбежные конвульсии, сопровождающие пробуждение страны, скоро кончатся, и к власти придет мудрое, идеальное правительство, о котором она мечтала — обязано прийти, ведь среди избранных народом депутатов значительную часть составляют бескорыстные и преданные Свободе люди, выходцы из того же класса, что и отец. Все они получили хорошее воспитание и разностороннее образование, руководствовались исключительно любовью к людям и к родине и создали партию, известную под названием Жиронда.

Однако по логике политической борьбы возникновение какой-либо партии означает появление по меньшей мере еще одной. И та, другая, партия, тоже представленная в Национальном собрании и называемая партией якобинцев, имела менее ясные устремления, зато действовала решительнее. В первые ряды якобинцев выдвинулся бескомпромиссный и безжалостный триумvirат² Робеспьера, Дантона и Марата.

Если Жиронда стояла за Республику, то якобинцы выступали за анархию; между партиями началась война.

Жиронда ускорила свое падение, обвинив Марата в соучастии в сентябрьской резне. Триумфальное оправдание Марата и изгнание вслед за этим двадцати девяти депутатов стали прелюдией к уничтожению Жиронды. Опальные депутаты бежали в провинцию в надежде заручиться поддержкой армии — лишь армия могла бы еще спасти Францию. Некоторые из беглецов направились в Кан. Едкими памфлетами и пламенными речами они стремились вызвать всплеск воодушевления всех подлинных республиканцев и поднять их против узурпаторов. Красноречивые ораторы и талантливые литераторы, они, наверное, сумели бы добиться успеха, если бы в покинутом ими Париже не остался другой, не менее одаренный

человек, обладавший более глубоким знанием психологии пролетариата, не ведавший усталости и в совершенстве владевший искусством разжигать страсти толпы своим саркастичным пером.

Человеком этим был Жан-Поль Марат, бывший практикующий врач, бывший профессор литературы, окончивший Шотландский университет Святого Андрея, автор нескольких научных и множества социологических трудов, закоренелый памфлетист и революционный журналист, издатель и редактор «Друга Народа». Он был кумиром парижской черни, которая наградила его прозвищем, порожденным названием газеты, и потому его больше знали под именем Друга Народа¹.

Таков был враг жирондистов и чистого — альтруистического и утопического — «республиканизма», за который они ратовали; и пока он жил и творил, втуне пропадали их собственные усилия увлечь французов за собой. Своим умным и опасным пером из логова на улице Медицинской Школы Марат плел тенета, парализующие любые возвышенные устремления, угрожая окончательно удушить Свободу.

Разумеется, он действовал не в одиночку — его союзниками по грозному триумvirату являлись Дантон и Робеспьер, — однако именно Марата жирондисты считали наиболее страшным, безжалостным и непримиримым из всей троицы. Во всяком случае, Шарлотте Корде, другу и союзнице опальных депутатов, нашедших убежище в Кане, он рисовался в воображении столь ужасным, что совершенно затмевал сообщников. Юному уму, распаленному религиозным экстазом проповедуемой жирондистами Свободы, Марат казался опасным еретиком, извратившим новую великую веру ложной анархической доктриной и стремящимся заменить низвергнутую тиранию тиранией еще более отвратительной.

В Кане Шарлотта стала свидетельницей краха попытки жирондистов поднять войска и вырвать Париж из грязных лап якобинцев⁴. С болью в сердце наблюдала она провал мятежа. По всем признакам, Свободу задушили в колыбели. Вновь и вновь слышала она из уст друзей имя Марата, могильщика Свободы, и наконец пришла к заключению, выраженному одной фразой из письма того времени: «Друзья гуманности и закона никогда не будут в безопасности, доколе жив Марат».

Единственный шаг отделял этот вывод от соответствующего действия. И такой шаг был сделан. Неизвестно,

родилось ли окончательное решение по ходу дела или было обдуманно заранее. Во всяком случае, Шарлотта осознавала необходимость большой жертвы — ведь тот, кто возьмется за избавление Франции от гнусного чудовища, должен быть готов к самопожертвованию. Девушка взвесила все спокойно и трезво, и столь же трезвым и спокойным будет отныне любой ее поступок.

Однажды утром она уложила багаж и почтовой каретой отправилась из Кана в Париж, написав отцу: «Я уезжаю в Англию, ибо не верю в долгую и мирную жизнь во Франции. Письмо я отправлю с дороги, и когда вы его получите, меня здесь уже не будет. Небеса отказывают нам в счастье жить вместе, как и в иных радостях. Быть может, это еще не самое жестокое в нашей стране. Прощайте, дорогой отец. Обнимите от меня сестру и не забывайте свою любящую дочь».

Больше в записке ничего не было. Выдумка с отъездом в Англию понадобилась Шарлотте, чтобы избавить отца от страданий: согласно своим планам она собиралась остаться инкогнито. Она отыщет Марата непосредственно в Конвенте и публично прикончит в его собственном кресле. Париж узрит Немезиду, карающую лжереспубликанца в том самом Собрании, которое тот развратил, и сцена гибели чудовища послужит уроком всем тиранам. Что касается самой Шарлотты, то она рассчитывала принять мгновенную смерть от рук разъяренных зрителей. Предполагая погибнуть неопознанной, она надеялась, что отец, услышав вместе со всей Францией о кончине Марата, не свяжет орудие Судьбы, растерзанное взбешенной толпой, с именем своей дочери.

Теперь читателю ясна великая и мрачная цель двадцатипятилетней девушки, скромно расположившейся в парижском дилижансе тем июльским утром второго года Республики — 1793-го от Рождества Христова. Она была одета в коричневый дорожный костюм; на груди — кружевная косынка и конусовидная шляпка на светло-каштановой головке. Осанка девушки отличалась достоинством и грацией — Шарлотта была прекрасно сложена. Кожа светилась той восхитительной белизной, которую принято сравнивать с цветом белых лилий. Глаза — серые, как у Афины⁵, и благородный овал лица, чуть отяжеленный подбородком с ямочкой. Шарлотта всегда сохраняла спокойствие; оно отражалось во всем — во взгляде, медленно переходящем с предмета на предмет, в сдержанности движений и невозмутимости рассудка.

И пока тяжелые колеса дилижанса катились через поля по парижской дороге, мысли о смертоносной миссии, ради которой предпринималась поездка, не могли нарушить этого ее привычного спокойствия. Шарлотта Корде не ощущала горячечной дрожи возбуждения, ибо не истеричному порыву она подчинилась — у нее была цель, столь же холодная, сколь и высокая — освободить Францию и заплатить за эту привилегию жизнью.

Поклонник Шарлотты, о котором мы тоже собираемся рассказать, неудачно сравнил ее с другой французенкой и девственницей — Жанной д'Арк. Однако Жанна понималась к своей вершине в блеске славы, под приветственные возгласы, ее подкрепляли крепкий хмель битв и открытое ликование народа. Шарлотта же тихо путешествовала в душном дилижансе, спокойно сознавая, что дни ее сочтены.

Попутчикам она казалась столь милой и естественной, что один из них, понимавший толк в красоте, два дня докучал ей любовными излияниями и перед тем, как карета вкатилась на мост Нейит в Париже, даже предложил выйти за него замуж.

Шарлотта прибыла в гостиницу «Провиданс» на улице Старых Августинцев, сняла там комнату на первом этаже, а затем отправилась на поиски депутата Дюперре. Жирондист Барбару, с которым у нее были дружеские отношения, снабдил ее в Кане рекомендательным письмом к Дюперре, и тот должен был помочь с аудиенцией у министра внутренних дел. Министра же Шарлотта взялась повидать в связи с некими документами по делу бывшей монастырской подруги и торопилась поскорее выполнить это поручение, дабы освободиться для главного дела, ради которого приехала.

Расспросив людей, она выяснила, что Марат болен и безвылазно сидит дома; требовалось на ходу менять планы, отказавшись от первоначального намерения предать него — дая публичной казни в переполненном Конвенте⁶.

Следующий день — то была пятница — Шарлотта посвятила делам своей подруги — монахини. В субботу утром она поднялась в шесть часов и вышла прогуляться в прохладные сады Пале-Руаяля, чтобы подумать без помех о способе достижения цели в неожиданно открывшихся обстоятельствах.

Около восьми, когда Париж пробудился к повседневной суете и открыл ставни, девушка заглянула в скобяную лавку и за два франка купила прочный кухонный нож в

шагреновых⁷ ножнах. Затем возвратилась в отель к завтраку, после которого, все в том же дорожном платье и конической шляпке, опять вышла и, остановив наемный фиакр, направилась к дому Марата на улице Медицинской Школы.

Однако ей отказали в праве войти в убогое жилище.

— Гражданин Марат болен и не может принимать посетителей, — преградила ей путь любовница триумвира, Симона Эввар, известная впоследствии как вдова Марата.

Шарлотта вернулась в гостиницу и написала триумвиру письмо:

«Париж, 13 июля 2 года Республики.

Гражданин, я прибыла из Кана. Твоя любовь к стране придала мне уверенности, что ты возьмешь на себя труд выслушать известия о печальных событиях, имеющих место в той части Республики. Поэтому до часу пополудни я буду ждать вызова к тебе. Будь добр принять меня для минутной аудиенции, и я предоставлю тебе возможность оказать Франции громадную услугу. Мари Корде».

Отправив письмо, она до вечера тщетно прождала ответа. Наконец, отчаявшись получить его, она набросала вторую записку, менее безапелляционную по тону:

«Марат, я писала Вам сегодня утром. Получили ли Вы мое письмо? Смею ли я надеяться на короткую аудиенцию? Если Вы его получили, то, надеюсь, не откажете мне, учитывая важность дела. Считете ли Вы достаточным уверение в том, что я очень несчастна, чтобы предоставить мне право на Вашу защиту?»

Переодевшись в серое в полоску платье из канифаса⁸ — мы видим в этом новое доказательство ее спокойствия, настолько полного, что не было даже малейшего отступления от повседневных привычек, — она отправилась лично вручать второе письмо, пряча нож в складках завязанной высоко на груди муслиновой косынки.

В это время в доме на улице Медицинской Школы Друг Народа принимал ванну в низенькой, едва освещенной и почти не обставленной комнате с кирпичным полом. Водная процедура была продиктована отнюдь не потребностью в чистоте, ибо во всей Франции не сыскалось бы человека более нечистоплотного в привычках, чем триумвир. Его разьедал тяжелый, отвратительный недуг. Для умерения болей, терзавших Марата и отвлекавших его деятельный, неутомимый ум, ему приходилось совершать

эти длительные погружения: ванны притупляли муки бременного тела.

Марат придавал значение лишь интеллекту и ничему более — по крайней мере, для него не существовало ничего важнее. Всем остальным он пренебрегал, и тело начало разрушаться. Упомянутое отсутствие чистоплотности, нищета, в которой Марат жил, недостаточность времени, отводимого на сон, и неразборчивость и нерегулярность в еде — все это происходило от презрения к телесной оболочке. Разносторонне одаренный человек, тонкий лингвист и искусный физик, талантливый естествоиспытатель и глубокий психолог, Марат замкнулся в интеллектуальном уединении, не терпя каких-либо помех. Он соглашался на процедуры и проводил в наполненной лекарствами ванне целые дни лишь потому, что они остужали и гасили пожиравший его огонь и, следовательно, позволяли нагружать мозг работой, в которой заключалась вся его жизнь. Но долго терпевшее тело отомстило голове за страдания и небрежение. Нездоровые условия физического бытия дурно повлияли на мозг, и в последние годы характер Марата отличала приводившая людей в замешательство смесь ледяной циничной жестокости и болезненной чувствительности.

Итак, тем июльским вечером Друг Народа сидел по пояс в лекарственной настойке, голова была обмотана грязным тюрбаном, а костлявая спина прикрыта жилетом. В свои пятьдесят лет он уже приближался к гибели от чахотки и прочих хворей, и, зная об этом Шарлотта, у нее не появилось бы желания убить его. Болезнь и Смерть уже отметили Марата, и ждать оставалось недолго.

Письменным столом ему служила доска, положенная поперек ванны; сбоку, на пустом деревянном ящике, стояла чернильница; там же находились несколько перьев и листов бумаги, не считая двух-трех экземпляров «Друга Народа». В помещении, кроме шуршания и скрипа гусяного пера, не раздавалось ни звука. Марат усердно редактировал и правил гранки предстоящего выпуска газеты.

Тишину нарушили голоса из соседней комнаты. Они понемногу проникли сквозь пелену сосредоточенности и наконец отвлекли Марата от его трудов; он утомленно заворочался в своей ванне, с минуту прислушивался и недовольно рывкнул:

— Что там происходит?

Дверь отворилась, и вошла его любовница Симона,

выполнявшая всю черную работу по дому. Симона была на целых двадцать лет моложе Марата, но неряшливость, к которой она привыкла в этом доме, затушевала признаки некоторой ее миловидности.

— Тут молодая женщина из Кана, она действительно требует беседы с вами по делу государственной важности.

При упоминании Кана тусклый взгляд Марата загорелся, на свинцово-сером лице ожил интерес. Ведь это в Кане старые враги жирондисты подстрекают к бунту.

— Она говорит, что писала вам сегодня утром, — продолжала Симона, — а сейчас сама принесла вторую записку. Я сказала, что вы никого не принимаете и...

— Подай записку, — перебил Марат. Положив перо, он выхватил из рук Симоны сложенный листок, развернул записку, прочел, и его бескровные губы сжались, а глаза хищно сузились. — Пусть войдет! — резко скомандовал он.

Впустив Шарлотту, Симона оставила их наедине — мстительницу и ее жертву. Некоторое время они приглядывались друг к другу. Марата ничуть не взволновал облик красивой и элегантно одетой девушки. Что ему женщины и соблазн красоты? Шарлотта же вполне удовлетворилась отталкивающим видом немощного, опустившегося человека, ибо в его безобразии она находила подтверждение низости ума, который пришла уничтожить.

Марат заговорил первым.

— Так ты из Кана, дитя? — спросил он. — Что же случилось в Кане такого, что заставило тебя настаивать на встрече со мной?

Шарлотта приблизились.

— Там готовится бунт, гражданин Марат.

— Бунт. Ха! — Этот звук был одновременно смешком и карканьем. — Назови мне депутатов, укрывшихся в Кане. Ну же, дитя мое — их имена! — Он схватил перо, обмакнул в чернила и приготовился записывать.

Шарлотта придвинулась еще ближе и стала позади него, прямая и спокойная. Она начала перечислять своих друзей-жирондистов, а он, сгорбившись в ванне, быстро царапал пером по бумаге.

— Сколько работы для гильотины, — проворчал Марат, когда девушка закончила.

Но Шарлотта тем временем вытащила из-под косынки нож, и, когда Марат произнес эти грозившие стать роковыми для кого-то слова, на него молниеносным ударом обрушился его собственный рок. Длинное, крепкое лезвие,

направленное молодой и сильной рукой, по самую рукоятку вонзилось в его грудь.

Оседая назад, он взглянул на Шарлотту полными недоумения глазами и в последний раз подал голос.

— Ко мне, мой друг! На помощь! — хрипло вскричал Марат и умолк навеки.

Тело его сползло на бок, голова бессильно поникла к правому плечу, а длинная тощая рука свесилась на пол рядом с ванной; кисть все еще продолжала сжимать перо. Кровь хлынула из глубокой раны в груди, окрашивая воду в бурый цвет, забрызгала кирпичный пол и номер «Друга Народа» — газеты, которой Марат посвятил немалую часть своей многотрудной жизни.

На крик поспешно вбежала Симона. Она с первого взгляда поняла, что произошло, тигрицей бросилась на убийцу, вцепилась ей в волосы и стала громко призывать на подмогу. Шарлотта не сопротивлялась. Из задней комнаты быстро появились старая кухарка Жанна, привратница и Лоран Басо, фальцовщик Маратовой газеты. Шарлотта оказалась лицом к лицу с четырьмя разъяренными, вопящими на разные голоса людьми — от них вполне можно было ожидать смерти, к которой она готовилась.

Лоран и вправду с размаху ударил ее стулом по голове. В своей ярости он, несомненно, забил бы Шарлотту до смерти, но подоспели жандармы с окружным полицейским комиссаром и взяли ее под арест и защиту⁹.

Весть об этой трагедии разлетелась по городу и потрясла Париж. Целую ночь на улицах царили смятение и страх. Толпы революционеров гневно бурлили вокруг дома, где лежал мертвый Друг Народа.

Всю ночь и последующие два дня и две ночи Шарлотта Корде провела в тюрьме Аббатства, стоически перенося все те унижения, которых почти невозможно избежать женщине в революционном узилище. Она сохраняла полное спокойствие, теперь уже подкрепленное сознанием достигнутой цели и исполненного долга. Она верила, что спасла Францию и Свободу, уничтожив их душителя. Эта иллюзия придавала ей сил, и собственная жизнь казалась пустяковой ценой за столь прекрасный подвиг.

Часть времени Шарлотта провела за написанием посланий друзьям, спокойно и трезво оценивая свой поступок, досконально разясняя мотивы, которыми руководствовалась, и подробно останавливаясь на деталях исполнения задуманного и его последствиях.

Среди писем, написанных в продолжение «дней приготовления к покою» — как она выразилась о том периоде, датируя пространное послание Барбару, — было и одно в Комитет народной безопасности, в котором Шарлотта испрашивала разрешения на допуск к ней художника-миниатюриста, с тем чтобы оставить память своим друзьям. Только теперь, с приближением конца, в ее действиях проявилась забота о себе, какой-то намек на то, что Шарлотта Корде была чем-то большим, нежели простым орудием в руках Судьбы.

15-го, в восемь утра, началось разбирательство дела в Революционном трибунале. При появлении подсудимой — сдержанная и, как обычно, спокойная, она была в своем канифасовом, сером в полоску платье — по залу пробежал шепот.

Процесс начался с опроса свидетелей, который Шарлотта нетерпеливо прервала, как только вышел отвечать торговец, продавший ей нож.

— Все эти подробности — пустая трата времени, — заявила она. — Марата убила я.

Угрожающий ропот наполнил зал. Судья Монтанэ отпустил свидетелей и возобновил допрос Шарлотты Корде.

— С какой целью ты прибыла в Париж? — спросил он.

— Убить Марата.

— Что толкнуло тебя на это злодеяние?

— Его многочисленные преступления.

— В каких преступлениях ты его обвиняешь?

— Он спровоцировал резню в сентябре¹⁰; он раздувал огонь гражданской войны, и его собирались избрать диктатором; он посягнул на власть Народа, потребовав 31 мая ареста и заключения депутатов Конвента.

— Какие у тебя доказательства?

— Доказательства даст будущее. Марат тщательно скрывал свои намерения под маской патриота.

Монтанэ решил перейти к другой теме.

— Кто соучастники твоего зверства?

— У меня нет соучастников.

Монтанэ покачал головой.

— И ты смеешь утверждать, что особа твоего пола и возраста самостоятельно замыслила такое преступление и никто не наущал тебя? Ты не желаешь их назвать!

Шарлотта чуть усмехнулась:

— Это свидетельствует о слабом знании человеческого

сердца. Такой план легче осуществить под влиянием собственной ненависти, а не чужой. — Она возвысила голос: — Я убила одного, чтобы спасти сотни тысяч; я убила мерзавца, чтобы спасти невинных; я убила свирепого дикого зверя, чтобы дать Франции умиротворение. Я была республиканкой еще до Революции, и мне всегда доставало сил бороться за справедливость.

О чем было вести речь дальше? Вина ее была установлена, а бесстрашное самообладание непоколебимо. Тем не менее грозный обвинитель Фукье-Тенвиль попытался вывести ее из себя. Видя, что трибунал не может взять верх над этой прекрасной и смелой девушкой, он принялся вынюхивать какую-нибудь грязь, чтобы восстановить равновесие.

Медленно поднявшись, он оглядел Шарлотту злобными, как у хорька, глазами.

— Сколько у тебя детей? — глумливо проскрипел он.

Щеки Шарлотты слегка порозовели, но тон холодного ответа остался спокойным и презрительным:

— Разве я не говорила, что незамужем?

Впечатление, которое стремился внушить публике Тенвиль, завершил его злобный сухой смех, и он уселся на место.

Настал черед адвоката Шово Делагарда, которому было поручено защищать девицу Корде. Но какая там защита? Шово запугивали: одну записку, с указанием помалкивать, он получил из жюри присяжных и другую, с предложением объявить Шарлотту безумной, — от председателя.

Однако Шово избрал третий путь. Он произнес превосходную краткую речь, которая, не унижая подзащитную, льстила его самоуважению. Речь была целиком правдива.

— Подсудимая, — заявил он, — с полнейшим спокойствием признается в страшном преступлении, которое совершила; она спокойно признается в его преднамеренности; она признает самые жуткие подробности — короче говоря, она признает все и не ищет оправдания. В этом, граждане присяжные, — вся ее защита. В невозмутимом спокойствии и крайнем самоотречении обвиняемой; невзирая на близкое дыхание самой Смерти, мы не видим никакого раскаяния. Это противоестественно и можно объяснить лишь политическим фанатизмом, заставившим ее взяться за оружие. Вам решать, граждане присяжные, перевесят ли эти моральные соображения на весах Правосудия.

Жюри присяжных большинством голосов признало Шарлотту виновной, и Фукье-Тенвиль встал для оглашения окончательного приговора суда.

Это был конец. Ее перевезли в Консьержери¹¹, в камеру приговоренных к гильотине; согласно Конституции к ней прислали священника. Но Шарлотта, поблагодарив, отравила его восвоей: она не нуждалась в молитвах. Она предпочла художника Оэра, который по ее просьбе добился разрешения написать портрет. В продолжение получасового сеанса она мирно беседовала с ним; страх близящейся смерти не лишил девушку присутствия духа.

Дверь отворилась, и появился палач Сансон, специалист по публичным казням. Он внес красное рубище — одеяние осужденных за убийство. Шарлотта не выказала ни малейшего испуга, лишь легкое удивление тому, что проведенное с Оэром время пролетело так быстро. Она попросила несколько минут, чтобы написать записку, и быстро набросала несколько слов, когда ей это позволили; потом объявила, что готова, и сняла чепец, дабы Сансон мог остричь ее пышные волосы. Однако сначала сама взяла ножницы, отрезала прядь и отдала Оэру на память. Когда Сансон собрался вязать ей руки, она сказала, что хотела бы надеть перчатки, потому что запястья у нее покрыты ссадинами и кровоподтеками от веревки, которой их скрутили в доме Марата. Палач заметил, что в этом нет необходимости, поскольку он свяжет ее, не причиняя боли, но впрочем, он сделает, как она пожелает.

— У тех, разумеется, не было вашего опыта, — ответила Шарлотта и без дальнейших возражений протянула ему ладони. — Хотя эти грубые руки обряжают меня для Смерти, — промолвила она, — они все-таки приближают меня к бессмертию.

Шарлотта взошла на повозку, поджидавшую в тюремном дворе, и осталась в ней стоять, не обращая внимания на предложенный Сансоном стул, дабы продемонстрировать народу свое бесстрашие и храбро встретить людскую ярость. Улицы были так запружены народом, что телега еле плелась; из гущи толпы раздавались кровожадные возгласы и оскорбления в адрес обреченной. Два часа потребовалось, чтобы достичь площади Республики. Тем временем над Парижем разразилась сильнейшая летняя гроза, и по узким улочкам устремились потоки воды. Шарлотта промокла с головы до пят, красный хитон облепил ее, словно сросшись с кожей и явив глазам лепную красоту девичьего тела. Багряное одеяние бросало

теплый ответ на лицо Шарлотты, усиливая впечатление ее глубокого спокойствия.

Вот тогда-то, на улице Сент-Оноре, куда мы наконец добрались вместе с Шарлоттой, и вспыхнула та трагическая любовь.

Здесь, в беснующейся толпе зевак, стоял стройный, красивый молодой человек по имени Адам Люкс. Он был депутатом Национального Конвента от города Майнца, доктором философии и одновременно медицины; впрочем, как врач, не практиковал по причине своей чрезмерной чувствительности, внушавшей ему отвращение к анатомическим исследованиям.

Человек экзальтированный, он рано и неудачно женился и жил теперь с женою врозь: разочарование — частый удел тонких натур. Подобно всему Парижу, он следил за каждой деталью процесса и приговора суда и собирался взглянуть на женщину, к которой питал невольную симпатию.

Телега медленно приближалась, вокруг раздавались злобные выкрики и проклятия, и наконец Люкс увидел Шарлотту — прекрасную, спокойную, полную жизни, с улыбкой на устах. Адам Люкс окаменел и завороченно смотрел на девушку. Затем, невзирая на опасность, снял шляпу и молча отсалютовал, воздавая ей дань уважения. Она его не заметила, да он и не думал, что заметит. Он приветствовал как бы образ святой. Телега проползла мимо. Люкс, вытянув шею, долго провожал Шарлотту глазами. Потом, работая локтями и расчищая путь сквозь толпу, он, словно в трансе, двинулся вперед, устремив взгляд на девушку.

Когда голова Шарлотты Корде пала, Адам Люкс стоял рядом с эшафотом. До самого конца неотрывно смотрел он на благородное, неизменно спокойное ее лицо, и гул, разросшийся после свиста падающего ножа, перекрыл его голос:

— Она более велика, чем Брут!¹² — и, обращаясь к тем, кто в изумлении обернулся к нему, Люкс добавил: — Было бы счастьем умереть вместе с нею!

Но молодой человек остался жив. Внимание большинства в тот миг было приковано к подручному палача, который, подняв за волосы отрубленную голову Шарлотты Корде, дал ей пощечину. Предание гласит, что мертвое лицо должно при этом покраснеть. Ученые до сих пор муссируют этот вопрос, и некоторые видят в этом факте

доказательство, что сознание покидает мозг не тотчас после обезглавливания¹³.

Когда Париж той ночью уснул, кто-то расклеил по стенам листовки, восхваляющие Шарлотту Корде — мученицу республиканизма и освободительницу страны. Казненная сравнивалась с величайшей героиней Франции Жанной д'Арк. То была работа Адама Люкса, и он не делал из этого секрета. Образ Шарлотты так подействовал на воображение впечатлительного мечтателя и воспламенил в душе такой энтузиазм, что он не мог сдерживать эмоций и неосторожно рассказывал всем подряд о неземной любви, которая охватила его в последние минуты жизни Шарлотты.

Через два дня после казни Люкс издал длинный манифест; в нем он убеждал, что чистота побуждений вполне оправдывает поступок Шарлотты, превозносил ее наравне с Брутом и Катонам¹⁴ и страстно призывал народ воздать ей благоговейные почести. Здесь-то и было впервые употреблено слово «тираноубийство». Он открыто подписал документ своим именем, понимая, что за свое безрассудство заплатит жизнью.

24 июля, ровно через неделю после казни Шарлотты, Люкса арестовали. Влиятельные друзья сумели получить для него гарантию прощения и освобождения при условии публичного отречения от манифеста. Но он насмешливо и презрительно отверг это условие и с жаром заявил, что последует за той, которая зажгла в нем безнадежную, неземную любовь и сделала невыносимым его существование в этом мире.

Друзья продолжали бороться за него. Суд над Адамом Люксом удалось отложить. Они уговорили доктора Веткэна засвидетельствовать безумие Люкса, которого, якобы, свел с ума взгляд Шарлотты Корде. По их просьбе он составил документ, рекомендуемый ввиду болезни молодого врача проявить к нему милосердие и отправить в госпиталь либо в Америку. Адам Люкс разозлился, когда услышал об этом, и яростно возражал против голословных утверждений доктора Веткэна. Он обратился в газету монтаньяров¹⁵, и та опубликовала 26 сентября его декларацию, в которой он утверждал, что пока не сошел с ума настолько, чтобы у него все еще оставалось желание жить, и что стремление к смерти есть доказательство разумности.

Люкс томился в тюрьме Ля-Форс до 10 декабря, когда был наконец вызван в суд. Он стоял, радостно возбужденный предстоящим избавлением. Он уверял, что не

страшится гильотины, а все бесчестье подобной смерти уже смыто чистой кровью Шарлотты.

Судьи приговорили его к смерти, и он от души благодарил своих судей.

— Прости, прекрасная Шарлотта, если я не сумею под конец быть так же смел и добр, как ты! — воскликнул он после оглашения приговора. — Я горжусь твоим превосходством — ведь истина в том, что любимый выше любящего.

Однако мужество, несмотря на всю его нервозность и экзальтацию, его не покинуло. В пять часов пополудни того же дня Адам Люкс спрыгнул с телеги смертника в жидкую тень гильотины. Он повернулся к народу; глаза его сияли, и щеки пылали.

— Наконец-то я удостоился счастья умереть за Шарлотту, — сказал он и легкой поступью жениха на пути к брачному алтарю шагнул на эшафот.

ПРИМЕЧАНИЯ

КАПРИЗЫ КЛИО (THE HISTORICAL NIGHTT'S ENTERTAINMENT)

Сборник исторических новелл «Ночи истории» или «Занимательное историческое чтение на сон грядущий» вышел в двух частях: первая часть в 1918 году, вторая — в 1919-м; переработанное издание появилось в 1938 году.

На русский язык первая часть переведена специально для настоящего издания. Вторая часть выходила под названием «Капризы Клио» в специальном выпуске журнала «Вокруг света» в 1992 году. В нашем собрании сочинений Р. Сабатини эта часть дана в уточненной редакции и дополнена новеллой «Незадачливый поклонник». На наш взгляд, название спецвыпуска точнее отражает содержание сборника, и поэтому решено было сохранить его в качестве общего названия тома.

Часть первая НОЧИ ИСТОРИИ

1. НОЧЬ В ХОЛИРУДЕ

1 — Генрих Дарнли (Дарилей) был по матери правнуком английского короля Генриха VII; отец его — Матью, граф Леннокский, принадлежал к шотландскому королевскому роду Стюартов.

2 — Сэр Джеймс Мелвил, дипломатический агент Марии Стюарт, который вел в Лондоне переговоры о кандидатуре ее будущего мужа.

3 — Джеймс Стюарт, граф Меррей (1533 — 1578), — внебрачный сын шотландского короля Якова V (1512 — 1542) и Маргариты Дуглас; был регентом Шотландии до и после правления Марии Стюарт.

4 — Хенберн Джеймс, граф Босуэл (1536 — 1578), позднее станет третьим мужем Марии Стюарт.

5 — В данном случае речь идет о приграничных областях Шотландии вдоль рубежей с Англией.

6 — Сесил Уильям, лорд Берли (1520 — 1598), — всемогущий государственный канцлер английской королевы Елизаветы.

7 — Иначе описывает поведение присутствующих Стефан Цвейг в своей известной книге о Марии Стюарт: «...все встают, редкому гостю освобождают место за тесным столом, рядом с его супругой, он осторожно обнимает ее и запечатлевает на ее губах иудин поцелуй. Оживленная

беседа не смолкла, ласково, радушно бренчат тарелки, позванивают стаканы» (С. Цвейг. Мария Стюарт. М., 1959, с. 125).

8 — И здесь пользовавшийся другими источниками С. Цвейг несколько иначе описывает поведение королевы и подробности убийства Риччи (см. указ. изд., с. 126 — 127).

9 — Это преувеличение. Наследник престола (будущий король шотландский и английский Яков) родился только 9 июня. Кстати, Мария бежала из Холируда в мужском седле, держась за спину своего верного начальника гвардии Артура Эрскина (см. С. Цвейг. Указ. соч., с. 136).

II. НОЧЬ В КЁРК-О'ФИЛЛЕ

1 — Первым супругом Марии Стюарт был Франциск II (1544 — 1560), старший сын французского короля Генриха II, король Франции в 1559 — 1560 гг. и брат будущих королей Карла IX и Генриха III.

2 — Болезнь Марии Стюарт была связана с двукратным преодолением 25-мильного расстояния от Джебборо, где она находилась на сессии королевского суда, до замка Эрмитаж, где лежал раненный седьмого октября в схватке с контрабандистом Босуэл. Это была «типичная нервная горячка» (С. Цвейг). Восемь дней королева была между жизнью и смертью. «Болезнь была скорее душевная, ...это был типичный случай истории, ...как только на крестьянском возу привезли выздоравливающего Босуэла, королева ожила, и ...спустя две недели восставшая покойница уже опять сидит в седле» (С. Цвейг. Мария Стюарт. М., 1959, с. 168).

III. НОЧЬ ПРЕДАТЕЛЬСТВА

1 — Б и с к а й ц ы — жители одной из северных провинций Испании — Бискайи, в основном — баски. В Кастилии нередко бискайцами называли вообще всех басков, что имеет место и в данном случае.

2 — В е л е с — под этим названием известно несколько селений на юге Испании.

3 — Б а я р (Пьер Террай, сеньор де Бояр, ок. 1473 — 1524) — известный французский офицер, прославившийся храбростью и благородством; даже враги восторгались им. От современников получил славное прозвище Рыцаря без страха и упрека. Будучи в армии короля Франциска I, в одном из сражений в одиночку защитил мост от двухсот испанских кавалеристов. Герой многих литературных произведений.

4 — Морское сражение при Лепанто состоялось 7 октября 1571 г. недалеко от одноименного греческого города (современное название — Нафпактос). В последней крупной битве гребных флотилий испано-венецианские корабли под общим командованием Дона Хуана Австрийского нанесли поражение турецкому галерному флоту.

5 — А л ь к а л ь д — городской голова или городской судья (случалось, что королевский чиновник объединял обе эти должности).

6 — Несмотря на объединения Кастилии и Арагона в 1479 г., оба королевства оставались автономными в области гражданского, уголовного и церковного права. Первые попытки создания общеиспанского законодательства относятся только к концу XVI в.

7 — А л ь г в а с и л — полицейский.

8 — **Пастрана** — небольшое селение и муниципия на юге провинции Гвадалахара. Пастрана расположена примерно в 70 км (по прямой) к востоку от Мадрида.

9 — **Испанский король Филипп II** был по матери внуком португальского короля дон Мануэла, поэтому, когда угас род законных правителей Португалии, он предъявил свои права на освободившийся престол. Его притязания были удовлетворены португальскими кортесами, собравшимися в 1580 г. в Алмейрине. Несмотря на это, мелкое дворянство и широкие слои горожан выступили против чужеземного государя. Королем был провозглашен дон Антониу. Фактическое воцарение Филиппа состоялось только в 1581 г. (см. также новеллу «Кондитер из Мадригалья» во второй части сборника).

10 — **Мараведи** — название монет, чеканившихся в Испании и Португалии с XII в. Первоначально золотые мараведи быстро обесценились и в XV — XVI вв. были мелкой разменной монетой.

11 — **Кортесы** — собрание сословных представителей в Испании, выполнявшее роль парламента. Первоначально в кортесах участвовали только представители дворянства и духовенства, впоследствии в них стали допускать и богатых горожан. В Кастилии кортесы известны с 1137 г., в Арагоне — с 1071 г. Испанские кортесы были первым по времени сословно-представительным учреждением в Западной Европе.

IV. НОЧЬ МИЛОСЕРДИЯ

1 — **Монмут, Джеймс Скот** (1649 — 1685) — побочный сын короля Карла II. При отце занимал ряд крупных военных постов, в том числе был главнокомандующим королевскими войсками, подавлявшими восстания шотландских пресвитериан. В 1683 г. был обвинен в государственной измене и изгнан из Англии. В 1785 г. направляется с вооруженными отрядами в Англию с намерением свергнуть Якова II. Высадившись на родине, Монмут провозгласил себя королем, но был разбит при Седжмуре и казнен в Лондоне.

2 — **Нонконформисты** — в 1662 г. английский парламент принял акт о единообразии в богослужении, согласно которому к службе могли допускаться лишь священники англиканского исповедания. Тех, кто этому акту не подчинился, стали называть неконформистами (англ. *to conform* — подчиняться). Таким образом, неконформисты — это иное название пресвитериан (см. ниже).

3 — **Карл I** — король Англии и Шотландии (1625 — 1649), казнен во время английской буржуазной революции.

Кромвель, Оливер (1599 — 1658) — вожь английской буржуазной революции XVII в., после установления республики — ее руководитель, а с 1650 г. — лорд-протектор Англии с диктаторскими полномочиями.

4 — **Реставрация** — период в английской истории, когда буржуазия, удовлетворенная исходом революции, стремилась восстановить королевскую власть. В узком смысле — 1660 г., когда на престол был возведен Карл II, сын казненного Карла I; в более широком смысле — все правление Карла II и его сына Якова II (1660 — 1688).

5 — **Индепенденты** — политическая партия, возникавшая в ходе революции из одноименной протестантской секты. Индепенденты отстаивали независимость церковных общин и их самоуправление; в политике требовали установления республики. Лидером индепендентов

был О. Кромвель. Власть этой партии сильно укрепилась после победы над королем в гражданской войне.

6 — Тори — английская политическая партия, образовавшаяся из противников билля 1680 г., по которому наследник престола герцог Йоркский, будущий Яков II, лишился права наследования. Многие торы были сторонниками низложенного принца.

7 — Пресвитериане — шотландские протестанты, отрицавшие епископат и церковную иерархию; делами религиозных общин у них ведали выборные старейшины (пресвитеры).

8 — Намек на нарушение третьей заповеди Моисеевой в христианском толковании: вместо «субботного дня» — воскресенье.

9 — Имеется в виду Яков II Стюарт (1633 — 1701), сын Карла II, английский и шотландский король в 1685 — 1688 гг.

10 — Филиппика — гневная обличительная речь (так назывались политические речи великого древнегреческого оратора Демосфена, направленные против македонского царя Филиппа II).

V. НОЧЬ РЕЗНИ

1 — Битва при Монконтуре, в которой герцог Анжуйский разбил Колиньи, произошла в 1569 г.

2 — Ронсар, Пьер (1524 — 1585) — выдающийся французский поэт, глава группы поэтов «Плеяда», сыграл значительную роль в формировании национальной поэзии.

3 — В августе 1566 г. во Фландрии народным восстанием против католической церкви, главной опоры оккупантов-испанцев, началась Нидерландская буржуазная революция. Антифеодальная и национально-освободительная борьба в ходе революции сопровождалась ростом протестантского движения; на юге Нидерландов развернулась преимущественно партизанская война; на севере в 1672 г. вспыхнуло всеобщее восстание против иноземных угнетателей.

4 — Паре, Амбруаз (ок. 1517 — 1590) — знаменитый французский хирург, разработавший методы лечения огнестрельных ранений и предложивший множество ортопедических аппаратов.

5 — Рейтары (нем. Reiter — всадник, кавалерист) — наемная тяжелая кавалерия, существовавшая в различных европейских странах в XVI — XVII вв.

VII. НОЧЬ КОЛДОВСТВА

1 — Кольбер, Жан-Батист (1619 — 1683) — выдающийся государственный деятель, по происхождению буржуа, занимал различные государственные посты, особенно знаменит финансово-реформой 1661 г., покровительствовал торговле, в том числе заморской.

2 — Рошешуар, Франсуаз-Атенаис де Рошешуар де Мортемар (1640 — 1707) — маркиза де Монтеспан, дочь Габриэля де Рошешуар, герцога де Мортемар, князя де Тоннэ-Шаран.

3 — Луи-Огюст де Бурбон, герцог Менский (1670 — 1736) — сын Людовика XIV и мадам де Монтеспан.

4 — Мансар, Франсуа (1598 — 1666) — французский архитектор, работавший в стиле классицизма.

5 — Севинье, Мари де Рабютэн-Шанталь, маркиза де (1626 — 1696) — одна из самых утонченных женщин XVII в., известна своими письмами («Lettres»), адресованными дочери.

6 — Герцогиня де Лавальер, Франсуаз-Луиз де Лабом Леблан (1644 — 1710) — официальная фаворитка Людовика XIV с 1667 г. Родила от короля троих детей, двое из них выжили и были «узаконены», то есть получили поместья и высокие наследные титулы. Вытесненная маркизой де Монтеспан, герцогиня удалилась в 1674 г. в монастырь кармелиток в парижском предместье Сен-Жак, приняв имя сестры Луизы Милосердной.

7 — Мадемуазель де Фонтанж — Мари-Анжелик де Скорай де Русий, герцогиня де Фонтанж (1661 — 1681); стала придворной дамой в 1678 г., соперничая с маркизой де Монтеспан; с 1679 г. стала официальной фавориткой Людовика XIV. В 1680 г. король пожаловал ее титул герцогини де Фонтанж. В следующем году из-за болезни покинула двор; умерла при родах, а не отравленная маркизой де Монтеспан, как это часто утверждают.

8 — Шатле — первоначально (XII в.) крепость при въезде в Париж. Позднее стала местом заседаний королевского трибунала и тюрьмой. Разрушена в начале XX в.

VII. НОЧЬ СОКРОВИЩ

1 — Роган — Людовик-Рене-Эдуард, принц де Роган-Гэменэ (1735 — 1803), с 1771 г. князь-епископ Страсбургский, с 1777-го — верховный капеллан Франции, с 1778 г. — кардинал. После скандала с бриллиантовым ожерельем был выслан из Парижа, но в 1789 г. духовенство избрало его депутатом Генеральных штатов; с 1790 г. жил в своих германских владениях.

2 — Роганы вели свое происхождение от правителей Бретани (бретонских принцев); впоследствии породнились с побочной ветвью рода Валуа (при Франциске I, в начале XVI в.) и с Бурбонами (при Генрихе IV, в конце XVI в.).

3 — В Вену Роган прибыл в январе 1772 г.

4 — Возможно, имеется в виду Гийон де Монтелон (1758 — 1842), лионский священник и проповедник (с 1782 г.), позднее — известный писатель, мемуарист, историк.

5 — В 1772 г. произошел первый раздел Польши.

6 — На самом деле Жанна по отцовской линии происходила от потомков короля Генриха II; отец ее владел замком Фонтетт (возле Бар-сюр-Об), но спился, женился на собственной служанке и жил с семьей в Булони на милостыню от местного кюре. Судьбой обнищавшей аристократки случайно заинтересовался маркиз де Булэнвийер и помог возбудить дело в суде. Генеалогия Жанны официально признана специальным судом 6 мая 1776 г., и Жанна получила ренту в 800 ливров, выплачиваемых из королевской казны. Ее свадьба с Марком-Антуаном-Никола де ла Моттом состоялась 6 июня 1780 г.

7 — Герцогиня де Полиньяк была гувернанткой королевских детей; ее влияние на Марию-Антуанетту было чрезвычайным.

8 — Придворным ювелиром долгие годы был саксонец Карл-Август (Шарль-Огюст) Бёмер, работавший вместе с немцем французского происхождения Полем Босанжем. Они пользовались полным доверием

Людовика XV. С течением времени им удалось собрать очень ценную коллекцию бриллиантов. Ювелиры предложили королю сделать из них ожерелье, которое — как они надеялись — Людовик XV купит для мадам Дюбарри. Но король неожиданно умер, и ожерелье осталось у мастеров. Продать его Бёмеру не удалось, поскольку он запросил умопомрачительную цену — 1,6 млн. ливров.

9 — Футляр с ожерельем на самом деле нес Шрайбер, камердинер кардинала.

10 — «Le Mercure de France» — одна из самых процветающих газет XVIII в. Ее ориентация была чисто литературной, а в политическом плане — нейтральной. Постоянными материалами газеты были логогрифы и другие филологические игры.

11 — Барон де Бретей — Луи-Огюст Летонелье, барон де Бретей (1733 — 1807), дипломат и государственный деятель, королевский государственный секретарь в 1783 — 1788 гг.

12 — Видимо, имеется в виду Шарль де Роган, принц де Субиз (1715 — 1787), дядя кардинала, адъютант Людовика XV, фаворит мадам де Помпадур; командовал корпусом, потом армией в войнах с Пруссией, неоднократно бывал бит пруссаками.

13 — Сен-Жюст, Луи-Антуан (1767 — 1794) — выдающийся деятель Французской революции, один из руководителей якобинцев, член Конвента, член Комитета общественного спасения, один из организаторов побед революционной армии. Во время термидоранского переворота (27 июля 1794 г.) был арестован вместе с М. Робеспьером и на следующий день гильотинирован.

14 — Приговор суда был прочитан 31 мая 1786 г. (после девяти дней слушаний). Мадам де ла Мотт была приговорена к кнуту, клеймлению и пожизненному тюремному заключению; граф де ла Мотт — к каторжным работам (но он к тому времени уже был в Англии), Рето де Вилер — к изгнанию, мадемуазель Николь д'Олива оправдана; кардинал Роган двадцатью шестью голосами против двадцати двух был освобожден от обвинения.

15 — По делу о бриллиантовом ожерелье королевы существует обширная литература на многих европейских языках. Для современного российского читателя самыми доступными будут, пожалуй, сочинения Александра Дюма «Ожерелье королевы» и Стефана Цвейга «Мария-Антуанетта».

VIII. НОЧИ УЖАСА

1 — В июне 1793 г. вспыхнули мятежи в провинциях, направленные против слишком обширной власти парижского правительства. Они захватили около 60 департаментов (преимущественно на западе и юге Франции). Мятежники требовали широких полномочий для местных властей. Республика — после выполнения требования мятежников — должна была стать федеративным государством. К концу 1793 г. мятежи были подавлены.

2 — С а н к ю л о т — распространенное название человека из простонародья, обычно противопоставлявшееся аристократу. Буквально: человек, не носящий коротких штанов («кюлот») с шелковыми чулками, которыми выделялись дворяне и богатые буржуа.

3 — С установлением республики во Франции был принят новый календарь, месяцы которого получили названия по природным явлениям, свойственным той или иной поре года. В тексте новеллы упоминаются:

третий месяц республиканского календаря фример (от фр. *frimas* — изморозь), длившийся с 21 ноября по 20 декабря; четвертый месяц — нивоз («снежный месяц»), продолжавшийся с 21(22) декабря до 20(21) января, и одиннадцатый месяц — термидор, название которого составлено из греческих слов «терме» (жара) и «дорон» (дар); «месяц жары» начинался 19 июля, а оканчивался 17 августа.

4 — Бель-Иль — остров в Атлантическом океане возле южного побережья Бретани.

5 — Национальная гвардия — милицеское ополченческое формирование, существовавшее в каждом французском селении в 1789 — 1871 гг.

6 — Лихтер — грузовое судно, обычно несамоходное, применявшееся в давние времена преимущественно для перегрузочных работ.

7 — «Карманьола» — популярнейшая революционная песня на плясовую мелодию, появившаяся в Париже в августе 1792 г., во время антимонархического народного восстания.

8 — Синие — республиканские войска (по цвету формы).

9 — Вандея — департамент Западной Франции. Здесь в 1793 г. фанатически религиозная часть крестьянства, вдохновляемая духовенством и дворянством, восстала против республики.

10 — Неподкупный — так называли Максимилиана Робеспьера.

11 — Дворец правосудия — комплекс судебных зданий в центре Парижа, на острове Сите, куда входила и тюрьма Консьержери.

12 — Гревская площадь — обычное место публичных казней в Париже.

IX. НОЧЬ НОВОБРАЧНЫХ

1 — Годендаг (точнее «годендак» — *Godendac* — фламандское копье, состоявшее из двухметровой дубинки, оканчивавшейся железным наконечником. Название — от немецкого словосочетания «*Guten Tag*» («добрый день»), употребленного в ироническом смысле.

2 — Тевтоны — западное германское племя, происходившее, по всей вероятности, из Ютландии. Упоминается впервые греками в 325 г. до н.э. Позднее переселились в Богемию, Галлию, Норикум. В конце II в. до н.э. уничтожены римлянами. Здесь употреблено в смысле «западные немцы».

X. НОЧЬ ДУШИТЕЛЕЙ

1 — Анжуйский дом — одна из княжеских династий, поставившая правителей в разные государства средневековой Европы. Первоначально владельцы графства Анжу, присоединенного в 1205 г. к французской короне. В рассказе речь идет о втором Анжуйском доме, основателем которого стал Карл (Шарль) I, младший сын французского короля Людовика VIII. Карл (1226 — 1285) носил титул графа Анжу и Мэн, Прованса и Форкалкье, короля Неаполя (с 1266 г.) и Сицилии (1266 — 1282), в 1278 г. получил формальный титул короля иерусалимского. Владения и титулы отца унаследовал Карл II (1248 — 1304), у которого было четверо сыновей, давших начало четырем ветвям второго

Анжуйского дома: венгерской (основатель Карл Мартел), неаполитанской (Роберт Добрый), тарантской (Филипп I) и дурресской (Жан).

Жанна д'Анжу (Джованна I, 1326 — 1382) — внучка Роберта Доброго (или Мудрого), королева Неаполитанская (1343 — 1382), титулярная королева иерусалимская (с 1343), герцогиня Калабрии, графиня Прованса; замужем за принцем Андреем с 1333 г., за королем Людовико с 1346 г.

Андре д'Анжу (Андрей Венгерский; 1327 — 1345) — внук Карла Мартела, король Неаполя с 1343 г.

2 — Дураццо (Дуррес — город в Албании; Карл I Анжуйский восстановил независимость Албанского княжества, но назначил своего наместника, выбравшего себе резиденцией портовый Дуррес (ит. Дураццо). В течение XIV в. Албанское княжество находилось под властью чужеземцев: анжуйцев, византийцев, сербов, пока в конце века не подчинилось Венеции. Карл д'Анжу — племянник Карла I, герцог Дураццо с 1335 г.

3 — Роберт д'Анжу (1278 — 1343), прозванный Добрым, а также Мудрым — герцог Калабрии (1296 — 1303), король Неаполя и титулярный король Иерусалима (с 1330 г.), граф Прованса. Сицилийским королем он не был, вопреки утверждению Сабатини, хотя права на этот престол предъявлял.

4 — Речь идет о Карле Мартеле (1271 — 1295), титулярном короле Венгрии (с 1290 г.).

5 — Петрарка, Франческо (1304 — 1374) — великий итальянский поэт раннего Возрождения. Приняв духовное звание, Петрарка сблизился с церковными иерархами братьями Колонна и, выполняя их политические поручения, в 1330 — 1347 гг. много разъезжал по различным европейским городам.

6 — Люцифер (буквально: «носитель света») — по христианскому учению: сатана, падший ангел.

7 — Людовик Венгерский (в венгерской исторической литературе — Лайош I Великий; 1326 — 1382) — внук Карла Мартела и правнук Карла II Анжуйского; король венгерский (с 1342 г.) и польский (с 1370 г.).

8 — С 1309 по 1417 гг. местопребыванием главы католической церкви был город Авиньон на юге Франции.

9 — Лодовико (Луи) Тарантский (1320 — 1362) — сын Филиппа I и внук Карла II; его брак с Джованной был заключен в 1346 г., после чего Лодовико был провозглашен королем Неаполя.

XI. НОЧЬ НЕНАВИСТИ

1 — Тиран — в городах-государствах средневековой Италии (XII — середина XVI вв.) так назывался единоличный правитель, добившийся этого поста путем насильственного захвата власти.

2 — Мост Святого Ангела — один из мостов через Тибр, ведущий к расположенному на правом берегу реки замку Святого Ангела, бывшей средневековой крепости, служившей некоторое время резиденцией главе римско-католической церкви, а впоследствии ставшей государственной тюрьмой.

3 — Тарквиний — Люций Тарквиний Гордый (534/533 — 510/509 до н.э.) — седьмой и последний царь Древнего Рима. Его жестокое правление вызвало всеобщее негодование. Когда же сын Тарквиния обесчестил Лукрецию, жену царского родственника Тарквиния

Коллатина, в городе вспыхнуло восстание, закончившееся изгнанием всей царской семьи из Рима и уничтожением института царской власти.

ХII. НОЧЬ ПОБЕГА

1 — Светлейшая (ит. *la Serenissima* — официальное название Венецианской республики в XVI веке.

2 — Скорее всего речь идет о Шипьоне Маффей (1675 — 1755), итальянском писателе, докторе Оксфордского университета, члене Парижской, Лондонской и Берлинской академий, признанном всей Европой эрудите. Его знаменитая работа «Иллюстрированная Верона» посвящена истории родного города.

3 — Пето, Дени (1583 — 1652) — французский иезуит, историк, гуманист и теолог. Речь идет о его крупной теологической работе «*Rationarium temporum*» (1633 — 1634).

4 — Вольф Христиан (1679 — 1754) — немецкий энциклопедист и философ-эклектик.

5 — Совет десяти — правительство Венецианской республики.

6 — Цехин — так назывался в XVI в. дукат, чеканившийся на венецианском монетном дворе (ит. — *Zecca*) из почти чистого золота. Один цехин весил 3,5 г.

ХIII. КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ

1 — Густав III (1746 — 1792) — шведский король с 1771 г. Характеристика Сабатини не соответствует образу этого монарха, покровителя искусств и литературы, основателя национальной академии наук.

2 — Гойя, Франсиско (1746 — 1828) — великий испанский художник.

3 — Евле — город в Средней Швеции, к северу от Стокгольма, на побережье Балтийского моря.

4 — Речь идет о русско-шведской войне 1788 — 1790 гг., начиная которую шведы пытались вернуть потерянные при Петре I земли, однако их надеждам не суждено было сбыться. По Верельскому миру (3 августа 1790 г.) границы обоих государств остались неизменными.

5 — События, изложенные в новелле Р. Сабатини, использованы в XIX в. французским драматургом Опюстеном-Эженом Скрибом (1791 — 1861) в качестве сюжета для трагедии «Густав III», первоначально задуманной как оперное либретто, которое автор намеревался предложить знаменитому Д. Россини. Но итальянский маэстро отказался писать оперу на этот сюжет, и драматург передал свое произведение Даниэлю-Франсуа-Эспри Оберу, который в 1833 г. написал пятиактную оперу «Густав III». Впоследствии текст Скриба использовал еще один композитор — Меркаданте. В 1857 г. пьеса Скриба привлекла внимание великого Джузеппе Верди. Антонио Сомма написал либретто, точнее — перевел на итальянский французскую пьесу. В 1859 г. состоялась премьера оперы «Бал-маскарад», одного из самых популярных сочинений Верди.

Часть вторая КАПРИЗЫ КЛИО

I. ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ

1 — Альморавиды — берберская династия и феодальное государство (XI — XII вв.) в Северной Африке. Во главе государства стояли эмиры из племени лемтуна, обитавшего на территории современной Мавритании. В середине XII в., когда Альморавиды завоевали Марокко, власть в государстве захватил эмир (а не калиф, как у автора) Юсуф ибн Ташин. При нем Альморавиды распространили свою власть на Западный Алжир, мусульманскую Испанию и Балеарские острова.

2 — Альфонс VI Храбрый (1030 — 1109) — король Леона (1065 г.) и Кастилии (с 1072 г.); почти все свое правление с переменным успехом вел войны с мусульманами.

3 — Инфант — принц крови в Испании и Португалии.

4 — Легат — посол римского папы, отправленный в иностранное государство с какой-либо специальной миссией.

II. ЛЖЕДИМИТРИЙ

1 — Сабатини излагает свою версию событий, сконструированную им по не всегда достоверным западноевропейским источникам.

2 — Строго говоря, в 1603 г., когда начинается действие рассказа, П. Ф. Басманов был только сокольником (второй по значению придворный чин); боярином он стал лишь в 1605 г. Однако на Руси в то время существовало понятие «путный боярин», относившееся ко всем дворцовым чиновникам.

3 — Никита Отрепьев — стрелецкий голова, дядя самозванца, носивший прозвище Смирной.

4 — Сохранились противоречивые свидетельства об облике царя Бориса. Англичане, побывавшие с посольством в Москве в 1604 — 1605 гг., утверждали, что царь был рослым и дородным мужчиной с правильными чертами лица и редкими черными волосами. Еще один англичанин, Д. Гороей, вспоминал величественные манеры Годунова, красоту его лица и приветливость в обращении. Голландец Исаак Масса, напротив, писал, что Борис был дороден и коренаст, невысокого роста, с круглым лицом и поседевшими волосами и бородой.

5 — Мария Нагая была седьмой женой Ивана Грозного.

6 — Этот эпизод в рассказе Сабатини не соответствует исторической действительности.

7 — Сабатини ошибается. Борис Годунов и Василий Шуйский были примерно одного возраста. Хотя точные даты их рождения не установлены. Большая Советская Энциклопедия (3-е изд., тт. 3 и 4) и Советская Историческая Энциклопедия (тт. 2 и 3) относят оба эти события к 1552 г.

8 — Брагин — местечко на реке Брагинке, некогда бывшее собственностью великих князей литовских; в конце XVI в. отошло к роду Вишневецких; сейчас районный центр Гомельской области (Беларусь).

9 — Сигизмунд принял Самозванца в королевском замке на Вавеле 5(15) марта 1604 г.

10 — Воевода П. Ф. Басманов был в то время осажден в Новгороде-

Северском и успешно отражал попытки взятия города. Царь посылал из центра на помощь разрозненные отряды, поскольку не располагал крупными силами. Именно в целях поддержки Басманова, сохранявшего тогда полнейшую верность Борису Годунову, и были посланы отряды В. И. Шуйского и Мстиславского.

11 — Битва при Добрыничах произошла 21 января 1605 г.

12 — Сабатини заблуждается: польский король был выборным и мог не опасаться конкуренции со стороны законных или незаконнорожденных наследников своих предшественников. Трон он получал на выборном сейме пожизненно.

13 — Сабатини приводит только одну из версий смерти царя Бориса, и то не совсем точно. Подробнее об этом см., например: С к р ы н н и к о в Р. Г. Самозванцы в России в начале XVI века. Новосибирск, 1990, с. 123 — 124.

14 — Борис умер 13 апреля (старого стиля) 1605 г. 19 апреля П. Ф. Басманов под Кромами привел войско к присяге царю Федору, но у него были личные причины не любить Годуновых, и он дал вовлечь себя в заговор, во главе которого стояли князья Голицыны и Прокопий Ляпунов. Мятеж армии и переход ее на сторону Самозванца произошел под Кромами 7(17) мая.

15 — Мятеж в столице произошел 1 июня. Вызван он был не приходом царского войска, а появлением отряда донских казаков под руководством А. Корелы. Годуновым в этот день удалось спастись, их убийство было совершено много дней спустя, причем молодой Федор яростно сопротивлялся стрельцам.

16 — Еще одна неточность автора: патриарх Иов действительно был низложен боярской комиссией, которую возглавлял П. Ф. Басманов, но отлучить его от церкви мирские власти, естественно, не могли. После снятия панагии Иов был отправлен в Успенский монастырь в г. Старице. 21 июня (1 июля) на церковном соборе в Кремле Иов был официально отстранен от патриаршества, а преемником его стал кипрский грек Игнатий.

17 — Свидание Лжедмитрия с царицей Марией Нагой произошло 17 июля под Москвой, в селе Тайнинском.

18 — Коронация Отрепьева состоялась 21 июля.

19 — Никакого скандала, конечно, не было. Иноверческие храмы к тому времени уже появились в Москве: еще до Лжедмитрия Боярская дума разрешила строительство протестантской кирхи. Вопрос о строительстве католического костела также обсуждался в Боярской думе. После долгих проволочек полякам разрешили-таки устроить свой храм в доме у церкви Сретения, близ царского дворца.

20 — Опять неточность: Лжедмитрий вовсе не имел всей полноты власти. Его сильно ограничивала Боярская дума, главную роль в которой играл вовсе не П. Ф. Басманов, а умудренный годами Богдан Бельский. Боярский заговор, конечно, не сводился к интригам одного только князя Василия Шуйского; во главе его стояли видные боярские роды Шуйских и Голицыных, Скопины, Татищевы и др.

21 — Очевидцы рассказывают, что Лжедмитрий успел выбраться из дворца, но попал в каменные «палаты на взруб», то есть высоко над землей. Спасаясь от преследователей, он выпрыгнул из окна, находившегося на высоте около двадцати локтей от земли (по русским источникам), по другим (иностранцам) — около пятнадцати локтей. В момент приземления обычно ловкий Лжедмитрий вывихнул ногу и потерял сознание. Басманов был заколот Татищевым на Красном крыльце дворца, когда пытался именем царя утихомирить народ.

III. ПРЕКРАСНАЯ ДАМА

1 — Святая палата инквизиции — официальное название института, созданного католической церковью для разыскивания, суда и наказания еретиков; правильное — Святое учреждение (лат. *Sanctum officium*); употреблялось еще одно название — Разыскание еретической порчи (лат. *Inquisitio hereticae pravitatis*).

2 — Вестготы (визиготы) — западная ветвь германского племени готов. В середине V в. вторглись в Испанию и основали там свое государство, просуществовавшее до вторжения арабов на Пиренейский полуостров в 711 г.

3 — Приор (лат. старший) — настоятель монастыря у католиков.

4 — Алькасар (ар. аль-касар, аль-кастр) — укрепленный дом, замок, цитадель; специфический для мавританской Испании род укрепленной резиденции правителя. Почти всегда такая цитадель становилась ядром нового города.

5 — В этом рассказе автор излагает романтическую версию событий, связанных с первым аутодафе. В восьмой главе своего исторического исследования о Торквемаде (см. т. 6 настоящего собрания сочинений) Сабатини утверждает, что заговор выдала дочь Лиего де Сусана: «Какими мотивами при этом она руководствовалась, какую роль сыграл ее возлюбленный — документально не установлено».

IV. КОНДИТЕР ИЗ МАДРИГАЛЯ

1 — Хуан Австрийский (1547 — 1578) — незаконный сын испанского короля и германского императора Карла V от Барбары Бломберг, дочери бургомистра Регенсбурга; испанский военачальник, в 1577 — 1578 гг. наместник (штаттгальтер) Нидерландов.

2 — Себастьян I (род. в 1554 г., правил в 1557 — 1578 гг.) неверно назван последним португальским королем. После него, в 1578 — 1580 гг. правил кардинал Энрики I.

3 — Битва при Эль-Ксар-эль-Кебире произошла 4 августа 1578 г. и закончилась поражением португальцев и смертью Себастьяна I.

4 — Филипп Испанский был сыном Карла V и португальской принцессы доньи Исабэл. После смерти Энрики королем был провозглашен дон Антониу — вопреки решению кортесов в Алмейрине, которые еще при жизни Энрики объявили наследником престола испанского короля Филиппа. Испанская армия во главе с герцогом Альбой быстро сломила сопротивление противника, и в апреле 1581 г. Филипп был признан королем Португалии.

5 — День Всех Святых отмечается католической церковью 1 ноября.

V. КОНЕЦ ДАМСКОГО УГОДНИКА

1 — Клеве — город в Германии, в современной земле Северный Рейн-Вестфалия, вблизи от германо-нидерландской границы; в середине века — самостоятельное герцогство.

2 — Мария Медичи (1573 — 1642) — вторая жена Генриха IV, а после его смерти регентша при малолетнем короле Людовике XIII. Брак Генриха с Марией Медичи был заключен в 1600 г. У них было шестеро детей.

3 — Английский король Карл II (1630 — 1685) был

сыном короля Карла I и французской принцессы Генриетты-Марии, дочери Генриха IV.

4 — Бассомпьер, Франсуа де (1570 — 1646) — один из самых блестящих умов тогдашней Франции; в памяти потомков остался не только как военный деятель, но и как автор великолепных по литературным достоинствам мемуаров; в правление Ришелье неоднократно заключался в Бастилию.

5 — Генрих II Бурбон, принц Конде (1588 — 1646).

6 — Свадьба состоялась 17 мая 1609 г. Вынужденный спасать молодую жену от посягательств короля, Конде бежал сначала в Пикардию, где находилось его имение, а потом — в Брюссель. Там он оставил Шарлотту под наблюдением верных людей, а сам перебрался в Кельн, а затем в Милан.

7 — Максимилиан де Бетюн, барон де Рони, герцог де Сюлли (1559 — 1641) — ближайший друг и министр Генриха IV. В качестве министра ведал вопросами финансов, экономики, сельского хозяйства. Резиденция Сюлли была устроена в библиотеке Арсенала, комплексе зданий, строившихся с XVI в. и до самой Великой французской революции (современный адрес — ул. Сюлли, 3). Поселился он там в качестве «великого мастера артиллерии» (*grand maître de l'Artillerie*).

8 — Гугенотами во Франции называли протестантов.

9 — Шевалье (фр.) — рыцарь; кавалер. Применялось по отношению к нетитулованным дворянам.

10 — Нидерланды — впервые это название для обозначения земель в низовьях Рейна, Мааса и Шельды появилось в XIV в. В начале XVII в. на территории Нидерландов существовали два государственных объединения: независимое государство Соединенные провинции Нидерландов и владение испанской короны Испанские Нидерланды; об этих последних и идет речь у Сабатини.

11 — Сабатини неточен: дофином называли во Франции наследника престола; здесь же речь идет о периоде регентства на время малолетства короля.

12 — Нотр-Дам — собор Парижской Богоматери.

Сен-Дени — знаменитое аббатство, тогда находившееся в 8 километрах севернее Парижа, усыпальница французских королей. В 1593 г. Генрих IV, перед тем как стать французским королем, публично отрекся здесь от протестантской веры.

13 — Нунций — официальный постоянный представитель римского папы в странах, с которыми Ватикан поддерживает дипломатические отношения.

14 — Тампль — бывший монастырь тамплиеров (храмовников); как укрепление существовал до 1811 г.

15 — Сюлли был отправлен в отставку в январе 1611 г.

VI. НЕЗАДАЧЛИВЫЙ ПОКЛОННИК

1 — Речь идет о доне Карлосе (1545 — 1568), сыне короля Филиппа II, наследнике испанского престола.

2 — Тюдоры — английская королевская династия (1485 — 1603), которая окончилась со смертью Елизаветы.

3 — Елизавета была дочерью Генриха VIII и Анны Болейн, его второй жены.

4 — Аргус — многоглазый великан в древнегреческой мифологии;

по меньшей мере один его глаз никогда не закрывался; синоним неусыпного страха.

5 — В данном случае речь идет об одном из ветеранов-солдат, которым было поручено нести службу во внутренних покоях королевского дворца.

6 — Уайтхолл — королевская резиденция тех времен в Лондоне.

7 — Салический закон (ex Salica), или «Салическая правда» — запись обычного права германского племени салических франков, обитавших в низовьях Рейна; составлена в начале VI в. по распоряжению короля Хлодвиг. На основании одной из статей этого кодекса в средневековом монархическом праве (первоначально в XIV в. во Франции) был выработан так называемый «салический принцип», в соответствии с которым женщины отстранялись от престолонаследия.

8 — Мария Стюарт, вдова французского короля и наследница шотландского престола, имела права и на английский трон как правнучка короля Генриха VII. Возвратилась в Шотландию из Франции в марте 1561 г.

9 — Имеется в виду Генрих VIII, отец Елизаветы.

VII. СЭР ИУДА

1 — То есть в 1618 г.

2 — Анна Датская, жена Якова I и королева Англии.

3 — Дрейк, Фрэнсис (ок. 1540 — 1595) — английский мореплаватель и пират. В 1567 г. участвовал в экспедиции Хокинса, имевшей целью захват судов испанских работорговцев и грабеж испанских владений в Новом Свете. В 1577 — 1580 гг. совершил второе в истории кругосветное плавание (первое — под собственным флагом мореплавателя, так как Магеллан, как известно, погиб в ходе кругосветки), организованное ради грабежа испанских колоний на тихоокеанском побережье Америки. В 1587 г. совершил дерзкий налет на испанский порт Кадис, где готовились корабли «Непобедимой армады» для вторжения в Англию. В 1588 г. фактически командовал английским флотом в операциях против «Непобедимой армады». Умер во время очередного пиратского рейда в Карибское море.

Фробишер, Мартин (ок. 1535 — 1594) — английский мореплаватель, один из первых исследователей северо-восточного побережья Канады. В 1585 г. был вице-адмиралом у Дрейка во время грабительской экспедиции в Вест-Индию. Три года спустя сыграл выдающуюся роль в кампании против «Непобедимой армады».

Хокинс (Хокинз), Джон (1532 — 1595) — английский военно-морской офицер и торговый администратор. В молодости прославился как удачливый пират и работорговец. Позднее, перейдя на службу к королеве Елизавете, стал знаменит как один из руководителей «морских псов», королевских пиратов, состоявших на службе у государства и занимавшихся грабежом испанских колоний и торговых судов. В 1577 г. был зачислен на военную службу. Разработал новый тип судна с обтекаемым корпусом и бортовым расположением тяжелых пушек. В 1588 г. при обороне английского побережья был третьим по рангу командиром.

4 — Рэйли был осужден за участие в заговоре, целью которого было возведение на престол Арабеллы Стюарт. Двенадцать (а не тринадцать, как утверждает Сабатини) лет провел в заключении в лондонском Тауэре и был освобожден после смерти Арабеллы.

5 — Эльдorado (исп. Золотая) — сказочная страна, будто бы изобиловавшая золотом и драгоценными камнями, которую европейцы упорно искали на севере Южной Америки.

VIII. ЕГО ДЕРЗОСТЬ ГЕРЦОГ БЭКИНГЕМСКИЙ

1 — Этот эпизод описан Р. Сабатини также в романе «Фаворит короля» (см. т. 2 настоящего издания, с. 544).

2 — Здесь имеются в виду солдаты-ветераны, которые несли службу во внутренних покоях королевского дворца (англ. *usom of the Coart*).

3 — Клод Лотарингский, герцог де Шеврез.

4 — Мари де Роан, герцогиня де Шеврез (1600 — 1679); впоследствии играла важную роль во времена Фронды, а также в заговорах против Ришелье и Мазарини.

5 — Мадам де Мотвиль, Франсуаз-Берто (1621 — 1689), придворная дама Анны Австрийской с 1643 по 1660 гг. «Бесконечно любимая Анною, мадам де Мотвиль была причиной всех ее бед», — читаем мы в современном французском энциклопедическом словаре. Составила «Записки к истории Анны Австрийской» (опубл. в 1723 г.), ценный памятник эпохи и нравов придворного общества.

6 — Жербье, Бальтазар, барон д'Увийи (1591 — 1667); фламандский художник и архитектор. В 1613 г. вывезен герцогом Бэкингемским в Англию; стал фаворитом короля Карла I, который дал ему дворянство (1628) и звание церемониймейстера (1641). Впав в немилость, уехал в Новый Свет, на Суринами, откуда вскоре был возвращен в Нидерланды. Карл II назначил его генеральным интендантом королевских дворцов. Рисовал элегантные миниатюры и составил энциклопедический справочник по архитектуре.

7 — Ларошфуко, Франсуа (1613 — 1680) — французский писатель-моралист, особенно знаменитый своими афоризмами, многие из которых собраны в книге «Размышления, или Сентенции и максимы о морали». Здесь речь идет о его «Мемуарах» (1662).

8 — Джонс, Иниго (1573 — 1652) — выдающийся английский архитектор, творивший под сильным влиянием идей итальянского Возрождения.

9 — Читатель, несомненно, знаком с иной версией возвращения подвесок королевы Анны Австрийской, изложенной в непревзойденных «Трех мушкетерах». Она кажется предпочтительной. Александр Дюма взял ее из комедии французского писателя XIX в. Антуана-Мари Редерера, опубликованной в книге «Политические и любовные интриги при дворе французских королей времен Карла IX, Людовика XIII, Людовика XIV, Регентства и Людовика XV», вышедшей в Париже в 1832 г. Но драматург не придумал сам этот сюжетный ход. Редерер позаимствовал историю с алмазными подвесками в мемуарах политических деятелей XVII в.: Франсуа де Ларошфуко и графа де Бриенна.

Сцена ухаживания герцога Бэкингемского за королевой Анной в саду также нашла, кстати, отражение в мемуарах современников: того же Ларошфуко, Пьера де Лапорта и мадам де Мотвиль.

IX. ТРОПОЙ ИЗГОЯ

1 — Хайд, Эдуард, первый граф Кларендон (1609 — 1674) — английский государственный деятель и историк, с 1667 г. жил во Франции.

2 — Темпл — группа зданий на лондонской Флит-стрит, где располагались общества адвокатов, здесь же находились две из четырех юридических корпораций, готовивших адвокатов.

3 — Браганса — португальская королевская династия (1640 — 1910).

4 — Бомбей — один из островов у западного побережья Индостана; здесь впоследствии английской Ост-Индской компанией был основан город, ставший одним из крупнейших в Индии.

5 — Ментор — доверенный друг героя древнегреческого эпоса Одиссея. Когда герой отправлялся на Троянскую войну, он доверил Ментору опеку над домом, а также поручил воспитывать своего сына Телемаха.

6 — Речь идет о французском короле Людовике XIV, внуке Генриха IV Бурбона, Карл II также приходился Генриху IV внуком (по матери — французской принцессе Генриетте-Марии, жене английского короля Карла I), то есть Людовик и Карл были двоюродными братьями.

7 — Бассет — азартная карточная игра, получившая распространение в Венеции, а в XVII в. попавшая через Францию в Англию.

8 — Уэнтворт, Томас (1593 — 1641), граф Страффорд — английский политический деятель, один из ближайших советников Карла I. Английское общество видело в нем вдохновителя королевской политики. Был обвинен парламентом в государственной измене и, хотя обвинение не подтвердилось, приговорен к смертной казни. Король, хотя до этого обещал Страффорду полную безопасность, подписал приговор. Узнав об этом, Страффорд с горечью бросил с эшафота: «Не верьте земным властителям».

Х. ГАННОВЕРСКАЯ ТРАГЕДИЯ

1 — Замок Херренхаузен — летняя резиденция ганноверского двора (ныне находится в городской черте Ганновера).

2 — Курфюрст — член коллегии семи князей Германской империи, которые с 1257 г. только и могли выбирать (нем. k^ugen) императора. Коллегия просуществовала до 1806 г. В XVII в. была расширена до 9 человек. Герцог Брауншвейгский и Ганноверский стал членом коллегии в 1692 г., то есть в момент начала повествования.

3 — Мелузина — дочь графа Густава Адольфа Шуленберга; в 1714 г. она последовала за Георгом в Англию, в 1719 г. стала герцогиней Кендел, а в 1723 г. — принцессой Германской империи; умерла в 1743 г., в возрасте семидесяти шести лет.

4 — Расторжение брака произошло в 1694 г.

XI. ТИРАНОУБИЙСТВО

1 — Майорат — феодальный порядок нераздельного наследования недвижимого имущества старших в семье или роде.

2 — Триумвират — в Древнем Риме так во времена крушения республики назывался союз трех влиятельных политических и военных деятелей (триумвиров), заключенный в целях управления государством и борьбы с сенатской оппозицией.

3 — В добавление к сказанному автором можно напомнить читателю, что Шотландский университет присудил Марату звание доктора медицины за теоретические изыскания и практическую деятельность, а английский город Ньюкасл сделал Марата своим почетным гражданином за его самоотверженную и плодотворную работу по борьбе с эпидемиями.

4 — В начале лета 1793 г. съехавшиеся в Кан с разных концов

Франции жирондисты пытались организовать национальное ополчение для борьбы с якобинским Парижем.

5 — **Афина** — древнегреческая богиня мудрости.

6 — **Конвент** (Национальный конвент) — высший представительный орган Французской Республики (по конституции 1792 г.).

7 — **Шагрень** — мягкая шероховатая кожа, выделанная из козьих, овечьих, конских шкур.

8 — **Канифас** — легкая хлопчатобумажная ткань с рельефным тканым рисунком.

9 — **Сабатини** сгущает краски. На самом деле Шарлотта весьма успешно оборонялась от подруги Марата и соседей по дому вплоть до прихода жандармов. См., например, Т. Карлейль. Французская революция. История. М., 1991, с. 462.

10 — Речь идет о взрыве народного терроризма в начале сентября 1792 г. (см., например, Т. Карлейль, ук. соч., с. 367 — 403).

11 — **Консьержери** — тюрьма в Париже, входящая в комплекс Дворца правосудия на острове Сите; построена на месте одноименного королевского дворца.

12 — **Брут**, **Марк Юний** (85 — 42 до н.э.) — один из руководителей заговора республиканцев против римского диктатора Гая Юлия Цезаря. По некоторым античным источникам, Брут считался внебрачным сыном Цезаря. Заговор завершился убийством диктатора в сенате 15 марта 44 г. до н.э., причем каждый из заговорщиков поразил жертву кинжалом или мечом. В годы Французской революции Брут считался образцом республиканской добродетели.

13 — Весьма спорное объяснение. Очевидцы рассказывают другое: «Несомненно, что он /палач/ презрительно ударил ее по щеке; я видел это собственными глазами; полиция заключила его за это в тюрьму» (Т. Карлейль, ук. соч., с. 463).

14 — **Катон** — речь идет о Катоне Младшем (95 — 46 до н.э.), римском политическом деятеле, республиканце, крайне враждебно настроенном к Цезарю.

15 — **Монтаньяры** — члены революционной партии Горы в Национальном Конвенте, занимавшие в зале заседаний самые верхние скамейки.

Примечания А. МОСКВИНА

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ (перевод А. Шарова)

Часть первая. НОЧИ ИСТОРИИ

(Перевод П. Полякова)

5

I. НОЧЬ В ХОЛИРУДЕ. Убийство Давида Риччо

9

II. НОЧЬ В КЁРК-О'ФИЛДЕ. Убийство милорда Дарли

29

**III. НОЧЬ ПРЕДАТЕЛЬСТВА. Антонио Перес
и Филипп II Испанский**

46

IV. НОЧЬ МИЛОСЕРДИЯ. Преступление леди Алисы Лайл

93

V. НОЧЬ РЕЗНИ. Праздник святого Варфоломея

114

VI. НОЧЬ КОЛДОВСТВА. Людовик XIV и мадам де Монтеспан

132

VII. НОЧЬ СОКРОВИЩ. Дело об ожерелье королевы

150

**VIII. НОЧЬ УЖАСА. Народный представитель Карье
и нантские уопленники.**

170

IX. НОЧЬ НОВОБРАЧНЫХ. Карл Смелый и Сапфира Данвельт

191

**X. НОЧЬ ДУШИТЕЛЕЙ. Джованна Неаполитанская
и Андре Венгерский**

205

XI. НОЧЬ НЕНАВИСТИ. Убийство герцога Гандийского

221

XII. НОЧЬ ПОБЕГА. Бегство Казановы из Пьемби

235

**XIII. КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ. Убийство Густава III,
короля шведского**

250

Часть вторая. КАПРИЗЫ КЛИО

(Перевод А. Шарова)

267

- I. ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ.** Афонсу Энрикеш, первый король Португалии

269

- II. ЛЖЕДИМИТРИЙ.** Борис Годунов и самозванный сын Иоанна Грозного

285

- III. ПРЕКРАСНАЯ ДАМА.** Из истории севильской инквизиции

299

- IV. КОНДИТЕР ИЗ МАДРИГАЛЯ.** Рассказ о Лжесебастьяне Португальском.

316

- V. КОНЕЦ ДАМСКОГО УГОДНИКА.** Убийство Генриха IV.

338

- VI. НЕЗАДАЧЛИВЫЙ ПОКЛОННИК.** Убийство Эми Робсарт

357

- VII. СЭР ИУДА.** История о том, как был предан сэр Уолтер Рэйли

378

- VIII. ЕГО ДЕРЗОСТЬ ГЕРЦОГ БЭКИНГЕМСКИЙ,** или Как Джордж Вильерс добивался благосклонности Анны Австрийской

396

- IX. ТРОПОЙ ИЗГОЯ.** Падение лорда Кларендона X.

412

- ГАННОВЕРСКАЯ ТРАГЕДИЯ.** Граф Филипп Кёнигсмарк и принцесса Софи Доротея

430

- XI. ТИРАНОУБИЙСТВО.** Шарлотта Корде и Жан-Поль Марат.

445

Примечания

460

- С 12** Собрание сочинений. Том девятый. Капризы Клио. Сборник новелл в двух частях. Часть первая. Ночи истории (пер. П. Полякова).
Часть вторая. Капризы Клио (пер. А. Шарова).
Редактор-составитель В. Семенова — М., АО «Прибой» — АО «Журнал «Вокруг света», 1994. — 480 с.
(Библиотека «Вокруг света»)

ISBN 5-87260-009-7

В девятый том собрания сочинений Р. Сабатини вошли его исторические новеллы. Сюжетами для них послужили драматические события из европейской истории XII — XVIII веков. В центре внимания автора — высшие слои общества, власти предржающие, в большей степени обремененные пороками, нежели украшенные добродетелями.

Сабатини Рафаэль
КАПРИЗЫ КЛИО

Редактор-составитель
В. Семенова
Художник
Г. Комаров
Технический редактор
О. Бойко
Корректор
В. Авдеева

*В оформлении использованы фрагменты произведений
западноевропейских художников*

АО «Прибой». 103001, Москва, Трехпрудный пер., 9
Лицензия ЛР № 070278 выдана 23.12.91 г.

Сдано в набор 18.11.93. Подписано в печать 21.12.93 Формат 84×108¹/₃₂.
Бумага типографская № 2 производства Сыктывкарского ЛПК.
Гарнитура «Таймс». Печать офсетная Усл. печ. л. 25.2. Учетно-изд. л. 26.8.
Тираж 137.000 экз. Заказ 127

Москва. Акционерное общество «Прибой».
Редакция журнала «Вокруг света».

Отпечатано с оригинала-макета
в типографии издательства
«Самарский Дом печати»

443086. Самара, пр. К. Маркса, 201.





